

ЖУРНАЛ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

# СИБИРЬ

№ 357 / 2 2·2015

Литературно-художественный и культурно-просветительский  
журнал писателей Восточной Сибири  
Учредитель — Иркутское региональное отделение  
Общероссийской общественной организации  
«Союз писателей России»  
Журнал выходит при финансовой помощи  
Министерства культуры и архивов Иркутской области  
Основан в 1930 году. Выходит 6 раз в год

Этот выпуск посвящается  
памяти Валентина Распутина

## Слова скорби

- Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  
на отпевании в храме Христа Спасителя Валентина Распутина . . . . . 3
- Слово прощания . . . . . 5
- Невозвратная наша потеря . . . . . 6
- «Спасибо Вам за Ваше слово» . . . . . 7
- Сайт «Российский писатель» . . . . . 17
- Стихи памяти В.Г. Распутина «Оратай словесный, о русских рыдатель»  
Николай Зиновьев, Мария Аввакумова, Игорь Тюленев, Владимир Скиф, Елизавета Оводнева, Надежда Ми-  
рошниченко, Юрий Розовский, Александр Кувакин, Владимир Хомяков, Юрий Ключников, Нина Волченкова,  
Людмила Владимирова, Валентина Коростелёва, Екатерина Пионт, Эдуард Петренко, Екатерина Козырева,  
Марина Кудимова, Иван Переверзин . . . . . 19
- Станислав Минаков. Завещание Валентина Распутина.  
*На смерть великого русского писателя* . . . . . 28
- Эдуард Анашкин. «...А сердце в Читку, всё в Читку, всё в Читку возвращается» . . . . . 33

## Поэзия

- Николай Алешков. Сиренью пахнет тишина . . . . . 87
- Сергей Иоффе. Изнурилась война, отгремела . . . . . 103
- Владимир Тыцких. Каких утрат нам стоили моря . . . . . 120
- Юрий Черных. На Кудыкиной горе . . . . . 146
- Виктор Бальков. Поры осенней неизбежность... . . . . 159
- Сергей Кудяев. На горизонте памяти и боли . . . . . 176
- Елена Павлова. Чтобы лето не скучало . . . . . 183

## Проза

- Валентин Распутин. В ту же землю... *Рассказ* . . . . . 188
- Что передать вороне. *Рассказ* . . . . . 208
- В больнице *Рассказ* . . . . . 217
- В непогоду. *Рассказ* . . . . . 237
- Видение. *Рассказ* . . . . . 249
- Нежданно-негаданно. *Рассказ* . . . . . 252

<b>Стихи-посвящения В.Г. Распутину.</b> Бесстрашный пророк. Мария Аввакумова, Валерий Алексеев, Людмила Барыкина, Людмила Бендер, Анатолий Богданович, Виктор Бронштейн, Евгений Варламов, Михаил Вишняков, Анатолий Горбунов, Анатолий Гребнев, Александр Дорин, Елена Жилкина, Василий Забелло, Георгий Замаратский, Геннадий Иванов, Сергей Иоффе, Леонид Казанцев, Наталья Камышова, Сергей Каргашин, Василий Козлов, Владимир Корнилов, Владимир Костров, Станислав Куняев, Любовь Ладейщикова, Юнона Лузгина, Нина Мелихова, Надежда Мирошниченко, Глеб Пакулов, Николай Переяслов, Николай Рачков, Пётр Реутский, Андрей Румянцев, Евгений Семичев, Николай Сиротенко, Владимир Скиф, Татьяна Суровцева, Екатерина Трунова . . . . .	48
<b>Ф.С. Белоус.</b> «Мой мозг жаден до знаний...» <i>Воспоминания учительницы Валентина Распутина</i> .	65
<b>Владимир Ходий.</b> Ранний Распутин . . . . .	68
«Земля — это та же самая Матёра» . . . . .	80
<b>Николай Дорошенко.</b> О прощании с Леоновым и Распутиным . . . . .	92
<b>Ким Балков.</b> Валентин Распутин. <i>Штрихи к портрету</i> . . . . .	97
<b>Ирина Прищепова.</b> У нас на Байкале . . . . .	107
<b>Альберт Гурулёв.</b> А жизнь всё-таки смеялась... . . . . .	115
<b>Валентина Семёнова.</b> Прочитать всего Распутина . . . . .	126
<b>Александр Щербаков.</b> А мы звали его Валея... . . . .	129
<b>Владимир Скиф.</b> «С радостью жить-быть рядом...» . . . . .	132
<b>Александр Донских.</b> Молитвы Валентина Распутина. <i>Статья написана к 70-летию писателя</i> . .	142
<b>Татьяна Кузакова.</b> Неизвестное интервью Валентина Распутина . . . . .	152
<b>Татьяна Миронова.</b> Первая встреча. Последняя встреча . . . . .	156
<b>А.Д. Сирин.</b> Метаморфозы света и тьмы . . . . .	164
<b>В.В. Воронов.</b> Письмо в «Сибирь» . . . . .	175
«Книги Валентина Распутина — это лекарство от беспамятства». <i>Интервью с В.В. Вороновым о Распутине</i> . . . . .	180

Главный редактор **АЛЕКСАНДР ЛАПТЕВ**  
 Заведующий отделом поэзии **ВЛАДИМИР СКИФ**  
 Заведующий отделом прозы **АЛЬБЕРТ ГУРУЛЁВ**  
 Заведующий отделом критики и публицистики **АЛЕКСАНДР ДОНСКИХ**  
 Ответственный секретарь редакции **СВЕТЛАНА ЗУБАКОВА**

**СОВЕТ ЖУРНАЛА**

Ю.И. Баранов, В.В. Барышников, В.К. Забелло, В.П. Комлев, И.И. Козлов,  
Р.Г. Михеева, Н.А. Озерникова, Т.Н. Суровцева, В.Н. Хайрозов, М.И. Яковенко

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме особо оговоренных случаев. Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Оформление обложки С. Бурчевская. На обложке: В.Г. Распутин на берегу Байкала, фото В. Скифа. Комп. верстка А. Гордиенских. Корректор Л. Заступова

**Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
 информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.  
 Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600.**

Адрес редакции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40. Тел.: 20-37-86. Рукописи принимаются в распечатанном виде. Справки по тел.: 34-20-77 (ответств. секретарь). E-mail: sve-t-lana@mail.ru. (Рукописи по e-mail не принимаются, за исключением особо оговоренных случаев).  
 Подписано в печать 03.07.2015.  
 Формат 70x108/16. Усл.-печ. л. 22. Тираж 1500. Цена свободная.  
 Изготовлено в ООО «Репроцентр А1». 664047, г. Иркутск, ул. А. Невского, 99/2, тел. 540-940.

# Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на отпевании в храме Христа Спасителя Валентина Распутина



Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Мы провожаем в *путь всея земли* великого писателя земли Русской Валентина Григорьевича Распутина. История нашей русской литературы явила множество замечательных имён. Писателей, которые отличаются от большинства людей, пишущих художественные тексты, мы называем известными, популярными, выдающимися или великими. Последнее определение даётся только тем писателям, которые

оставляют особый след в истории литературы, в истории мысли и в духовной истории своего народа.

XX век, в том числе и послереволюционный период нашей истории, отмечен именами писателей, о которых мы можем сказать, что это были великие писатели. Их совсем немного, и ещё нет общего мнения, кого из них можно отнести к числу великих окончательно. Но совершенно очевидно, что Валентин Григорьевич Распутин был одним из великих русских писателей XX века.

А каков же главный критерий, который обычно полагают как люди, относящие себя к специалистам в области литературы, так и просто, что называется, широкая читательская аудитория, — какой критерий мы используем, определяя место писателя в этом неформальном табеле о рангах?

Прежде всего, подлинным критерием является время, которое отделяет значимое от менее значимого. С течением времени всё становится окончательно понятным, в том числе и величина того или иного писателя. Но некоторые из писателей уже при жизни становятся великими. И, наверное, самый главный критерий — это то чувство, которое люди испытывают, и те мысли, которые у них возникают, когда они читают художественный текст.

Литература называется художественной только тогда, когда она создает яркий художественный образ в сознании человека. Она очень важна для формирования человеческой личности, потому что в отличие от других видов искусства, в создании образа участвует не только автор, но и читатель. Когда мы смотрим фильмы, спектакли или телевизионные постановки — мы потребляем созданные образы, не сильно утруждая себя. Вот почему эти виды искусства не могут сравниться с художественной литературой. Читая тексты, мы создаём образ в своём сознании — яркий, убедительный, захватывающий, волнующий душу, — мы становимся соавторами. И в этом заключается непреходящее огромное значение художественной литературы. И чем сильнее образ, который создаётся, тем значительней личность писателя, тем значительней его вклад в литературу.

Но это эстетическая сторона художественного творчества. А есть и существенная сторона. Ведь могут создаваться яркие художественные образы, разрушающие нравственную природу человека. И чем ярче, тем страшнее. Поэтому важным является не только внешняя эстетическая сторона литературы — слов, сравнений, образов, но и содержание.

И здесь самым главным критерием в определении величия писателя является понимание того, что происходит в душе человека после прочтения художественного текста:



*Прощание с Валентином Распутиным  
в храме Христа Спасителя*

он становится лучше или хуже, его душа поднимается к небу или расплывается над землей, он возвышает свой дух или разрушает его, приближаясь к образу животного бытия.

Культура не случайно получила именно такое наименование. Ведь само это слово связано с возделыванием, с культивацией. С возделыванием для чего? Для того чтобы произрастали добрые плоды. Чтобы произрастали злые плоды, тернии, не нужно возделывать землю, они растут сами. Наоборот, обладая огромной жизненной, можно сказать, жи-

вотной силой, они разрушают всякое плодоносящее дерево и всякий плодоносящий знак.

Художественная литература становится великой тогда, когда она поднимает человеческий дух, когда она приближает человека к высшим ценностям, когда она вводит личность в соприкосновение с этими ценностями. И литература, как и культура, перестают быть литературой и культурой, когда они возбуждают низменные страсти, когда разрушают нравственную природу человека. Тогда мы говорим, что это не культура, а псевдокультура, или даже антикультура.

Ещё одно слово имеет тот же самый корень, что и культура: культ, богослужение, в широком смысле — религиозная жизнь. У религии то же целеполагание — возвышать человеческую душу, поднимать её над землей, открывать перед духовным взором человека перспективу вечности, помогать ему обрести такую стратегию жизни, которая уходит в вечность, преодолевая всяческие препятствия, произрастающие от нашего повседневного бытия. В этом смысле между подлинной религией и подлинной культурой не может быть никаких противоречий, потому что их объединяет одно и то же целеполагание — возвышение человеческой личности. А конфликты начинаются тогда, когда либо религия становится псевдорелигией и силой, работающей не на возвышение человеческой личности, а на обслуживание чьих-то политических, идеологических и прочих человеческих интересов, либо когда культура перестаёт работать над возделыванием человеческой личности и разрушает её. И как ужасно, что иногда люди не понимают того, что происходит на стыке антикультуры и религии или подлинной культуры и антирелигии.

Мы проходим через разного рода искушения и сегодня. И как важно, чтобы великие писатели, великие творцы культуры помогали всем людям — как тем, которые живут религиозной жизнью, так и тем, кому пока этого не дано, — видеть подлинное целеполагание и, вдохновляясь творчеством великих писателей, идти по тому жизненному пути, который и приводит к целям, столь дорогим и существенным для великих творцов русского слова, для русских писателей.

Валентин Григорьевич Распутин стал великим при жизни, потому что всё его творчество пронизано этим стремлением помочь человеку обрести иное видение, поднять его над повседневностью. Хотя использовал он для этого такие простые жизненные образы и человеческие ситуации. Но ведь душа человека формируется не под влиянием каких-то отдельных чрезвычайных событий, а в повседневной жизни.

Да упокоит Господь душу новопреставленного раба Своего Валентина в небесных Своих обителях, и да сотворит вечную молитвенную о нём память в наших сердцах. Аминь.

*г. Москва  
18 марта 2015 г.*

## Слово прощания

Умер Валентин Григорьевич Распутин...

Утрата столь велика, что не подобрать нужных слов сразу. Они придут позже, и многое будет сказано о человеке, уже давно получившем помимо высоких наград и званий самое высокое народное звание — совесть России.

За этим именем не только огромный писательский дар, но и невероятная любовь к Отчизне, воистину титаническая работа по её спасению или хотя бы удержанию на краю глубокого обрыва, перед которым она оказалась...

Он знал выход ещё двадцать лет назад: «Россию может спасти только российская идея». Кажется, осознание начинается лишь теперь...

Он всегда писал правду и отстаивал правду с самых высоких трибун. И потому не устарели ни «Уроки французского», ни «Прощание с Матёрой», ни одна из публицистических статей в газетах и журналах, ни одно выступление на писательских съездах и Всемирном Русском Народном Соборе.

Он был нужен Москве, но так и не расстался с Сибирью. Настоящий сын Сибири, он воспел её красоту и мощь, стал защитником Байкала и Иркутской старины, помогал как мог родным местам в Усть-Удинском районе.

Почти полвека Распутин влиял на иркутскую литературу. Входил в бюро писательской организации, редколлегию альманаха «Ангара», «Сибирь», оценивал рукописи молодых на конференции «Молодость. Творчество. Современность». Влиял своим словом, своими патриотическими убеждениями, которых не скрывал, несмотря на неблагоприятные к ним времена. Но даже те, кто не сходил с ним во взглядах в переворотные 90-е годы, преклонялись перед силой его художественного таланта и, так или иначе, имели в виду его видение новых произведений и новых событий.

Благодаря присутствию Распутина никто из иркутских писателей в новые времена не увлёкся лёгкими жанрами литературы — стремились писать о том, что волнует в дне сегодняшнем, восполнять пробелы в исторической теме. Доказательством тому книги лауреатов Губернаторской премии, председателем жюри которой Валентин Григорьевич состоял около пятнадцати лет.

Всё, что происходило значительного в культуре нашего края в последние десятилетия — издание православного «Литературного Иркутска», Дни «Сияния России», Вампиловский театральный фестиваль, Литературные вечера «Этим летом в Иркутске», развитие Издательства Сапронова, рождение альманаха «Тобольск и вся Сибирь» — связано с именем Распутина и работало на просвещение земляков.

Трудясь для родных мест, он, в свою очередь, подпитывался ими: природой Приангарья, встречами с жителями Аталанки, и говорил, что сюжетов у него столько, что не охватить за одну жизнь.

Мы можем только одним отблагодарить безгранично дорогого нам писателя — перечитывать его книги, размышлять над ними и в меру сил помогать прибавлению культуры в окружающем нас пространстве.

*Правление Иркутского регионального  
отделения Союза писателей России*

# Невозвратная наша потеря

*На блаженную кончину Валентина Григорьевича Распутина*



*Погребение Распутина на территории Знаменского монастыря Иркутска*

Горькая весть обожгла нас. Никакими словами невозможно передать боль утраты, постигшей Россию и весь наш славянский мир.

В ночь с 14 на 15 марта завершился земной путь Валентина Григорьевича Распутина — великого гражданина России, классика русской литературы, нашего национального героя, участника сражений за русского человека, за Русскую землю, за русский Байкал, за Русское Слово...

Мы все с нетерпением ждали каждую его новую книгу, мы были благодарными зрителями спектаклей и фильмов, созданных по его драгоценным произведениям. В его Слово вслушивалась вся совестливая Россия. Воистину энциклопедическими трудами и публицистическими статьями Валентина Григорьевича его родная Сибирь прирастала животворной исторической памятью и созидательной духовной энергией.

Трудно смириться с мыслью, что этот близкий и родной нам русский человек уже в Небесных обителях, что к нему уже не придёшь за советом, за духовной поддержкой, в которых так часто нуждались и которые всегда от него получали...

Он остаётся с нами. Он упрямо предубеждает нас: «Честь, совесть, не убей, не укради, не прелюбодействуй, любовь в образе сладко поющей волшебной птицы, не разрушающей своего гнезда, традиции и обычаи, язык и легенды, покойники и история — всё это заметно перестает быть основанием жизни. Основание перестает быть основанием, и чем оно заменится? Победителей этот вопрос не интересует. Чем-нибудь да заменится, на то и завтрашний день»...

Как настоящий, природный христианин и русский человек — Валентин Григорьевич жил любовью к людям. Его большое сердце принимало всех, кому Россия была родным Отечеством. Его доброй, широкой души хватало на каждого, кто обращался к нему. Его добрый взгляд внушал Любовь, Веру и Надежду.

Валентин Григорьевич Распутин до последнего своего часа оставался сопредседателем Союза писателей России, членом редколлегий многих журналов, организатором праздника русской духовности «Сияние России» в Иркутске, был в числе инициаторов возрождения храма Христа Спасителя и создания Всемирного Русского Народного Собора, Шолоховского центра, литературно-художественного конкурса для детей и юношества «Гренадеры, вперёд!»...

Мы все потеряли друга, соратника и наставника...

Прощайте, дорогой наш человек, и простите нас, Валентин Григорьевич...

*Писатели России*

# Спасибо Вам за Ваше слово

*Памяти Валентина Григорьевича Распутина*

Есть Пророки в своём Отечестве.

14 марта 2015 года на одного Пророка в России стало меньше. Умер Валентин Распутин.

Великие писатели, как известно, не повествуют, а пророчествуют. Им открывается будущее, и они пытаются поведать о нём людям. Однако занятые сиюминутными интересами человеки думают, прежде всего, о том, что им видится насущным, а потому многие отстраняются даже от мыслей о грядущем. Пророки желают расширить сознание людей, чтобы те охватили своим взором проблемы мироздания. Провидцы утверждают, что не хлебом и зрелищами жив человек. Предвестники знают: самой насущной способностью, чувством и свойством людей является совесть. Сами Пророки — Совесть народа.

Есть Пророки в России.

Самый значимый — Пушкин.

Достоевский, ещё один в ряду российских Пророков, указал на характерное: «По-всюду у Пушкина слышится вера в русский характер, вера в его духовную мощь, а коль вера, стало быть, и надежда, великая надежда за русского человека».

Фёдор Достоевский обратил внимание на прозорливость русского гения: «Пушкин первый своим глубоко прозорливым и гениальным умом и чисто русским сердцем своим отыскал и отметил главнейшее и болезненное явление нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над народом. Он отметил и выпукло поставил перед нами отрицательный тип наш, человека, беспокоящегося и не примиряющегося, в родную почву и в родные силы ее не верующего, Россию и себя самого (то есть свое же общество, свой же интеллигентный слой, возникший над родной почвой нашей) в конце концов отрицающего, делать с другими не желающего и искренно страдающего. Алеко и Онегин породили потом множество подобных себе в нашей художественной литературе. За ними выступили Печорины, Чичиковы, Рудины и Лаврецкие, Болконские (в «Войне и мире» Льва Толстого) и множество других, уже появлением своим засвидетельствовавшие о правде первоначально данной мысли Пушкиным. Ему честь и слава, его громадному уму и гению, отметившему самую большую язву составившегося у нас после великой Петровской реформы общества. Его искусному диагнозу мы обязаны обозначением и распознаванием болезни нашей, и он же, он первый, дал и утешение: ибо он же дал и великую надежду, что болезнь эта не смертельна и что русское общество может быть излечено, может вновь обновиться и воскреснуть, если присоединится к правде народной».

Есть Пророки в своем Отечестве.

Один из них — Валентин Распутин. Он видел, что XX век, в котором ему суждено было родиться, жить и творить, явился для русского народа самым трагическим периодом всей его непростой истории. «Ни времена татарского ига, ни Смута XVII века ни в какое сравнение с лихолетьем России в XX столетии идти не могут. Страшнее внешних ломок и утрат оказалась внутренняя переориентация человека — в вере, идеалах, нравственном и духовном прямостоянии... У нас же оказались убиты не только убитые, у нас убитыми оказались живые».

Валентин Григорьевич Распутин силой своего таланта немало сделал для проти-

востояния российской трагедии прошлого века, для блага своей малой родины — Сибири. Он ратовал за развитие русского и братских ему народов, выступал в защиту русской культуры и русского языка. Он написал пронзительные романы, повести и публицистические статьи о сохранении природы. Он делал немало для присоединения власть имущих к «правде народной».

В перестройку «когда повсюду правили бал в нашей стране пустые и злобные люди, когда окаянство, как государственный флаг, витало над улицами и площадями», Валентин Григорьевич не остался в стороне от общих дел. В 1989 году Валентин Распутин был среди тех, кто поддержал писателей-патриотов в Ленинграде, выступивших против русофобии витий, проповедовавших антинародную идеологию, ненависть к народным традициям в жизни и в литературе. Благодаря его энергичной поддержке на VII пленуме Правления Союза писателей РСФСР было принято решение о создании самостоятельной Ленинградской областной писательской организации.

Кто знал Валентина Григорьевича Распутина, запомнили его человеком лично скромным и непритязательным, в то же время это был великий русский человек, который нёс в себе горести и печали народа, имел сердце народного заступника.

Валентин Распутин оставил после себя наблюдения о последнем времени России: «Более молодые принимают национальный позор России ближе к сердцу, в них пока нетвёрдо, интуитивно, но всё-таки выговаривается чувство любви к своему многострадальному Отечеству. Молодёжь теперь совсем иная, чем были мы, более шумная, открытая, энергичная, с жаждой шире познать мир, и эту инакость мы принимаем порой за чужесть. Молодые не взяли на себя общественной роли, как во многих странах мира в период общественных потрясений, но это и хорошо, что студенчество не поддавалось на провокацию, когда вокруг него вилась армия агитаторов за «свободу». Сбитых с толку и отравленных, отъятых от родного духа немало. Но немало и спасшихся и спасающихся, причём самостоятельно, почти без всякой нашей поддержки. Должно быть, при поддержке прежних поколений, прославивших Россию...»

Есть Пророки в нашем Отечестве. И мы верим их прозрениям о нашем будущем, чтобы следовать их предвещаниям.

Спасибо Вам, Валентин Григорьевич, за Ваше правдивое Слово.

*От Ленинградской областной организации  
Союза писателей России  
её ответственный секретарь Сергей Порохов*

В Союз писателей России

Дорогие коллеги!

С большой скорбью узнал, что скончался великий русский писатель современности, ярчайший представитель деревенской прозы Валентин Григорьевич Распутин, не дожив одного дня до 78-летия.

Творчество В.Г. Распутина — одно из самых ярких явлений русской литературы XX века, отличающееся неустанными нравственными поисками и глубокой озабоченностью о судьбе деревни и народа России и человечества в целом.

В сегодняшнем контексте, когда всемирно грозит гуманитарный кризис, творчество В.Г. Распутина представляет особую ценность.

Имя Валентина Григорьевича Распутина широко знают и высоко ценят в Китае, его каждая книга переводилась сразу после выхода в России, по его темам пишут



монографии и защищаются магистерские и докторские диссертации, он прочно занимает отдельную главу в китайских учебниках русской литературы.

Передайте глубокие соболезнования родным и близким писателя.

Будет вечна память о нём.

**Чжэн Тиу,**

*вице-президент всекитайского общества по изучению русской литературы,  
директор Института мировой литературы шуия*

В Союз писателей России

Горестно сознавать, что ушел от нас ещё один великий сын России, питавший свои таланты от её исконных духовных родников, от чистого Света её Культуры, вмещающей и дух народа, и таинства святости великих подвижников и молитвенников, и героизм многих ратников за правое дело, коими не раз воскрешалась многострадальная земля наша, и самобытность легенд и преданий, и мудрую простоту многоликого творчества народного, и природную красоту, и раздолье живых нарядов земли...

Не перечесть всего несказанного, что оживляло и вдохновляло душу великого писателя, его непреложную веру в светлые идеалы, его глубинное чувство сопричастности историческим корням народа, что целило кровоточащие раны его души, самозабвенно отзывающейся на боль, страдания и несправедливость, обрушивавшиеся как и на отдельного человека, так и на общее достояние, будь то Тамара Ивановна из повести «Дочь Ивана, мать Ивана» или деревня Матёра, или живой дух Байкала.

Валентин Распутин был одним из тех немногих, подлинных в своём духовном достоинстве, в нравственной позиции, в сердечности мыслей и слов, облекающих утонченную светоносную ткань совести, людей, которых любит и чтит народ, причисляя их к праведникам.

«Ближним Светом Издалека», светозарным магнитом сиял для него луч путеводной звезды — идеал Преподобного Сергия Радонежского: «Человеческая душа не может быть необитаемой: из чего-то исходящей из неё энергии братья нужны. Но рядом с великими покойниками, рядом с согнутыми от бремени родительства отцом и матерью и рядом с примерными судьбами из настоящего там поселяются воспоминания, поступки, картины природы, про которые не напрасно говорят, что они западают в душу, родные слова и напевы — целый мир, собранный из самого лучшего и святого, трудящийся под покровительством того, к кому он тяготеет. Без Сергия Радонежского русская душа не полна, не окормлена до полной меры сытости, когда она может окормливать других. При всём множестве любимых и почитаемых в нашем народе святых, Сергиева святость несколько особого сложения — сложенная из русского представления о своем идеале... К Сергию народ не мог охладеть, это значило бы отказаться от самого себя. В самые тяжкие для общей нашей судьбы моменты в русском сердце слышался его участливый голос: «Не скорби, чадо».

Воодушевляемый великим идеалом Преподобного Сергия, всем Собором Радонежских святых, красотой подвига других славных светильников духа — провозвестников Святой Руси, таких, например, как Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, Оптинские старцы, Валентин Распутин сердцем своим, скромностью и простотой, талантами и всем героическим творчеством многострадальной жизни служил заповеданному высокому пути, на который в час испытаний были призваны Родиной воины поля Куликова, Бородинского и Прохоровского.

Отдать духовные силы на Общее Благо, выстоять и победить в таких сражениях могут те, кто выигрывал внутренние битвы на полях своей души. Многие поколения будут осознавать, возвращать и действительно утверждать общечеловеческие нравствен-

ные ценности, озаряясь дарами, которые привнес в Культуру и этим обессмертил себя наш великий соотечественник Валентин Распутин.

*От имени Международной Лиги защиты Культуры*  
**Г.Н. Фурсей**

*Президент Международной Лиги защиты Культуры,  
вице-президент Российской Академии естественных наук,  
лауреат Государственной премии СССР,  
заслуженный деятель науки РФ,  
академик РАН, профессор*  
**М.Н. Чирятьев**

*Международный общественный фонд содействия духовно-нравственному возрождению  
современного общества на основах православия «Фонд Святого Всехвального апостола  
Андрея Первозванного»*

Председателю Союза писателей России В.Н. Ганичеву

Уважаемый Валерий Николаевич!

Всю Россию постигла тяжелая утрата — ушёл из жизни великий русский писатель Валентин Григорьевич Распутин. Своим творчеством и всеми своими делами Валентин Григорьевич запечатлел безграничную преданность Родине и своему народу. Произведения, созданные его богатейшим творческим даром, стали ярчайшим явлением русской литературы. Любовь к ним объединяет несколько поколений читателей, которым книги Валентина Григорьевича помогли найти свой путь к постижению непреходящих истин человеческой жизни. Имя и наследие Валентина Григорьевича всегда будет служить связующим мостом между людьми и эпохами.

Выражаю свои соболезнования родным Валентина Григорьевича и всем, в чьих душах живёт уважение и восхищение перед его литературным гением.

*Председатель попечительского совета  
Фонда Андрея Первозванного  
и Центра национальной славы*  
**В.И. Якунин**

Горько, что ушел великий писатель и человек. Но его духовное стояние за Отечество, за русскую веру осталось с нами. Незадолго до смерти он говорил: «Я верю, что Запад Россию не получит. Всех патриотов в гроб не загнать. А если бы и загнали — гробы поднялись бы стоя и двинулись на защиту своей земли». Он имел право это сказать. Он был воплощением русской силы, которая не сдаётся и не сгибается перед самыми неблагоприятными обстоятельствами. Теперь он молится за нас на Небесах. А мы молимся об упокоении его души в Небесных селениях. Царствие Небесное рабу Божьему Валентину.

*От имени писателей Республики Коми*  
**Надежда Мирошниченко**

С глубокой душевной болью восприняли члены Смоленской областной организации Союза писателей России весть о кончине великого русского писателя, публициста, общественного деятеля Валентина Григорьевича Распутина.

Некоторые смоленские писатели имели счастье знать Валентина Григорьевича лично. А известный российский поэт, около двадцати лет руководивший Смоленской писательской организацией, Виктор Петрович Смирнов, называл В.Г. Распутина своим другом.

В.Г. Распутин бывал на Смоленщине, отдавая дань уважения памяти М.В. Исаковского, А.Т. Твардовскому, Н.И. Рыленкову, возвращенным этой святой землёй, общался со смоленскими литераторами. В своё время он дал высокую оценку творчеству тогда молодого прозаика-смолянина Сергея Вязанкова, к сожалению, рано трагически ушедшего из жизни.

В связи с кончиной выдающегося русского писателя, патриота Отечества — Валентина Григорьевича Распутина, члены Смоленской областной организации Союза писателей России выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного. Его светлое, чистое имя навсегда останется в наших сердцах.

*Председатель правления Смоленской областной писательской организации  
секретарь Союза писателей России*

**Олег Дорогань**

Писатели-белгородцы глубоко скорбят по поводу кончины великого русского писателя, патриота земли Русской, настоящего сибиряка, незабвенного Валентина Григорьевича Распутина и выражают сердечное соболезнование родным и близким покойного. Царствие тебе Небесное и пускай земля будет пухом, дорогой Валентин Григорьевич. Мы Вас любили и любить и помнить будем всегда. Прости и прощай.

*Руководитель Белгородского отделения  
Союза писателей России*

**Владимир Молчанов**

Воронежские писатели глубоко скорбят по случаю кончины великого русского писателя Валентина Распутина. Со временем все мы с нарастающей сердечной болью будем осознавать, как по-вселенски масштабна эта потеря и как будет нам не хватать его вдохновляющего примера!.. Искренние, от самого сердца идущие соболезнования его родным и близким. В этот горький час мы молимся с надеждой, что Господь упокоит душу раба Божьего Валентина в Своих селениях праведных.

*Руководитель Воронежского отделения Союза писателей России*

**Виталий Жихарев**

*От Тюменской писательской организации*

Скорбим! Беда и горе непоправимое ворвалось в наши сердца. Мы сиротеем. Ушёл из жизни последний из великих. Человек, который был примером скромности,

образцом любви к Родине, являл совесть и честь целой эпохи. Поплачем по-русски, выпьем горькие сто грамм за вечную память.

Будем жить и помнить, потому что останутся его книги, и пока их будут читать, Валентин Распутин будет жить. А ещё будет жить Байкал, этот живой глаз планеты, который удалось отстоять во многом благодаря его неимоверным усилиям.

*...Не зря из брёвен рубленая Русь  
Веками нас спасала и хранила...  
Ты — прошлый век. Но я не ошибусь,  
Сказав, что ТЫ — источник её и сила!*

Мир праху твоему, Светлый ЧЕЛОВЕК!

**Олег Дребезгов, Аркадий Захаров, Леонид Иванов,  
Николай Конянев, Станислав Ломакин, Александр Мищенко,  
Николай Ольков, Павел Плюхин, Новомир Патрикеев**

Писатели Кузбасса скорбят вместе со всем русским народом в эти тяжёлые дни прощания с выдающимся современником — великим русским писателем Валентином Григорьевичем Распутиным.

Выражаем соболезнование родным, близким, друзьям и соратникам.  
Светлая память.

**В. Бурмистров, Г. Юров, С. Донбай,  
А. Ибрагимов, Д. Мурзин, В. Арнаутов,  
С. Павлов, А. Катков, А. Иленко...**

## **СКЛОНЯЕМ ГОЛОВЫ В ГЛУБОКОЙ СКОРБИ**

С глубоким прискорбием выражаем искреннее сочувствие в связи с невосполнимой утратой, которую понесла русская и мировая литература. Не стало Валентина Распутина.

Из земного бытия ушёл человек, который был моральным авторитетом для нескольких поколений читателей не только России, но и многих стран мира. Его творчество, утверждающее идеалы бескомпромиссной совестливости и безграничной преданности своей земле, непревзойдённо. Искренняя доброта и личная скромность — первое, что приходит на память, когда вспоминаем Валентина Григорьевича.

Разделяем горе родных и близких Валентина Григорьевича Распутина и склоняем головы в глубокой скорби.

**Борис Олейник**  
и члены Правления Украинского фонда культуры

## СЛОВО ПРОЩАНИЯ

Больно, почти невозможно дышать...

Мы знали о смертельной болезни, но до последнего мгновения его жизни верили в чудо, как сейчас не верим в его смерть...

Не верим, и тяжким, как горловой спазм, усилием всё ещё удерживаем понимание: самое горькое уже случилось... И мы не стесняемся своих слёз...

Это скорбное известие в ночь на 15 марта обожгло сердце, опустошило сознание — скорбь, одна только всепоглощающая скорбь заполняет всё твоё существо, каждый миг твоего бытия, и неполными, приблизительными, бескровными глядятся любые слова прощального, траурного обихода: утрата, невосполнимая потеря...

Пройдут близкие, а за ними и неблизкие сроки, и во всех нас останется чувство, которое выше любой печали, любого соболезнования. Это чувство благодарности жизни за то, что в ней у нас был Валентин Распутин. И что были у нас «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Последний срок», «Деньги для Марии», «В ту же землю»... Благодарность не за то лишь, что это было, но за то, что это остаётся, пребудет.

А разве когда-нибудь забудется, что именно Валентин Григорьевич Распутин дал название нашему альманаху «Тобольск и вся Сибирь». И в этом было возрождение и возвращение. Ко всему тому, что, по большому счёту, никогда не менялось, о чём и сказал наш великий современник: «Удивительно и невыразимо чувство родины... Не стоять человеку твёрдо, не жить ему уверенно без этого чувства. Без близости к деяниям и судьбам предков, без внутреннего постижения своей ответственности за дарованное ему место в огромном общем ряду быть тем, что он есть».

Именно Слово Валентина Распутина делало незыблемой веру в то, что на скудной почве нынешнего существования явит себя миру не чертополох укора, но «трава молодая» некрикливой, светлой и жертвенной любви к родной земле, к горькому своему Отечеству!

И мы равнялись на это Слово, поверяли им все свои дела и помыслы, и тем радостней для нас любая весточка от Валентина Григорьевича, любая его оценка нашей деятельности, а его эссе «Возвращение Тобольска» утвердило её содержание на долгие годы вперёд.

Мы счастливы были жить рядом с ним, дышать одним воздухом, хотя и разделяли нас тысячи километров. Да его и не было никогда, не могло быть — этого разделения — с тем, кого мы считали — а Распутин и был им! — духовным губернатором Сибири. Да разве одной только Сибири...

Был и останется им, поскольку бессмертно всё то, что он сделал в своей земной жизни, и каждое его произведение — тот духовный и нравственный багаж, ноша которого не только не тянет, но и придаёт сил. И мы дышим каждым словом Распутина: «Есть у человека Родина — он любит и защищает всё доброе и слабое на свете, нет — всё ненавидит и всё готов разрушить. Это нравственная и духовная скрепляющая, смысл жизни, от рожденья и до смерти согревающее нас тепло. Я верю: и там, за порогом жизни, согревающее — живём же мы в своих детях и внуках бесконечно».

И таким теплом согреваемся мы и сегодня, в день великой утраты, принося глубочайшие соболезнования своим всем близким и родным Валентина Григорьевича Распутина.

Молимся и будем всегда молиться и за них, и за него.

*Председатель президиума общественного благотворительного  
фонда «Возрождение Тобольска» — А.Г. Елфимов;  
главный редактор альманаха «Тобольск и вся Сибирь»,  
член Высшего творческого совета Союза писателей России — Ю.П. Перминов*

Иркутск, Скифу Владимиру Петровичу

Дорогой Владимир Петрович!

Примите глубочайшие соболезнования в связи с уходом из жизни Валентина Григорьевича Распутина. Очень больно сознавать, что его больше нет с нами. Но для таких гениальных художников, как Распутин, земная жизнь слишком тяжела. Теперь душа его отдохнёт в небесной обители...

С нами и со всем грядущими поколениями остаются его пронзительные, полные драматизма произведения, значение которых с годами будет только возрастать. Широта художественных обобщений, свойственная прозе Распутина, ставит его в ряд с крупнейшими писателями XIX века. Валентин Григорьевич создал бессмертные творения. Поэтому вместе с горечью утраты мы ощущаем светлое чувство причастности к тому великому и прекрасному, что принес Валентин Григорьевич на Землю...

Искренне соболезную всем родным и близким Валентина Григорьевича. Мысленно я с вами — на его родине.

**Светлана Сырнева**  
г. Киров

Остров Сахалин

Здравствуйте, Владимир Петрович.

Мы все глубоко опечалены известием о смерти Валентина Распутина и хотим выразить наше искреннее сочувствие Вам и другим родственникам усопшего. Он был человеком большой Души. Примером для всех нас. Скорбим с Вами и будем молиться за него!

*С уважением, библиотекарь отдела проектов,  
культурных программ и внешних связей СахОУНБ*  
**Елена Георгиевна Яковлева**

Иркутск, Скифу

Царствие Небесное Рабу Божию Валентину.  
Соболезную всем вам.

**Валерий Михайлов,**  
*поэт, главный редактор журнала «Простор»*  
Казахстан

г. Томск

Володя, по телевидению сообщили — ушёл из жизни Валентин Распутин. Большое горе. Ушёл великий русский писатель. **Томичи** скорбят вместе с вами, вместе со всей Россией.

*Председатель Томской писательской организации*  
**Геннадий Скарлыгин**

г. Красноярск

Володя, потрясён смертью Валентина. Я, Илюша и наши друзья-писатели соболезнуем тебе, вашей писательской организации, иркутянам. В иконостасе современных классиков России Валентин Распутин — первый. Слово его будет вечно... Продолжить Валентина можно только Словом. Большая наша литература есть и будет из Сибири, из глубины «сибирских руд». Это благо, что Валентин живёт в моём новом романе «Байкал: новое измерение», который уже запущен в производство. Обнимаю скорбно.

**Александр Мищенко**

Дорогой Владимир Петрович!

Примите наши душевные соболезнования в связи с уходом Валентина Григорьевича. С искренней печалью в сердце восприняли мы весть о его кончине. Царствие ему Небесное! Буквально накануне, 13 марта, в редакции «Российской газеты» состоялась презентация аудиокниги «Прощание с Матёрой. Читаем вместе», подготовленной Иркутским театром. Очень тепло и сердечно говорил Анатолий Андреевич Стрельцов, с замечательными словами выступили Владимир Крупин, Сергей Мирошниченко, Владимир Ильич Толстой, Роман Сенчин, Алексей Варламов. На экране демонстрировались фрагменты из аудиокниги. Замечательно прочитал свою часть Юрий Соломин. Атмосфера была взволнованная и элегическая. Как жаль, что Валентин Григорьевич не увидел этот замечательный подарок своих читателей. Светлая, светлая память!

**Ваши Павел и Ольга Фокины**

г. Набережные Челны

Дорогой Петрович!

Я только что узнал о кончине Валентина Григорьевича. Выражаю соболезнование родным и близким, всему Иркутску, всей России. Это огромная утрата для каждого из нас. Любим, помним, скорбим...

**Николай Алешков,**  
*главный редактор журнала «Аргамак — Татарстан»*

Москва,  
Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского

Уважаемый Владимир Петрович! Хотела бы выразить всем близким слова соболезнования в связи с уходом Валентина Григорьевича из жизни. Светлая ему память!  
Как вы? Собираюсь делать концерт его памяти, хотела бы посоветоваться...

**Марина Воинова,**  
*композитор, искусствовед, органистка*

Иркутск, Скифу В.П.

Примите наши глубочайшие соболезнования!

Скорбим, печалуемся, помним нашего вечно любимого Валентина Григорьевича!

**Юрий Назаров,**  
*народный артист России*  
**Людмила Мальцева,**  
*заслуженная артистка России*  
**Полина Нечитайло,**  
*актриса Театра на Таганке*

Уважаемый Владимир Петрович, литературно-художественный портал «Имба-Читальня» выражает искреннее соболезнование Иркутскому отделению Союза писателей России и Вам лично в связи с кончиной талантливого писателя, вашего земляка Валентина Григорьевича Распутина.

Болью в сердцах поэтов и писателей портала отозвалось это скорбное событие.

**Виолетта Баша:** В моей душе словно струна лопнула, и болит... Редкий человек и настоящая русская душа... Горько, такие люди уходят. Нам сейчас даже не оценить, это время оценит. Как, наверное, недооценивали современники Льва Толстого или Фёдора Достоевского. А теперь ими гордится весь мир, когда говорит о великой русской литературе. Светлая память нашему национальному достоянию и честному человеку с большой и открытой русской душой!

**Владимир Замыслов:** Время жестоко и забирает у человека самое ценное, делая бессмертными его поступки! Вечная память Валентину Распутину, и Царство Небесное! Соболезнование друзьям и близким его.

**Илья Рассказов:** Он был из тех, кто в наше развращённое время не стесняется нравственности.

**Сокол:** «Прощание с Матёрой», «Последний срок», «Живи и помни», даже «Рудольфио» — у Валентина Григорьевича ЧЕЛОВЕК и ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ стоит на первом месте! «Прощание с Матёрой» и «Последний срок» нельзя читать без волнения. А какая народная речь! Иногда слышишь: Распутин — не классик, Шолохов — не дотягивает. Пусть попробуют представить русскую литературу без его книг; и через сто лет они будут волновать равнодушных!

**ВИОЛЕТТА БАША**

## **Валентину Распутину**

*Некролог*

*Когда планета на распутье,  
Несётся, тяжело быша,  
Нам нужен Валентин Распутин,  
Чтоб не запачкалась душа!  
Вы, кто в России не живёте,  
Вам не понятен наш народ.  
Ну как же вы ещё поймёте,  
Какой ценой из года в год  
Оплачен дар быть просто русским?  
Врагов — прощать и не судить,  
И за уют англо-французский  
Своею кровью заплатить.  
Его Вселенная — Россия,  
И в ней по небу много лет  
Идут полки дорогой сильных,  
Поскольку слабых в небе нет.  
Вы скажете, да то ведь боги,  
Им сила от небес дана.  
Да нет, друзья, — хмельной дороги  
Россия испила до дна.  
Мы были скифами. Древляне  
Нам тоже близкая родня.  
И заповедной звонкой ранью  
Из Киева к нам шли князья.  
Босая Русь в слезах омыта,  
Росой и зорями горит.  
Из каждой горницы забытой  
Со мной Распутин говорит.*

Скорбим вместе с вами.

**Валерий Белов,**  
главный редактор Избы-Читальни



## Сайт «Российский писатель»

**Виталий Еврафов** 20.03.15 12:17

Скорбим. Соболезнования родным и близким — землякам его. Россия никогда не забудет своего великого сына.

Спасибо Вам за всё от соотечественников. За всё, Валентин Григорьевич.

**Сэда Вермишева** 16.03.15 22:32

Невосполнимая утрата... Скорблю...

**Зинаида Королёва** 16.03.15 14:36

Вечная память Великому Человеку, рабу Божьему Валентину, печальнику Земли Русской.

**Светлана Сырнева** 16.03.15 07:34

Вятские писатели скорбят вместе со всей Россией. Валентин Григорьевич Распутин был и навсегда останется для нас мерилем совести, чести и гражданского мужества, образцом высокой требовательности к себе, примером беззаветного служения народу и русской литературе. Трудно смириться с такой утратой. Но мы уверены, что созданные Распутиным произведения переживут века. Он всегда будет рядом с нами и с нашими потомками.

**Алексей** 16.03.15 06:57

Донские писатели скорбят вместе со всей Россией по поводу кончины нашего выдающегося русского писателя, человека и гражданина Валентина Григорьевича Распутина. Русская литература понесла невосполнимую утрату. Он ушёл, оставив потомкам свои замечательные книги. Вечная память ему...

Писатели Шолоховской роты.

**STARIK** 16.03.15 00:37

Ушёл из жизни настоящий русский Человек, искренне, всей своей большой душой, любивший свою Родину.

Пусть его ранимая душа обретёт душевный покой в другой жизни!

**Юрий Брыжашов** 15.03.15 23:30

Великий писатель ушел в горный мир, туда, где титаны русского духа, где светносный гений Пушкина, где вселенского размаха небесная явь Лермонтова, где осиянная звезда святого поэта Тютчева, к которому когда-то приходил Господь, где другие великие сотворители Русского Мира через Слово, сотворители, явленные нам в 19–20-м веках. Как никогда не кончится Россия, так никогда не кончится русская литература. Не кончится русская проза и поэзия. После «двадцати убийственных лет» они уже не должны были существовать. Конечно, Ум, Совесть, Мужество, Духовность, сочетаемые в одном человеке, — это явление уникальное, и такие потери невосполнимы, как

потери близких людей или части собственной жизни. Но Россия остаётся, остаётся в ней Слово, и в общей его духовности будет оставаться и всё то, что сказано незабвенным Валентином Григорьевичем Распутиным. Уходя, такие люди вдруг одновременно так приближаются к сердцам людей, таким одухотворением освещают наш оскудевающий мир, что души людские начинают взывать, кажется, к самому небу, которое словно бы должно восполнить огромную утрату, понесённую ими.

Пусть земля будет пухом великому писателю и выдающемуся человеку земли Русской! Вечная память!

**Анна Вартаньян** 15.03.15 20:59

Душа болит — ушёл Валентин Григорьевич Распутин. Великий Писатель, великий Человек Родины нашей. Горло от слёз перехватывает, на губах — молитва... Господь забирает лучших...

Мира горнего, дорогой Валентин Григорьевич! Свет Незаходимый от книг и души Вашей...

**Людмила Тобольская** 15.03.15 19:32

Не могу опомниться от известия о смерти Валентина Распутина! Какая потеря для всякого русского сердца, для нашей литературы, для всех его читателей и почитателей не только в России, но и во всём мире... Современный классик, пронзительный печальник о народной судьбе и самоотверженный голос России! Мир праху его. Низкий поклон. Царствие Небесное.

**Виктор Бараков** 15.03.15 18:28

Мы потеряли человека чистой, нежной души. Все, кто с ним общался, не могли этого не видеть. Его произведения будут жить вечно, как и его душа, об упокоении которой мы все сейчас молимся.

**Владимир Пронский** 15.03.15 17:25

Как горько стало! Жили в одно время, казалось, что так будет всегда, а теперь осиротели. Вечная память!

# «Оратай словесный, о русских рыдатель»

НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ

Кореновск Краснодарского края

## Горький триптих

*Памяти В.Г. Распутина*

### 1

Распутин умер, стал мелеть Байкал.  
И это не простое совпадение,  
Ускорилось всеобщее паденье,  
И злобный дух ещё сильнее взалкал.  
«Распутин умер», — снова повторяю  
И, кроме Бога, я не доверяю  
Теперь на этом свете никому...

### 2

Страшны сибирские масштабы:  
Детишки, мужики и бабы —  
Все поднялись с его страниц  
И как один упали ниц,  
Да так, что вздрогнула планета.  
Я не один, кто видел это.

### 3

Один он ведал, может быть,  
На этом свете в этом веке,  
Чего никак нельзя убить  
В обычном русском человеке.

## МАРИЯ АВБАКУМОВА

Москва

\* \* \*

Скончался писатель...	Поможет не скоро,
Распутин скончался...	Не диким скачком...
Не мог он скончаться! —	Надеюсь, так будет,
Он только начался.	Мечтаю о том.
А вся его — в книги	В молчанье ушёл он,
впечатана — суть,	Ангарский мечтатель,
Поможет нас, грешных,	Оратай словесный,
К себе развернуть.	О русских рыдатель.

## ИГОРЬ ТЮЛЕНЕВ

Пермь

### Валентин Распутин

Вы написали: Русь отчалила, Мы на пустынном берегу... Нет, мы цепляемся отчаянно Или бросаем острогу!	Как листья, сзади нас и спереди Опять доносы шелестят.
Чтоб зацепить, чтоб подтянуться, Чтоб не уплыла никуда, Чтоб никакая революция Не надругалась, как тогда?..	Никто их нынче не читает, И не считается никто. Стоит Россия, чуть качается. Ржёт либерал, как конь в пальто.
В Москве воняют псиной нелюди, Посольства вражие шустрят...	Не Братство. Равенство. Свобода. Нас окрыляли в те года — Вы были языком народа, Им и остались навсегда!

### Ангара

*В. Распутину*

Нас на родину Распутина Не пускала Ангара. Преградила путь она нам, Поднялась из волн гора!	Кто-то нам упрямо машет С того берега рукой. Знаю точно, машут наши, Там все наши за рекой!
Ждём паром. За лодкой лодку Шторм легко перевернул. Тот, кто пить не хочет водку, Пьёт из термоса бурду...	Где паром? Снесло теченье? Иль паромщик в магазин Укагил в село Тюленьё? Рек сибирских господин!
За рекой стоит деревня И ещё, ещё, ещё... Потому, что Русь — царевна! Это слуги все её.	А паромщик в малахае Режет носом круговерть. Ангара с волны взлетает, Да не может улететь.

## Голос

*Памяти В.Г. Распутина*

Неужто этот русский голос  
Уже навеки отзвучал...  
Молчун Распутин, беспокоясь  
О русской доле, не молчал.

В родной простор глядел с любовью  
Неизъяснимою, живой.  
Писал всей болью, всюю кровью,  
Не возвышая голос свой

Над русским домом, русским ладом,  
Над светоносною рекой,  
Но голос тот звучал набатом,  
Как в битве на передовой.

Он сердцем собственным латает  
Пробитую в России брешь,

Куда держава улетает  
И с нею тысячи надежд.

Его над бездною проносит  
Несчастий самых горьких вал,  
Но он не мог Отчизну бросить,  
Оставить без любви Байкал.

И снова шёл с сердечной речью  
К своим надёжным землякам,  
К озёрам русским, ясным речкам,  
Таёжным далям и лугам.

Ему внимали грады, сёла,  
Родная церковь, тёмный лес.  
...Звучит его бессмертный голос,  
Как голос совести, с небес.

*18 марта 2015 года*

\* \* \*

Неумолчный звон в ушах...  
Всё житейское отпало.  
Чья уставшая душа  
Над ночным Иркутском встала?

Чья горячая печаль  
В Ангару слетает с неба  
И спешит в немую даль  
Среди мартовского снега?

Горько мучаясь, дыша,  
Не иссякнет жизни драма.  
Не уйдёт никак душа  
Из ворот святого храма...

Ей бы выплакаться влать  
Возле дочери с женою.  
И к могилам двум припасть  
С той — последнею — виною...

Ей бы прошлое вернуть  
С верой, верностью земною,  
И — прощёною — уснуть  
Подле дочери с женою.

*20 марта 2015 г.*

## ЕЛИЗАВЕТА ОВОДНЕВА

ученица 10-го класса 23-й школы г. Тайшета

### Не верю

Памяти В.Г. Распутина — моего детства,  
отрочества, юности

И не сметёт веков теченье  
Следа, оставленного мной.

*Иоганн Гёте*

И первый раз — я Вам не верю,  
И первый раз — я рок кляню.  
Так — непонятна клетка зверю,  
Так — непонятна жизнь в плену.

В миг неразгаданный, престранный,  
Смотрю, в комок себя собрав,  
Сквозь бытия бинокль карманный  
И слышу: «Я ушёл. Я прав...»

Кому сказать теперь в трамвае:  
«Проснитесь, Рудик, вам сходить».  
Я — Ио. Плачу в марте, в мае...  
Но мне его не разбудить...

И, зашумев, как ветер в кроне,  
Он тихо-тихо стукнет в дверь:  
«Что нынче передать вороне?  
Что смертны мы... Но ты — не верь!»

2015 г.

## НАДЕЖДА МИРОШНИЧЕНКО

Сыктывкар

\* \* \*

*Памяти Валентина Распутина*

Ничего писать не хочу.  
Он ушёл — Великий Молчун.  
Он ушёл Герой и Пророк.  
Прожил он отпущенный срок.

Средь имён, событий и вех  
Он же был не один из всех.  
Он же был нам — один на всех.  
И на этих, да и на тех.

Девятнадцатый славен век,  
Но в двадцатом жил Человек,  
И такой он был Человек,  
Что сошёлся на нём весь век.

Наши слёзы теперь не в счёт.  
Больше он уже не придёт.  
Наш понять наступил черёд —  
Что же стоим мы как Народ.

16–17 марта 2015 г.

## ЮРИЙ РОЗОВСКИЙ

Братск

### Осенний месяц март

*Памяти В. Распутина*

Снег только тает, а кажется, травы  
Солнцем осенним сушит.  
Траур в России! Траур! Траур!  
В русских умах и душах!

Слёзы стекают в российскую слякоть  
Хлябей, болот, распутиц.  
Хочется плакать, плакать, плакать!  
Умер вчера Распутин.

Дрогнуло сердце и замерло мёртво  
Линией на экране.

Если в мозоли сердце стёрто,  
Как же оно не встанет?

Если оно, словно нерв оголённый,  
Ныло всегда некстати?  
Вот и скончался он — влюблённый  
В сельскую быль писатель.

Кажется, март — это осени месяц,  
Тленьем весь мир наполнил.  
Больше не вместе он, не вместе  
С нами. Живи и помни...

## АЛЕКСАНДР КУВАКИН

Москва

### Памяти Валентина Распутина

Белое поле. Река до небес.  
Умер Распутин? Распутин воскрес!

И, воскресая с народом своим,  
Верит, что дух его необорим.

Необоримы ни совесть, ни честь,  
Если герои Распутина есть.

Если терпением светлым они  
Взяли в охрану грядущие дни.

Да! Затопило нас кровью времён.  
Дымным пожарищем дом окружён.

Да! В нашем поле полно сорняка.  
Смыслом высоким не дышит строка.

Но если праведник есть хоть один,  
Слышится веянье горных вершин.

Плещутся флаги русских небес.  
Умер Распутин? Распутин воскрес!

## ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ

Рязанская область

### Памяти Валентина Распутина

Звучит сердцебиенье родников  
распевом, переливчатым и светлым.  
Звучит оно — и нет ему оков,  
и кажется оно вовек бессмертным.

И всё-таки грядёт последний срок.  
Его каким сиянием наполнить?  
Прислушаться к дыханью чистых строк  
и просто — жить, и просто — жить и помнить.

Ни на кого не возводя укор,  
ни у кого не требуя ответа.  
...Летит Земля, куда ни глянет взор.  
Лежит Земля на все четыре света.

И всюду — жизни солнечная новь,  
и всюду — родниковое звучанье.  
...А память переплавится в любовь  
и станет вечной, как твоё молчанье.

## ЮРИЙ КЛЮЧНИКОВ

Новосибирск

### Памяти Валентина Распутина

Что он успел в своей эпохе зыбкой?  
На правде не споткнуться никогда.  
Печаль под редкой сохранить улыбкой.  
Не перейти черту меж «нет» и «да».

Успел соблазны жизни встретить стоя,  
Отринуть перестроечную бредь.  
За подвиг получить звезду Героя,  
Но на пиджак ни разу не надеть.

Да — Сергию, России; нет — орде,  
А посреди — упрямая Непрядва.  
Русь никогда не победит неправда  
В любой победе и в любой беде.

И наконец, когда пришла пора  
Остановить движение мотора,  
Успел сказать Москве: «Прощай, Магёра!»  
Шепнуть Иркутску: «Здравствуй, Ангара...»

## НИНА ВОЛЧЕНКОВА

Брянск

### В.Г. Распутину

Не хватит слов, чтоб высказать всю боль,  
Она стекается в одну большую реку.  
Утрата всех народов и времён...  
Прощание с Великим Человеком.

Великий Житель Матушки-земли,  
Не тщетны наши братские порывы.

Прощения за всё, что не смогли  
Просить мы будем, сколько сами живы.

Нам подвига земного не забыть,  
Учиться нам у Вас, всю жизнь учиться.  
Как Вы, мы будем Родину любить,  
Чтоб ничего с ней не могло случиться.

## ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВА

Одесса

### В венок Валентину Распутину

На что вы, дни! Юдольный мир явления  
Свои не изменит!  
*Е. Баратынский*

Как больно, люди, как больно!  
Невосполнима утрата!  
О Русь! Ты была богата  
Когда-то...



А нынче... Каюсь: невольно,  
Может, обижу, простите!  
Пожалуйста, дольше живите,  
Творите.  
Но городом Первопрестольным  
Был мне Иркутск, не Москва...  
Поверьте: не просто слова —  
ЗДЕСЬ РУСЬ ЖИВА!  
Жила... Знаю: мир юдольный  
Явленья не изменит,  
И всем уйти предстоит...  
Но как болит, как болит!..

## ВАЛЕНТИНА КОРОСТЕЛЁВА

Московская область

### Иного нет расклада

*Памяти В. Распутина*

Россия — в сонме буден, А в душах горячо. Вот был у нас Распутин. А будут ли ещё?	И надо делать что-то В преддверье новых гроз.  Иного нет расклада, Чтоб пели соловьи Над головой солдата Великой той любви.
Но время ждёт работы, Не только слов и слёз.	

## ЕКАТЕРИНА ПИОНТ

Тюмень

### Валентин Распутин

...Консилиум соберётся в понедельник.  
*(из утренних новостей в субботу  
14 марта 2015 года)*

За ним не попевали... за неспешным.  
Он с тихим словом громче был других.  
Считал себя он, совестливый, грешным,  
Виновным — перед жизнью молодых.  
Консилиум собратся в понедельник,  
Наверное, не сможет, без него.  
Не станет он тревожить их, насельник,  
Он в это время будет далеко.

## ЭДУАРД ПЕТРЕНКО

Псковская область

\* \* \*

И дыбится Матёра снова,  
И с ней Россия вся живёт,  
Ему, распутинскому слову,  
Поклон последний отдаёт.

И нет такой в природе силы,  
Чтоб покорить сибирский лес,  
А боль российская застыла  
В бетоне Богучанской ГЭС...

## ЕКАТЕРИНА КОЗЫРЕВА

Москва

### Прощание с Валентином Распутиным

Тихо в храме. Народ не идёт, а течёт,  
Притекает рекой непрерывной.  
Тихо свечи горят. Тихо плачет приход,  
Скорбь людей и любовь неизбывны.

Всей Земли сострадальцу — небесный покой,  
Память вечная верному сыну.  
Я шепчу: вот душа его перед Тобой,  
Боже Правый, прими Валентина!

Это — ваш? — слышу я.  
— Наш писатель, родной,  
Русской жизни духовная сила.  
— Он о чём написал?  
— О России большой, —  
Я просвирне в ответ говорила.

Нам Байкал завещал: чистоту, глубину  
Убереечь от врагов и разора,  
А ещё сохранить нам себя и страну,  
Из-под вод чтоб возстала Матёра.

*19 марта 2015 г.*

## МАРИНА КУДИМОВА

Москва

### Памяти Валентина Распутина

Всё отдав и всё оставя  
На заступленной черте,  
Неподатливые к славе  
Умирают в немоте.

Так молчат снега с разбором,  
В пору вьюгами отвыв,  
Так молчит народ, в котором  
Был и ты доселе жив.  
А теперь над зыбью кровной  
Всходишь, вопреки тщете,  
В невозможной, полнословной,  
Вещей немоте.

## ИВАН ПЕРЕВЕРЗИН

Москва

\* \* \*

*Памяти моего учителя  
Валентина Григорьевича Распутина*

С утра совсем не по погоде  
дождь вдрызг размыл все колеи,  
душа своё слагала вроде,  
как будто в тихом забытьи.

И вдруг звонок: «Распутин умер!»  
О Боже мой, какая боль!  
И тотчас помрачнели думы,  
вскипая, как морской прибой.

Перехватили спазмы горло,  
и только волю сжав в кулак,  
я не заплакал, но исторгла  
душа: «Да будь ты проклят, мрак!»

И всё же в знак благодаренья  
я вспомнил классика слова:  
«Да не покинет вдохновенье  
твоей души, она — права...»

Россия... Родина... Отчизна...  
Мы так осиротели вдруг!  
Как будто жизнь — сплошная тризна  
и каждый день исполнен мук.

# Завещание Валентина Распутина

НА СМЕРТЬ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ

Кончина Валентина Григорьевича Распутина стала утратой поистине всенародной. И показала, что мы всё-таки остаёмся русским народом, несмотря на четвертьвековое прививание нам чуждых ценностей и более или менее успешную попытку перереформатирования нашего сознания, национальной памяти.

На уход всероссийского иркутянина откликнулись миллионы его почитателей. Страна, где книги, как и во всём мире, читать перестают, вдруг вспоминает — чуть ли не строка за строкой — написанное с середины 1960-х и в 1970-х нашим классиком, радетелем земли Сибирской, — повести «Деньги для Марии», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой», рассказы «Василий и Василиса», «Уроки французского» и, уже в начале 1980-х, «Что передать вороне», «Век живи — век люби» — шедевры прозы, сразу по публикации становившиеся на заветную русскую книжную полку.

Подмечают верно: за одну только «Матёру» Распутина можно было поставить памятник; однако он и сам воздвиг себе памятник ещё при жизни не только своими книгами, но и своей бескомпромиссной жизненной позицией в защиту природы от разорителей и в защиту простого и трудолюбивого народа Сибири; он печалился о сбережении народа и его будущем.

Какой ещё писатель, какой современник мог вызвать такой отклик! С Валентином Распутиным прощание проходит и в Сретенском монастыре, и в храме Христа Спасителя, и в Иркутске, и по всему Русскому миру...

Его сочинения ценят как часть личного, сокровенного и рядовой читатель, и филолог, и Патриарх, и Президент. Оказалось, что прозу Распутина мало того что прочли практически все, но она сама уже вошла в русский духовный код.

Более того, люди не только слышали болевое публицистическое слово сибиряка, но ощутили личное родство с этим совестливым человеком, чья душа радела о русской судьбе.

Из меня, в своё время всецело городского провинциального подростка, проза Распутина (в первую очередь), а также его собратьев, со-совестников (К. Воробьева, Е. Носова, В. Шукшина, Ф. Абрамова — каждый назовёт свой список; А. Солженицын называл их не «деревенщики», а «нравственники») сделала «почвенника». То есть русского человека. Произведения Распутина стали для меня сущностнообразующей, неотменимой ценностью. Дали возможность ощутить в себе крестьянские, мастеровые родовые корни.

Распутин и в безбожное время говорил языком совести, он, как его великие современники, свидетельствовал о Свете. И это было его служение.

О космической интимности в отношении к творчеству Валентина Распутина говорит и факт того, сколь проникновенно, причастно в современных дневниках, коими являются теперь и социальные сети Интернета, откликнулись на кончину современные литераторы, деятели культуры.

Валентин Курбатов в своем прощальном слове об ушедшем друге «Один над пропастью» заметил: «...Он держал святую плоть уходящей деревенской жизни, потому что знал, что в ней весь наш дух, наша память, наша вера и наше спасение. Ему давали Государственные премии, делали Героем Труда, а он будто не видел ни чести,

ни славы, потому что пропасть не отодвигалась, и, значит, как порой в отчаянии казалось, голос его не был слышен. И высокие комитеты, депутатство, Президентский Совет нужны были только все для того же крестьянства-христианства, для удержания памяти, для спасения перед исторической бездной, чтобы не приходилось русским старухам со своей землей и любовью оставаться на дне рукотворных морей, а русским женщинам брать в руки обреза и принимать на себя функции государства, раз оно само не хочет выполнять то, что обязано. <...> Он всегда, с самого начала... слушал большое русское сердце, ища ему исцеления. Он всегда был неудобен и всегда (как церковь в ее высоком и правильном понимании) «мешал нам жить» в наших слабостях и меньше всего обманывал себя и других «возрождением», потому что всегда имел слишком острое зрение.

Теперь уже навсегда ясно, что это он с горькой твёрдостью и правом поставил памятник русской деревне, утонувшей на наших глазах невозвратно, как Атлантида или Китеж.

И мы-то ещё, может, и не поняли, что невозвратно, и ещё обманывали себя заплатами, а он уже знал и строил ковчег, чтобы, если не «всякой твари по паре» (не оставалось уже никаких пар), то хоть последние народные духовные ценности уберечь. И последний раз напомнить, как мы были близки к тому, чтобы мир услышал тайну и силу русской правды, о которой он — этот самый мир — догадывался по книгам Толстого и Достоевского, Шмелёва и Бунина, диалога с которой искал, но которую руками своих политиков с нашими подпевалами сам и топил, не понимая, что топит и свой дух, и своё спасение».

«Распутин был исследователем тайны человеческой души, раскрывающейся в трагических обстоятельствах бытия, в которых благой выбор вовсе не предполагает благополучного земного исхода, — подмечает Олеся Николаева. — Он дал русской литературе и русской жизни новых героев, явил новые характеры...»

Уход выдающегося писателя и мгновенно образовавшееся на его месте «зияющее отсутствие» вызвали к жизни внимание СМИ, в первую очередь телевидения, которое, как мы знаем, жаждет «информационного повода». Тогда как ТВ могло бы, например, вместо idiotических ток-шоу все эти годы дарить отечественным телезрителям встречи с писателем, да хотя бы и в виде показа экранизаций его произведений, благо, таковые имеются (помним фильмы «Рудольфио» Динары Асановой, «Уроки французского» Евгения Ташкова, «Прощание» Ларисы Шепитько и Элема Климова, «Василий и Василиса» Ирины Поплавской, а также недавний «Живи и помни» Александра Прошкина).

Распутин не любил постсоветское разлагающее телевидение, говорил так: «Да, многие привыкли к той телевизионной жвачке, которой пичкают их с утра до вечера, многим она нравится. И боевики со стрельбой и кровью, и Содом в обнимку с Гоморрой, и пошлости Жванецкого с Хазановым, и эпатажи Пугачёвой, и «Поле чудес», и прочее-запрочее. Ну что же — на то и сети, чтобы ловить наивные души. Одно можно сказать: жалко их, сидящих то ли на крючке, то ли на игле». И ещё говорил: «С нами — поле Куликово, Бородинское поле и Прохоровское, а с ними — одно только «Поле чудес». <...> Там «свой». Одержимые одной задачей, составляющие один «батальон» лжи и разврата».

Вникнем же в слова Распутина-публициста.

К примеру, в интервью, данном им за год до кончины, ко дню своего 77-летия, где он говорит о борьбе за Россию, которую «только слепые принимают за наше внутреннее дело, и не видят, что крушение России подготавливалось давно и проводилось планомерно. <...> Теперешние демократические радения во имя якобы цивилизованной жизни — это дурно исполняемое действие перед жертвоприношением.

Отсюда и ложащиеся на плечи русского человека бремена, каких ещё не бывало,

отсюда его предстояние перед окончательной судьбой. Не завтра, а сегодня наступила решительная проверка, чего мы стоим.

Остались ли ещё в нас столь прославленные прежде мужество, стойкость, умение усилиться в каждом за десятерых и встать неодолимой дружиной, а главное — это испытание крепости нашего национального чувства, о которое в последние годы мы поистерли языки, но не имели возможности удостовериться, во что оно от подобных трудов возросло».

Эти слова писателя являются пророческими, сегодня мы в полноте ощущаем апокалиптическую правоту В. Распутина: «Россию обдирают как липку и «свои», и чужие — и конца этому не видно. Для Запада «разработка» России — это дар небес, неслыханное везенье, Запад теперь может поддерживать свой высокий уровень жизни ещё несколько десятилетий. Ну, а домашние воры, полчищами народившиеся из каких-то загадочных личинок, тащат буквально всё, до чего дотягиваются руки, и тащить за кусок хлеба им помогают все слои населения. Повалили Отечество и, как хищники, набросились на него — картина отвратительная, невиданная! Двадцать лет назад мировое государство с единым правительством, единой экономикой и единой верой могло ещё считаться химерой. После крушения СССР и прихода в России к власти демократической шпаны, с восторгом докладывавшей американскому президенту об успехах разрушения, мир в несколько лет продвинулся в своих мондиалистских усилиях дальше, чем за многие предыдущие столетия. Пал бастион, которым держались национальное разнообразие и самобытные судьбы. После открытия Америки и устройства там могучего космополитического государства прорыв в Россию стал главным событием второй половины прошлого столетия. Это слишком важная победа, чтобы её захотели отдать обратно. Сейчас Запад ещё прислушивается: что происходит в недрах нашей страны? — а через два-три года с нами начнут поступать так же, как с Ираком и Фолклендскими островами».

Поглядим на Украину, с которой «золотой миллиард» Запада поступает так же, как со странами Северной Африки или Ближнего Востока, где уже уничтожены сотни тысяч, а изгнаны со своих земель миллионы граждан. В 1992-м, когда Украина ещё не кровоточила, когда избегла гражданской войны, Валентин Распутин писал, понимая, к чему всё идет, во что отольётся, словно предвидел нынешний братоубийственный ад: «Российские славяне — это один народ, народ русский, разлученный историческими обстоятельствами в старые времена на три части и в разлуке наживший различия, давшие основания называться Малой, Белой и Великой Русью... «Москали», «москальство» — кривитесь вы вслед нам, как врагам своим. Нам не впервой слышать такое. Разве далеко обращаться за памятью о Киевской Руси, откуда разошлись мы на три стороны с одним и тем же лицом и языком, и разве только с возвращения от Литвы и Польши начинается ваша народность? Разве не такова степень сходства и сродства между нами, что дальше некуда, и ненавистный вам теперь «москаль» — часть ваша, хотите или не хотите вы это признать... Ваши предки, претерпевшие за русскость и сохранившие её, при возвращении на родину шли не за выгодой, а для исполнения общих наших обетов. Когда не твёрдость их и не верность Руси, быть вам сегодня диалектами польскими и австрийскими».

Увы, впавших в дикое средневековье сегодня не страшат ни польский, ни австрийский диалекты, ни утрата родства, ни провал в цивилизационную бездну. Тем не менее, «кажется, нет никаких оснований для веры, но я верю, что Запад Россию не получит. Всех патриотов в гроб не загнать, их становится всё больше. А если бы и загнали — гробы поднялись бы стоймя и двинулись на защиту своей земли. Такого ещё не бывало, но может быть».

Я верю — мы останемся самостоятельной страной, независимой, живущей сво-

ими порядками, которым тыща лет. Однако лёгкой жизни у России не будет никогда. Наши богатства — слишком лакомый кусок...»

Кое-кого корёжит разговор о патриотизме. Распутин объясняет, оставляя нам это как завещание: «Зачем патриотизм? А зачем любовь к матери, святое на всю жизнь к ней чувство? Она тебя родила, поставила на ноги, пустила в жизнь — ну и достаточно с неё, дальше каждый сам по себе. <...> Патриотизм — это не только постоянное ощущение неизбывной и кровной связи со своей землей, но прежде всего долг перед нею, радение за её духовное, моральное и физическое благополучие, сверение, как сверяют часы, своего сердца с её страданиями и радостями. Человек в Родине — словно в огромной семейной раме, где предки взыскуют за жизнь и поступки потомков и где крупно начертаны заповеди рода. Без Родины он — духовный оборвыш, любимым ветром может его подхватить и понести в любую сторону. Вот почему безродство старается весь мир сделать подобным себе, чтобы им легче было управлять с помощью денег, оружия и лжи. <...> Родина — это прежде всего духовная земля, в которой соединяются прошлое и будущее твоего народа, а уж потом «территория». <...> Нельзя представить Родину без Троице-Сергиевой лавры, Оптиной пустыни, Валаама, без поля Куликова и Бородинского поля, без многочисленных полей Великой Отечественной... Родина больше нас. Сильней нас. Добрей нас. Сегодня её судьба вручена нам — будем же её достойны».

«Национальную идею искать не надо, она лежит на виду, — говорит Распутин. — Это — правительство наших, а не чужих национальных интересов, восстановление и защита традиционных ценностей, изгнание в шею всех, кто развращает и дурачит народ, опора на русское имя, которое таит в себе огромную, сейчас отвергаемую, силу, одинаковое государственное тягло для всех субъектов Федерации. Это — покончить с обезьяньим подражателем чужому образу жизни, остановить нашествие иноземной уродливой «культуры», создать порядок, который бы шёл по направлению нашего исторического и духовного строения, а не коверкал его. <...> Политические шулеры всё делают для того, чтобы коренную национальную идею, охранительную для народа, подменить чужой национальной или выхолостить нашу до безнациональной буквы».

В. Распутин не без оснований считал, что реальность оказалась за гранью возможностей нынешней литературы, что «знакового» художественного образа для выражения нынешнего состояния России литература предложить не смогла и что, больше того, — наступила эпоха за гранью жизни, и для неё есть единственный образ — Апокалипсис в Откровении Иоанна Богослова.

По своей горькой правде, бескомпромиссной публицистике, знанию самых страшных, тёмных сторон русской жизни Распутин может показаться пессимистом (вспомним и его «Пожар», и последнюю повесть «Дочь Ивана, мать Ивана»), но вот что он говорит о русской молодёжи: «Молодые принимают национальный позор России ближе к сердцу (чем поколение сорокалетних. — С.М.), в них пока нетвёрдо, интуитивно, но всё-таки выговаривается чувство любви к своему многострадальному Отечеству.

Молодёжь теперь совсем иная, чем были мы, более шумная, открытая, энергичная, с жаждой шире познать мир, и эту инакость мы принимаем порой за чуждость. Нет, она чувствительна к несправедливости, а этого добра у нас — за глаза, что, возможно, воспитывает её лучше патриотических лекций.

...Сбитых с толку и отравленных, отъятых от родного духа немало. Даже много. Но немало и спасшихся и спасающихся, причём самостоятельно, почти без всякой нашей поддержки. Должно быть, при поддержке прежних поколений, прославивших Россию».

Многие спрашивают о роли Православия в русской жизни. У Валентина Распутина всё внятно: «В грязном мире, который представляет из себя сегодня Россия, со-

хранить в чистоте и святости нашу веру чрезвычайно трудно. Нет такого монастыря, нет такого заповедника, где бы можно было отгородиться от «мира». Но у русского человека не остаётся больше другой опоры, возле которой он мог бы укрепиться духом и очиститься от скверны, кроме Православия. Всё остальное у него отняли или он промотал. Не дай Бог сдать это последнее!»

В православном духовном поле отзывается на кончину писателя дочь известного философа, доктор филологии Анастасия Гачева: «Думаю о Валентине Распутине и о том, как нам, ныне живущим, протянуть руку помощи ему, находящемуся уже за смертной чертой. Молитвой, сердечным вздыханием, светлым воспоминанием, добрым словом. Но долг поминовения, любовной, воскрешающей памяти ещё и в том, чтобы обратиться к книгам писателя, к его образу мира, человека, истории. Открыть именно в эти скорбные, прощальные дни его повести и рассказы. <...> Сочетание поминальной молитвы и вдумчивого чтения, вникания в образ и слово, собеседования с писателем будет нашей общей, соборной поддержкой ему, уходящему в вечность, той «цепью любви», которая протягивается от живущих к умершим, свидетельствуя, что все мы — единое человечество и что «непременно восстанем».

*Станислав МИНАКОВ*

*16 марта 2015 г.*



## «...А сердце в Читу, всё в Читу, всё в Читу возвращается»

*Исполняется 50 лет, как в столице Забайкалья Чите прошёл семинар молодых писателей Сибири и Дальнего Востока.*

### I



*Эдуард Анашкин и Валентин Распутин*

В моём рабочем кабинете стоит один-единственный книжный шкаф, который очень дорог мне. Книг в доме много, они стоят в других комнатах на книжных полках. Но этот — особенный. Даже друзья-приятели, которые приезжают ко мне, прозвали его ласково «забайкальским». В нём стоят книги и журналы участников и руководителей семинара молодых писателей Сибири и Дальнего Востока, который прошёл в Чите с 6 по 16 сентября 1965 года.

Открываю его. Вот книга Геннадия Машкина «От мала до велика», изданная в Иркутске. Автограф автора: «Эдуарду Константиновичу с авторским, тёплым, сибирским приветом. С пожеланием творческого фарта на сложных путях творчества и чудотворчества! Г. Машкин».

Геннадий Николаевич прислал эту книгу мне в подарок ко дню рождения. В сборнике есть и повесть «Синее море, белый пароход», уже давно ставшая одной из любимых книг юных читателей не только в России, но и во многих зарубежных странах.

Рядышком с книгами Машкина стоят книги Александра Вампилова. Его «Утиная охота» — бессмертная пьеса. Это классика. Вампилов написал всего пять пьес, но стал одним из лучших драматургов страны.

Вот книги Евгения Куренного: «Белан», «Осенняя сухмень», «Поезд на рассвете». На семинаре я искал молодого прозаика из Читы, хотелось познакомиться с ним. Его рассказ «Белан», опубликованный в читинской областной газете «Забайкальский рабочий», буквально покорила меня — начинающего разводить голубей. Нашёл я Куренного в группе прозаиков, где руководителями были Семён Шуртаков и Виктор Астафьев.

Рядом стоят несколько книг Вячеслава Шугаева и «Роман-газета», где он опубликован. Я помню, как прошло «на ура!» обсуждение его повести «Бегу и возвращаюсь». Повесть была встречена очень тепло. Председатель правления Союза писателей РСФСР Леонид Сергеевич Соболев назвал Шугаева сложившимся писателем, а центральный образ повести — открытием в современной литературе.

Достаю с книжной полки несколько тонких книг стихов молодых поэтов Забайкалья, которые помещены в одной кассете под названием «Бригада», выпуска 1964 года. Вот книжечка стихов корреспондента областной газеты «Забайкальский рабочий» Ростислава Филиппова. Это была запоминающаяся личность семинара: почти

двухметрового роста, и, кроме этого, руководитель первого семинара поэзии Дмитрий Ковалёв сказал о читинском гиганте следующее: «Нас очень порадовал Ростислав Филиппов. Это цельный поэт. Биография у всех на семинаре интересная, но у него не только биография, у него творческая биография». Но и ещё на этом семинаре Ростислав стал своеобразным символом. Таким я его и запомнил на празднике книги, на центральной площади Читы им. В.И. Ленина.

Задолго до выхода писателей к читателям начался книжный базар. И вот с группой писателей к центру площади прошёл Леонид Сергеевич Соболев. В ту же минуту на площадь въехали две машины: на одной — эмблема семинара — сине-белый транспарант с голубем на острие пера на фоне раскрытой книги с надписью «Сентябрь-1965». На другой машине — стилизованный Рыцарь Книги (Ростислав Филиппов) с огромным пером вместо копья и с хозяйкой книжного базара — Дульсиной Читинской (Диной Стейскаль — преподавателем культпросветучилища).

В дальнейшем Ростислав в полной мере оправдал сказанные в его адрес добрые слова-напутствия на семинаре. Был Ростислав Владимирович и председателем Иркутского отделения Союза писателей России — крупнейшей организации Сибири.

Особняком стоят книги моего земляка-прозаика Николая Тихоновича Яценко. Беру в руки дилогию «С отцами вместе», состоящую из двух повестей — «Босоногая команда» и «Искры не гаснут». Эта книга о нашем родном с автором небольшом городке — станции Хилок. Дети рабочей окраины железнодорожного посёлка в годы Гражданской войны всеми своими силами борются с мятежными чехами, головорезами атамана Семёнова, японскими интервентами, американцами, своими местными буржуями. Они упорно ищут своё место в борьбе. И находят, когда их наставниками, руководителями становятся отцы, старые рабочие, большевики.

Николай Тихонович сыграл в моей жизни большую роль. Однако по порядку. Жил я в городе Хилок. На литературной карте Забайкалья надо чётко отметить Хилокский район, который дал плеяду замечательных поэтов и прозаиков, чьи имена вошли достойно не только в российскую литературу, но и в советскую. На станции Хилок в 1928 году окончил семилетнюю школу Дамдижанов Цырен-Доржи, и после этого начинается его трудовая жизнь, богатая и разнообразная. Работал редактором республиканской газеты, директором книжного издательства, министром культуры Республики Бурятия, начальником управления Совета министров республики. Автор семи сборников рассказов и повестей. Был награждён орденом Монголии «Полярная звезда».

Жимбиев Цыден-Жан родился в селе Кусота Хилокского района. Автор сорока книг поэзии и прозы, изданных на бурятском и русском языках. Он первый выпускник Литературного института из писателей Бурятии. Был президентом Ассоциации детских творческих работников монголоязычных народов.

Мунгонов Барадий также родился в селе Кусота. Окончил Высшие литературные курсы. Автор многочисленных сборников рассказов и очерков. Наиболее полно проявился талант писателя в многоплановом романе «Хилок наш бурливый», изданном в 1959 году и ставшем заметным явлением в бурятской литературе. Роман неоднократно издавался в Москве, вышел в «Роман-газете». Лауреат Государственной премии Бурятии.

А Виктор Брониславович Лавринайтис долгое время жил и работал лесобъездчиком на станции Магзон Хилокского района. Повесть «Падь золотая» неоднократно издавалась в Москве и была любима тысячами школьников нашей советской страны. С этим удивительным лириком в прозе связана целая эпоха забайкальской литературы.

Николай Тихонович Яценко родился и вырос на станции Хилок, автор многих книг о комсомольцах и пионерах Забайкалья. Первый лауреат премии Читинского обкома ВЛКСМ. Награждён орденом «Знак почёта».

Николай Александрович Юрконенко родился в Хилке, закончил здесь же среднюю школу, профессиональный лётчик, прозаик. Одно время, с 1998 по 2000 год, возглавлял Читинскую писательскую организацию.

Так вот и я жил в Хилке. Это недалеко от Читы. Работал на железнодорожной станции слесарем по ремонту вагонов да ждал призыва в армию. Ещё со школьной скамьи писал рассказы. Однажды взял домашний адрес известного писателя-земляка Яценко у его племянницы Веры, с которой я учился в одном классе, и послал Николаю Тихоновичу несколько своих рассказов. Он благосклонно отнёсся к моим опусам, доброжелательно разбирал их, рекомендовал мне литературу для чтения, поругивая за хулиганское юношеское поведение — в курсе дела держала его племянница — и, конечно же, советовал учиться.

Перед семинаром я послал Николаю Тихоновичу свою новую небольшую повесть о работе железнодорожников, которую он разгромил, назвав её поверхностной, но вдруг, не успев впасть по этому поводу в уныние, получаю от Яценко приглашение приехать в Читы. При встрече Николай Тихонович сказал: «Не обижайся, но ты ещё творчески не дотягиваешь до участия в семинаре. Поэтому вот тебе гостевой билет. Настаиваю, чтобы ты поучаствовал в работе секции прозы. Их пять. Выбирай любую. Руководители опытные, известные прозаики. Будет тебе хорошая литературная школа, потом ещё будешь благодарить меня... Выше нос, Анашкин!..»

Как же он оказался прав, дорогой мой Николай Тихонович, строгий и взыскательный, но при этом такой доброжелательный наставник!

Яценко на семинаре я видел часто. То он в окружном Доме офицеров, то на площади, то в здании медицинского института, где занимались семинаристы, то в гостинице.

Когда мне удаётся побывать в Москве, я первым делом направляюсь по Комсомольскому проспекту к Правлению Союза писателей России, поднимаюсь на второй этаж и останавливаюсь около бюста первого председателя Правления Союза писателей России Леонида Сергеевича Соболева. Я благодарю его за всё добро, что он сделал для писателей России.

Однако вернёмся в Читы. От имени организаторов семинара — ЦК ВЛКСМ и Правления Союза писателей РСФСР — участников форума приветствовал Леонид Сергеевич Соболев: «Пожалуй, только здесь я понял значение и масштаб встречи, которую мы с вами начинаем сегодня в гостеприимной столице Забайкалья Чите. Она как радушная хозяйка встретила нас лазоревым сибирским небом и улыбками горожан...» После столь лирического начала Леонид Сергеевич определил направление семинара: «Литературное произведение существует в неразрывности понятий мастерства и идейности. Та сложная мозаика, которая предстала перед нами в произведениях участников семинара, выражает окружающую нас современную жизнь великой Сибирской страны, Приморья, Дальнего Востока...» Речь Леонида Сергеевича была выдержана в духе того времени, когда отечественная литература была во многом связана с идеологией строительства великой страны.

Пока писатели общались, читатели тоже времени не теряли — незабываемым событием для Читы стал праздник книги. Задолго до выхода писателей к читателям начался книжный базар. На стоящих тут же персональных именных столиках продавались авторские книги, а сам автор сидел тут же и, буквально, не разгибая спины, давал автографы читателям. Тут же книги штамповались памятными экслибрисами, тут же заводились знакомства писателей с читателями. А читатели в Чите тогда (надеюсь, что и сегодня!) были особенные, с особым чувством художественной красоты и правдивости слова и отзывчивостью на него. Наверное, не случайно уже в самом названии города «Чита» звучит эта тяга к чтению.

Кто-то из великих людей сказал, что воспоминания — это не пожелтевшие листы и реликвии, а живой трепещущий мир... Помнится, я подошёл к столику председате-

ля Правления Читинской писательской организации, детского поэта, купил его книгу «Говорящие каракули», куда автор вписал мне тёплый автограф. Обратив внимание, что под мышкой я держу не так уж много книг, Георгий Рудольфович Граубин посоветовал мне присоединиться к группе молодых парней: «Может, они тебе какие-то книги подарят...» Ребята, стоявшие тесным кружком, вели запальчивый спор. На моё приветствие почти не отреагировали, горячо обсуждая какой-то рассказ. Я пригляделся, прислушался к спору и понял, что речь идёт о рассказе вот этого кареглазого, с юношеским овалом лица и такой, на мой взгляд, неуместной на его лице бородой парня. Это был Геннадий Машкин. А рядом, горячо жестикулируя в пылу спора, стояли Дмитрий Сергеев, Вячеслав Шугаев, Александр Вампилов и молчаливый, как мне показалось, глядящий исподлобья своими чёрными пытливыми глазами Валентин Распутин. К нему я и обратился с просьбой подарить книгу. Распутин как-то по-детски улыбнулся: «Пока не могу. Вот выйдет книга — тогда и подарю с радостью...» Так состоялось моё знакомство с будущим классиком отечественной литературы.

«Хорошими воспоминаниями надо дорожить, не так уж они многочисленны», — сказал как-то после семинара один из руководителей группы поэзии Марк Соболев. Дорожа ими и с помощью дневника, который я веду с детских лет, решил записать их спустя много лет...

Вечером по Чите гуляло шутовое выражение директора издательства «Молодая гвардия» Юрия Верченко, что Чита вышла на первое место в стране по количеству писателей на душу населения.

...Через месяц после «Забайкальской осени» меня призвали в ряды Советской армии. Служил там же, в Забайкалье, в учебном подразделении Читы, а затем в Борзе, Даурии. Чертовски повезло со службой — в частях была добрая, обширная библиотека, в том числе современной литературы, и я имел возможность много читать и следить за выходящими книгами...

У Валентина Распутина вышли книги в Красноярске и Иркутске, затем появились публикации в журналах «Сибирские огни» и в тоненьком ещё тогда журнале, которому предстояло стать одним из ведущих русских журналов, «Нашем современнике».

Я тем временем отслужил в армии, поработал секретарём комсомольской организации в вагонном депо у себя на родине — в городе Хилюк, писал, начал публиковаться. А потом переехал на постоянное место жительства в Поволжье, где живу и по сей день. Но и расставшись волею судеб с родной Сибирью, продолжал пристально следить за творчеством Валентина Распутина, Вячеслава Шугаева, Александра Вампилова, Геннадия Машкина. По-землячески и по-читательски — как читатель и как читинец — радовался за них.

Но вернусь в ту «Забайкальскую осень — 1965», чтобы рассказать про рабочие будни семинара. Проходил он в аудиториях медицинского института, двенадцать творческих групп работало. Пять групп — прозаиков, пять — поэтов и две группы драматургов. Мне посчастливилось принять участие в работе двух прозаических групп, где руководителями были Франц Николаевич Таурин и Борис Александрович Костюковский — первый ответственный секретарь Читинской писательской организации, со дня её образования, и уроженец Кемеровской области прозаик Владимир Алексеевич Чивилихин.

...Нас семнадцать человек присутствует в аудитории, где творческими руководителями были Франц Таурин и Борис Костюковский. Около часа слушаем рассказ двадцатилетнего геолога, приехавшего на семинар в Читу прямо с берегов Угрюм-реки — Бодайбинского прииска — Геннадия Машкина. Рассказ называется «Под парусом». В аудитории — и председатель Правления Союза писателей РСФСР Леонид Соболев. Руководители и семинаристы работают больше трёх часов кряду без всяких перекуров. Точно подметил впоследствии Борис Костюковский: «У нас была исключительно дружеская обстановка. В эти несколько дней и ночей, когда приходилось работать

весь день, а руководителям семинаров ещё и ночью, читая произведения семинаристов, — мы все очень подружились...»

Интересно было на всех семинарах, но меня почему-то особенно тянуло на первый этаж в 32-ю аудиторию. Там работала группа прозаиков под руководством Владимира Алексеевича Чивилихина. В группе были: П. Неделин (Абакан), Д. Сергеев (Иркутск), Д. Стахорский и В. Битюков из Читы, Ю. Дерфель (Якутск), В. Распутин (Красноярск), Г. Кузнецов (Якутск), а также приглашённым был читинец И. Палкин. Владимир Алексеевич Чивилихин оценивал своих подопечных по степени значимости и относил их к трём группам. К первой он отнёс тех, чей уровень литературной подготовки был невысок и кого пригласили участвовать в семинаре как бы авансом. Однако и на них маститые писатели-руководители времени не жалели. Добрые советы ведь никогда не пропадают даром. Во вторую группу попали семинаристы, пишущие умело, даже профессионально, но, как говорили тогда, «не заставляющие читателя переживать, не допускающие под черепную коробку ежа». А третья группа — это открытые на семинаре таланты. К ним принадлежал, прежде всего, Распутин, чей рассказ «Ветер ищет тебя» Владимир Алексеевич прямо из Читы продиктовал в Москву по телефону в редакцию «Комсомольской правды». Потом я узнал, что 9-го сентября у книжного киоска около окружного Дома офицеров ещё до открытия его выстроилась длинная очередь. «Комсомольская правда» шла нарасхват, многим даже не хватило. А 10 сентября в № 37 «Литературная Россия» дала рассказ Валентина Распутина «Я забыл спросить у Лёшки». К этому приложил руку сам Леонид Соболев. Это были первые публикации Валентина Распутина в Москве. «Ещё очень молодой, весь в поисках, иногда удачных, иногда неудачных... Мы имеем дело с редким дарованием, он привлекает углублённой психологичностью, смелостью, с которой берётся за сложные вещи. В языке у него нет бесцветности, бесполости, фразы иногда сложные, но они сработаны из точного лексического материала. Мы верим, что из него получится хороший писатель...» Да и сам Валентин Григорьевич в дальнейшем так сказал о форуме: «Я был участником Читинского семинара, благодаря ему я стал писателем, потому что неизвестно, как сложилась бы моя судьба, не получи я одобрения первым своим рассказам в Чите в 1965 году. Для меня поэтому читинский семинар — одно из самых памятных и этапных событий в жизни».

На заключительном заседании семинара Владимир Чивилихин точно предсказал: «Мне почему-то кажется, что великий художник, которого мы с нетерпением ждём, придёт из Сибири. В Сибири есть всё: язык нетронутый, есть правда особая, бодрящая, которая зовёт не к созерцанию, а к действию. В Сибири сосредоточены политические, экономические, моральные и другие проблемы. В Сибири характеры крепкие, крупные, которые отражают психический склад сибиряка. Наконец, Сибирь живёт на земле, дорогой для всех народов. И в Сибири сложнее, чем где бы то ни было. Мы уверены, что именно Сибирь даст художника, которым будет гордиться человечество...»

Эти слова Владимира Алексеевича Чивилихина оказались поистине пророческими, потому что таким художником, как показало время, оказался участник Читинского писательского форума, ставший впоследствии Героем Социалистического Труда, лауреатом Государственных и многих других премий, писатель-сибиряк Валентин Григорьевич Распутин.

## II

Распутин выполнил своё обещание, данное мне на Центральной площади Читы: подарил мне книгу... и не одну. В моём «забайкальском» книжном шкафу очень много книг Валентина Григорьевича с дарственными подписями. Книги, изданные в Москве и Иркутске, Калининграде и Китае, много журналов с его произведениями. Среди

книг Распутина стоит и моя книга рассказов и повестей «Запрягу судьбу я в санки», предисловие под названием «На добро — добром» написал Валентин Григорьевич. Кроме этого сохранились письма Распутина ко мне, телеграммы.

Мы часто встречались с Валентином Григорьевичем в Москве в Союзе писателей на Комсомольском проспекте, в Доме творчества в Переделкино. Эти встречи мне были не только радостны, но и поучительны. Распутин ко мне всегда относился по-братски внимательно и дружески-нежно.

Вот его тоненькая книжка, изданная на простой бумаге без переплёта в Иркутске в 1981 году. Этот рассказ «Уроки французского» с такой дарственной надписью: «Эдуарду Анашкину с низким поклоном за своё давнее и бывшее. В. Распутин». Рассказ посвящён Анастасии Прокопьевне Копыловой, матери друга Распутина Александра Вампилова, талантливому педагогу и замечательному человеку. Впервые рассказ был напечатан в трёх номерах иркутской областной газеты «Советская молодёжь» в августе месяце 1973 года, а в 1978 году на телеэкраны страны вышел фильм режиссёра Евгения Ташкова «Уроки французского», который на Восьмом Всесоюзном телевизионном фестивале в Баку в 1980 году получил Большой приз фестиваля. В 1980 году московская фирма грамзаписи «Мелодия» записала на грампластинку рассказ Распутина «Уроки французского». Счастливая судьба у этого рассказа: он был издан отдельной книгой в Москве в издательстве «Советская литература», а затем в издательстве «Детская литература».

Валентин Григорьевич так говорит о создании своего рассказа: «Я описал своё детство в рассказе «Уроки французского». Конечно, есть вымысел, учительница не играла со мной на деньги, но учительница на самом деле присылала мне посылки с макаронами. Я ими кормился. И потом, когда стал писать рассказ, одних макарон для сюжета явно не хватало, пришлось выдумывать. И вся деревня так жила, думаю, вся крестьянская Россия так жила...»

В моей папке под названием «Уроки французского Валентина Распутина» собран большой материал об этом рассказе. Здесь высказывания критиков, прозаиков, материалы с диспутов и вечеров по этому рассказу, но мне ближе всего высказывание иркутского критика Валентины Семёновой. Написано коротко, ёмко, ярко: «Уроки французского», на самом деле, — это уроки русской жизни, принявшей тягостное, неласковое русло. Конец сороковых, послевоенные годы, Сибирь... Одиннадцатилетний отрок получает первый опыт пути против течения. Путь этот удивителен тем, что не стал жёстким ответом на жестокость времени. Противостояние шло по другой линии: выдержка, терпение, преодоление себя. Что заставляло его так держаться? Детская душа — как зерно, из которого прорастают побеги будущего характера. И видно по всему, душа героя рассказа «Уроки французского» была изначально рождена вместе с совестью. Совесть повела от первых уроков к «заданию на жизнь» — именно так было осознано писательское призвание автором «Матёры» и «Моего манифеста».

Заданием стало неколебимое стояние за тысячелетнюю Россию — с её Сибирью, Байкалом, Сергием Радонежским, с её литературой, уронить величие которой нельзя, как нельзя утратить доверие учителей. Уроки горькой правды о дне нынешнем превозмогаются уроками любви, веры в преодоление отчаяния, веры в то, что наступит подъём духовных сил народа, и он не поддастся натиску материалистического мирового порядка...

Главный урок Распутина: зло побеждается не злом, а накоплением и единением сил добра, и победить можно...»

Я очень долго искал прототипы рассказа — «учительницу французского языка» Усть-Удинской средней школы Лидию Михайловну Данилову. И помогла мне её следы найти собственный корреспондент центральной «Российской газеты» в Поволжье Валентина Зотикова. Она, оказывается, уже писала о Лилии Михайловне, встреча-

лась с её младшей дочерью, живущей в Нижнем Новгороде, Татьяной Пономарёвой. Так у меня появилось много письменного материала и фотографий учительницы. А Валентина Васильевна разрешила даже воспользоваться её материалом о Лидии Михайловне.

Родилась Лидия Михайловна Данилова в 1929 году в Москве, в Орликовом переулке. В 1937 году семье пришлось поменять адрес, когда отец — сотрудник наркомата лёгкой промышленности, — чтобы избежать участи сослуживцев, попавших в жернова репрессий, отправился работать в далёкое Забайкалье, в город Сретенск, который расположен на красивой реке Шилке. Здесь же окончила среднюю школу и поступила на факультет французского языка Иркутского государственного педагогического института. А после завершения учёбы получила направление на работу в таёжный райцентр Усть-Уда. Здесь ей предстояло учить ребятишек французскому языку в местной средней школе. И конечно тогда, вышагивая в туфлях на каблуках по тротуару, сделанному из сосновых досок, с чемоданом в руке, молодая учительница вовсе не догадывалась, что этот глухой сибирский посёлок станет особой вехой в её жизни. Не показывая в классе, что первое время, как писала она впоследствии в письме местному краеведческому музею (и честь ей и хвала, что не скрывала этого), «плакала по ночам и проклинала день и час, когда сошла здесь с парохода». Поначалу ей самой пришлось многому учиться — носить воду из колодца, топить печь, колоть дрова. Но начинался день, и она — легка и молода, как подлинная француженка. И никто не видел ни слёз, ни проклятий, а только любовь и счастливое служение. Конечно, ей трудно было перебороть собственный страх и неуверенность. И было отчего: новенькую «француженку» назначили классным руководителем самого «хулиганского» в школе восьмого «б», в котором из двадцати шести учеников шестнадцать были «двоечниками». «Я сначала боялась их как чёрт лаdana», — признавалась она спустя годы. К счастью, сами сорванцы-подростки в поношенных ватниках, с холщовыми сумками, глядя на свою всегда спокойную и строгую «классную даму», не догадывались об этом. А вскоре жители Усть-Уды перестали жаловаться директору школы на их выходки — ребята после уроков не болтались по улицам. Лидия Михайловна организовала для них драматический кружок. Через год класс было не узнать: за это время ей удалось не только подтянуть успеваемость, но и подружиться со своими учениками, хотя иногда это считалось «непедагогичным». Как об этом здорово сказано в стихотворении «Уроки французского» поэтессы Надежды Мирошниченко из Сыктывкара:

*Уроки французского! Тёмный заснеженный вечер.  
И русская девушка в дальнем сибирском краю  
Голодного мальчика учит изысканной речи,  
Французской фонетике вместе со словом «люблю».*

*Он так одинок, этот мальчик, и так простодушен.  
Он очень талантлив, но очень, к тому же, строптив.  
И как она хочет согреть его чистую душу,  
Её чистоты и доверия не замутив.*

*«Учительке» страшен далёкий раскат канонады,  
Москва затемнённая и в похоронках село.  
Но русский язык защищать тогда было не надо:  
Все русскими были — и это к победе вело.*

*А юная девушка, странная, словно из книжки,  
С своим «силь ву плэ» и своим простодушным «мерси»  
Спустившейся с неба тому представлялась мальчишке,  
Таких он не видел ещё до сих пор на Руси.*

*Уроки французского — памяти сладкая дрёма,  
Где мирное небо и солнце — ковригой большой...  
Где три мушкетёра, где радостно и невесомо...  
А эта «учителька» — фея с прекрасной душой.*

Одним из немногих, кто не доставлял Лидии Михайловне хлопот, был Валя Распутин — тихий скромный мальчик с последней парты. Хотя ему, оторванному от родного дома, в полугодные послевоенные годы приходилось куда сложнее, чем одноклассникам. И молодая учительница хорошо это знала.

— Мама всегда уверяла, что никакой особой роли в судьбе будущего писателя она не сыграла, — вспоминает младшая дочь Лидии Михайловны Татьяна Пономарёва. — Незадолго до её отъезда был такой случай: ребята решили сделать ей подарок к празднику, но не знали, что выбрать. Тогда они просто собрали деньги. А мама была удивительный человек, когда ей дарили, к примеру, книгу, она тут же старалась подарить что-то взамен. Конечно, отказалась: «Ребята, я не возьму». Те обиделись: «Мы же от чистого сердца! Что же теперь — обратно раздавать?..» Тогда она сказала, что ей будет очень приятно, если они помогут однокласснику Вале Распутину — он лежал в больнице... «Да разве он возьмёт? Вы же знаете — он у нас гордый, хоть и тихоня». Но мама нашла выход: по её совету, дети сказали, что деньги — от родительского комитета. «Будешь работать — вернёшь». Уж не знаю, кто рассказал потом ему всю правду. Знаю лишь, что долг тот он школе отдал.

К тому времени в жизни молодой учительницы произошли важные перемены: там же, в Усть-Уде, она познакомилась с парнем — горным инженером Николаем Молоковым, полюбила его и вышла замуж. А вскоре уехала с ним в шахтёрский город Черемхово Иркутской области, куда супруг получил назначение на работу. Семейное счастье Лидии Молоковой было недолгим: в 1961 году в дом пришла беда — погиб муж... В тридцать два года она осталась вдовой с двумя маленькими дочками на руках. Мать её уже перебралась из Забайкалья к родственникам в Мордовию. Лидия Михайловна с детьми отправилась к ней. В то время в Саранске в университете открылась кафедра французского языка, и Лидию Михайловну взяли на работу.

— Первым нашим домом стала комната в преподавательском общежитии, — рассказывает младшая дочь Татьяна Пономарёва. — Размещались мы там с трудом: старшая сестра Ирина спала на диванчике, а я — вместе с мамой. Но я не помню, чтобы мама когда-нибудь унывала и жаловалась. Уже на склоне лет она как-то сказала мне: «Вот, все говорят — «тяжёлое время». А мне никогда не жилось тяжело!..»

Однажды на факультете французского языка университета имени Огарёва пришла разнарядка: искали преподавателей для работы в Камбодже, и Лидия Михайловна сразу решила: «Еду!» Молокова была хорошим педагогом, потому что в Институте кхмеро-советской дружбы уже через год её назначили заведующей кафедрой, хотя там работали преподаватели из лучших вузов СССР. Заслуги Лидии Михайловны отмечены правительством этой страны: она стала командором камбоджийского королевского ордена. По завершении командировки в Камбоджу Лидию Молокову послали в Алжир. Там она преподавала в школе кадетов революции — заведении полувоенного типа, где учились дети, чьи родители погибли во время революционных событий. Дочери в это время учились в Подмоскowie, в интернате Министерства иностранных дел — там находились дети, родители которых работали за рубежом. И когда Лидия Михайловна вернулась из Алжира, она получила, наконец, квартиру на юго-западе Саранска.

В маленькой «двушке» на проспекте 50-летия Октября жили три поколения семьи Молоковых. Лидия Михайловна забрала сюда свою старенькую маму и свекровь, оставшуюся в том самом сибирском посёлке Усть-Уда. Когда её спрашивали,



зачем взваливать на себя такую ношу, она отвечала коротко и ясно: «На меня мои дети смотрят».

А последняя командировка Лидии Молоковой была во Францию, в парижскую Сорбонну, где она начала вести практические занятия на кафедре славистики. Там ей довелось познакомиться с литературным творчеством своего бывшего ученика. О Распутине она услышала на лекции о современных советских писателях. Тут же всплыл в памяти мальчик из далёкого сибирского райцентра: неужели тот самый?

В Париже Лидия Михайловна часто приходила в магазин русской книги «Глоб», что в латинском квартале города. Один из визитов в магазин запомнился ей на всю жизнь. Она познакомилась здесь с актёром Владимиром Ивашовым, который приехал во Францию представлять знаменитый фильм «Баллада о солдате». Во время беседы с Ивашовым к ней подошла продавщица: «Вы интересовались книгами Распутина? К нам поступил его сборник!» Открыв пахнущий типографской краской томик, она пробежала глазами биографию автора, в оглавлении наткнулась на рассказ «Уроки французского» и, быстро пролистав страницы, стала читать... «Что с Вами?» — спросил Ивашов, увидев, как лицо собеседницы внезапно покрылось красными пятнами, а в уголках глаз заблестели слёзы. А Когда Молокова сбивчиво объяснила, в чём дело, почтительно поцеловал её руку и тоже купил книгу.

Лидия Михайловна написала автору прямо из Парижа, на конверте вывела так: «СССР. Иркутск. Валентину Распутину». А через некоторое время получила ответ: «Я знал, что ВЫ отзовётесь...»

— Валентин Григорьевич — удивительный человек, — вспоминает дочь Татьяна. — Свои письма к маме он подписывал: «Ваш старательный и бестолковый ученик» или просто «Ваш Валя» и постоянно звал её в гости. Мама воспользовалась его приглашением. Вернувшись, рассказывала, с каким теплом встречали её хозяин и его супруга Светлана Ивановна, милые скромные люди, о настоящем сибирском угощении — пирогах с рыбой и особом «немещанском» уюте в их доме. Продолжал он писать маме и потом, когда она переехала из Саранска в Нижний Новгород — поближе ко мне, внучке Кате и правнуку Артёму. Затем мама тяжело заболела и уже не могла писать, и Валентин Григорьевич звонил, чтобы справиться о её здоровье.

В семье Лидии Михайловны Молоковой бережно хранят её архив. В толстой стопке писем от писателя последней лежит телеграмма: «С болью в сердце узнал о кончине Лидии Михайловны, моей дорогой учительницы и мудрой наставницы. Не стало её, и тяжесть до конца моих дней легла на сердце и душу. Поклонитесь ей в последние минуты и от меня тоже...»

К этому времени Валентин Григорьевич Распутин — выходец из далёкого иркутского села — стал писателем: русским, советским и мировым...

Каждый год с весны до осени Распутины жили в Иркутске, а зимой — в Москве. В Иркутске они большую часть времени проводили на даче. Скучали без дочери Марии, ждали её. Ждал её и город. Как обычно, приезжая летом домой, давала она концерт в органном зале. Дочь у Распутиных — третий ребёнок у родителей — была их радостью. Первым в семье появился сын Сергей. Второй сын, Роман, принёс в семью Распутиных большое горе — умер от пневмонии в возрасте десяти месяцев. Дочь Мария появилась на свет в 1971 году. Девочка была крепкая, здоровая, но всегда, с самого раннего возраста, хотела быть самостоятельной и обладала сильным характером. Очень ярко отражено это в рассказе её отца «Что передать вороне?» Вот небольшой отрывок из него:

*«Я забежал на исходе дня в детский сад за дочерью. Дочь очень мне обрадовалась. Она спускалась по лестнице и, увидев меня, вся встрепенулась, обмерла, вцепившись ручонкой в поручень, но то была моя дочь: она не рванулась ко мне, не заторопилась, а, быстро овладев собой, с нарочитой сдержанностью и неторопливостью подошла*

*и нехотя дала себя обнять. В ней выказывался характер, но я-то видел сквозь этот врожденный, но не затвердевший ещё характер, каких усилий стоит ей сдерживаться и не кинуться мне на шею...»*

Будучи подростком, Мария не любила, чтобы на нее обращали внимание, фотографироваться или сниматься на видеокамеру отказывалась категорически, избегала попадать в кадр. Она многое успела сделать в этой жизни: с отличием окончила теоретическое отделение Иркутского музыкального училища, Московскую консерваторию и аспирантуру по двум специальностям — теория музыки и орган, прошла годовую стажировку по органу в Германии, в Любеке, защитила диссертацию, преподавала в Московской консерватории и руководила редакционно-издательским отделом, пела в народном хоре Сретенского монастыря... Она постоянно была в движении, в работе, в творческом поиске. Как хорошо сказал о ней профессор Московской консерватории, заведующий кафедрой теории музыки (на которой работала Мария) Александр Сергеевич Соколов: «За свою недолгую, трагически оборвавшуюся жизнь Мария Валентиновна Распутина успела сделать очень многое. Маша была по-настоящему талантлива, и это проявлялось во всём, за что она бралась — будь то исполнительство, наука или педагогика. До сих пор не могу свыкнуться с мыслью, что нет теперь рядом этого удивительно честного, доброго, чуткого человека».

«Есть люди, — написала о ней одна из коллег, — которые приходят в этот мир для осуществления определённой миссии. Они словно посланы свыше, чтобы научить нас чему-то очень важному — сделаться добрее, чище, сильнее, мудрее. Исполнив свой долг, они уходят... А мы остаёмся, возвращаясь к своим будничным заботам. Но, бережно храня в памяти светлый образ с горькой печатью разлуки перед Вечностью, мы тоже становимся другими.

Именно таким посланником Божиим была Маруся. Пройдёт немало времени, прежде чем притупится боль, затянется пустота, а милый родной облик Маруси преобразится в прекрасный, совершенный лик Марии».

9 июля 2006 года дочь Валентина Григорьевича и Светланы Ивановны летела самолётом, совершающим рейс по маршруту Москва — Иркутск. Уже по городу были расклеены афиши о её предстоящем концерте... Светлана Ивановна с сыном Серёжей приехали в аэропорт встречать Марию, а Валентин Григорьевич остался на даче. Самолёт А-310 совершил посадку, было объявлено, что он успешно приземлился, но — неожиданно стал набирать скорость, выехал за пределы взлётной полосы и врезался в гаражи, стоящие рядом с аэропортом... Возник пожар, спастись удалось немногим. 124 человека погибли, и среди них — Мария Распутина. А впереди для родителей было самое ужасное — опознание, опознание того, что осталось от любимой дочери, от Марусеньки: всё обгорело — ни лица, ни одежды... Опознать дочь удалось по крестике, он у неё был необычный. Телеграммы, письма соболезнования шли нескончаемым потоком. Вот одна из телеграмм:

*«Дорогие Валентин Григорьевич и Светлана Ивановна! С чувством глубокой скорби узнал о трагической гибели вашей дочери Марии Валентиновны! Примите искренние соболезнования! Православная Москва знала Марию как усердную прихожанку, певчую народного хора Сретенского монастыря и сотрудницу его издательства. Москва музыкальная помнит её как талантливого органиста, вдохновенного исследователя, внимательного педагога. Кроткий и светлый облик Марии навсегда останется в памяти всех, кому посчастливилось с ней общаться. Благодарю Бога, что перед своим отъездом, в праздник Владимирской иконы Божией Матери, Мария исповедовалась и причащалась Святых Христовых Таин, а накануне вылета пела на Божественной Литургии. Всё это вселяет в нас твёрдую надежду на милость Божию. Господь, Своим неизреченным Промыслом призвавший Марию в вечные обители, да успокоит её в селениях праведных. Вам — силы пережить горе, постигшее*

*Вашу семью. С уважением, — Алексей, Патриарх Московский и всея Руси».*

Вот что писала мне в своём письме её тётя, Евгения Ивановна Молчанова, младшая сестра Светланы Ивановны Распутиной: «...Невозможно поверить, что нет нашей Маруси, нашей Шурки. Она так стремилась приехать в свой родной Иркутск, пожить на даче, где её так ждали родители, хотела погостить у нас, в Порту Байкал, в домике, где прошло её детство. Светлана рассказывала, как они любили ходить на пляж, проводили там целый день. Серёжа с воодушевлением разводил костёр, варил с помощью мамы в котелке похлёбку, варили чай, сооружали из веток шалаш, где и укладывалась после обеда спать младшая сестра, и отцу предоставлялась возможность спокойно в тишине работать. Здесь Валентину очень хорошо работалось. Именно здесь, на даче, в Порту Байкал написаны его знаменитые произведения: рассказы «Что передать вороне?», «Наташа», «Век живи — век люби», повесть «Прощание с Матёрой». Через несколько лет Распутины купили дачу поближе к городу, на 28-м километре Байкальского тракта. А домик в Порту Байкал был подарен нам, чему мы были очень рады и благодарны, и живём в нём уже более тридцати пяти лет. Маруся, приехав на Байкал, сразу предлагала отправляться «в походы»: на маяк, где можно было полюбоваться прекрасным видом, а заодно и пособирать душицу; в лес за грибами, за старыми коричневыми листьями бадана, которыми можно заваривать очень вкусный и ароматный чай; на первый туннель, на который мы забирались и разглядывали диковинную заячью капусту...»

Вместо концерта Марии Распутиной в органном зале Иркутской филармонии состоялся концерт, посвященный её светлой памяти, потому что на 19 августа пришлось сороковины её трагической гибели. Вот как написал об этом замечательный сибирский поэт Владимир Скиф — человек, который знал Марию многие годы лично:

*Сырой Иркутск. Костёл старинный.  
Сороковины. Дождь идёт.  
Органый зал. Он ждёт Марию.  
Он каждый год Марию ждёт.*

*О, как она к нему стремилась!  
Живой орган её встречал,  
Хмелел, сдавался ей на милость,  
И обновлялся, и звучал.*

*И как-то странно, очень странно,  
Что нет её. Тень из угла  
Метнулась, как душа органа,  
И задыхалась, ожила.*

*Он помнил каждое мгновенье:  
Тех встреч и репетиций ход,  
Конcertов бурное течение  
И рук Марусиных полёт...*

*А в небе рано, слишком рано  
Звезда Марусина взошла.  
Болит, скорбит душа органа,  
О той, что рядом с ним была.*

*И вот полёт — к органу или  
К иным — Господним берегам...  
Чтоб мы Марию не забыли,  
Звучит, как Реквием, орган.*

«Велико горе родителей, потерявших дочь, велико горе брата, потерявшего любимую и единственную сестру, велико горе родственников всех, погибших в Иркутске. Что же делать нам, как жить дальше? Я думаю, я уверена, что наша Маруся ответила бы так: «Живите и помните» — так закончила своё письмо-воспоминание её тётя Евгения Ивановна Молчанова.

После смерти Марии жизнь в семье Распутиных разделилась на «до» и «после». Такое горе вынести было трудно даже такому сильному и волевому человеку, какой была Светлана Ивановна. Да, рядом был муж, был сын, была внучка Тонечка, появился внук Гриша, внучка Любочка, но Марии-то — не было!

Валентин Григорьевич отказался от многих праздничных мероприятий на следующий год — год своего семидесятилетия. Гибель дочери очень сильно подкосило здоровье Светланы Ивановны. Но Распутины всё чаще и чаще вспоминали о грядущем в их жизни юбилее — 50-летию совместной жизни. В канун золотой свадьбы Валентин

Григорьевич и Светлана Ивановна венчались в церкви Святого равноапостольного князя Владимира в городе Иркутске.

Светлана Ивановна Распутина была незаурядной, многогранной личностью. После её смерти остались дневники, которые она вела до замужества: две общие тетради, где она записывала все свои сокровенные мысли, размышления о жизни, понравившиеся ей стихи, отрывки из прозаических произведений, впечатления о прочитанном. Я очень благодарен сыну Распутиных Сергею, который разрешил кое-что использовать мне в этой статье. Вот записи Светланы Ивановны из дневника:

20.12.1959

*То, что пишу здесь, это какая-то очень малая частица моего «я». В жизни столько весёлого и грустного, просто милого, и радостного, и печального, и тревожащего, а я пишу как-то немного однобоко. И иногда становится страшно, что многое растеряю в памяти и, быть может, никогда не вспомню. Но ведь эти маленькие человеческие подробности и являются основой больших человеческих чувств.*

«Светлану (или Асланочку, как называли мы её в семье с лёгкой руки моей дочери Даши), — пишет мне в письме её младшая сестра Евгения Ивановна Молчанова, — волнует многое».

19 января 1958 года

*Кем я буду? Я сама не знаю. Кем я хочу быть? Не знаю.  
То есть, я чувствую, что я могу быть Человеком.  
Я есть, я существую сейчас. Я тонко всё чувствую,  
При виде неба, деревьев, снега, солнца, реки, людей,  
При звуках музыки внутри всё трепещет и бьётся.  
Я люблю жизнь. Я хочу жить, жить светло, чисто,  
Бурно и ярко.  
Но во что выльется всё то, что я имею?  
Претворятся ли мои хрустальные мечты в жизнь?  
И кто поможет сделать это?  
И есть ли он, человек, которого я люблю?  
Жизнь с которым будет счастливой,  
Человек, который будет любить меня, поймёт меня?  
Я думаю, он живёт, он ищет меня. Он уже любит меня такой,  
Какой меня сделает любовь к нему...*

Светлане, написавшей это, 19 лет. Удивительным образом слова её перекликаются со стихами её папы — известного поэта Сибири, основателя Иркутской писательской организации Ивана Молчанова-Сибирского, написанные в двадцатилетнем возрасте в 1923 году:

*Я жить хочу... Я страстно жажду жить,  
Но чтобы не обыденно и пусто!  
Хочу гореть и всей душой любить,  
Всей полнотой нетронутого чувства...*

Дочь и отец были очень похожи во всём: и по внешности — высокие, статные, с правильными тонкими чертами лица, синеглазые, и по характеру — честные, прямые, справедливые, отзывчивые. Их связывала большая дружба, они могли говорить на любые темы, делиться своими рассуждениями о жизни, обсуждать прочитанные книги.

«Читала Светлана очень много, — пишет Евгения Ивановна, — у нас была прекрасная библиотека. Когда папа приезжал из Москвы, а ездил он исключительно по

делам писательской организации, — всегда привозил новые книги, и мы с нетерпением ждали, когда же он начнёт распаковывать чемоданы и вручать каждому долгожданные издания.

Когда умер папа, всем нам, его детям (а нас было шестеро), очень его не хватало. Светлане же, старшей, особенно. Она лишилась верного друга, собеседника».

Вот строки из дневника Светланы Ивановны:

*10.06.1959*

*Я знаю, вернее, знала, только одного красивого мужчину. Он красив всем, красив и внешне, и внутренне. Это папа. Таких больше нет. И его нет. Нет нигде. О, боже, как это страшно. Навеки...*

Перелистываю страницы дневника. А вот и жизненное кредо Светланы Ивановны:

*28 августа 1960 года*

*Надо жить в полную силу. Держать. Творить.  
Не бояться повседневности. Подчинять её себе.  
Всегда, везде быть сильной, независимой.  
И чтобы все это знали.  
И никогда не раскисать, по крайней мере,  
чтобы никто не видел этого.*

Этим принципам она следовала всю свою жизнь. Закончив университет, с маленьким сыном Серёжей (которому не было тогда ещё и годика) и мужем Валентином Распутиным, Светлана Ивановна уезжает по распределению в Красноярск, где работает преподавателем высшей математики в Технологическом институте.

Жить пришлось в общежитии, что было непросто: общая кухня, туалет, душ... Вот уж, действительно, приходилось «подчинять повседневность». Выручали соседи.

Светлана всегда была сильной, деятельной. Все хозяйственные заботы она брала на себя. Когда им в Иркутске предложили подыскать квартиру большей площади, Светлана Ивановна активно взялась за поиски, перебрала массу вариантов (а предлагали им квартиру и в новостройках), но остановилась на пятикомнатной «сталинке». В квартале от набережной Ангары. Это была «убитая», как нынче говорят, коммуналка, где требовался большой ремонт. Но зато в ней была большая комната необычной формы, пятиугольная, в которой разместился кабинет Валентина Григорьевича. Светлана Ивановна принялась обустраивать квартиру. Все вещи, всю мебель, и шторы, и люстры — всё это она подбирала сама. Занятия по благоустройству новой квартиры ей приходилось сочетать с работой: после возвращения из Красноярска она преподавала высшую математику в Иркутском институте народного хозяйства.

В доме у Распутиных всегда былолюдно: приходили друзья-писатели Валентина Григорьевича, обращались за советом начинающие авторы, заходили подруги Светланы Ивановны, одноклассники Серёжи и Маруси. Все, кто попадал в их дом, были накормлены, Светлана Ивановна всё делала ловко и быстро. Она прекрасно готовила, могла запечь в духовке бараний бок или мясо, приготовить вкуснейшие пироги с черёмухой, с брусникой, покрытые сверху толстым слоем сметаны, умела стряпать изысканные торты, такие как «Каприз женщины», «Графские развалины», а в Пасху — духмяные куличи.

Все эти годы, как и всю свою жизнь, Светлана Ивановна много читает. Она знает все новинки литературы, просматривает журналы, всегда в курсе политических событий, культурной жизни.

Через два года после гибели Марии Светлана Ивановна тяжело заболела. Болезнь она переносила стойко. Всё старалась делать сама, ведь она всегда была независимой.

Никогда не жаловалась, даже когда боль была непереносимой. Она оберегала мужа, она знала, что он талантлив, она любила его.

Умерла Светлана Ивановна Распутина 1 мая 2012 года и похоронена на Смоленском кладбище города Иркутска, рядом с дочерью Марией.

В последние годы мы с Валентином Григорьевичем чаще созванивались, чем переписывались. Когда в апреле месяце 2013 года мне позвонили из Иркутского отделения Союза писателей России и сказали, что я включён в состав делегации по предложению Валентина Григорьевича Распутина на Всероссийский праздник русской духовности и культуры «Сияние России» в Иркутске, я поначалу даже дар речи потерял. Не сразу нашёлся, что ответить. Уже потом вспомнил, что месяц назад Валентин Григорьевич прислал мне подарочное издание своей книги «Прощание с Матёрой» с таким автографом: «Эдуарду Анашкину дружески, с надеждой на скорую встречу в Иркутске. В. Распутин». Вот они, наши русские классики! Ничего не обещают, но и сказанных слов на ветер не бросают.

Когда приехал в Иркутск и увидел состав делегации, то ещё раз осознал юбилейную значимость праздника. Сильнейший состав писателей! Здесь собрался цвет нашей литературы. Поэт, прозаик, главный редактор ведущего литературного журнала «Наш современник» Станислав Куняев, политический и общественный деятель, писатель, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов, писатель, преподаватель Московской духовной семинарии Владимир Крупин, поэт, прозаик и главный редактор журнала «Москва» Владислав Артёмов, главный редактор журнала «Родная Ладога» (Санкт-Петербург) поэт Андрей Ребров, народный писатель Республики Саха (Якутия) Николай Лугинов, выдающийся фотохудожник и кинооператор, член редколлегии журнала «Роман-газета» Анатолий Заболоцкий и, конечно, сам Валентин Григорьевич, почтивший своим присутствием многие мероприятия праздника!

Позже к группе писателей присоединился молодой талантливый поэт Василий Попов. Тон празднику задавали и были «движителями» всего действия замечательные поэты-иркутяне Владимир Скиф, Василий Забелло, Михаил Трофимов. Мы выступали в школах и учебных заведениях, в библиотеках и на предприятиях, в литературно-театральном салоне Вампиловского центра. Были мы и на Кругобайкальской железной дороге. Не забуду поездку на малую родину Валентина Распутина в посёлок Усть-Уда, где стоит красавец деревянный Богоявленский храм, построенный с помощью Валентина Григорьевича. Писатели побывали в этом храме и получили благословение настоятеля протоиерея о. Владимира.

В Усть-Уде прошло детство Валентина Григорьевича, здесь он окончил среднюю школу. Между прочим, местом одной из многих сталинских сибирских ссылок была Усть-Уда! Сталин не забыл об Усть-Уде, став генсеком. По его указанию многие юные усть-удинцы побывали в Москве... Дважды в Иркутске у меня состоялась беседа с Распутиным. При последней беседе Валентин Григорьевич меня спросил, прищурился свои чёрные глаза: «Эдуард, за последние годы ты так интересуешься моим творчеством, моей личной жизнью. К чему бы это?» — «Да вот, Валентин Григорьевич, «дело» завёл на Распутина. Хочу книгу о нём написать из серии «Жизнь замечательных людей». Валентин Григорьевич тихо рассмеялся и молча пожал мне руку.

Удалось мне побывать в святой святых для Распутина — на Смоленском кладбище, где похоронены его любимая жена и дочь. И побывал там благодаря Анатолию Заболоцкому. Услышал случайно, как Анатолий Дмитриевич попросил художественного руководителя Иркутского Театра русской драмы, заслуженного деятеля искусств России Михаила Корнева свозить его на кладбище, где похоронены Мария Валентиновна и Светлана Ивановна Распутины, я попросил взять меня с собой, мне давно уже хотелось поклониться могилам этих женщин. Когда мы уже тронулись в путь, выяс-

нилось, что никто не знает, где находятся могилы. И я рискнул позвонить Валентину Григорьевичу. Он помолчал в трубку. Потом спросил: «А где вы сейчас находитесь?» Мы были ещё в пределах Иркутска. Валентин Григорьевич велел подъехать к нему. Вышел с пакетиком в руке. Как назло, у нас не получилось купить цветов: цветочный магазин, на который мы рассчитывали, оказался уже не цветочным!.. Так вот, без цветов, явились мы на кладбище. Когда стояли около могил Марии и Светланы, Валентин Григорьевич вынул из пакета бутылку марочного итальянского вина. И снова наклейка: в машине не оказалось ни штопора, ни стаканчиков. Михаил Корнев как-то чудом проткнул пробку в глубь бутылки. И мы, что говорится, прямо «из горла» пригубили по глотку. Я себя в душе ругал, что не подготовился к поездке. Грустно стало, что судьба порой посылает нам возможность, а мы оказываемся не готовы... Я видел, что и у моих спутников как-то погрустнели и помрачнели лица. Только Распутин стоял, как всегда, отрешённо. Да ещё Анатолию Заболоцкому некогда было предаваться мрачным думам, он снимал на камеру для будущего фильма кладбище, лес... И вдруг — с дерева белочка! Прыг к нам. И вертится возле нас! И не боится нас, человек! Смотрю на белочку — и как-то полегчало на душе. А Валентин Григорьевич говорит: «А ведь это добрый знак, это душа усопших даёт нам о себе знать...» Анатолий Заболоцкий уже эту белочку как только не снимал, с каких ракурсов! А она и кинокамеры не боялась.

А вечером, накануне отъезда, Распутин подарил мне красочный фотоальбом выпуска 2012 года «Валентин Распутин. Дорога домой» с тёплой дарственной надписью.

Последний раз мы разговаривали по телефону с Валентином Григорьевичем 5 февраля. Он был в больнице. «Как вы себя чувствуете?» — «Не очень, но обязательно встретимся с тобой. Есть о чём поговорить. Материал, который пишешь о читинском семинаре, пришли, посмотрю...»

Не позвонит. Не посмотрит...

Но я обещаю, что побываю на Вашей могиле, дорогой Валентин Григорьевич, и возложу букет цветов!

Похоронили Валентина Григорьевича Распутина на территории Знаменского монастыря города Иркутска.

*Эдуард АНАШКИН*

# Бесстрашный пророк

МАРИЯ АВВАКУМОВА

Москва

## Урок

*Валентину Распутину*

Мы все, кто духом уцелели  
в объятьях сатаны-страны,  
мы веры в Бога не хотели,  
но верой были спасены.

Но для чего? Для новых терний? —  
не зажил и от старых лоб.

Для осязания материй  
нетленных — ужас и озноб?..

Жесток урок. Зато богаты  
своим умом на свалке схем.  
И то, что рушили когда-то,  
теперь вздымаем надо всем.

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВ

Ангарск

## Пророк

*В.Г. Распутину*

Над судьбами пастбищ и пашен  
навис затопления рок...  
Но всё же в Отечестве нашем  
нашёлся бесстрашный Пророк.  
Он пишет правдивую повесть,  
о прошлом заводит рассказ  
и будит уснувшую совесть,  
живущую в каждом из нас.  
Радетелей с волчьим оскалом  
к позорному ставит столбу  
и вместе с несчастным Байкалом  
печальную делит судьбу.  
Министрам знаком его почерк,  
им слова в укор не скажи!..  
Зачем он о Правде хлопочет,  
когда мы привыкли ко лжи?  
К чему ему мерзость порока,  
неравная с властью борьба?

А разве ещё у Пророка  
бывает иная судьба?!



## ЛЮДМИЛА БАРЫКИНА

Москва

### Как в 1941-м

*В.Г. Распутину*

Глаза распутинских старух  
глядят нам в души.  
Сердца их разрывает тихий стон.  
Пожар вокруг.  
Наш общий дом разрушен,  
И сатана наслал свой легион.  
Мне грезится: стоят они в платочках  
По всем дорогам мёртвых деревень.  
И молятся за нас, сынов и дочек,  
Поверивших  
в пустых посулов звень.  
Слова лукавы. Речи громогласны.  
Толпа сама собой опьянена:  
И строили не то, и выжили напрасно,  
Отсталые — всё «русская вина».  
Вот «перестроимся»,

войдём в всемирный рынок —  
С Европой уравниемся в правах...  
Но бьёт под рёбра кованный ботинок,  
И новый русский падает во прах!  
Торопит век. Спешат работоторговцы:  
В цене всё русское —  
мозги, краса невест...  
А вдруг опомнимся,  
и выйdet по пословице:  
И Бог не выдаст, и свинья не съест?!  
Стоят заступницы, стоят старухи наши.  
С любовью и молитвой вековой.  
Мы перестроились —  
мы строимся на марше.  
Как в сорок первом —  
встанем под Москвой!

## ЛЮДМИЛА БЕНДЕР

Иркутск

\* \* \*

*Валентину Распутину*

Дожили мы до юбилеев:  
И старые враги,  
и старые друзья.  
Одними бедами болея,  
Мы разошлись.  
Одна стезя?

Не думаю.  
Одно едино —  
Россия-матушка.  
Она  
Пером Распутина водила...  
Разъединила нас волна,

Волна раздоров  
и развала,  
Где поколение одно.  
Десятого дождёмся  
вала  
И снова будем заодно?..

15 мая 1997 г.

## АНАТОЛИЙ БОГДАНОВИЧ

Московская область

\* \* \*

*Валентину Распутину*

Стрóки — струны, книга — гусли,  
Срок последний не истёк.  
Если небо — это устье,  
Человечество — исток.

## ВИКТОР БРОНШТЕЙН

Иркутск

\* \* \*

*В.Г. Распутину*

Я ровно в полночь у реки	Не Новый год, а каждый день
Природы слышу оживленье,	Природа трепетно встречает,
Здесь всем законам вопреки	И праздников минувших тень
Дрожат в ознобе маяки,	У затонувших деревень
Из вод глухое рвётся пенье.	Слезой неожиданной отмечает.

3 сентября 2008 г.

## ЕВГЕНИЙ ВАРЛАМОВ

Иркутск

### **Актрисе Татьяне Кулаковой для роли из «Последнего срока» В. Распутина**

Хороша была роль — в ней Мирониха ищет корову.  
«Заблудилась скотина... А вóна — медведь за хребтом!» —  
И напевно, и складно, а то и неладно — коряво  
причитает она своим скорым старушечьим ртом...

Ой, хорошая роль!.. — Но себе я сыграл бы корову —  
забодать бы медведя, пока он меня не задрал,  
задарма и дуряя мою дымящейся кровью... —  
А и в страсть помычу, оглушая свой набожный страх.

\* \* \*

Приехал Валентин Распутин.  
Речь  
не бросит с ходу, словно шубу с плеч.

Степенное упрямство мысли.  
Брови  
натянуты обидчивой струной.  
И взгляд впотай, как стволлик нарезной,  
но не уклончив, а мерцает вровень  
с отеческою болью и виной.

Уйдёт в себя, и долго безотчётно  
тень думная светает на челе  
той самой русской волюшкой вольготной,  
мучительной, духовно-неотлётной  
любовью сына к матери-земле.

Общаться наспех не стремись — не будет.  
Не пустит мысль на ветер и разор.  
Присмотрится, приметит, облюбует,  
теплей оденет да прочней обует —  
гуляй всю ночь просторный разговор!

Соизмеримый с тем большим и малым,  
что острой болью плещется в груди,  
штормит и стонет, и грозит Байкалом,  
эпохой взлётов, горестных провалов,  
серьёзной тайной гнева и любви.

## АНАТОЛИЙ ГОРБУНОВ

Иркутск

### Звездопад

*В. Распутину*

Устану жить — не вздрогнет Русь.  
Последний раз притронусь к хлебу —  
Звезда прокатится по небу.  
Ей благодарно поклонюсь.

Заботы сыну передам.  
И думы выпущу на волю.  
Не осужу чужую волю.  
И в гроб сосновый лягу сам.

Над перекладиной ворот  
Уже другая ярко вспыхнет.  
Повоет пёс, затем утихнет.  
Столпится в горнице народ.

Поднимет стаю белых птиц  
С полей январских ветер синий.  
В ложбинах двух скрипучих линий  
Намёрзнет скорбь туманных лиц...

## Новый храм

*Валентину Распутину*

Люди добрые, вы подивитесь:  
Нам на радость, на горе врагу —  
Новый храм появился, как витязь,  
На ангарском крутом берегу.

В стане строен, оплечьями ровен,  
Он поднялся в немалый свой рост.  
Крепко связана плоть его брёвен  
В чашу, в лапу и в ласточкин хвост.

И над куполом-шлемом с рассветом,  
Во все стороны зримый окрест,  
Засиял он спасительным светом —  
Православный немеркнувший крест!

Верь, мой друг!  
Сатанинские силы завывают в бессилье пустом:  
Не поставите им крест на России,  
Если будет Россия с крестом!

\* \* \*

Тревожно за русское Слово!  
Но вспомнишь —  
Светлеет вокруг:  
Пока есть Распутин с Беловым —  
Не надо тревожиться, друг!

## АЛЕКСАНДР ДОРИН

Москва

\* \* \*

*В. Распутину*

Добрых глаз тихий свет и усталость,  
Долгих дум вековая печаль —  
Тебе просто Россией досталось  
Напитать мировую скрижаль.

Над затопленной русской судьбою  
Закружить и заплакать навзрыд,  
Ослепительной, вольной грозой  
Потрясти устоявшийся быт,

Онемелость души растревожить  
И наполнить глаза синевой,  
Силу русскую болью умножить,  
Русский дух повести за собой...

В зыбке той, что тебя укачала,  
В той звезде, что глядит в полынью, —  
Чудо-Слово, что было в начале,  
Проскользнуло сквозь тайну твою...

И теперь на ристалищах духа,  
Где кипит нескончаемый бой,  
Стала нашим деяньям порукой  
Твоя неутолимая боль.

.....  
А досталась другая б судьбина —  
Слух в народной молвы берегах  
Весть донёс: в монастырских глубинах  
Проживает святейший монах.

## ЕЛЕНА ЖИЛКИНА

Иркутск

\* \* \*

*Валентину Распутину*

Им не досталось слов стоустых,  
Они безвестны для молвы.  
Стоят деревни среднерусские  
В ста километрах от Москвы.

Мы знаем: здесь война проухала  
Недавно будто и давно...  
Живёт она, деревня Глухово,  
А рядом с ней Вертошино.

Живут они, как сёстры близкие,  
С одною общею судьбой.

А между ними обелиски  
С солдатской алою звездой.

И в День Победы, той порою,  
Когда заголубеет даль,  
Идут сюда одной тропой,  
Несут в себе одну печаль.

Над головами, где-то в небе,  
Неистово кричат скворцы,  
И весть о том, что смерти нету,  
Разносится во все концы.

## ВАСИЛИЙ ЗАБЕЛЛО

Байкальск

\* \* \*

*Валентину Распутину*

I

Загребает в небо мощнокрылый,  
Вожакom поставленный судьбой.  
Беспокойный крик его унылый,  
Как маяк в пучине голубой.

Впереди летящему труднее:  
Застят бури, гибелью грозят.  
Потому и выше, и прямее  
Пролегла небесная стезя.

II

Мы вопим, отчаянно метаясь,  
В поисках срываем голоса,  
С прошлым дорогим переключаясь,  
Как слепые, чертим небеса.

И в тоске, нас давящей безбожно,  
Зачастую с миром не в ладу  
Ищем голос зычный и надёжный,  
Ищем путеводную звезду.

## ГЕОРГИЙ ЗАМАРАТСКИЙ

Иркутск

### Валентину Распутину

Блестит Распутина звезда  
Над величавой Ангарою.  
В десятый раз и неспроста  
Его «Последний срок» открою.

А повесть яркая «Пожар» —  
О нашей жизни злой и дикой!  
Нанёс он яростный удар  
Убийцам Родины великой.

Главу склоняю перед ним,  
Перед суровой правдой вящей.  
Пусть будет Господом храним  
Талант великий настоящий.

От нашей чистой Ангары  
Он взял могущество и верность.  
В его рассказах нет игры,  
А есть труда закономерность.

Впитал он опыт трёх веков  
В обеспокоенную душу,  
Не «топот пьяных мужиков»,  
А мудрость дедов и старушек.

Горит Распутина звезда,  
Река сверкает величаво  
И сквозь века и сквозь года  
Несёт распутинскую славу.

## ГЕННАДИЙ ИВАНОВ

Москва

### На выставке

*(У портретов М. Лобанова, Ю. Селезнёва, В. Распутина)*

Пророки наши с лицами повстанцев.  
Я вас люблю за искренность души,  
За ваше доблестное постоянство,  
Что вы за Родину, а не за барыши...

Что вы не свыклись с отведённой ролью.  
Идёт неотменимая борьба.  
Не примирились вы с угрюмой болью —  
Не свыклись, что России, мол, труба.

## СЕРГЕЙ ИОФФЕ

Иркутск

\* \* \*

*В. Распутину*

Добротный, навеки поставленный дом  
на взгорке, у самой железной дороги.  
В нём стрелочник жил. Выходил с фонарём,  
цигарку курил в темноте на пороге.

Он знал своё дело — встречал поезда  
и стрелку старательно чистил от снега.  
Он думал: не сдержит ничто никогда  
ни гула, ни свиста, ни стука, ни бега.

Ах, много на свете бессменных вещей,  
да, видно, не всё неизменно на свете...  
Растут между шпал лебеда и пырей,  
играют на рельсах беспечные дети.

Теперь эти рельсы ведут в никуда,  
в тупик упираются на косогоре.  
А дальше — ангарская плещет вода:  
Андрея Ефимыча Бочкина море.

В горах скоростная легла магистраль,  
а эта дорога — уже не дорога.  
Июнь отцветает, метелит февраль —  
Забот у старушки не очень-то много.

Лишь в полночь, от мрачных тоннелей устав,  
приходит не знающий шумных перронов  
печального вида кургузый состав  
из двух или трёх допотопных вагонов.

И стрелочник в том не виновен ничуть,  
что вдруг его должность сочли за безделку:  
оставлен отныне единственный путь  
и нету нужды перекидывать стрелку.

...А в доме — иной обитатель. Причём,  
как стрелочник, трудится тоже на совесть.  
Он пишет здесь повесть. Не знаю, о чём.  
Дай бог, чтобы вышла хорошая повесть!

## ЛЕОНИД КАЗАНЦЕВ

Иркутск

### Защитим Байкал!

*В.Г. Распутину*

Воды чистейшая слеза  
Сверкнула на моей ладони.  
Мрачнеет неба бирюза —  
Сарма, видать, в лихом разгоне!

Там, где седой Хамар-Дабан  
До боли стискивает скулы,  
Клочкастый стелется туман,  
А, может, дым встаёт в разгуле?

Я вижу чёрные клубы,  
Как исполины-истуканы,

Мечами роковой судьбы  
Байкалу вновь наносят раны...

Обидой полнится Байкал,  
Закат пролил немало крови...  
Но у Байкала засиял  
Непобедимый свет любви!..

Тот свет, как звёзды в облаках,  
Затёплил Валентин Распутин,  
И мы его во всех веках,  
Как нашу совесть, — не забудем!

## НАТАЛЬЯ КАМЫШОВА

Иркутск

\* \* \*

Это ведь судьба русской бабы —  
быть вдовой...

*В.Г. Распутин*

Сгорают листья на лету,  
И пепел холоден в горсти...  
Мне б на могильную плиту  
Все листья в пригоршнях снести,

Как письма их перебирать,  
Кляня треклятую беду...  
Не хочешь ты меня позвать,  
Но скоро я сама приду!

## Люди-деревья

*Валентину Распутину*

1

Люди-деревья живут неприметно.  
Тихо стоят в стороне у обочин.  
Люди-деревья не стонут под ветром,  
Только всё глубже вгрызаются в почву.  
Люди-деревья тянутся к свету.  
Поят птах малых рососою с листочков.  
Люди-деревья на тоненьких ветках  
Целое небо несут в одиночку.

2

Люди-деревья тянутся к свету.  
Люди-пиявки цепляются к веткам.  
Люди-ручьи океаны питают.  
Люди-болота других поедают.  
Люди-стрижи чертят в небе дороги.  
Люди-медведи возводят берлоги.  
Люди-вампиры сбиваются в стаи...  
Всё в этой жизни очень непросто:  
Каждый твой шаг —  
светофор, перекрёсток.

## ВАСИЛИЙ КОЗЛОВ

Иркутск

## Старуха

*В. Распутину*

Хлопотала. Копошилась.  
Вынесла немало бед.  
Даровала Божья милость  
Этой бабе сотню лет.

Вместе с солнцем просыпалась,  
Молча солнцу улыбалась  
И крестилась на восход.  
Больше как-то всё молчала,  
Ну а если и ворчала —  
Не от сердца, от забот.  
В день единый отстрадала —  
Не доставила хлопот.  
И ушла в небытиё,  
Словно не было её.



Посреди светёлки тесной —  
Гроб, одетый в свет небесный,  
Сыновья толпятся, внуки.  
«Попрощайся подойди...»

И лежат сухие руки,  
Днём впервые эти руки  
Отдыхают на груди...

## ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ

Братск

### Зимняя элегия

*В.Г. Распутину*

Восхищаться перестали мы:  
Словно плёнкой застит взгляд.  
...В пышных шубах горностаевых  
Нынче ёлочки стоят.

Русь зимой — щедро подарками.  
В лес войди — и удивись!  
За серебряными арками  
Здесь совсем иная жизнь...

Плюнь на мысли оголтелые!  
Прочь о деньгах разговор! —  
И берёзок шали белые  
Озарят твой мрачный взор.

Зазвонят лесные звонницы  
О величье бытия —  
И душа добром наполнится  
Вновь по самые края.

1997 г.

## ВЛАДИМИР КОСТРОВ

Москва

\* \* \*

*Валентину Распутину*

Так хотел он нас предостеречь:  
Убедить, что Слово — это весть.  
Человек, России давший речь,  
Жизнью заплатил за слово *Честь*.  
Но теряет смысл свои права...  
Чудаки, а пуще — дураки,  
Золотые русские слова  
Разменяли мы на медяки.  
Если не пойдём Его тропой,  
Если зарастёт Его тропа,  
Станем мы базарною толпой  
У Александрийского столпа.  
Так прими его благую весть,  
И тебя врагу не победить...  
Ну а людям, потерявшим честь,  
Можно из истории уходить!

## СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

Москва

\* \* \*

*Валентину Распутину*

На родине, как в космосе, не счесть  
огня и леса, камня и простора,  
всё не вместишь, не потому ли есть  
у каждого из нас своя Матёра,  
своя Ока, где тянет холодок  
в предзимний день от влаги загустевшей,  
где под ногой ещё хрустит песок,  
крупнозернистый и заиндевший...  
Прощай, Матёра! Быть или не быть  
тебе в грядущей жизни человеческой —

нам не решить, но нам не разлюбить  
твоей судьбы, непостижимо вещей.  
Я знаю, что необозрим народ,  
что в нём, как в море, света или мути,  
увы, не счесть... Да будет ледоход,  
да будут после нас иные люди!  
Прощай, Матёра, боль моя, прощай,  
прости, что слов заветных не хватает,  
чтоб вымолвить всё то, что через край  
переливаясь, в синей бездне тает...

1983 г.

## ЛЮБОВЬ ЛАДЕЙЩИКОВА

Екатеринбург

### Колокол

*В.Р.*

Колокольного слова набат — не для узкого  
Круга... Пожар не упрячешь в кулак.  
Русь, очнись и послушай писателя русского, —  
Правда стоит дороже, чем хлеб да табак!

Видно, что-то не так в разлюбезном Отечестве,  
Если колокол сердца гудит не шутя,  
Если женщина — совесть и мать человечества —  
Отомстить поднялась за родное дитя.

2004 г.

## ЮНОНА ЛУЗГИНА

Иркутск

\* \* \*

*Валентину Распутину*

Писатель в деревню приехал,  
Идёт переулком к реке.  
Здесь солнце — до неба! до эха!  
Да водная гладь вдалеке.

Писатель по-ладному кроен.  
Сегодня, вдали от тревог,  
Он нетороплив и спокоен,  
И лодкой владеет, как Бог.

Моторная лодка рванула,  
Взревев на крутом вираже,  
И вот в синеве утонула,  
Видна еле-еле уже.

Застыла как будто, а он в ней  
Всё ждёт позывных из глубин

Над бывшей своею деревней,  
С собою один на один.

Молчит под водой пепелище,  
Лишь холодом тянет с реки...  
И память ли, пламя ли свищет,  
И молча стоят земляки.

## НИНА МЕЛИХОВА

Иркутск

### И вновь вестят колокола

*Валентину Распутину*

На наши души пала мгла:  
Как вороны — летят мессии.  
Но вновь вестят колокола  
О Днях духовности России.  
В парламенте — страстей накал:  
Страна опять на перепутье,  
Но вновь сзывает на Байкал  
Богатырей Руси — Распутин.  
Нет ни кольчуг у них, ни лат —  
Лишь боль души за Русь святую.  
Звучит их слово, как набат,  
А телевороньё лютует...  
Орут певцы, впадая в раж  
Под музыки дешёвой всхлипы,

Творят неистовый шабаш  
В своих пустых, бездарных клипах.  
И мы попали в шоуспен,  
Который всё святое рушит.  
Нам не поднять страну с колен,  
Пока мы не очистим души.  
Поборники добра и зла —  
Два духа вновь на поле битвы.  
Но золотые купола  
Уносят светлые молитвы  
За голубые небеса —  
Туда, где тайны Мироздания,  
Где на космических весах —  
Надежды, радости, страданья.

## НАДЕЖДА МИРОШНИЧЕНКО

Сыктывкар

### Русский манифест

*Валентину Распутину*

И столицами славится Родина-Русь, и деревнями.  
Там и тайна характера нашего и ремесла.  
Почему-то мы можем представить лягушек царевнами.  
Да и где бы сестрица козлёночка-братца спасла?

Почему-то нам жаль целый мир, а себя и не жалуем.  
И последней рубахой воистину не дорожим.  
И по Млечному запросто ходим, как будто по палубе.  
И над златом, кому посчастливится вдруг, не дрожим.

Он, конечно, не выгоден, этот характер невиданный,  
Прежде всех самому, да такой уж случился народ.  
Ну а я расцветаю, как будто девица на выданье,  
То ли песню услышу, то ль в русский войду хоровод.

Пропадёт моя Русь, так никто на земле и не выстоит.  
Нету русским начала и, видно, не будет конца.  
И какой басурманишка в белую лебедь ни выстрелит,  
Возвратится стрела и убьёт самого же стрельца.

Что вы, чёрные вороны, по полю чёрному рыщете?  
Что вы чёрные вороги, наши считаете дни?  
Нет, другого такого народа на свете не сыщете.  
Мы ни лучше, ни хуже. Мы просто такие одни.

## ГЛЕБ ПАКУЛОВ

Иркутск

### Лубок

*Валентину Распутину*

Где у камня три дороги  
Разбежались в стороны,  
Придержал устало ноги  
Мужичонка вздорный.

Потрудясь, прочёл скрижали,  
Поцарапал в темени:  
— Ну, таперича едва ли  
Попаду в деревню.

Вправо — плохо, влево — худо,  
Посередке — лихо.

Покурю-ка я покуда,  
Поразмыслию тихо.

Сел, сварганил козью ножку,  
Затянулся. — Э-эва!  
Надо вправо взять дорожку,  
А пойти налево.

Головою просвещённой  
Он потрянул упрямо,  
И пошел, попёр крещённый,  
Как обычно — прямо.

## НИКОЛАЙ ПЕРЕЯСЛОВ

Москва

### Валентин Распутин

Эпохи узел груб и не распутан.  
Народ живёт, таясь, как в блиндаже.  
Но скажет слово тихое Распутин —  
и как-то легче станет на душе.

Он — астролог. Он — не Павел Глоба.  
Но скажет слово — и поверю я,  
Что, как трёхдневный Лазарь,  
вновь из гроба  
Восстанет Русь воскресшая моя!..

## НИКОЛАЙ РАЧКОВ

Тосно Ленинградской области

### Валентину Распутину

(*после прочтения повести «Дочь Ивана, мать Ивана»*)

Я прочёл до последнего слова  
Твою повесть — и вышел за дверь.  
Грудь моя разорваться готова,  
Я не знаю, что делать теперь.  
  
Нет, кричать понапрасну не буду,  
Что куда ты ни кинь — всюду клин.

От того, что творится повсюду,  
Плакать хочется мне, Валентин.  
  
Всё чужое, повсюду чужие,  
Боль в душе от опущенных рук.  
В нашей бедной, богатой России  
Мы уже не хозяева, друг...

## ПЁТР РЕУТСКИЙ

Иркутск

### Среди зимы

*Валентину Распутину*

Я весь в долгах, не утаю.  
Они кругом, я ими маюсь.  
Как мало людям отдаю  
И очень много занимаю.  
Я занимаю доброту,  
Пусть тот заём ещё продлится.  
По белу свету побреду,  
Чтоб добротую поделиться.  
Я обойду знакомых всех,  
Спрошу, кому и сколько должен.  
И знаю, кто-то скажет: «Дожил»  
И выдворит в ночи на снег.  
Замёрзну я среди зимы.

Ну что ж,  
как нам диктует старость,  
И это надо брать взаймы,  
Чтоб в людях меньше зла осталось.  
Приняв, его я не отдам  
Друзьям или кому другому.  
Скорей, проклятию предам,  
Чем отнесу к чужому дому.  
Знакомы мне и грусть и смех,  
Добро и зло.  
Но больше в свете  
Тех, кто как близкого приветит,  
Не отошлёт в ночи на снег.

## АНДРЕЙ РУМЯНЦЕВ

Москва

### Пожар

*Валентину Распутину*

Ты первым увидел пожар.  
Огонь, стремителен и страшен,  
Всё накрывал, всё поражал —  
От ветхих стен до вечных башен.

Сбежались люди. Кто тушил,  
А кто плескал на пламя масло.  
Кто о погубленном тужил,  
А кто злорадствовал: не гасло!

Поглядывали за бугор  
Пожарные, твердя народу:  
— Вот-вот должны прислать багор,  
А там и лестницу, и воду!

И торопились под шумок  
Дать ход дешёвому подлогу:

— Ну, догадайтесь, кто поджжёт?  
Не тот ли, кто забил тревогу?

Дым застилает белый свет...  
И лишь пожарным слепошарым  
До погорельцев дела нет —  
Они любят пожаром.

## ЕВГЕНИЙ СЕМИЧЕВ

Новокуйбышевск Самарской области

### На малой родине Валентина Распутина

Ему нелегко в Казахстане живётся —  
В заносчивом городе Алмааты.  
И всё же Валерка Михайлов смеётся.  
В глазах его — дикий простор чистоты.

Покуда автобус трясётся, как трактор,  
И я поминаю судьбу матерком,  
Смеётся Валерка над каторжным трактом —  
Он в жизни с дорогой и жёстче знаком.

В глазах у Распутина — зоркая горечь,  
Что зрит сквозь народной судьбины пласты...

Прости нас, дурных, Валентин наш Григорыч,  
Пути твоей отчины шибко круты!

Шумим, как в набеге лихие татары,  
Глубинной печали твоей не в укор —  
Я — грубый толмач и поэт из Самары,  
Валерка — редактор журнала «Простор».

Набег в Усть-Уду нелегко нам даётся,  
Где тихо грустит молчаливая Русь...  
...Валерка от робости громко смеётся,  
А я от волненья слегка матерюсь.

2010 г.

## НИКОЛАЙ СИРОТЕНКО

Усолье-Сибирское

### В.Г. Распутину

Я в меру был шероховат  
И резковат, пожалуй, в меру,  
Когда бросался, как солдат,  
В бой за Отечество и Веру...  
Нет, не за бабюшку-царя —  
какой с меня царехранитель!  
Зато за землю и моря  
Стоял, как истинный воитель.  
Не то чтоб

Грудью на штыки,  
Не лбом — под пули и снаряды,  
Я не ходил в большевики  
Портфеля ради и награды.  
Не чтил портреты-образа,  
Не изъявлял восторг телячий  
И не заглядывал в глаза  
Просящим взглядом  
По-собачьи.

\* \* \*

*В. Распутину*

Он помнит Родину, с которой  
Соединён душевный жар.  
Когда «прощался» он с «Матёрой»,  
Он там увидел свой «Пожар».

1987 г.

### Валентин Распутин

Как совесть — неподсуден,  
Как свет — необходим  
Отечеству и людям  
Распутин Валентин.

Для многих — неуютен...  
Но он такой один —  
Всегда и есть, и будет  
Распутин Валентин.

В общенье, вправду, труден  
В столице и в селе...  
Зато не словоблудьем  
Он занят на земле.

Глумленья не таящий  
И в пазухе — камней,

Писатель, говорящий  
О Родине своей.

В Отечестве бесправном  
Он правило завёл  
Являть собою правду —  
И недругов обрёл.

Их раньше — меньше было.  
Теперь им несть числа.  
Вот только б леность тыла  
Его не подвела.

А тыл — все мы, все «наши».  
В тылу народ один,  
С твоей душою слажен,  
Распутин Валентин!

1992 г.

\* \* \*

Как странен этот мир железа,  
Кастета, камня и ножа.  
Ребёнок плачет от пореза,  
Святая Русь — от мятежа.

Кто нас полубит, кто разбудит,  
Заставит выбраться со дна?  
Быть может, Валентин Распутин?  
А может, новая война?

Опять на четверть нас убудет,  
Другую четверть понесёт

По свету, словно вихрь закрутит...  
Мы, видно, проклятый народ.

Наш мир и вправду неуютен,  
Бессилен заново расцвествь.  
Но если рядом есть Распутин,  
То, значит, и надежда есть.

Ведь что-то впереди светлеет,  
Ведь совесть русская болит.  
И, может быть, нас пожалеет  
Господь — и выстоять велит.

2011 г.

## ТАТЬЯНА СУРОВЦЕВА

Иркутск

\* \* \*

*В. Р.*

Ветер пел, и звучал над Байкалом  
Шумный голос, ласкающий слух.  
Солнце нежную власть излучало,  
Протекая сквозь облачный пух.

Разгулялась в предчувствии шторма,  
Серебром наливаясь, волна.  
И берёза на выступе горном  
Вся на милость ветрам отдана.

Белой чайкой над зыбью Байкала,  
Накренившись, летит катерок.  
Всколыхнулась вода у причала,  
Чуть померк серебрястый восток...

Всё — предзимье,  
и всё — предсказанье,  
Но настолько светла глубина,  
Что душа,

как при первом свиданье,  
На краю непробудного сна

Бредит юностью, тайной, надеждой,  
Невозможной, но яркой мечтой...  
Ветер с моря — палач побережья —  
Жёстко треплет венец золотой.

Всё осыплется, выгорит вскоре.  
Выйдет в море рыбачка-луна.  
Будет холодно в диком просторе,  
Будет звёздами вечность полна.  
Скоро ночь и мороз переспорят  
Гладь небесную, мир полоня...

Но останутся в счастье и в горе,  
Чтобы вечно тревожить меня, —  
Берег жизни, глубокое море.  
Ясный свет Валентинова дня.

*Октябрь 2002 г.*

## ЕКАТЕРИНА ТРУНОВА

ученица 10-го класса  
Ширяевской средней школы

### Валентину Распутину

Великие нужны России люди,  
Вас в мире знает каждый человек.  
Поверив в Вас — жива Россия будет  
И твёрдым шагом вступит в Новый век.

Дана Россия русским людям свыше,  
Её мы с Вами уберечь должны.  
А то она уже на ладан дышит,  
Вот потому Вы Родине нужны.

Мы все живём, чтоб возродить Россию,  
Чтоб засветилась русская заря,  
И чтоб у русских появились силы  
С надеждой вместе, что живём не зря.

И я уверена, что так оно и будет,  
Что правды час в стране у нас пробьёт.  
Ваш русский слог богатырей разбудит  
И свято будет слово — *патриот!*

*Январь 2002 г.*



## «Мой мозг жаден до знаний...»

Воспоминания учительницы Валентина Распутина



*Ф.С. Белоус (слева)*

Я рада, что мне пришлось прикоснуться к становлению таланта большого русского писателя Валентина Распутина, автора таких всемирно известных произведений, как «Прощание с Матёрой», «Последний срок», «Живи и помни», «Деньги для Марии», «Пожар» и др.

В 1953 году я закончила Иркутский пединститут и была направлена в районный центр Усть-Уда. Посёлок расположен был в двухстах километров от Иркутска. Сейчас он затоплен в связи со строительством

Братской ГЭС, а школа, та самая, в которой Валентин учился с пятого по десятый класс, по брёвнышку была перенесена и построена в Новой Усть-Уде.

Но вернёмся к тем далёким дням 1953 года. Районный центр Усть-Уда утопал весной в цветущей черёмухе. По одну сторону посёлка несла свои кристально-чистые воды Ангара, по другую — речушка Уда. Школа, в которую были направлены мы, молодые специалисты из разных мест Советского Союза, была деревянная и чистая. Встретили нас довольно радушно, приветливо. Мне было предложено вести русский язык и литературу в двух восьмых, девятом и десятом классах. Завуч школы тех лет Мария Васильевна Тулузакова (женщина мудрая и понимающая) предупредила меня, что состав десятого класса очень неоднороден. В классе было 39 человек. Среди учеников были эстонцы, литовцы и латыши. Родители их были ссыльными людьми.

Ядро десятого класса составляли несколько человек, в основном юноши, которые могли задавать очень много разных вопросов. Они буквально рвались к знаниям. Среди них Мария Васильевна назвала будущего писателя Валентина Распутина. О том, что эти ребята любопытны и любознательны, я очень скоро убедилась сама. К урокам готовилась очень серьёзно и добросовестно, боясь, как бы не попасть впросак.

Первого сентября состоялось знакомство с будущими выпускниками. Очень волновалась, переступая порог класса. И вот они передо мной — 39 внимательных пар глаз, изучающих новую молодую учительницу. Очень скоро заметила, что среди всех особенно выделяются Валентин Распутин и его одноклассники Спартак Соколов, Владимир Толдонов, Геннадий Лбов, Аня Потух. Ещё раз повторю, что тяга к знаниям у них была поразительная. Когда они получали тему очередного сочинения, то пытались как можно глубже раскрыть её. Старались использовать всю имеющуюся литературу в школьной и районной библиотеках. Все названные ребята получили отличные оценки на выпускных экзаменах. Эти оценки были подтверждены ОблОНО.



*Усть-Удинская школа. 50-е гг.*

Но каких усилий стоило мне, молодому и начинающему учителю литературы, доказать, что эти сочинения достойны медалей! Особенно был против директор школы Лука Петрович Беляевский, большой консерватор (так мне тогда казалось). Он боялся, что мы можем опозориться, представив такое количество работ на медали. Сочинения зачитывались и на педсовете, и на совещаниях, на которые приглашались районные комсомольские и партийные руководители. К счастью моему, все работы по литературе были утверждены ОблОНО. И все ребята получили медали. Спартак Соколов золотую, остальные — серебряные.

Вспоминается мне такой случай из жизни тех лет, вернее, того года. В школу приехала комиссия из ОблОНО. Инспектор — женщина (не помню ни имени, ни фамилии), идёт ко мне на урок литературы в 10-й класс. По программе изучаем роман Горького «Мать». Вызываю Валентина и прошу раскрыть образ Павла Власова (героя романа). Отвечает уверенно. Со знанием текста произведения. Анализируя урок после, инспектор обратила внимание на речь Валентина, свободную, выразительную, его богатейший словарный запас.

Валентин Распутин тех лет, как я его помню, высокий, худощавый, черноволосый юноша с тёмными карими, выразительными и грустными глазами. Одевался, как правило, в сатиновую косоворотку. Всегда сосредоточенный, вдумчивый, ищущий смысл в жизни и своё место в ней.



*Школа и учителя. 1953 г.*



*В. Распутин с одноклассниками.*

Слова А.С. Пушкина «Мой мозг жаден до знаний...» — всецело относятся к нему, юноше из народных низов.

Жаль, что ушёл он рано. Но оставил после себя произведения, которые стали классическими ещё при его жизни. Все они пронизаны любовью и состраданием к простым людям и глубоко драматичны.

*Фаина Семёновна БЕЛОУС (в девичестве Ерёмина)*

*25 марта 2015 г.*

ВЛАДИМИР ХОДИЙ

## Ранний Распутин

«Приключения кончились так...»



В.Г. Распутин

Обычное дело: листаешь в библиотеке старые подшивки газет и обязательно узнаешь что-то такое об известных людях, чего раньше не знал. Вот и на этот раз меня подстерегла удача. В номере «Восточно-Сибирской правды» за 29 апреля 1960 года на четвертой полосе вижу подпись: «В. Распутин». Посмотрел заголовок: «Приключения кончились так...» и, не обращая внимания на рубрику, начал читать. «Жил Санька Лаврентьев в Слюдянке, у самого Байкала...», «дрался Санька с Васькой...», «налетал петухом...» и так далее.

Сразу подумал: по всем признакам это, конечно, художественный рассказ. И только предпоследний абзац заставил остановиться и посмотреть на рубрику — «Невыдуманные истории»... Пришёл домой и заглянул в биографо-библиографический указатель «Валентин Григорьевич Распутин», изданный в 2007 году департаментом культуры и архивов Иркутской

области и областной государственной универсальной научной библиотекой имени Ивана Молчанова-Сибирского. Ни в одном его разделе, а также в алфавитном указателе произведений — в то время журналиста — В. Распутина этот очерк не указан.

Известно, что в 1960 году будущий писатель работал в редакции газеты «Советская молодёжь». До выхода в свет его первого рассказа «Я забыл спросить у Лёшки» оставалось меньше года, до Читинского семинара молодых писателей Сибири и Дальнего Востока — пять лет, до прихода к читателям первой повести «Деньги для Марии» — семь.

Прочитайте очерк. Ведь даже выдающиеся писатели непросто ищут и находят своё место в литературе.

*Жил Санька Лаврентьев в Слюдянке, у самого Байкала. Дрался Санька с Васькой Кравченко, с Лёнкой Жуковым, с Юркой Лазеевым и Юркой Артемасовым. Налетал петухом, если не верили они, что Санькин отец в войну целую дивизию фрицев изничтожил или что знаменитый путешественник Миклухо-Маклай не меньше десяти раз бывал в Слюдянке.*

*Ученье Саньке не шло. Таблицу умножения он, правда, знал, но дроби никак одолеть не мог. Не понимал Санька, зачем яблоко нужно делить на несколько частей, если его можно съесть целиком, и зачем ему надо правильно писать слово «корова», если туземцы всё равно русского языка не знают. А он собирался к туземцам на Гвинейские или*

какие другие острова, которые ещё никем не открыты и на которых ни один белый человек ещё не бывал.

Попалась однажды Саньке книжка. Может, и не стал бы он её читать, но у книжки было заманчивое название «Приключения юнги». Открыл Санька первую страницу, ткнул нос в книжку, да так и не поднимал, пока не кончил. Три дня и три ночи Васька Кравченко, Лёнька Жуков, Юрка Лазеев и Юрка Артемасов не дрались с Санькой. Подойдут к его дому, заглянут в окно — сидит Санька за книжкой, глаз не поднимет, хоть задразни его. На четвёртый день, вечером, вызвал Санька из дому Юрку Артемасова и предложил быть дружками-годками. Захлопал Юрка ресницами, замигал глазами от удивления, зашвыркал носом, потому что были они смертными врагами и мириться до гробовой доски не собирались. Только видит Юрка — без обмана предлагает Санька мировую, и подал руку. Обрадовался Санька, отвёл Юрку за угол и зашептал:

— До каких пор будем мы с тобой, Юрка, ходить в сухопутных крысах? Бежим отсюда. К Чёрному морю, к Балтийскому или на Тихий океан. Там юнги во как нужны. — Санька провёл ладонью по горлу и только тогда заметил, что Юрка смотрит на него, как на сумасшедшего. — Ну, чего ты иллюминаторы раскрыл? Мамку боишься или нос не тем концом пришил? На линкоре бы стали плавать... Говори: имеешь решение покончить с сухопутной жизнью или не имеешь?

Тёмной осенней ночью, когда заснула Санькина мать и заснула Юркина мать, Санька и Юрка, прихватив с собой рюкзак и булку хлеба, забрались на тендер товарняка и поехали туда, где кипит море пеной и ветер взбивает двухэтажные волны.

Дорогой Санька без конца напевал одному ему известную песенку, которую он вычитал в книжке, но переделал на свой лад:

Да здравствуйте Санька, гроза морей,  
Корсар на фрегате «Сто чертей».

В первой же гавани, которая называлась Улан-Удэ и где они сделали остановку, случилось несчастье. Будущие юнги проголодались и направились в рискованный поход к старушке, продававшей жареную рыбу. Санька торговался, Юрка запустил руку в корзину. Старушка успела заметить, что тут дело нечисто, и подняла истошный вой. На горизонте появился милиционер, и Санька с Юркой подняли паруса. Погоня продолжалась всего несколько минут, после чего Санька остался один, а Юрку поставили на якорь и отбуксировали к матери.

Хорошо было юнге Витьке Лескову, про которого Санька читал книжку. Он уже на первой странице был юнгой и ходил в море. А Санька всё никак не мог добраться до моря. Юнга Лесков каждый день пил вкусный компот. Санька голодал. Юнгу знал весь флот, потому что его отец совершил подвиг. Однажды в бухту загнало штормом мину, и отец юнги вызвался разрядить её. Чтобы мина не разорвалась в бухте, он вывел её в море. Мина разорвалась в море. Все корабли приспустили флаги в знак траура. Погиб отец Витьки. Мальчика взяла на воспитание команда блокишива, старого судна, приспособленного под склады.

Санькин отец вернулся с войны инвалидом. Он не совершил подвига. А Саньке очень хотелось во всём походить на юнгу Лескова.

Поезд идёт на восток. Едут в поезде военные моряки, едут к Тихому океану. Едет в поезде Санька Лаврентьев, тоже к Тихому океану. Моряки едут в одном вагоне. Сколько надо — песни поют, сколько душе угодно — смеются. Санька перебивал во многих вагонах. Гонят Саньку проводники из своих вагонов, высаживают на станциях, грозят милицией. Пробовал Санька прятаться на самых верхних полках — находили Саньку. Остался последний вагон, потом надо ждать следующий поезд. Заглянул

Санька боязливо в последний вагон, и заблестели у него глазёнки от восторга. Увидел Санька военных моряков. Увидел проводник Саньку.

— А ну, брысь отсюда, — скомандовал проводник.

— Отставить, — сказал один из моряков. — Топай сюда, братишка. Кто такой?

— Санька.

— Мать есть?

— Умерла мамка.

Врал Санька.

— А отец?

— Он тоже моряком был, как вы, и геройски погиб. Один раз в бухту мину загнало, и все перепугались, потому что мина может взорваться, а папка не испугался, прыгнул в воду и повёл мину в море, и она там взорвалась.

Врал Санька. Слышал бы Санькин отец такое, снял бы ремень.

— Теперь куда курс держишь?

— Я юнгой хочу.

— В детдом тебе надо.

— Нет, юнгой хочу. Как Витька Лесков.

— Это кто такой?

Стал рассказывать Санька про юнгу Лескова. Слушают моряки, не перебивают. А поезд идёт и идёт. Всё ближе Тихий океан. Улыбаются военные моряки, переглядываются. Захлёбывается Санька, рассказывает, как юнга потерял сигнальные флажки. Зашептались моряки.

— Хватит, братишка, — один из них положил на плечо Саньке тяжёлую руку. — Поедешь с нами. Хочешь?

Санька заплясал.

Мало ли чего в книжке не напишут. Но если бы на свете и в самом деле существовал юнга Витька Лесков, он от зависти лопнул бы к Саньке. Витьку усыновила команда блошкива, старой посуды, которая и в море-то не выходит, а Саньку — команда подводной лодки. Вместо отца был у Витьки командир блошкива, а у Саньки — командир подводной лодки, у которого в войну вся семья от бомбёжки погибла и который Саньку сразу же усыновил и отправил в школу. Компотом Витьку поил добрый Костин-кок, а Саньку — тоже очень добрый кок дядя Серёжа, который по две и по три порции не жалел, когда Санька бывал на лодке.

Год, второй. Пятый класс, шестой класс. Каждый день бьётся море и зовёт Саньку в дальние страны, и набегают волны на берег, и откатываются назад, и зовут Саньку с собой, и хочется далеко-далеко, на Гвинейские или какие другие острова, и совсем не хочется учить арифметику и грамматику, и очень обидно, когда лодка уходит в море без Саньки.

— Слушать приказ! — командуют Саньке. — Остаться на берегу! Ликвидировать двойку по русскому языку!

А море шумит, когда Санька, пиная камни, уныло бредёт домой. Потом оно свирепеет, становится чёрным. Волны режут, воеет ветер. Лодка далеко от берега. Шторм на могучих крыльях обрушивается сверху на море. Держись, море, не поддавайся. Лодка уходит под воду. Тяжело ухаёт море.

Лодка вернулась через несколько дней. Шторм не пожалел лодку. Её отправили на ремонт, а Саньку — в ремесленное училище.

Год, второй, третий, четвёртый, пятый. Ремесленное училище, завод. Санька стал Александром. Пробовал Александр поступить в морское училище — не прошёл по здоровью. Николаевск-на-Амуре, Сахалин, Хабаровск.

В книжке было так. Шёл юнга Витька Лесков по набережной гавани и вдруг за причальной тумбой увидел того самого рыжего мальчишку, которого он давно хотел как следует прочесть.

— Вот расселся! — сказал Витька. — Рыжая команда! Гордятся, что родились рыжие. Придётся протереть им глазки и накормить пылью.

Схватились они драться. Повалил Рыжий Витьку. А потом оказалось, что Рыжий — это Митька, сын кока Костина, которого кок потерял ещё в гражданскую войну. И тут встретились сын с отцом. Радости-то — радости сколько было! На этом и кончается книжка.

У Александра было по-другому. Дрался Санька в детстве с Юркой Лазеевым. А в Хабаровске встретились они в городском парке.

— Ты?! — удивился Юрий Лазеев. — Живой! А дома что творилось! Отец и сейчас поправиться не может.

На этом и кончились «морские приключения» Александра Лаврентьева. Вернулся он в Слюдянку. Через семь лет вернулся.

Детская романтика! Она пробралась к Саньке исподтишка, когда он читал книжки о Миклухо-Маклае и о приключениях юнги, и завладела им, подсказала ему бежать из дому, мечтать о дальних странах, и захотелось Саньке плавать по морям, искать неведомое, совершать подвиги.

Только не туда пошёл человек по зову романтики. Он понял это, когда вернулся домой, когда в своих скитаниях с трудом закончил семилетку. Но, повзрослевший, он так и не смог расстаться с романтикой. Она снова звала его, снова хотелось необыкновенного. Но теперь это необыкновенное стало будничным, простым, трудовым. И Александр поехал на строительство Братской ГЭС. Сегодняшняя романтика не водит Александра по морям, она заставляет его работать там, где труднее, где нужнее, где люди в простом творят великое. Не захотел Александр быть «сухопутной крысой». Он сам создаёт море. Член комитета комсомола строительства Александр Лаврентьев, романтик до мозга костей, который и до сих пор ходит в тельняшке, нашёл своё место.

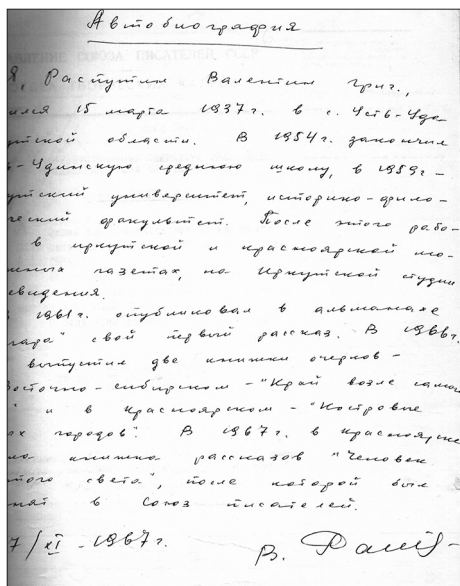
**В. Распутин**

## Не расстанусь с «Молодёжкой»

Повторю общеизвестное: будущий автор «Живи и помни» и «Прощания с Матерой» ещё студентом третьего курса историко-филологического факультета Иркутского университета начал печататься в газете «Советская молодёжь», а в 1959 году — незадолго до окончания учёбы — был принят в штат редакции. Для него, как писала впоследствии литературовед Н.С. Тендитник, «творческая работа, начавшаяся ещё в вузе, заполнила жизнь, стала её содержанием». Через два года Распутин перешёл работать на областную студию телевидения, там пробыл недолго, уехав в Красноярск. Но и в Красноярске журналист и начинающий писатель не прерывал связей с иркутской «Молодёжкой», продолжал печататься на её страницах.

«Мы ещё вернёмся за огнями» — это заголовок репортажа в «СМ» за 29 сентября 1963 года. В Красноярске проходил слёт молодых строителей Сибири и Дальнего Востока. Несмотря на высокий статус мероприятия, редакция не стала посылать на него специального корреспондента, считая, что там уже есть «свой человек» — сотрудник «Красноярского комсомольца» Валентин Распутин.

В преддверии слёта 26 сентября газета под псевдонимом *В. Каирский* опубликовала его зарисовку «...Имени отца». Она о Владимире Стофато — сыне одного из трёх



Автобиография В.Г. Распутина

погибших в годы Великой Отечественной войны изыскателей трассы железной дороги Абакан — Тайшет в Саянах — Александра Кошурникова, Алексея Журавлева, Константина Стофато. Небольшой фрагмент из зарисовки:

*Он стоит под высокой елью, недалеко от мостика через Джебь. Цветы взошли и упрямо цветут даже сейчас, в сентябре. Кто-то ещё совсем недавно положил на камни кусты смородины и малины. Я бросаю сверху несколько кедровых веток. Совершенно рядом Джебь с шумом разбивается о камни, и брызги, как осколки, поднимаются вверх. Скоро по дороге пойдут поезда.*

— *Смотри, какая берёза, — говорит мне Володя, показывая в ту сторону, где встанет посёлок. — Вот бы хорошо её оставить, правда?..*

Следующий, продиктованный по телефону Распутиным, материал в «Молодёжку» назывался «Слёт поёт о Марчуке» — известном строителе Братской ГЭС, которому композитор Александра Пахмутова посвятила песню «Марчук играет на гитаре». Вообще Пахмутова привезла на слёт четыре новых песни, кстати, все они про Иркутскую область, но эта особенно понравилась делегатам, поскольку её герой был среди них. «Через несколько дней в составе советской молодёжной делегации я уезжаю в Америку. Чувствую себя сейчас невыпущенной ракетой — столько во мне энергии. Я обещаю вам, что пронесу через океан, через всю поездку по Америке боевой дух нашего слёта», — говорил Алексей Марчук с его трибуны. Но это уже из заключительного репортажа о слёте «Мы ещё вернёмся за огнями», написанного Распутиным в стиле публицистики того, бесспорно, духоподъёмного времени в нашей истории:

*Завоеватели Сибири, как известно, высадились на берегу Иртыша более трёх с половиною веков назад. А несколько дней назад на берегу Енисея, в Красноярске, на четырёх теплоходах «высадились» покорители Сибири и Дальнего Востока. 800 делегатов 34 ударных комсомольских строек собрались здесь на слёт молодых строителей... Строитель приходит первым. И ставит колышек. К нему прибывает дочечку. На ней пишет: завод такой-то или город такой-то. А никакого города, никакого завода ещё нет. Строитель ставит палатку. Разжигает первый огонёк. Это как спички. А сам он костровой новых городов. Потом он зажигает второй огонёк, третий, десятый, сотый... Как новогоднюю ёлку, он освещает тайгу огнями новостроек от края и до края. А сам уходит дальше — в бездорожье, в беззубье, в безгородье. Под песни. Под стихи. Под крики улетающих птиц. Под беззубое, шепелявое чавканье бездорожья. Только нынче 25 тысяч добровольцев под всю эту музыку придут в тайгу. И, как портные, оденут её в строительные леса. И тайгу, и тундру. ...Сегодня делегаты разъедутся по домам. По бездорожью они уйдут в беззубье и безгородье. Чтобы проводить дороги и строить города. И они развешат вдоль улиц гирлянды огней. А сами, взяв рюкзаки и надев сапоги, снова уйдут дальше...*

Так подробно я процитировал Распутина потому, что, во-первых, это интересно, а, во-вторых, как и репортаж «Мы ещё вернёмся за огнями», так и зарисовку «...Имени



отца» мне удалось обнаружить в старых подшивках «Молодёжки», поскольку сведений о них нет в библиографических указателях, посвящённых автору. В том числе и в изданной в 2007 году департаментом культуры и архивов области и областной государственной универсальной научной библиотекой имени И.И. Молчанова-Сибирского 500-страничной книге «Валентин Григорьевич Распутин. Библиографический указатель».

Вообще, листая старые газеты, иногда становишься... первооткрывателем. Например, совершенно неожиданно в подшивках «СМ» начала 1960-х годов я до этого встретил около двух десятков разножанровых публикаций Александра Вампилова (например, юмористический рассказ «Когда идёт игра» и рецензию на кинофильм Леонида Гайдая «Деловые люди» — «Железные шутки»), на которые никто ранее не обратил внимания, а значит, они оказались вне поля зрения исследователей и просто тех, кто интересуется его творчеством.

Вот и в случае с Валентином Распутиным произошло подобное. В мае 1959 года он едет в командировку в свой родной Усть-Удинский район. Задание непростое для начинающего газетчика — написать о работе районного комитета комсомола. Если судить по указанному выше указателю, задание он выполнил. Но почему-то ссылка в нём есть только на один материал — «Руководящий товарищ приехал...», хотя увидел свет и другая его статья на эту тему — «Столярному делу учили...»

Но вернемся от начальных, во многом еще ученических шагов Распутина в журналистике к более зрелому красноярскому периоду его творческих исканий. Именно там, на берегах Енисея, он основательно увлёкся литературным трудом, там подготовил свой первый сборник очерков и рассказов «Край возле самого неба» и именно оттуда отправился на ставший для Валентина судьбоносным Читинский семинар молодых писателей и поэтов Сибири и Дальнего Востока.

Его первый сборник был посвящен Тофаларии, её людям и издан в 1966 году в Иркутске. В нем девять очерков и рассказов, причём шесть из них он успел до появления в книге опубликовать на страницах «Советской молодёжи». Однако это обстоятельство библиографами подтверждается только в отношении трёх: давшего название сборнику очерка «Край возле самого неба», а также «В Саяны приезжают с рюкзаками» и «От солнца до солнца». Остальные в указателях не отмечены.

В частности, не отмечен напечатанный в «Молодёжке» 8 мая 1963 года очерк «На снегу остаются следы» с рисунками талантливого художника Владимира Пинигина. Не указан рассказ «Эх, старуха». Именно под этим заголовком он впервые увидел свет в газете 3 декабря 1965 года, а затем перекочевал в сборник (в последующем автор дал ему название «Старуха»).

Наконец, не зафиксирован рассказ «Человек с этого света». Считается, что его впервые опубликовала «Восточно-Сибирская правда» 14 ноября 1964 года. Однако это не так. Годом раньше — 7 ноября 1963 года — с рисунками того же Пинигина рассказ появился в «Молодёжке». А в «Восточку» его принёс тогдашний главный редактор литературно-художественного альманаха «Ангара» Марк Сергеев, чтобы в разгар подписной компании поделиться с читателями планами и показать, какую поистине талантливую писательскую поросль рождает наша земля. И действительно, уже в первом номере за 1965 год «Человек с этого света» был также напечатан в альманахе.

В заключение ещё о двух не замеченных библиографами публикациях красноярского периода Валентина Распутина в «Советской молодёжи» — рассказе «Там, на краю оврага» и репортаже со строительства Красноярской ГЭС «Мы снова Родине нужны». Они появились в газете в один и тот же 1964-й год — соответственно 9 мая и 22 августа. Однако если рассказ потом был включён автором в разные сборники, то репортаж так и остался однажды опубликованным. Между тем его тоже можно воспринимать как художественный рассказ. Прочитайте, не пожалееете.

## «Мы снова Родине нужны»

Солдаты сыскали мой прах по весне,  
Сказали, что снова я Родине нужен,  
Что славное дело, почетная служба,  
Большая задача поручена мне.

Б. Слуцкий

### 1

*Утром, когда первая смена собирается в вагончике, перед тем как стать на свои места, кто-нибудь из них негромко спрашивает:*

— Александр Матросов!

— Здесь, — отвечают ему.

*Во второй смене:*

— Александр Матросов!

— Здесь.

*В третьей:*

— Александр Матросов!

— Здесь.

*Непонятно, когда он спит. Спит ли он? Может, чтобы не снились окопы да поля, засеянные пулями, он вовсе не спит? И так уже второй год. Второй год. В марте прошлого года, перед перекрытием, бригада рыла траншею. Ребята устали.*

— Павел, — один из них выпрямился и повернулся к бригадиру. — Большие не можем, Павел. Дай нам кого-нибудь на помощь.

— Некого, — ответил Павел Матвиенко. — Вы же видите, ребята, дать вам некого. Возьмите кого-нибудь сами. Выберите самого крепкого, самого надёжного. Например, Александра Матросова.

*Видно, он был рядом. Он сразу же подошёл и взял лопату. Это было накануне перекрытия, и никто ему не удивился. Они стали работать вместе. Только потом, когда траншея была закончена, кто-то спросил:*

— А говорили, что он погиб...

*Он ничего не ответил. Он пошёл с бригадиром в управление, чтобы оформиться на работу. Там подписали приказ: зачислить в бригаду. С тех пор вот уже второй год он каждый день работает во всех трёх сменах. Непонятно, когда он отдыхает.*

*Если что-то не так, если что-то никак не получается — бывает, разозлится парень, ругнётся — и вдруг слышит: не надо, нам было трудней, а мы всё больше песни пели.*

*Если девчонка устанет, если с испугом девчонка смотрит на часы, к ней подходит Матросов: давай помогу, а ты пока отдохни.*

*Он всегда здесь. И только когда бригада выстраивается за зарплатой, он отходит в сторонку: каждый знает — все свои деньги он переводит в Фонд мира. Он знает, что такое война, и он против того, чтобы люди бросались на амбразуры пулемётов. Пусть люди строят.*

*Перед рассветом Александр Матросов выходит на плотину. Отсюда хорошо видно, как всходит новый день, и в его свете стройка обретает могущество. Он подолгу стоит над бушующей водой, смотрит и думает. Однажды, задумавшись, он почувствовал, что рядом с ним кто-то стоит. Он обернулся и увидел Рубена Ибаррури. Они протянули друг другу руки.*

— Давно здесь?

— Нет.

*Где работал до этого Рубен Ибаррури, пока неизвестно. Может, на Братской ГЭС, а может, где-нибудь в другом месте. Сам он не любит говорить о себе.*

*Иосиф Николаевич Дробышевский воевал с первого и до последнего дня. От Волгограда он начинал наступление. Перед наступлением он и услышал о том, что погиб испанский парень Рубен Ибаррури, защищая Русскую землю.*

*Сейчас Дробышевский — бригадир лучшей на правобережье комплексной бригады. В мае он узнал о том, что несколько человек из его бригады придётся отдать в левобережный котлован. А кто будет работать?*

*— Кто будет работать? — злился Иосиф Николаевич.*

*И он вспомнил о Рубене Ибаррури, об испанском парне, сыне коммунистки. Он пошёл в бригаду и собрал всех до одного. Он рассказал им всё, что знал сам об этом парне.*

*— А он по-русски говорит? — спросили у него.*

*— Говорит.*

*7 мая Рубен Ибаррури впервые вышел на работу. Это было нелегкое время. Почти вся бригада учится, и ребята после смены садились за учебники. Он здорово помогал им, оказывается, он здорово разбирается и в математике, и в русском. Фаина Макарова, Геннадий Мириханов, Володя Погребнов, Леонид Григорьев — все они потом советовались с ним.*

*Они написали письмо его матери — председателю Коммунистической партии Испании Долорес Ибаррури: «Спасибо Вам за Рубена. Он отличный парень и отличный рабочий».*

*— Рабочий третьего разряда Рубен Ибаррури...*

*— Здесь.*

*— Рабочий третьего разряда Александр Матросов...*

*— Здесь.*

**В. Распутин**

## «Ради нескольких строчек в газете...»

Поистине, как пелось когда-то про «Трое суток шагать, трое суток не спать...», эта публикация в номере газеты «Восточно-Сибирской правда» за 12 сентября 1959 года содержит всего четыре с небольшим десятка строчек. И на них под аншлагом через всю первую страницу «Товарищи хлеборобы! Пример передовых колхозов зовёт: темпы жатвы удвоить и план хлебозаготовок выполнить досрочно» — едва ли сразу остановится взгляд и обратит на себя внимание подпись — *В. Распутин*.

Надо напомнить, что в те и гораздо поздние времена каждый журналист в нашей стране в большей или меньшей степени был причастен к «битве за урожай». Не миновала эта участь и будущего автора «Денег для Марии», «Последнего срока», «Живи и помни». В тот год 22-летний выпускник Иркутского университета был принят в штат «Советской молодёжи». В разгар хлебоуборочных работ он едет в Аларский район. Возможно, кто-то в «Восточно-Сибирской правде» (а редакции обеих газет находились в одном здании, только на разных этажах) узнал о его командировке в «глубинку» и предложил молодому коллеге написать на «горячую» тему в партийную газету. Однако не исключено, что Валентин сам решил опубликоваться на её страницах...

Листая наиболее полный биографо-библиографический указатель творчества В.Г.

Распутин (Иркутск, 2007 год), легко обнаружить, что из той поездки он привёз и напечатал в «Советской молодёжи» несколько материалов — «Красный вымпел», «Владимир Кулешов помогает соседям», «Комсомольцы в кино не пошли...», «Кто кому помогать поедет?», «Обращайтесь к Николаю». А вот на публикацию в «Восточке» ссылки в указателе нет. Привожу полностью её текст:

### «Так работает коммунист»

*Он не считает дни и вряд ли сможет сразу ответить — пятница сегодня или вторник, счёт он ведёт гектарам и центнерам. Для него 320 гектаров — то, что занято под зерновыми в бригаде, — одна чаша весов. А на другой — убранный площадь. Для него 1800 центнеров хлеба — то, что необходимо всего сдать бригаде, — одна чаша весов. А на другой — уже увезённые центнеры.*

*Ему запоминаются дни, когда лафетчики срезают хлеб на одном массиве и переезжают на другой, когда комбайны с подборщиками идут вслед за ними, когда закрываются траншеи с кукурузой.*

*Косят лафеты. Подбирают комбайны. Мчатся машины. Ревут в полях моторы. Падают пшеница на землю. Потом зерно сыплется в кузова машин.*

*Потом в закрома. Вот, бригадир, накладная. Сдано 600 центнеров. 900. 1200.*

*— Александр Никифорович, у Брыжжевых комбайн сломался.*

*Спешит на помощь.*

*Растут проценты. Сегодня в поле все. Увеличивается число убранных гектаров. Шофёры легли очень поздно. Осталось сдавать государству совсем немного.*

*Бригадир едет в поле посмотреть, как работают комбайны, не осыпается ли пшеница. Темнеет.*

*Его имя: Александр Никифорович Мерзов.*

*Его адрес: колхоз «Красный Октябрь» Аларского района, вторая бригада.*

*Характеристика: коммунист.*

**В. Распутин**

Объём совсем небольшой, по-нынешнему — две тысячи знаков с пробелами, но как информационно насыщен и одновременно лаконичен, композиционно чётко этот мини-репортаж. И за счёт чего? За счёт, в частности, коротких, «под Хемингуэя» — в одно-два-три слова — предложений. Ведь именно в те годы этот писатель, лауреат Нобелевской премии, был открытием для советских читателей, и им, по признанию самого Распутина, «зачитывались громко, до опьянения и повального подражания...»

А теперь перекинемся без малого на три десятилетия вперёд. 23 мая 1987 года та же «Восточно-Сибирская правда» и так же на первой странице поместила фотографию и подробное сообщение ТАСС под заголовком «Награда Родины». Сообщение о том, что член Политбюро ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР А.А. Громыко вручил в Кремле ордена и медали группе награждённых, в том числе — золотую медаль «Серп и молот» Героя Социалистического Труда и орден Ленина писателю В.Г. Распутину. И эта публикация, как выясняется, тоже не вошла в библиографические указатели его творчества. Поэтому приведу тексты выступлений участников награждения.

А.А. Громыко сказал:

— Валентин Григорьевич Распутин — писатель, хорошо известный и в Советском Союзе, и далеко за рубежом. О нём спокойно можно сказать, и это не будет неточно-

стью, что он выдающийся писатель наших дней. Ему пока пятьдесят, но уже к этому рубежу он успел сделать столько, что Родина по праву присвоила ему высокое звание Героя Социалистического Труда. Он являет собой пример цельной натуры. Суть его биографии может быть уложена в одну строку, но зато какую строку: напряженный литературно-творческий труд. Валентина Распутина из-за того, что он живёт в глубинке и пишет о ней, называют сибирским писателем. Ну что же! Это само по себе почётное звание. Но Валентин Распутин видит не только сибирские горизонты, а умеет заглядывать далеко и за них. Он — широко признанный, талантливый писатель страны, которым гордится советский читатель.

Ответное слово В.Г. Распутина:

— Я хочу сказать, что нашим делом, делом писателей и работников искусств, всегда была забота об Отечестве. А теперь — я говорю и от имени своих товарищей — нашу роль нам надо поднимать ещё выше. И всё, что касается Родины, её нравственного здоровья, её физического здоровья, в том числе её духовной крепости, нужно считать главной задачей нашей и делом нашим до конца всей жизни.

## «Видимые и невидимые беды Байкала»

Статью под таким названием Валентин Распутин написал в январе 1990 года и предназначалась она для публикации в газете «Советская Россия». Тогда в Иркутске не оказалось собственного корреспондента этой газеты, а поскольку напечатанное им на машинке с последними правками нужно было срочно доставить в Москву, то Валентин Григорьевич попросил меня, собкора агентства ТАСС, передать материал по телетайпу. Однако по каким-то причинам статья не увидела свет. Нет указания на неё в биографо-библиографическом справочнике «Валентин Григорьевич Распутин» (Иркутск, 2007 год), да и я не обнаружил публикацию в подшивках газеты «Советская Россия» за то время.

Напомню: 1990 год — своеобразный рубеж в борьбе общественности страны за чистоту Байкала. Она началась в хрущёвскую «оттепель» силами в основном учёных, а уже в горбачёвскую перестройку и гласность приобрела характер общенационального движения, одним из лидеров которого и был писатель Валентин Распутин.

К сожалению, после этого потребовалось ещё почти четверть века, чтобы окончательно прекратилась на южном берегу уникального озера варка целлюлозы со сбросом в него сточных вод и попутно отведена от «великой чаши жизни», как называл Байкал наш замечательный земляк, ещё одна угроза — строительство вдоль северного берега магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан».

*Суровые морозы сковали в этом году Байкал раньше, чем обычно, и подо льдом его бед не видно. Только по весне начнут опять вытаскивать туши нерпы, массовая гибель которой продолжается второй год, потечёт в «священное море» с талой водой «таблица Менделеева» и ясней обозначится невесёлое положение Байкала. Но ещё до того, как разойдётся лёд, рыбак в марте-апреле, вытащив из лунки рыбку, будет с удивлением и недоумением рассматривать её: неужели эта малявка и есть знаменитый байкальский омуль?!*

*За три без малого года, с тех пор как по Байкалу принято четвёртое по счёту правительственное постановление, облегчения не наступило. Напротив, по сводке Госкомстата, объём загрязнённых стоков, попадающих в озеро, возрос в 1988 году по сравнению с 1986-м в три раза. За два года в три раза — только представить! Но Байкалу приходится этот «рост» не представлять, а испытывать! Воздушные вы-*

бросы в бассейне озера чуть уменьшились и составили годовую порцию в 1,4 миллиона тонн. Всё это громадьё тонн падает в Байкал или стекает в него с дождями и весенним половодьем и вдобавок к многолетнему насыщению является оглушительной дозой. Гибель нерпы учёные объясняют инфекцией, как и гибель тюленя в Северном море и на Балтике, однако условия для столь массового распространения инфекции приходится искать в благоприятных для болезни условиях Байкала и ослаблении сопротивляемости животных.

Что же происходит с нашим «славным морем»? Согласно постановлению, на природоохранные мероприятия отпускаются ежегодно десятки миллионов рублей, а отравление Байкала продолжает идти по нарастающей. Происходит то, что и должно происходить, когда, во-первых, эти мероприятия запаздывают и, во-вторых, проводятся ни шатко ни валко. Правительственное постановление, точно по сговору, до сих пор испытывается на прочность: а ну как о нём, подобно трём предыдущим, так же благополучно забудут, и министерство, исполнившись рвения, останется в дураках. Ведомственная мораль, как показывают события, за последние годы чище не стала, и судьба Байкала, которая сейчас на устах всего мира, не вызвала в ней экологического слюнтяйства. Только и разница: раньше громогласно, с победными кликами, внедрялись, сейчас во что бы то ни стало, не подымая шума, стараются удержаться.

Прежний министр Леспрома, главного загрязнителя Байкала, владельца целлюлозных комбинатов, накануне отставки был щедр на посулы, нынешнее руководство относится к своим обязательствам куда как сдержанней. На недавнем совещании по Байкалу в Иркутске замминистра Леспрома тов. Чуйко впервые пустил пробный шар, заговорив об оттягивании сроков перепрофилирования БЦБК на два года. С замминистра в Иркутске не согласились, в том числе вынужден был не согласиться и заместитель председателя Совмина СССР Д.К. Гусев, однако на фоне затяжной обороны, которую не первый год ведёт министерство, невольно является подозрение: не есть ли эти дебаты своего рода дипломатической игрой, разыгрываемой для общественности? Годы идут, а ТЭО и график перепрофилирования по-прежнему не приняты: неизвестно, кто станет финансировать это довольно громоздкое и дорогостоящее предприятие, и вилами на воде писано, какого же всё-таки профиля будет новое производство. Очень похоже, что это сознательное затягивание, чтобы потом, когда подступят сроки, заявить: хоть режьте — не успеваем.

А пока вот передо мной справка о состоянии сбрасываемых комбинатом отработанных вод. К сожалению, относится она к третьему кварталу прошлого года, по четвёртому данных пока нет. Так вот, в третьем снова увеличился расход воды, зарегистрировано 177 случаев нарушений норм концентраций, ухудшилось качество воды в 100-метровом контрольном створе. По-другому и быть не может. Хотя комбинат, кажется, свыкается с вероятностью перепрофилирования, но, поскольку никто ему ничего определённого сказать не берётся, трудно и от него ждать чистой работы даже на уровне его возможностей.

В сущности, следовало бы ради спасения Байкала, сказав «а», говорить и «б» — то есть, согласившись на перепрофилирование одного комбината, пойти и на перепрофилирование другого. Селенгинский вред приносит озеру немногим меньше байкальского. Оборудование старое,хламовое, на таком оборудовании, если даже пустить замкнутую систему водопользования, которая сейчас строится, далеко не уедешь. Но замкнутая система, обойдясь государству в копейчку, по предположениям специалистов, возлагаемых на неё надежд не оправдывает, и грязное производство на Селенге так и останется грязным. А между тем на территории от Урала до Тихого

океана нет ни одной фабрики по переработке макулатуры, которая могла бы сберечь для потомков не одну сосновую рощу. Тут ей и место, когда бы в действительности осуществлялось радетельство о наших лесах и водах.

Накануне Нового года в Госкомгидромете СССР состоялось очередное заседание Байкальской межведомственной комиссии, созданной для контроля за выполнением постановления. Хорошо ещё, комиссия эта дёргает и тычет раз за разом в пункты, адресованные министерством, а то давно бы заглохла, как короткая гроза над Байкалом, вся связанная с ним и последняя спасательная шумиха. На декабрьском заседании были подведены некоторые итоги. Выяснилось, что из запланированных к этому сроку 90 заданий по реконструкции байкалозагрязняющих предприятий и строительству воздушных и водных очистных сооружений выполнено чуть больше половины, в основном незначительных. Остальные — в стадии обещаний. И ничего не остаётся межведомственной комиссии, застрявшей в межведомственных жерновах могущественной неповоротливости и не менее могущественной изворотливости, как «констатировать», «отмечать» и «принимать к сведению».

Ещё год назад на комиссии столкнулись в яростном споре представители Министерства геологии и Мингазпрома. Одни из них должны дать разведанные запасы газа в Иркутской области, а вторые подвести его для газификации промышленности Приангарья. Но одни не торопятся называть цифру запасов, а вторые под честное слово, что газа достаточно, отказываются начинать работы. А в действительности те и другие, нетрудно видеть, довольны друг другом, а в Байкал продолжает задувать по ангарскому коридору тяжёлые чёрные ветры.

И так далее. Словом, не достойная ни Байкала, ни нас с вами возня, рассчитанная на то, что когда-нибудь всё как-нибудь образуется само собой.

Взывать к совести в таких случаях бессмысленно — зывали и убедились. Власть, которую следовало бы употребить, в наше время не употребляется. Остаётся последнее, и общественные движения (множественное число тут не ошибка) в защиту Байкала намерены им воспользоваться — в крайних обстоятельствах силами и властью народа вмешиваться в работу предприятий, вопреки всем постановлениям и обещаниям, вопреки здравому смыслу и тающим надеждам на будущее, не прекращающим губить великую чашу жизни, каковой является Байкал.

И если придётся делать выбор между, предположим, целлюлозным комбинатом, дающим без сомнения нужную стране и нам продукцию, и между Байкалом — едва ли, наученные горьким опытом последних десятилетий, мы позволим себе совершить ошибку.

**Валентин Распутин**

## «Земля — это та же самая Матёра»

*Журналист Владимир Ходий подготовил к печати книгу «Время строкой ТАСС. Летопись Иркутской области. 1980–2000-е годы». В ней хронологически отражены основные события в политике, экономике, социальной сфере, науке и культуре нашего региона конца прошлого — начала нынешнего столетия. Книга объединяет около двух тысяч имён, и среди наиболее упоминаемых — писатель Валентин Распутин.*

*Предлагаем читателям журнала «Сибирь» ещё раз пройтись по «ступенькам» последней трети его жизненного и второй половины творческого пути.*

### 1987 год

*15 марта.* «Никогда ещё, если иметь в виду последние десятилетия, писатель в своих взглядах на потребности Отечества так близко не сходил с официальной точкой зрения, как теперь. То, что долго тревожило литературу, стало фактом признания и выправления, за человеком признано право самостоятельного мышления и действия», — сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Валентин Распутин. Этому известному художнику слова, родившемуся и живущему в Сибири, сегодня исполняется 50 лет.

*6 августа.* «Экология и мир, экология и литература» — тема встречи советских и японских писателей, завершившейся в Иркутске и на Байкале. Литераторы двух стран, уделив наибольшее внимание защите природы от промышленных выбросов, сохранению в чистоте водных источников в различных регионах планеты, объявили о начале Байкальского движения. Создан оргкомитет, в который с советской стороны вошли писатели Валентин Распутин и Зорий Балаян, с японской — известный прозаик Вахэй Татэмацу и литературовед, переводчик Нобукки Накамото. Очередную встречу решено провести в будущем году на озере Севан в Армянской ССР, затем планируется встреча на берегах озера Бива в Японии.

### 1988 год

*14 марта.* Вслед за мастерами кино, театрального и изобразительного искусства к творчеству Валентина Распутина обратились музыканты. Прочтением повести «Пожар» навеяно произведение для органа московского композитора Кирилла Волкова, впервые исполненное сегодня на родине писателя-сибиряка. «Новая соната в двух частях, как и её литературная первооснова, глубоко пронизана народными корнями, — рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС органист, заслуженный артист РСФСР Г. Гродберг. — Приятно, что это сочинение вызвало большой интерес у иркутских слушателей».

*3 ноября.* Группа творческих работников Иркутска, в том числе писатель Валентин Распутин, академик Академии художеств СССР Анатолий Алексеев, народный артист России Виталий Венгер, обратились к председателю исполкома областного Совета Юрию Ножикову с открытым письмом по поводу продолжающейся добычи песчано-гравийной смеси в акватории реки Ангары — на этот раз на ее островах. «Река без островов, отмелей, перекатов, проток, релок и заводей — всё равно, что человек без органов чувств», — говорится в письме.

### 1989 год

*30 сентября.* Премьерой спектакля по повести писателя Валентина Распутина



«Прощание с Матёрой» открыл 140-й сезон Иркутский драматический театр имени Н. Охлопкова. «Это современное, пророческое сочинение, продолжающее традиции русской прозы, и мы постараемся оправдать доверие писателя», — рассказал постановщик спектакля главный режиссёр театра Эдуард Симонян.

#### **1990 год**

*27 февраля.* «Наш Байкал» — под таким названием вышла сегодня в Иркутске новая газета. К её изданию приступил Фонд Байкала, а среди авторов первого номера — писатель В. Распутин, учёный Г. Галазий, заместитель председателя Центрального духовного управления буддистов в СССР Э. Цыбикжапов, активисты движения в защиту уникального озера, выдвинутые кандидатами в народные депутаты Российской Федерации и местных Советов.

*16 августа.* Завершена очередная встреча писателей — участников Байкальского движения. Вслед за состоявшимся три года назад широким обсуждением планетарных проблем защиты природы от промышленных выбросов, сохранения в чистоте водных источников вначале на озере Байкал, а затем Севане (Армения), японском Бива на этот раз литераторы вместе с учёными собрались в Монголии на озере Хубсугул. В составе советской делегации член-корреспондент АН СССР Г. Галазий, писатели В. Распутин, В. Крупин, З. Балаян, Т. Каипбергенов, А. Алимжанов.

#### **1992 год**

*12 июля.* Съезд русской православной молодёжи Сибири открывается сегодня в Иркутске. Некогда региональная столица Всесоюзных ударных комсомольских строек, таких как Братская и Усть-Илимская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль, на этот раз радушно принимает молодых священников, послушников монастырей, учащихся церковных воскресных школ. На съезде, девиз которого «За духовное и хозяйственное возрождение Отечества», ожидается участие писателя Валентина Распутина.

#### **1994 год**

*7 октября.* Дни русской культуры и духовности «Сияние России» начинаются сегодня в главном городе Прибайкалья. Три дня будут открыты двери всех музеев, библиотек, Домов культуры, концертных залов. Перед любителями искусства выступят бас из Австралии Александр Шахматов и московская певица Татьяна Петрова. Центральным событием дней ожидаются встречи с жителями региона известных деятелей «духовной оппозиции» — учёного Игоря Шафаревича, кинорежиссёра Станислава Говорухина, писателя Валентина Распутина и других.

#### **1995 год**

*6 октября.* Вечер-прием, посвященный 60-летию создания областной писательской организации, прошел сегодня в главном городе Прибайкалья. В нем приняли участие представители обоих нынешних объединений литераторов — Союза писателей России и Союза российских писателей. Выступивший на вечере Валентин Распутин отметил, что, несмотря на все, что произошло в нашей жизни за последнее время, местные писатели «остались честными и не изменили своим идеалам».

#### **1996 год**

*9 августа.* По 200 млн рублей выделяет администрация Иркутской области на предстоящие в 1997 году юбилеи писателей-земляков Александра Вампилова и Валентина Распутина. Первый рано ушёл из жизни, и создан оргкомитет по празднова-

нию 60-летия со дня его рождения. Увидят свет избранные произведения драматурга и сборник воспоминаний о нём. Эту же дату почётный гражданин Иркутска прозаик Валентин Распутин отметит выходом в свет книги своих новых произведений.

#### **1997 год**

*15 марта.* 60 лет исполняется сегодня писателю Валентину Распутину. На его родине — в Прибайкалье — администрация области выделила средства на издание его новой книги. Президент России Борис Ельцин поздравил юбиляра, отметив в послании, что имя Валентина Распутина по праву вписано в историю российской и мировой литературы. «Знаю Вас, — пишет президент, — как человека, горячо любящего Россию. Несмотря на различия во взглядах, отношусь с большим уважением к Вашему творчеству и лично к Вам».

*2 октября.* В четвёртый раз сегодня в Иркутской области открываются Дни русской духовности и культуры «Сияние России». Они проводятся по инициативе писателя Валентина Распутина, архиепископа Вадима и поддержаны многими известными деятелями культуры. Нынче в гости к сибирякам приехали кинорежиссер Николай Бурляев, публицист Михаил Назаров, певица Евгения Синельникова, а также директор музея-заповедника «Ясная Поляна» Владимир Толстой.

#### **1998 год**

*10 октября.* Объявлены имена первых почётных граждан Иркутской области. Постановлением губернатора ими стали генеральный директор акционерных обществ «Иркутскэнерго» и «Мясокомбинат «Иркутский» Виктор Боровский и Николай Виниченко, директор Института земной коры СО РАН Николай Логачёв, председатель областного совета ветеранов войны и труда Петр Московских, писатель Валентин Распутин.

#### **1999 год**

*14 декабря.* Сборником стихов сибирских поэтов на французском языке «Кедровый посох» пополнятся библиотеки Прибайкалья. Книга издана на родине Франсуа Вийона и Поля Элюара. На её презентации в побратимском Иркутской области департаменте Верхняя Савойя побывала группа литераторов во главе с Валентином Распутиным. Весной будущего года в Иркутске увидит свет сборник переводов на русский язык стихов современных французских поэтов.

#### **2001 год**

*15 июня.* Известный российский писатель Валентин Распутин работает над повестью о современном городе. Об этом он сообщил в интервью местному телевидению. По словам 64-летнего писателя, «для большой литературы осталось мало времени и его необходимо использовать полностью». Он сказал: «Это повесть на современную тему. В ней нынешняя жизнь, нынешние люди, нынешние события. Крутые события в некоторой степени. Но это не детектив, наоборот, я надеюсь, что это будет психологическая вещь».

*29 ноября.* В Иркутске начало действовать заочное отделение Московского государственного литературного института. Теорию студентам предстоит осваивать самостоятельно, сдавая затем экзамены в столице, а творческая часть учёбы пройдёт в городе на Ангаре. Здесь семинар у прозаиков поведёт писатель Валентин Распутин, которому только что присвоено звание профессора кафедры литературного мастерства института, у поэтов — один из руководителей областной организации Союза писателей России Андрей Румянцев.

## 2002 год

*15 марта.* В Прибайкалье отмечают 65-летие писателя Валентина Распутина. Хотя теперь большую часть времени он проводит в Москве, здесь помнят, что признанный мастер слова родился 15 марта 1937 года в селе Аталанка на берегу реки Ангары, учился в Иркутском госуниверситете, работал в газете и на телевидении, делал первые шаги в литературе. В областном отделении Союза писателей России уже состоялся вечер «Валентин Распутин и современный литературный пейзаж». Завершится череда чествований конференцией в Иркутском государственном университете «Моя и твоя Россия».

*10 октября.* В родных местах известного писателя Валентина Распутина — районном центре Усть-Уда — сегодня распахнул двери краеведческий музей. Это событие произошло в рамках проходящих в Прибайкалье Дней русской духовности и культуры «Сияние России». Вместе с Валентином Распутиным на открытие музея приехали главный редактор журнала «Москва» Леонид Бородин, поэт Юрий Лошиц и другие. В экспозиции есть раздел, посвящённый знаменитому земляку. Здесь выставлены родословная писателя, фотографии, ряд вещей и документов.

## 2003 год

*15 сентября.* В главном городе Прибайкалья сегодня во второй раз открывается Всероссийский театральный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова. Из 50 пожелавших показать свое искусство сценических коллективов страны приглашены 12. Отборочную комиссию возглавляет писатель Валентин Распутин, и главным критерием отбора явились «не изыски драматургии и режиссуры, а проповедь доброты, человечности и других нравственных ценностей». Среди участников фестиваля — театр на Покровке (Москва), Санкт-Петербургский имени Ленсовета, труппы из Архангельска, Белгорода, Нижнего Новгорода, Омска и других городов.

*1 октября.* К отмечаемому в эти дни своему 75-летию Иркутский театр юного зрителя поставил спектакль по повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой». По словам режиссера Александра Ищенко, спектакль рождался в тесном содружестве с автором повести. Хотя события в ней происходят в далёкие 1960-е годы, сам Распутин называет постановку современной. «Все потери, которые произошли, случились не тогда, когда затопили остров Матёру. Сейчас возможна гораздо большая потеря — всей нашей Матёры. Земля — это тоже остров, это та же самая Матёра. Вот это ощущение опасности передано в спектакле», — сказал писатель.

*4 октября.* Исторической справедливостью назвали открытие сегодня в Иркутске воссозданного памятника Александру III исполняющий обязанности министра путей сообщения РФ Вадим Морозов и писатель Валентин Распутин. «Был обезглавлен постамент, и он больше походил на надгробие, чем на памятник в честь великого события — прокладки Транссибирской железнодорожной магистрали. Памятник напомнил судьбу самой России в XX веке. Весь век был постамент, но не было духовных путей у него», — сказал писатель.

*10 октября.* Известный российский писатель Валентин Распутин издаёт повесть о жизни современного города. Она печатается в выходящем в Иркутске журнале «Сибирь» и также скоро увидит свет в столичном «Нашем современнике». Повесть называется «Дочь Ивана, мать Ивана». «Это произведение, — сообщил писатель, — было начато несколько лет назад. И вот я вернулся к нему, решив, что всякое дело должно иметь свой конец. В нём нынешняя жизнь, нынешние люди, нынешние события».

## 2004 год

*5 октября.* Презентация новой книги известного российского писателя Валентина Распутина состоялась сегодня в Иркутске. В неё включены последние рассказы и повесть «Дочь Ивана, мать Ивана». В основу сюжета последней лёг реальный случай, произошедший в начале 1990-х годов: героиня за поруганную честь своей дочери убивает насильника. «Поднимать руку на человеческую жизнь — грех смертный. Но чем больше я раздумывал над её поступком, чем больше ходил вокруг да около, тем больше понимал, что это не просто месть, это уже возмездие за жизнь», — считает автор.

*4 ноября.* Первый в стране памятник адмиралу Александру Колчаку открыт сегодня в Иркутске. Скульптура высотой более 5 метров работы народного художника России Вячеслава Клыкова установлена недалеко от того места, где в феврале 1920 года адмирал был расстрелян, а тело сброшено в прорубь реки Ангары. Как сказал на открытии памятника писатель Валентин Распутин, «такие личности, как Александр Колчак, при всей неоднозначности их деяний достойны того, чтобы о них помнил народ».

## 2005 год

*25 сентября.* Всероссийский театральный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова открывается сегодня в Иркутске. Он проводится раз в два года, и на этот раз примет на свои подмостки спектакли 16 театров из почти 50 пожелавших в нём участвовать. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, в состав которого входит писатель Валентин Распутин, «отбор был жёстким, с требованием не играть словом, а помнить его Господне происхождение и служить ему высотой и мерой».

## 2006 год

*4 июня.* На родине писателя Валентина Распутина — в районном центре Усть-Уда Иркутской области — сегодня освящен храм, построенный взамен разрушенного более 70 лет назад. Церковь Богоявления возрождена в основном на добровольные пожертвования, рассказал председатель попечительского совета, директор Усть-Удинского лесхоза Александр Горбиков. Сам писатель внёс 300 тысяч рублей, на которые в городе Каменск-Уральском были отлиты девять колоколов весом от 20 до 500 килограммов.

*10 июля.* Вечер памяти жертв катастрофы аэробуса А-310, среди которых оказалась и музыкант Мария Распутина, дочь писателя Валентина Распутина, проведут в ближайшие дни в Иркутске. Мария летела к родителям в гости, и в органном зале Иркутской филармонии должен был состояться её сольный концерт. В аэропорту дочь встречал отец. Когда Распутин подошёл к консультанту «горячей линии» и ему ответили, что в списке доставленных в больницу дочери нет, Валентин Григорьевич, рассказал сотрудник аэропорта, отошёл в сторону, — в глазах были слёзы...

*2 октября.* На проходящих в Иркутске традиционных Днях русской духовности и культуры «Сияние России» писатель Валентин Распутин представил новое издание книги «Сибирь, Сибирь...». Работать над ней он начал более 20 лет назад. Автор побывал во многих уголках страны от Урала до Тихого океана и создал серию литературно-исторических очерков о Тобольске, Томске, Енисейске, Иркутске, Кяхте, а также о Байкале, Горном Алтае и других местах. В новое, третье издание, вошли и главы, посвящённые Транссибу и Кругобайкальской железной дороге.

## 2007 год

*2 марта.* В залах Иркутского художественного музея имени Владимира Сукачёва

сегодня открылась фотовыставка, посвященная 70-летию писателя Валентина Распутина. Свои работы представил Борис Дмитриев, который более 30 лет фотографирует автора «Прощания с Матёрой» и «Живи и помни». «Так случилось, — рассказал Дмитриев, — что однажды Валентин Григорьевич задумал серию литературно-исторических очерков о старинных сибирских городах, Севере и стал приглашать меня в путешествия по этим местам. Понятно, что моя задача была фиксировать достопримечательности, так что порой мне было даже неловко наводить на него камеру. И всё же иногда это происходило само собой, а иногда я соотносил образ писателя с теми или иными объектами. И теперь понимаю: делал правильно!»

*13 марта.* Выставка, посвященная 70-летию со дня рождения писателя Валентина Распутина, сегодня открылась в Иркутске. На ней представлены работы местных художников, лично знакомых с ним. Экспозиция открывается большим полотном Льва Гимова «Иркутская стенка». Так в 1960-е годы называлась группа молодых писателей, смело заявивших о своём творчестве. Вместе с Распутиным это были драматург Александр Вампилов, поэт Глеб Пакулов, прозаики Геннадий Машкин, Вячеслав Шугаев и другие.

*15 марта.* Писателю Валентину Распутину сегодня исполняется 70 лет. Этот день он встречает в Москве, а на родину в Прибайкалье приедет в апреле. Здесь подготовлен и выпущен в свет 4-томник его произведений, областная публичная библиотека имени Ивана Молчанова-Сибирского издала указатель по его творчеству, занявший почти 500 страниц. В государственном университете, где он учился, пройдёт научная конференция «Мир и слово Валентина Распутина».

## **2008 год**

*11 апреля.* Исправить ошибку по отношению к Байкалу и убрать с его берегов целлюлозно-бумажный комбинат призывают губернатор Иркутской области Александр Тишанин, писатель Валентин Распутин и академик РАН Феликс Летников. Обращение об этом они подготовили на имя руководства страны, сообщили сегодня в пресс-службе главы области. «Настал момент, когда в судьбу БЦБК должно вмешаться государство, поскольку оно в лице Советского правительства в своё время приняло решение о строительстве комбината», — говорится в обращении.

*14 августа.* Писатель Валентин Распутин сегодня совершил погружение на дно Байкала. 71-летний литератор участвует в экспедиции, проводящей глубоководные исследования с помощью батискафов «Мир». Он «нырнул» на глубину почти 900 метров недалеко от восточного берега Байкала. Как сообщили в штабе экспедиции, «Распутин осуществил свою давнюю мечту, совершив глубоководное погружение в Байкал на борту батискафа, после чего писатель сказал, что он в восторге от увиденного».

*7 октября.* Свои новые книги «Земля у Байкала» и «Век живи — век люби» представил сегодня на открывшемся в Иркутске традиционном фестивале «Дни русской духовности и культуры «Сияние России» писатель Валентин Распутин. Первая включает много фотохудожественных работ, выпущена на двух языках — русском и английском. «Земля у Байкала» полезна иностранцам, но нужна, на мой взгляд, и нам — русским людям, особенно молодёжи», — сказал Распутин на презентации. Во вторую книгу вошли повести писателя «Последний срок», «Дочь Ивана, мать Ивана», а также несколько рассказов.

*26 декабря.* В уходящем году лучшим спектаклем в театрах Иркутска признан «Последний срок» по повести писателя Валентина Распутина. Таково решение жюри ежегодного областного конкурса в области культуры и искусства. Спектакль поставлен на сцене академического драматического театра имени Николая Охлопкова. Ин-

сценарий спектакля написал автор повести, но ряд сцен с разрешения автора добавил режиссёр Александр Ищенко.

### **2010 год**

9 июня. «Этим летом в Иркутске» — традиционные литературные вечера под таким названием открываются сегодня в столице Прибайкалья. Любители словесности почтят память недавно ушедшего из жизни инициатора их проведения книгоиздателя Геннадия Сапронова. Год назад по реке Ангаре, Братскому, Усть-Илимскому и зоне затопления будущего Богучанского водохранилища проехала экспедиция в составе писателя Валентина Распутина, литературного критика Валентина Курбатова, Геннадия Сапронова и кинорежиссера Сергея Мирошниченко. Последний снял об этой поездке фильм, который называется «Река жизни», и его запланировано показать на фестивале...

*Владимир ХОДИЙ*

# ПОЭЗИЯ



НИКОЛАЙ АЛЕШКОВ



## Сиренью пахнет тишина

\* \* \*

Поэтов в России любят только после смерти.

*Из Интернета*

Вернуть соловьиные годы,  
упасть в луговую траву!..  
Хотелось любви и свободы,  
хотелось в Казань и Москву  
из Богом забытой Орловки.  
Вперёд! И Казань, и Москва  
капканы свои и уловки  
расставили — выжил едва.  
Вернулся, аж мать не узнала,  
смурным из незваных гостей.  
Чьё солнце тебя обжигало,  
чей холод прошиб до костей?  
Родная! Ни солнце, ни вьюга  
меня не свалили бы с ног,

я сам из похмельного круга  
сбежал на орловский порог.  
В столицах чужие бульдоги  
российскую славу пасут.  
Рванёшься по скользкой дороге —  
всю душу тебе растрясут.  
Тебе не расскажешь об этом,  
но я занесу на скрижаль  
вослед за великим поэтом  
слезы материнской печаль.  
Я вырвался из круговерти!  
Спас матери иконостас.  
И кто там кого после смерти  
полюбит — неважно для нас...

---

АЛЕШКОВ Николай Петрович родился 26 июня 1945 г. в с. Орловка Челнинского района Татарской АССР. Работал монтером связи, электриком, кровельщиком, диспетчером домостроительного комбината. Был редактором набережночелнинской городской газеты «Время», а также редактором межрегиональной литературной газеты «Звезда полей». В настоящее время — главный редактор литературного журнала «Аргатак. Татарстан». В 1982 г. закончил заочное отделение Литературного института им. А.М. Горького. В 1984 г. принят в Союз писателей СССР. Автор десяти книг стихов, изданных в Москве, Казани и Набережных Челнах. Лауреат республиканской литературной премии им. Г.Р. Державина и Всероссийской литературной премии «Ладога» им. Александра Прокофьева. Живёт в Набережных Челнах.

## Индия

Тёмно-синее небо,  
а на небе звезда  
одинокая. Мне бы  
снова — на поезда!

К морю! Козыри — крести!  
Отыграюсь, шутя!..  
Я бы в Индию съездил,  
там народ, как дитя.

Там, быть может, поэту  
даст Господь благодать.  
Но по белому свету  
сколько можно плутать!

И не то, чтобы возраст...  
Просто надо успеть  
в срок — ни рано, ни поздно —  
о заветном допеть.

Держат цепко и хватко,  
дух пока не взлетел,  
Волга, Кама и Вятка —  
мой последний предел.

Заслоняю от сглаза  
окна русской избы —  
к ней с рожденья привязан  
пуповиной судьбы.

В ней мальчишкой безусым  
я мечтал — Боже мой! —  
съездить к добрым индусам  
и вернуться домой...

## Летний сон

Когда в тепле и ласке  
Душа найдёт приют  
И соловьи, как в сказке,  
В округе запоют...

И льнут к ногам травинки,  
И мне легко идти  
По луговой тропинке  
Вдоль Млечного Пути.

Среди берёз и сосен,  
Мелькнув листом резным,  
Прольётся с неба просинь  
Над озером лесным.

В печали нету проку!  
В избушке лесника  
Несёт меня к истоку  
Небесная река.



## Первый поцелуй

Твои бубенчики — смешинки —  
Звенели нежно — только тронь.  
И тихо падали снежинки  
В твою раскрытую ладонь.

И я губами вдруг прижался  
К твоей щеке. И был ответ...  
А в тех снежинках отражался  
Вечерних звёзд поющий свет.

\* \* \*

Не потекут обратно реки,  
Не повернётся время вспять.  
И распрощались мы навеки,  
И больше нечего сказать.

Но бесконечно память длится,  
И перелистываю я  
Любви пресветлые страницы  
В печальной книге бытия.

\* \* \*

Прощай! Целоваться не будем.  
Спасибо за то, что зашла,  
что праздник сиреневый в будни  
на спелых губах принесла.

Закат пламенеет над Волгой.  
И жизнь уходящую жаль,

и праздники длятся недолго,  
в душе оставляя печаль.

А мы, неразумные люди,  
Бежим друг от друга: дела!  
Прощай! Целоваться не будем.  
Сирень за окном отцвела.

\* \* \*

Приснилась осенью весна,  
И, как звезда, погасла...  
В далёком детстве тишина  
Сиренью пахла.  
Что ж, та весёлая пора  
Теперь у внучки.  
А мне за пенсией пора —  
Целую ручки!

Господь терпел, и я стерплю —  
Удел поэта.  
Я осень всё-таки люблю  
И бабье лето.  
Но верю: вновь придёт весна  
И внучка ахнет:  
— Дед! За калиткой тишина  
Сиренью пахнет...

\* \* \*

Я был смиренным, был и буйным,  
Был умным, был и дикарём.  
Мне никогда не стать трибуном  
Иль горлопаном-главарём.

Мои стихи... Они, как свечи...  
Хожу нечасто в Божий храм,  
Но знаю, что за них отвечу.  
Отвечу — точно. Но не вам.

\* \* \*

Десять дней на море.	ремесло поэта
Ты как перст один.	спуску не даёт.
Чайки да дельфины,	Отвяжитесь, строчки!
серебро седин.	Я свободой пьян.
Есть кураж особый:	Я не алкоголик
всех и всё любя,	и не наркоман.
в круговерти южной	Отвяжитесь, Муза!
потерять себя.	Нам не по пути,
Ни друзей, ни женщин.	не хочу я с Вами
Помыслы просты.	пóд руку идти.
И в толпе курортной	Муза дальних странствий
не проявлен ты.	сокрущённо вслед:
Никому не нужен,	— В мире несвободен
и тебе — никто.	даже ты, поэт!
Десять дней свободы!	Сколько Одиссея
Счастье — это что?	в море ни зови —
Рад бы отключиться	жажда возвращенья
от любых забот —	у него в крови.

## Памяти Светланы

Как остро тебя не хватает! Особенно летом.  
В каких ты мирах обитаешь? И мне бы — туда...  
Роман не дописан, остался романс недопетым.  
И ты не придёшь в моё лето уже никогда.

А озеро, где мы купались (наверное, помнишь?),  
Тоскует по бёдрам атласным не меньше, чем я.  
По травам пройдя луговым на елабужской пойме,  
Ты в воду вступала под раннюю трель соловья.

И солнце ласкало (а я ревновал тебя к солнцу)  
Высокую грудь, завитушки над лоном твоим.  
И память, и нежность от наших счастливых бессонниц  
Храню, пока жив я. И образ твой мною храним.

Пусть Кама и Вятка, и прочие быстрые реки  
Тебя догоняют, минуя в тумане холмы.  
Ведь ты, уходя, молодой остаёшься навеки,  
А я, постаревший, всё жду, когда встретимся мы...

## Я успею (реабилитация)

Не пугай меня летальным вздором!  
Я успею, смерти вопреки,  
Надышаться луговым простором  
Возле Камы, матушки-реки.  
Здесь косил траву мой сельский предок,  
Рвал цветы мальчишка озорной.

Я успею в бане напоследок  
От души напариться с женой.  
А надеюсь всё-таки на случай:  
Грудь вперёд — и к чёрту на рога!  
Только не под капельницей! Лучше  
Умереть от выстрела врага.

\* \* \*

Вспомню детство у ласковой речки,  
Что петляет, ключами звеня,  
Вдоль села, где на летнем крылечке  
Дождидается мама меня.

Где друзья, где бывшие подруги?  
На кого опереться в тоске?  
Все вернёмся на вечные круги,  
Проплывая в небесной реке.

Не она ли, в реке полоская  
Вперемешку с бельём облака  
И меня от себя отпуская,  
Вслед крестила? Ты помнишь, река?

А земная река захирела,  
И обрушился сгнивший мосток.  
Что стоишь? Принимайся за дело!  
Кто очистит родимый исток?

\* \* \*

Мечтал о чём? Мечтал о том,  
чтоб сказка былью стала.  
В родном селе построил дом.  
Душа на место встала.

\* \* \*

Отряхнул от пыли коврик с чердака.  
Не его ль вязала мамина рука?  
Постелил у двери — и холодный дом  
Начал согреваться маминым теплом.

*Редакция журнала «Сибирь» поздравляет известного  
русского поэта, главного редактора журнала «Аргамак–Татарстан»,  
гостя праздника «Сияние России» – 2014  
Николая Петровича Алешкова с 70-летием!*

## О прощании с Леоновым и Распутиным

Когда Михаил Петрович Лобанов позвонил мне и сообщил, что со мною хочет увидеться Леонид Максимович Леонов, я ощутил себя человеком, вдруг заблудившимся во времени. Сам Михаил Петрович с его особым, уже не встречавшимся в моём поколении характером и с его рукой, пораненной на той войне, о которой я мог лишь слышать, уже казался мне персонажем бесконечно обновляемого временем списка с картины Павла Корина «Русь уходящая». А Леонид Максимович мне был известен лишь по академическим томам на моих книжных полках, а также по фотографиям 1924 года, где он, франтоватый, рядом с таким же молодым и таким же щекастым Есениным, и по фотографиям самым поздним, где он уже был усохшим, как лист из стариннейшего фолианта.

То есть я не столько знал, сколько всё-таки понимал, что хрестоматийный писатель Леонов — живой, но уже я и не рассчитывал, что встречу его где-нибудь в ЦДЛ или, допустим, хотя бы в Кремле на писательском съезде. В моём сознании он был как позапрошлогодний травяной стебель, как-то уцелевший в глубине нашего заново вызеленного писательского поля.

И потому с самого начала все наши с ним встречи были похожи на спиритические сеансы. Я, например, не без волнения спрашивал: «А что за человек был Бухарин?» или «А мог ли «пролетарский» писатель Горький ощущать в себе какой-нибудь конфликт с «пролетарским» государством?» И Леонид Максимович, уцелив свои обесцветившиеся глаза в давно канувшую эпоху, начинал на мои вопросы обстоятельнейше отвечать. И голос его был глуховатым, мерным, словно сквозь решето времени давно просеянным.

А сам он меня особо ни о чём не расспрашивал. И не сразу я смог сказать ему нечто вразумительное о романе, над которым он трудился около четырёх десятков лет. Это было всё равно, что судить о Вселенной. Ну очевидно ж, что она огромная... Ну, как-то там всё, одно вокруг другого, вертится... А когда я посожалел о той главе, которую Леонид Максимович вдруг из своего романа изъясил, он с гневом, тоже давно просеянным, со мною не согласился: «А вот представьте себе человека, у которого одна рука длиннее другой, у которого печень не помещается в животе... Но так и в романе каждый эпизод, каждая сюжетная линия должны занимать лишь то пространство, которое не нарушит его общего строя... И если одно слово должно читателя не задеть, то о другое он должен споткнуться... Слова, как тона и полутона на картине, должны находиться на своём месте... У каждого сантиметра строки должна быть своя изобразительная функция...»

И я, привыкший сочинять наугад и лишь «по вдохновению», ощущал себя, может быть, тем насельником ветхозаветной пустыни, с которым в беседу вдруг вступил сам Господь.

Должно быть, я скрашивал его одинокую жизнь у письменного стола, на котором возвышались горы его романа (от бесконечно вклеиваемых правок иные страницы этого романища уже были с палец толщиной!). К тому же я был тих и нем, как и то кресло, в котором, затаив дыхание, обычно сидел, так что Леониду Максимовичу было можно, наверно, в любой миг от меня отвлечься в какую-то свою мысль. Потому он, видимо, и приглашал меня всё чаще и чаще.

А едва время приближалось к телевизионным новостям, он, как обречённый, спе-

шил включить телевизор и с жадностью затем вникал в канитель бурливших в стороне от его затворнической жизни событий.

Однажды он увидел на телеэкране Сергея Николаевича Бабурина и завздохал: «Очень и очень надеюсь я на этого мальчика... И голова, и характер у него есть... Но таких обычно стараются затоптать...»

И хорошо, что на нашу последнюю с ним встречу, которая состоялась уже в больнице, я приехал совместно с Сергеем Николаевичем.

Оказалось, что в том крыле городской больницы, где находилась палата с Леонидом Максимовичем, вовсю шёл ремонт. Так что пока мы с Сергеем Николаевичем шли по коридору, ацетоновый запах выел наши глаза до слёз. А маляры, узнавая в моём попутчике депутата Бабурина, работу приостанавливали и с удивлением на него глядели.

Леонида Максимовича мы увидели понуро сидящим на пружинной кровати. На коленях у него лежал том «Пирамиды», только что отпечатанный в типографии. Не в силах различить в нём своими почти ослепшими глазами хотя бы одну букву, он ощупывал его похрустывающие страницы, а потоки свежего августовского воздуха, хлынувшего на нас сквозь распахнутое окно палаты, шевелили его лёгкие, как пух, волосы.

Сергей Николаевич сразу стал куда-то звонить, кому-то что-то срывающимся от ярости голосом по телефону втолковывать. А Леонид Максимович на ядовитый воздух не жаловался, был абсолютно спокоен. Тут же принялся подписывать нам своё сокровище.

В общем-то, он давно был уверен в том, что отойдёт в мир иной сразу, как только его «Пирамида» будет издана. И, значит, по его мысли, теперь ему осталось исполнить последнее: что-то кому-то непослушной рукою написать на титульных страницах романа и пониже — вытанцевать свою авторскую подпись и поставить дату — и, из последних сил сощурив свои почти бесполезные глаза, прицелиться кончиком авто ручки в то место, где должна быть после даты поставлена точка, и — точку поставить.

Я извертелся от нестерпимого сострадания к этой его работе — упрямой и сверхкропотливой, вовсе не похожей на простую церемонию дарения книги. Хотелось подказать: «Да автограф бы вы черкнули — и всё...»

Наконец, сделав вид, что подпись на книге мною прочтена слёту (дома лишь с лупой можно было разгадать написанное), я с осторожнейшей благодарностью пожал его пергаментную руку.

То ли Сергею Николаевичу удалось кому надо объяснить, что за старик тут вынужден дышать ацетоном, то ли его личных депутатских полномочий оказалось достаточно, но Леонид Максимович все-таки был переселён в то крыло больницы, где ремонт не производился и где дышать было можно.

Но ни выход последнего леоновского романа, ни даже сама кончина великого писателя не стали для страны событиями, достойными особого внимания. В новостях промелькнуло лишь скупенькое сообщение, мол, умер такой-то. Словно речь шла не о писателе, произведения которого — на уровне с Толстым и Достоевским — переведены на все языки мира. Роман «Пирамида» всё же не оставили без внимания наши наиболее высоколобые филологи. При всём том, что их мнения оказались противоположными, для многих погружение в «Пирамиду» оказалось ещё и поводом, чтобы уточнить основы собственного миропонимания.

Может быть, наиболее общее для всех впечатление о «Пирамиде» удалось сформулировать доктору филологических наук, ведущему научному сотруднику ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН Алексею Марковичу Любомудрову: *«Восторженность, с которой книга зачислена в разряд повествований о «русском правдолюбце», равнодушие, которое проявлено столь многими в отношении её духовно-религиозного*

*ядра, лёгкость, с которой оно принимается за исконные национальные духовные ценности, — симптомы показательные.*

*Леонов оставил нам потрясающий образец того, каким может стать сознание человека и человечества накануне апокалиптических событий. Каков может быть новый вызов Богу на рубеже XXI столетия. И в этом смысле «Пирамида», несомненно, роман-предупреждение».*

Но не имеют эти высоколобые учёные выхода на телеэкран, а значит, и то великое культурное потрясение, которое русский писатель Леонов около сорока лет уединённо готовил для всей России, прошло лишь в скрытых от сторонних глаз катакомбах нашей учёной касты.

Леонид Максимович Леонов (последний остаток от русского Золотого века, доскававший нам недосказанное русским Золотым веком, этот Золотой век довоссоздавший опытом века ХХ!) умер на обочине жизни новой и не только чужой, а и враждебной его родному Отечеству.

И затем, как и Леонов, для страны неслышно, один за другим уходили крупнейшие наши писатели — уже из поколения советского, однако же вернувшего даже советской литературе высокие нравственные смыслы родной им русской цивилизации. И вместе с ними истаявали наши русские небеса, и в опустевшие наши зениты из самых смрадных и тёмных клоак всплывало нечто отвратительное, доселе в русской литературе невиданное. И как ацетон нам с Бабуриным, пока мы шагали к Леонову, выедал глаза, так и человеческие души до сих пор травит эта на деньги Соросов и для гибридных войн выведенная писательская порода.

Впрочем, однажды сам президент Путин вдруг вспомнил о пока ещё уцелевшем Валентине Григорьевиче Распутине и, нарушая установившуюся русофобскую традицию, под телекамеры встретился именно с ним, а не с новономенклатурной нечистью. И какую-то высокую награду ему затем под телекамеры вручил.

Но после вручения этой награды Валентин Григорьевич даже не смог более или менее внятно досказать свою ответную речь. Потому что его надежду на то, что во власти всё-таки люди, а не зверюги, многими годами ранее уже использовал вместо камуфляжа Горбачёв. И к тому времени уже, наверно, без всякой надежды, лишь от отчаяния Валентин Григорьевич сказал всё, что понял и о «перестройке», и о «реформах», и обо всех прочих геноцидных акциях.

Мы же, глядя на вытаскивание Путиным главной козырной карты из всей нашей писательской колоды, гадали, что это будет значить для России, или хотя бы для русской литературы.

А Валентин Григорьевич в писательский Союз заходил всё реже.

А если и заходил, то замечали мы, что прибавлялась и в его лице, и в его фигуре даже не стариковская ветхость, а какая-то незаживающая мука.

И на рабочих секретариатах он садился где-нибудь в уголке.

Впрочем, сколько я его помню, он всегда боялся своим появлением что-то порушить, в коридорах, если кто ему шёл навстречу, всегда отступал к стеночке.

И было мне непонятно, как решался он выступать на депутатских съездах с гневными своими речами, как решался он бросать в лицо новорусской власти: *«Сегодня мы живём в оккупированной стране, в этом не может быть никакого сомнения. То, чего врагам нашего Отечества не удавалось добиться на полях сражений, предательски совершилось под видом демократических реформ. <...> Разрушения и жертвы, как на войне, запущенные поля и оставленные в спешке территории — как при отступлении. <...> Что такое оккупация? Это устройство чуждого порядка на занятой противником территории. Отвечает ли нынешнее положение России этому условию? Ещё как! Чуждые способы управления и хозяйствования, вывоз национальных богатств, коренное население на положении людей третьего сорта, чуждая куль-*

*тура и чужое образование, чужие песни и нравы, чужие законы и праздники. Чужие голоса в средствах массовой информации, чужая любовь и чужая архитектура городов и посёлков — всё почти чужое, и если что позволено своё, то в скудных нормах оккупационного режима...»*

Я знаю многих писателей, которых хлебом не корми, дай только выступить, дай только прогреметь на публике. И надо ж было такому случиться, что именно на Валентина Григорьевича все мы уже давно стали надеяться и как на саму русскую правду, и как на саму русскую совесть. А он даже в ЦДЛ не захаживал, чтобы за чашкою кофе с коллегами повитийствовать, он наиболее комфортно себя чувствовал, наверно, лишь за письменным столом или в кругу тех немногих людей, с которыми за многие годы успевал срастись и сжиться.

Но крест деятеля публичного этот самый непубличный русский писатель нёс терпеливо. А уж какого напряжения ему это стоило, какую пытку было ему, напрочь лишённому лицедейского дара, выстраивать риторические фигуры устной речи! — уже никто из нас не узнает.

Да мы даже особо и не задумывались о том, что Валентин Григорьевич — это не только великий писатель, а и человек особого, непостижимо высокого внутреннего устройства. Гоголь обратил наше внимание на то, что *«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла»*.

Но в Пушкине сказала та его высокая аристократическая порода и та его тонкая аристократическая шлифовка, на которую многие века трудилась в поте лица вся тягловая Россия. А Распутин явился нам из самой глубины этой измученной работой и ничего, кроме работы, не знавшей России. И вот же оказалось, что и в нём, как в Пушкине, «русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла».

Или — может быть, после того как пушкинские Гринёвы, получив от Екатерины Великой «вольности», сначала поддались разложению, а затем и сгнули в жерле революции. Именно в лице Распутина и таких, как он, выходцев из народных низов, нарождалась новая русская аристократия. И уже не ратная, не горделивая, а простодушная, крестьянская, трудовая, стесняющаяся собою кого-то обременить, готовая для общей пользы взвалить на себя самую тяжкую работу и заботу, стесняющаяся жить в большем достатке, чем все прочие люди.

И ведь не случайно таких как Распутин писателей называли «деревенщиками», в то время как иных никто не называл «городскими». Да и когда-то Клюева никто «деревенщиком» не называл при всём том, что даже и борода его, и его косоворотки, и его сапоги были подчеркнута деревенскими. В своём инстинкте возрождения порушенная революцией и двумя мировыми войнами Россия открыла свои самые последние, свои самые потайные, тысячу лет невидимые и неслышные человеческие хранилища — уже крестьянские.

И если теперь именно о Распутине мы можем сказать, что он *«есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа»*, то прежде всего потому, что в нём и великий русский писатель, и сосредоточенный в русском духе гражданин, и просто бытовой человек уживались необыкновенно гармонично, свободно вытекая одно из другого, одно в другое преобразуясь.

Однажды я приехал в Иркутск вместе с писательской делегацией. А перед нашим возвращением в Москву Валентин Григорьевич пригласил нас к себе. И когда мы,

москвичи, вдоволь выпили и закусили, я вдруг, праздного любопытства ради, уже и не рассчитывая, что успею зайти в местные магазины, спросил у Валентина Григорьевича, что можно привезти в Москву в виде иркутского сувенира. Ну, из Якутии, славящейся серебром, я привёз жене серебряное колечко, в память о Карелии хранится у меня обломок камня с гроздьями аметиста, из Сирии привёз я жене какой-то особый средиземноморский жемчуг, а в Китае, где всё диковинное, я в каждый магазин заходил, как в музей.

Валентин Григорьевич с ответом замешкался, а супруга его, Светлана Ивановна, охотнейше подсказала мне:

— Да все москвичи от нас со сметаной улетают. Считается, что вкуснее, чем наша, сметаны нигде не бывает...

На том моя разведка об иркутских сувенирах и закончилась. А утром я с трудом заставил себя проснуться. И пока мы ехали в автобусе от гостиницы до аэропорта, я благополучно дремал. Но каково же было моё удивление, когда в аэропорту ко мне подошла Светлана Ивановна и вручила огромную банку сметаны. А ещё утренние сумерки не сошли. И никакая сметана меня самого не заставила бы просыпаться в такую рань и аж в аэропорт мчаться...

— А то мы подумали, что купить что-нибудь сами вы уже не успеете... — смущённо оправдывалась Светлана Ивановна. — Да и запаковали мы банку так, что вы не беспокойтесь, не разобьётся она, даже если вдруг упадёт...

Я готов был сквозь землю провалиться от стыда.

Но ведь и не мог же я предположить, что мой досужий вопрос обяжет Распутиных стать ответственными за то, чтобы к своей жене я вернулся с иркутским подарком...

С тех пор я уже отдавал себе отчёт в том, что Валентин Григорьевич и в житейской изнанке точно такое же *«явление чрезвычайное»*, как и в своей лицевой стороне.

...А у Леонова я однажды спросил:

— Когда вы всё-таки почувствовали, что советская власть уже не русофобская?

И он ответил не задумываясь:

— Когда вдруг власть поспешила столетие даже и со дня смерти Пушкина отметить так, как будто это самое главное событие в советской истории.

Вот и с последним русским классиком Россия прощалась уже не воровато и не абы как. Аж из Кремля это скорбное событие было замечено. И сам президент приехал проститься с русским писателем Распутиным в кафедральный собор Русской Православной Церкви, и оповещённый всеми телеканалами народ в течение всего дня непрерывающимся ручейком устремлялся в храм Христа Спасителя, чтобы вместе с навеки умолкшим писателем сколько-то секунд помолчать.

Так, может быть, после набега очередной орды наши предки выходили из лесов и молча прощались с тем их превращённым в прах селением, которое их согревало, в котором ютилась их душа.

И дадут ли новые наши вороги нам хотя бы ту передышку, чтобы на несгораемых краеугольных камнях — на томах Леонова, Носова, Белова, Распутина — успели мы заново жизни своей порадоваться?

*Николай ДОРОШЕНКО*



# Валентин Распутин

## ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

С утра стало известно: умер Валентин Распутин. До последнего дня надеялся, что обойдётся, и он одолеет треклятую болезнь. Верил в это упорно и не хотел ничего слышать. Но вышло по-другому, и на сердце сделалось больно. Видел, как у жены глаза наполнились слезами, и она то и дело подносила ладони к лицу, и недоумение читалось в нём, и отчаяние, она словно бы хотела сказать: «Как же так? Ведь это ж Валентин Распутин!..» Но так ничего и не сказала, ушла в свою комнату. А дочь, она учительница, отодвинула от себя ученические тетрадки, и те теперь враскидь лежали на столе. И в глазах у неё застыло то же смущение, что и у матери. Я мог бы подойти к ней и попытаться успокоить. Но не сделал этого. Не сумел. Заперся в своём кабинете и просидел у окошка до позднего вечера. Бог весть, о чём я тогда думал?.. Какие-то рваные мысли, часто не связанные друг с другом, посещали меня, картинки разные. Иные из них укладывались в голове и обрастали деталями. В какой-то момент увидел себя, студента Иркутского госуниверситета, в фундаментальной научной библиотеке. Сидел тогда в полупустом читальном зале за столиком, заваленном стихами поэтов Серебряного века. Я тогда писал стихи и интересовался только поэзией. Когда ж бросил листать книжки, увидел за соседним столиком худенького, русоголового парня в серой рубаше в клеточку, тот проглядывал подшивку какой-то газеты, по-моему, это была «Советская молодёжь». Поколебавшись, подсел к нему:

— Ну и о чём там пишут?..

Он поднял голову, мгновение-другое разглядывал меня с насмешливым прищуром в глазах, а потом спросил:

— Ты кто будешь-то?

А когда узнал, что я студент первого курса, усмехнулся:

— То-то гляжу, смелый больно...

И снова стал листать газеты. Про меня вроде бы запомнил, и я, вздохнув, встал на ноги и потянулся к своему столику, когда он сказал:

— Ты небось курящий?..

Я кивнул.

— И наверняка не знаешь, где тут курилка?..

Я опять кивнул.

— Пойдём, покажу, где она тут.

Он закрыл подшивку, и через минуту-другую мы оказались в каком-то закутке, освещаемом слабым электрическим светом. Сели на старенькую скрипучую лавчонку, прислонённую к стене, наверное, для того, чтоб не сползла на пол.

— Меня Валентином звать. А тебя?..

Я ответил. На лице у него появилась улыбка, короткая, на малый вздох. Должно быть, его слегка удивило моё имя. Но я привык к этому и сделал вид, что ничего не заметил. Да и не до того было. Подошли какие-то парни, кажется, студенты. И он заговорил с ними, а потом ушёл.

Встретился я с ним через день в той же библиотеке, и мы снова пару-другую раз

ходили в закуток, хотя сам он не курил. Обычно присаживался на скамейку с краешка самого, чуть подавшись вперёд и подперев ладонью голову, как если бы весь уходил в себя. Говорили мы мало. Он, судя по всему, от природы был молчалив, а мне, первокурснику, не по чину было лезть со своими разговорами к старшему товарищу. А ведь мы были ровесниками, просто не выпало мне поступить университет после школы. Надо сказать, почтительное отношение к Валентину осталось у меня на всю жизнь. И, по правде-то, ничего другого никогда и не хотелось, устраивало то, что почувствовал к нему с первого же дня нашего знакомства. Я нередко ощущал, точно бы некие токи протягивались ко мне от Валентина Распутина и помогали выстоять и в самые худшие для меня минуты. А и впрямь было в нём что-то такое, как если бы не от мира сего, теперь-то я точно знаю.

Примерно через полгода увидел я Валентина Распутина на одном из заседаний университетского литературного объединения, которым руководил наш преподаватель, замечательный критик и литературовед Василий Прокофьевич Трушкин. Шло обсуждение чьих-то стихов, и шло ни шатко ни валко, выставленные стихи не давали возможности раскрутиться воображению, были привычны для нашего слуха и ничего не подвигали в сознании.

— Тоска-то какая, — недовольно сказал один из членов литкружка. — Хоть теперь же полезай в петлю!..

Кто-то хмыкнул, а кто-то в нетерпении вскочил с места. Но Валентин даже не пошевелился, всё так же сидел на своём месте, чуть прикрыв глаза и ни на кого не глядя. И только когда мы вышли из аудитории, где проходило заседание, негромко, не обращаясь ни к кому, как бы для себя, сказал:

— Нехорошо это...

В нём жила некая деликатность, чувство редко у кого встречаемое, хотя внешне он производил впечатление человека довольно хмурого и вроде бы даже слегка отстранённого от ближнего мира. Это, наверное, оттого, что порой он так глубоко уходил в себя, во всё то, что жило в душе, что думать о чём-то ещё у него просто не доставало сил. Помню, как-то в разговоре со мной он назвал мою жену «бабушкой». А потом посмотрел мне в глаза и, заметив них недоумение, тут же обронил смущенно:

— Но ведь ты сам... Сам...

Я сказал, что всё в норме, о чём тут говорить, время-то вон как бежит, и мы уж давно не те...

Валентин вроде бы согласился со мной, но ещё долго не мог успокоиться, я это чувствовал и мысленно поругивал себя, хотя и не понимал за что...

Мы окончили университет и разъехались кто куда... И вновь встретились, кажется, в 1962 году в Новосибирске. В этом городе при местной студии телевидения тогда была открыта школа, где обучали молодых журналистов разным телевизионным премудростям. Тоска, одним словом!.. Помню, сидишь перед «ящиком» и слушаешь занудь некоего, чаще московского, трепача, и — выть хочется. Валентин тогда работал на Красноярском телевидении, а я в Улан-Удэ на бурятском... Ну, встретились, добились, чтоб нас поселили в одной комнате, а с утра пошли на занятия, чтоб уже к вечеру другого дня позабыть про них совершенно, сыскались дела поважнее. Мы подолгу бродили по широким улицам Новосибирска, иной раз заглядывали в питейные заведения. Разумеется, в те, что подешевле. Но это по первости, когда была денежка. А потом её не стало. Валентин спросил у меня:

— Тебе жена ничего не заказывала?..

— Заказывала. Туфли.

— И моя заказывала, — вздохнул Валентин. — И тоже туфли... И что будем делать?

— А что тут сделаешь? Придётся ехать домой с пустыми руками.

Сидели тогда в маленькой гостиничной комнате с обросшими густым слоем ржавой пыли узкими окнами, выходящими во двор, заставленный машинами. Настроение было, сами понимаете, какое... И тут вдруг Валентин говорит:

— А что? Попробуем?..

Накинул на плечи куртку, вышел из комнаты. Вернулся за полдень, довольный собой:

— Собирайся, да поживей. Пойдем в бухгалтерию, там кое-что причитается нам за инсценировку одной очень известной повести. Инсценировку я сделал ночью, пока ты спал. — Осторожно, свычно со своей натурой, улыбнулся: — Надеюсь, хватит на туфли?..

Хватило!..

Потом был Читинский семинар, куда приехали молодые литераторы со всей Сибири, на всю страну прозвучали имена Валентина Распутина и Александра Вампилова, Геннадия Машкина и Владимира Корнакова. А чуть позже появилась публикация в центральной печати распутинского рассказа «Я забыл спросить у Лёшки». Публикация вызвала живейший интерес у читающей публики. И справедливо. Сам я тоже поддался очарованию этого сочинения, вдруг стал подумывать о том, а не перейти ли мне на прозу?.. Правду сказать, не ожидал от себя этого. Но, видать, так сильно было впечатление от рассказа, что растолкало в душе у меня.

Шли годы. Имя Валентина Распутина приобрело популярность. Его повестями зачитывались, и вот уж без них стало невозможно представить себе русскую литературу. Я изредка звонил ему, мы говорили чаще о вещах малозначимых и редко когда о делах литературных. А однажды, году этак в восьмидесятом, по теплу уж, Валентин Распутин приехал в Улан-Удэ с собственным корреспондентом газеты «Советская культура» Владимиром Ивашковским. Поселился в местной гостинице и позвонил мне. Я не мешкал, отыскал люкс, мне сказали, что в нём остановился Валентин Распутин.

В люксе было много людей, оживлённо за чарочкой водки о чём-то беседующих. Но не было Валентина. Володя сказал, что он в соседнем номере, и я пошёл туда. Комнатка оказалась маленькой, неухоженной, с побитой штукатуркой. Распутин сидел на кровати и что-то записывал в блокнот. Увидев меня, встал, предложил мне стул, а потом снова опустился на жёсткую гостиничную койку.

— Что же ты не в люксе-то? — спросил я. — Там небось и посветлее будет. И попросторней.

— Не хочу, — сказал он. — Шумно там. У Володи-то много друзей в этом городе. Пусть погуляет. Отдохнёт.

Вот так-то!.. В нём чаще неприметно, не на погляд, жило добрососедское, я бы так назвал его, беспокойство о тех, кто находился рядом. Он тогда всё спрашивал у меня, чем я живу и как, и не надо ли мне чего, я что-то отвечал, слегка робея. Мне и впрямь ничего не надо было, лишь бы сохранялась возможность хоть изредка оставаться наедине с письменным столом.

В тот день ближе к вечеру я познакомил его с моим другом, известным бурятским писателем Цыденжапом Жимбиевым. Валентин говорил с ним о бурятском искусстве, о скульпторах Бурятии, которые в ту пору уверенно выходили на мировую арену. Цыденжап подарил Распутину свою новую книгу «Год огненной змеи». Валентин потом признавался, что за ночь одолел роман, и был доволен тем, что не зря потратил время на чтение.

Надо сказать, Валентин трепетно относился к литературному творчеству. Был прост и одновременно суров в суждениях, не любил фальши и дурнословья, до последнего своего дня интересовался новинками литературы. Я всегда удивлялся, как он успевал столько прочесть, а затем вынести своё мнение о прочитанном, ведь занятой-то был по самое «не могу».

В восьмидесятые годы в журнале «Сибирские огни» вышел мой роман «Байкал — море священное», и я позвонил Валентину и попросил, коль същется время, прочесть роман. Он усмехнулся и сказал:

— А я уже прочитал...

— Ну и... — пробормотал я.

— Хорошо, — сказал он.

Наверное, мне повезло. Едва ли не каждая моя публикация через какое-то время оказывалась у него на столе. Так было с романом «Милосердие», увидевшим свет на страницах «Сибирских огней», и с романом «Берег времени», опубликованным в журнале «Москва». И с романом «Будда». Про «Берег времени» он сказал: «Сложновато, конечно, но как же без этого?.. Надо будет читателю поднапрячь мозги». А про «Будду»... Тут посложнее. Месяц прошёл, как книга вышла, а от Распутина ни весточки. Но вот однажды ближе к вечеру раздался телефонный звонок, звонил Валентин, он сообщил, что Правление Союза писателей России намерено провести обсуждение моего романа. Спросил: «Согласен?..» Я не возражал.

И вот что он сказал на этом обсуждении: «Такую замечательную книгу мог написать только человек, в котором течёт восточная кровь. Это чувствуешь сразу, как и зов предков. Но видишь и русскость автора. Это накладывается, и я рад, что всё получилось так удачно. Читаешь книгу, и вспоминаешь другого замечательного писателя — Исаю Калашникова и его роман «Жестокий век». Оба эти произведения стоят в одном ряду».

Так всё и было, и как же теперь мне, да и всем нам, не хватает этого удивительного человека!..

В тот раз в гостинице Валентин сказал, что завтра поедет в Кяхту, хочется ему написать очерк о старинном русском городе. Предложил и мне «прокатиться» с ним. Я охотно согласился. Но не получилось, подзадержали дела, да не мои, а те, что нет-нет да и подкидывает нам начальство по своей ли воле, по указанию ли свыше. Короче, кому-то, видать, не хотелось, чтоб я провёл день-другой в обществе Распутина. Вот и отодвинули меня в сторону. Но да Бог с ними, со всеми! Мало ли что...

Валентин съездил в Кяхту. Старинный сибирский городок пришёлся ему по душе, и он сказал про это, а ещё и про то, что в Кяхте у него теперь появились друзья. А потом он уехал, но через год снова оказался в Бурятии. И я снова встретился с ним в той же гостинице и едва ли не в той же самой комнатке, где он провёл ночь перед поездкой в Кяхту. Он был пуще прежнего молчалив и, как мне показалось, замкнут на себе, и у меня возникло чувство, что он теперь думает только о будущей своей книге, и ему не хотелось бы, чтоб кто-то, хотя бы и нечаянно, сбил его с мысли. Впрочем, и в этот раз он нашёл время съездить ко мне домой, чтоб выпить чашку густого зелёного чая с молоком.

Шли дни, схожие друг с другом отчуждённостью от людей, не сулящие им и малого душевного равновесия. Грустно было смотреть на то, что совершалось на отчей земле. Тягостно. Помню, в те дни писатели Бурятии собрались на свой очередной съезд. Приехали гости из других городов, в их числе и Сергей Владимирович Михалков. Съезд шёл ни шатко ни валко, и я почти ничего не запомнил из того, о чём на нём говорили, очнулся, когда меня вызвали на трибуну. Я, конечно, знал, что и мне предоставят слово, а только вялое течение съезда вроде бы как усыпило меня, и я обо всём запамятовал. Ну, вышел я на трибуну и заговорил о гражданской войне. Я тогда писал роман о генерале Каппеле и о красном комдиве, противостоящем ему. Сказал, что нельзя людей делить на белых и красных, как принято нынче, одних записывая в герои, а других кляня почём зря, что и те и другие одинаково заслуживают уважительного к себе отношения. И надо бы нам поменять в своей душе и пожалеть людей, невесть кем и для чего в который уж раз втянутых в братоубийственную войну.

Для того времени мои слова, чуждые общепринятой морали, пожалуй, прозвучали как гром среди ясного неба. Наверное, поэтому, а почему бы ещё, секретарь по идеологии Бурятского обкома КПСС Лидия Нимаева в своём выступлении решительно заявила, что «Ким Николаевич противопоставляет себя линии нашей партии, и ему не место в рядах советских писателей».

Вот так-то, ни больше ни меньше! Я, конечно, растерялся, разные дурные мысли забродили в моей голове, особенно когда иные из моих приятелей стали обходить меня стороной. Хорошо, что в тот день ко мне подошёл «адмирал», человек, судя по всему, добросердечный, не помню его имени, не знаю даже, был ли он и впрямь адмиралом, знаю только, что он всегда сопровождал Михалкова в его поездках по России, и сказал:

— А Сергею Владимировичу понравилось твоё выступление.

Может, это, а может, то, что я уж привык к тому, что иной раз на меня навешивали ярлыки, про которые и говорить-то вслух совестно, подействовало на меня успокаивающе. Помнится, деревню, о которой я написал в романе «Его родовое имя», некий критик назвал «Архипелагом Нестериха». И, кажется, был очень доволен собой.

Я говорю об этом столь пространно по той простой причине, что после этого съезда случился крутой поворот в моей жизни. Бог знает, что стало тому причиной: то ли складывающаяся вокруг меня недружественная атмосфера, то ли сам вдруг сбрындил. Короче, уже на другой день сказал жене: «Готовься к переезду, мы покидаем благословенную Бурятию». Она, зная моё упрямство, не стала спорить. А я засел за телефон и принялся обзванивать друзей, которые жили в других городах. Тогда-то и получил приглашение из Новосибирска, а потом и из Ленинграда. Позже позвонил Валентину Распутину, он не без удивления в голосе спросил:

— А зачем в Питер?.. Да и Новосибирск далековато от Байкала, а без него, знаю, худо тебе будет. Пропадёшь.

Всё верно. Чего же я сразу-то об этом не подумал?

Вот так мы с женой и оказались в городе нашей юности. Приняли нас хорошо. Правда, кое-какие трудности возникли у жены с устройством на работу. Но Валентин, ни слова мне не говоря, нашёл время встретиться с тогдашним председателем Иркутской телерадиокомпании, и всё наладилось. Вот такой он был человек, близко к сердцу принимавший всё, что происходило рядом ли с ним, на приличном ли отдалении.

Вчитайтесь в его повести. Сколько же в них нежности и доброты даже и к тем, кто уже вычеркнул себя из жизни, однажды сбившись с пути и так и не отыскав другой дороги! Он отдавал людям всё, что имел, душу свою. И мучительно страдал, если вдруг оказывался неспособен помочь. Он жил людскими болями и радостями. Чаще болями. И они истачивали его большое сердце, но были неспособны что-либо помянуть в нём.

Помнится, году в девяностом я написал стихи:

*Знает, помнит Божья лира,  
Как усть-удинский пацан  
Разгадал загадки мира,  
У которых нет конца.  
И начала тоже нету.  
И пребудет вдалеке  
Сотворённое поэтом  
На таланте и тоске.  
Что есть рай? Души отрада.  
Что есть ад? Мерцанье тьмы.  
Близ кладбищенской ограды  
Пребываем нынче мы.*

*Всё то было. Боль и горе,  
И хмельной любви угар.  
И «Прощание с Матёрой»,  
И на отчине «Пожар».  
Тяжко, брат мой, в этом мире  
Средь порушия и зла.  
Но божественная лира  
Не угасла, не ушла.*

Я прочитал стихи Валентину, он послушал и сказал грустно:

— Да, брат, тяжко...

А 15 сентября 1997 года в день моего рождения подарил мне двухтомник своих избранных произведений с такой надписью:

«Дорогому Киму, юбиляру, от юбиляра (мы с ним ровесники. — *Авт.*):

Разделив шестьдесят на две доли,

Нам останется ровно по тридцать.

Поле, поле, широкое поле!

Отчего молодецки не свистнуть?!»

А ещё тогда он подарил мне икону Христа Спасителя и «золотую» ручку. Икона по сей день висит у меня в кабинете. Храню я и «золотую» ручку.

Он любил отчую землю, страстно и горячо, понимая про все её страдания. Помню, как-то он приехал на 134-й километр Кругобайкальской железной дороги с немецкими друзьями, там я обитаю в маленьком старом домике, стоящем на берегу Байкала. Хорошо там, рядом ни одного жилого строения, кроме добротного и в малости не остаревшего барака, а ведь и этот барак, как и мой домик, был построен в начале прошлого века. И по сей день живут в том бараке люди добрые, отзывчивые. Они, когда узнали, что в наше поселье, которое в прежнее время носило гордое имя — Пыловка, а теперь кличется «Километром», приехал Валентин Распутин с друзьями, тут же чуть на отшибе от моего домика развели костёр, сварили уху из омуля, нажарили на рожне хариуса, а потом раскинули на траве скатерть с разною таёжною снедью. И, что приятно, никто из них не лез с разговорами к дорогому гостю, как если бы понимая, что не надо мешать ему. И он ощутил это трепетное к себе отношение и был благодарен моим соседям.

Каждое утро Валентин уходил на берег Байкала и часами просиживал на Чёрных Камнях (есть у нас там такое дивное, сокрытое от солнца разлапистыми деревьями место) и предавался своим мыслям.

Перед отъездом он сказал, что ещё приедет сюда, уж очень ему здесь понравилось, думается тут хорошо.

Но, видать, не судьба...

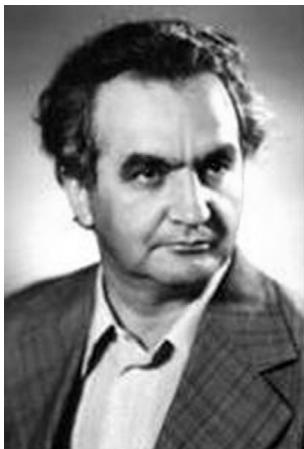
Уходит эпоха. Наверное, немного останется от неё в памяти грядущих поколений. Уж слишком неоднозначной была она, слишком уж захватанная жадными чиновными руками, а ещё и теми, на которых по сию пору не высохла братняя кровь. Но имя Валентина Григорьевича Распутина и людей, близких ему по духу и таланту, будет жить до тех пор, пока стоит Русь.

Низко склоняю пред прахом его свою седую голову, верю в восхождение души его к Божьему престолу.

*Ким БАЛКОВ*



СЕРГЕЙ ИОФФЕ



## Изнурилась война, отгремела

### Неужто день такой придёт?

Неужто день такой придёт  
и час придёт, когда  
меня ребята позовут  
на пионерский сбор?  
Я им скажу: ошиблись вы,  
я не герой труда,  
я детских книжек не пишу,  
я не киноактёр.

И мне ответят: сбор у нас  
Победе посвящён,  
а это значит — рассказать  
должны вы о войне...  
Я буду просьбою такой,  
Конечно же, смущён  
И возражу я им: друзья,  
Ошиблись вы вдвойне.

---

ИОФФЕ Сергей Айзикович (11 января 1935, г. Смоленск — 24 января 1992, г. Иркутск) — поэт и прозаик. Детство С.А. Иоффе прошло в поселках довоенного БАМа, строителем которого был его отец. Семья переезжала вместе со стройкой из посёлка в посёлок: Облучье, Ургал, Таюра, Ния, Известковая, Пивань... Школу Сергей заканчивал в Иркутске — 9-ю среднюю, мужскую, имени А.С. Пушкина. Впервые стихи С. Иоффе были опубликованы в 1953 г. в иркутской областной газете «Советская молодёжь». В 1955 г. в коллективном сборнике «Молодая Ангара» появилась его первая подборка стихов. По окончании в 1956 г. Иркутского пединститута С. Иоффе служил в армии на Украине. Работал на студии телевидения, в газете «Советская молодёжь», на студии кинохроники, преподавал в университете. Автор книг: «Надежда» (Иркутск, 1966); «Брод» (Иркутск, 1968); «Мужчины» (Иркутск, 1972); «Дорога» (Иркутск, 1976); «Живут стихи...»: Этюды о поэтах (Иркутск, 1979); «Отзвук»: Сиб. лира (Иркутск, 1980); «Стихов мелодия живая»: Этюды о поэтах (Иркутск, 1983); «Северные поезда»: Семейная хроника (Иркутск, 1986); «Дыша, как воздухом, стихами»: Этюды о поэтах (Иркутск, 1989); «На исходе века» (Иркутск, 1991); «Любит, не любит...»: «Давняя история» (Иркутск, 1993); «Время вышло» (Иркутск, 1995).

Когда вломился к нам фашист,  
мне не было семи.  
Немного надо подрасти —  
я это понимал.  
Но в сорок пятом, в десять лет,  
удрал я из семьи.  
Меня поймали. Я ревел.  
Сказали: глуп и мал...

Итак, для сбора не гожусь,  
не воевал ни дня.  
Придётся сбор перенести —  
беда не велика.  
Я дам совет искать того,  
кто был взрослей меня,  
искать бывалого бойца,  
искать фронтовика.

В ответ услышу я слова  
прискорбные о том,  
как безуспешно поиск вёл  
повсюду их отряд,  
как шли ребята по дворам,  
как шли из дома в дом,  
как обратились, наконец,  
они в военкомат.

И там полковник принял их.  
И молча слушал он.  
Вздыхая, списки полистал,  
что были так длинны.

А после, встав из-за стола,  
сказал: «На весь район  
отныне нет ни одного  
участника войны».

Неужто день такой придёт?..  
Над смертью власти нет.  
Но память надо сохранить.  
Горнист, всеобщий сбор!  
Я расскажу вам о войне —  
мальчишка, шпингалет,  
не пехотинец, не танкист,  
не лётчик, не сапёр.

Но я тем воздухом дышал,  
я тою жизнью жил!  
Свернуть угольником письмо  
до сей поры могу.  
Я из газет, где «Смерть врагу!»,  
свои тетради шил,  
чтоб между строчек выводить  
всё то же: «Смерть врагу!»

Я расскажу вам о войне,  
когда мой день придёт.  
И коли вправду суждено  
такому дню прийти,  
пускай сначала он на год,  
потом ещё на целый год  
и вновь на долгий-долгий год  
задержится в пути.

## Учитель военного дела

Изнурилась война, отгремела,  
а он жучил нас, будто бойцов,  
наш учитель военного дела —  
лейтенант, пехотинец Земцов.

От истерзанных стен Сталинграда  
до победной черты прошагав,  
он твердил: «Расслабляться не надо».  
И похоже на то, что был прав.

Поначалу мы были неловки,  
но моментом освоить смогли  
и разборку, и сборку винтовки,  
и команду: «Коротким — коли!»

К удивленью всего педсовета,  
подтянулся разболтанный класс.  
И мужская подтянутость эта  
навсегда сохранилась у нас...

Мы по жизни уже отмахали,  
не иначе, две трети пути.  
Только грозы с небес громыхали,  
только ветры секли и дожди.

Мир старел и менялся. Мы — тоже.  
Мир как будто бы к свету из тьмы  
неуклонно стремился... И всё же  
изменился он меньше, чем мы.



Мир опять раскалён до предела.  
И детей, как когда-то отцов,  
обучает военному делу  
подполковник в отставке Земцов.

О периоде полураспада,  
об ударной волне рассказав,  
он твердит: «Расслабляться не надо».  
Он, к несчастью, по-прежнему, прав.

## Пять строк

*Памяти лейтенанта Б.Е. Иоффе*

Останки его схоронили,  
и вечный обрёл он покой  
в Смоленичах, в братской могиле  
(вот только неясно, в какой).

В живых ни жены и ни дочек —  
поплакать никто не придёт.  
Растоптан последний росточек,  
не может продолжиться род.

Ни имени на обелиске,  
ни писем с войны от него,  
ни фото, ни родичей близких.  
Как есть — никого, ничего...

И всё же уверен: осталось!  
Не весь он растаял во мгле.  
Хотя бы какую-то малость  
оставил и он на земле.

Ту малость, пускай и не сразу,  
но мне удалось отыскать.  
Пять строчек из книги приказов.  
Нач. штаба. Число и печать.

Как взвод лейтенанта пехоты  
в неравном бою за большак  
сдержал две фашистские роты  
и не отступил ни на шаг.

Ещё — о посмертной награде...  
Пять строчек всего, а судьба!  
Не славы, не почестей ради  
велась та святая борьба.

И мы не для славы на свете...  
О, если б оставить я смог  
таких же правдивых, как эти,  
таких же весомых пять строк!

## Ледоход

Плывут по Лене льдины,  
как гусыни, —  
величественны белые бока...  
Я засыпаю.  
Синий воздух стынет,  
неся над Леной льдины-облака.  
Ах, Лена, Лена!  
Вырвалась из плена —  
и нет над нею снежного моста.  
Брожу по Лене я,  
и по колено  
мне все её глубокие места.  
Но то — во сне...  
Как жаль, что всё — во сне.  
Я просыпаюсь:  
Синий воздух стынет,  
плывут по Лене льдины,  
как гусыни,  
плывут на север птицы по весне.

## Акварели

1

Над городом повисли тучи.  
В аллеях парка — дыма просинь:  
сгорает в золотистых кучах  
с берёз поверженная осень.

2

Река волной мостки качала.  
И, отвернувшись от реки,  
три лодки — словно сосунки —  
приткнулись сбоку у причала.

\* \* \*

Проникаю несуетным взглядом  
в тот Иркутск, где не будет меня...  
С нестареющей церковью рядом  
пробегают трамваи звеня.  
А над ней, в поднебесье взмывая,  
как в былые, мои, времена,  
мельтешит голубиная стая —  
слава богу, сыта и вольна.  
Поверну-ка незримо у рынка,  
отдохну на подъёме крутом.  
Прежде звали — Иерусалимка,  
Парк культуры — назвали потом.  
Нет в округе удобнее горок:  
безмятежность, простор, высота.  
Открывается прожитый город целиком —  
от моста до моста.

Предугадываю перемены:  
подросли дерева и дома,  
но душа, сердцевина —  
нетленна, как нетленна природа сама.  
Только я бы едва ли ответил,  
в чём она, городская душа...  
Этот звон, переменчивый ветер,  
что балует, листву вороша,  
купола, предзакатное солнце,  
яркий блик на ангарской волне,  
вековая резьба над оконцем —  
всё, как было когда-то, при мне.  
Знать, не страшно сокрыться в природе,  
коли жил и томясь, и любя.  
Ведь с уходом твоим не уходит то,  
что в жизни превыше тебя.

\* \* \*

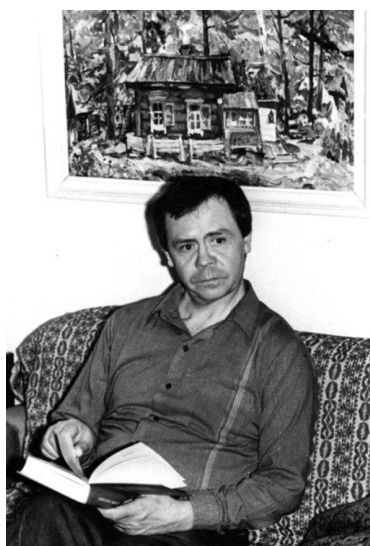
Бабье лето сгорело дотла.  
В огороде пожухла ботва,  
прихватило морозом цветы...  
Ставни я затворил на болты,  
и повесил на двери замок,  
и шагнул из избы за порог.  
Не поверив в измену, верна,  
трое суток крепилась она,  
трое суток хранила тепло...  
А потом на дворе замело,  
запуржило, и первый мороз  
сквозь пустячные щели пронёс  
в неприступную крепость,  
в жильё, ледяное дыханье своё.  
Печь озябла, промёрзли полы,  
куржаком затянуло углы,  
и со стен, ознобившись,  
родня стылým взглядом корила меня...  
Только я был далече уже —  
на высоком, седьмом, этаже,

а с бесхлопотной той вышины  
все напасти не очень страшны.  
Без меня зимовала изба —  
уж такая ей вышла судьба...  
Я сюда возвратился весной,  
распечатав замок навесной.  
Двери настезь и ставни вразброс —  
улетучься, исчезни, мороз!  
Леденящая кончилась власть!..  
Печь дымилась, но вскоре взялась —  
загудела голодной трубой,  
закурилась дымком над избой...  
Начались полюбовные дни.  
Подобрили глаза у родни.  
Отогрелась изба, отошла —  
по ночам не теряет тепла.  
Но глухою порой, иногда,  
когда стынет над крышей звезда,  
пробуждаюсь, и слышится мне  
то ли вздох, то ли стон в тишине.

## У нас на Байкале

*Какая-то постоянная бездонная грусть светится во взгляде, будто постиг он или приблизился к постижению неведомого ещё людям страдания и готов пострадать за них и покаяться, облегчить жизнь, принявши боль земную, все тяготы человеческие на себя...*

Виктор Астафьев



Валентин Распутин

В 1969 году в Порту Байкал на горке, у истока Ангара купил дачу писатель Глеб Иосифович Пакулов. В его большой светлый дом, сложенный из крепких лиственничных брёвен, стоящий в зелени высоких трав и деревьев, стали приезжать в гости его друзья, среди которых был Валентин Распутин. Сразу за домом начинаются поляны, сплошь заросшие цветами. А внизу сверкающей лентой раскинулась Ангара. В этом месте она рождается: пятнадцать минут ходьбы — и открывается великий Байкал. Эти сказочные места манили и притягивали всех, и многие из гостей вскоре сами обзавелись дачами в посёлке. Валентин Григорьевич Распутин в 1974 году купил в Порту Байкал дом, приписанный к улице Вокзальной и значащийся под номером 1. На самом деле этот дом стоит одиноко между двумя частями посёлка, расстояние между которыми около километра. Он тесно прилеплен к старой байкальской горе, с высоты которой десятки лет тёмными ночами посылал свет маяк, доставленный сюда из далёкой Англии. В мае эта безлесая внизу, скалистая гора

полыхает багульником, в июне белеет кашкой, а осенью от её сказочного разноцветья, от тёмной синевы Байкала, искрящего солнечными звёздами, просто захватывает дух. Сбылась мечта писателя: у него появилась возможность видеть озеро каждый день, наблюдать за ним, любоваться им. Домик, одиноко стоящий на берегу священного озера, постоянно меняющийся цвет воды и её блеск за окнами, шум волн и золотые россыпи брызг, перелетающих через дамбу... Что ещё надо для счастья и работы писателю, влюблённому в Байкал!

Озеро-море блистает великолепием совсем рядом и катит волны почти к самой даче. Границей между домом и Байкалом служит лишь старая Кругобайкальская железная дорога, сейчас одноколейная, а в первой половине XX века колес было две. Возле дома, ставшего распутинским, десятки лет находилась высокая будка стрелочника, ревели паровозы и заволакивали окрестности густым чёрным дымом и облаками белого пара. Да и сейчас каждым летом можно иногда увидеть паровоз, со свистом, шипением и оглушительным рёвом везущий туристов со всего мира подивиться на байкальские красоты. А в 70–80-е годы здесь ходил поезд, составленный из товарных, пассажирских вагонов, цистерн с горючим. В рассказе «Век живи — век люби» Валентин Григорьевич назвал этот поезд, на котором ему приходилось ездить неоднократно, сборным чудом-юдом: «Да это и не поезд

был, что принято называть поездом, а скорее грузовой состав, к которому прицеплялось для пассажиров когда три, когда четыре вагона, а зимой так хватало и одного. Рано утром это устаревшее сборное чудо-юдо уходило из посёлка и поздно вечером возвращалось...»

За железной дорогой, опять же рядом с домом, располагается портовской причал. В 70-е годы от этого причала отправлялись в путь по Байкалу многие пассажирские теплоходы и пароход «Комсомолец», совершавший круизы по Байкалу и не вмещавший всех желающих объехать Байкал (иногда туристы ехали в палатках на корме); а также теплоходы-труженики, везущие длинный хвост плотов из толстых брёвен. Были даже свои танкеры, доставлявшие горючее на север Байкала.



*Валентин Распутин на портовском причале на фоне парохода «Комсомолец»*

Дача, состоящая из маленького дома и крошечного флигелька, построенного Валентином Распутиным и писателем Глебом Пакуловым, напоминает оазис: здесь привольно живётся тополям, берёзам, черёмухе, сирени, огромной лиственнице. Близость Байкала, живописные горы, тишина, изредка нарушаемая проходящим поездом, — всё наполняет душу красотой, даёт ощущение вечности, пищу для размышлений, творчества. Вот с какой любовью говорит о своём участке Валентин Распутин в рассказе «Что передать вороне?»: «У нас на Байкале была своя ворона. У нас там был свой домик, своя гора, едва ли не отвесно поднимающаяся сразу от домика каменной скалой; из скалы бил свой ключик, который журчащим ручейком пробегал по нашему двору и

возле калитки опять уходил под деревянные мостки, под землю, и больше уже нигде ни для кого не показывался. Во дворе у нас стояли свои лиственницы, тополи и берёзы и свой большой черёмуховый куст. На этот куст слетались со всей округи воробьи и синицы, вспархивали с него под нашу водичку, под ключик (трясогузки длинным поклоном вспархивали с забора), который они облюбовали словно бы потому, что он был им под стать, по размеру, по росту и вкусу, и в жаркие дни они плескались в нём без боязни, помня, что после купания под могучей лиственницей, растущей посреди двора, можно покормиться хлебными крошками. Птиц собиралось помногу, с ними смирился даже наш котёнок Тишка, которого я подобрал на рельсах, но мы не могли сказать, что это наши птички. Они прилетали и, поев и попив, опять куда-то улетали. Ворона же была точно наша...»

«Оазис» в Порту Байкал быстро стал для писателя своим, родным местом. Валентин Григорьевич любил гулять вдоль берега, по старой железной дороге, тихий и задумчивый, сидел на берегу, глядя, как плещут волны озера-моря, которое катит их миллионы лет. Жил просто: топил печь, подметал дворик, сажал картошку, подправлял забор. Воду предпочитал байкальскую, говорил, что она вкуснее, и ходил с вёдрами к озеру, хотя можно было брать очень чистую воду из ключика в своём дворе. Хрустальная горная вода, конечно вкусна, жива. Но вода Байкала, этот щедрый дар небес, — сокровище, чистейший и глубочайший земной колодец, не может сравниться ни с чем. Валентин Распутин с детства пил байкальскую воду, избыток которой несла Ангара жителям стоящих на её берегах деревень и городов. Большую часть жизни писатель прожил в Иркутске, и приходилось пить воду из городских труб. Конечно, он почувствовал огромную разницу, это была мёртвая вода, ему казалось, что вытекает она из преисподней.

Воде и чаепитию Валентин Григорьевич придавал великий смысл. Люди, живущие на Руси, чаепитие всегда считали значимым событием. Для чая необходим был русский самовар и живая земная вода. За чаем общались, задушевно пели под гармонику уплывающие в необъятные просторы красивые песни, сложенные на родной земле, и проникались любовью к этой земле, к природе, к людям. В рассказе «Что передать вороне?»

утреннее чаепитие в одиночестве на даче дано как таинство. Первый глоток байкальского чая обычно несёт гармонию и вдохновение, настраивает на работу, на связь с космосом, помогает увидеть сокрытое для глаз, «отыскать нужный голос, который не спотыкался бы на каждой фразе, а, словно намагниченная особым манером струна, сам притягивал к себе необходимые для полного и точного звучания слова...» Недаром старики в «Прощании с Матёрой» ангарскую водичку и чай из самовара не променяли бы на все городские блага. «Ой, да какой там чай! — говорит героиня повести Настасья. — Вода не дай бог морёная, её там травят чем-то, чтоб Ангарой не пахла...» В фильме «Река жизни» Валентин Распутин приводит слова, которые зацепили его и постоянно вспоминались: « Без реки, без Ангары нашей, никто не проживёт, а все реки мимо Бога протекают, он в них смотрит и, как в зеркале, каждого из нас видит...» Значит, тем более никто не проживёт без Байкала, отца великих рек Ангары и Енисея. Виктор Петрович Астафьев, три раза приезжавший в Порт Байкал, сказал, что в Байкале девственно-чистая вода, в которой, наверное, Создатель омывал новорождённых ангелов, прежде чем пустить их в небо, и оттого у них такие белые, нежные, лебединые крылья...

Как для питья Валентин Распутин выбирал чистейшую воду, байкальскую, так в речи предпочитал слово русское, сохранял его девственную чистоту и страдал от загрязнения родной речи не менее, чем от загрязнения воды в реках и озёрах. Да и слова «река» и «речь», конечно же, одного корня, родились от одной славянской праматери. Писатель видел, как сплошным потоком вероломно вторгаются в русский язык англицизмы и подменяют собой слова, взлелеянные пращурами, рождённые самой природой нашей Руси. Вода и речь — это бесценный дар предков, к нему нужно относиться бережно и защищать от всего наносного, что и делал всю жизнь Валентин Григорьевич. И тогда Россия будет процветать.



*В. Крутин и В. Распутин на Куликовом поле*

Здесь, на байкальском берегу, Валентин Распутин черпал вдохновение для создания своих самобытных книг о жизни сибирской деревни, о судьбе простого русского человека. Этот приозёрный уголок был мил немногословному, любящему уединение Распутину. Здесь, в стареньком доме и флигельке, «бисерным» почерком создавались лучшие произведения Валентина Григорьевича: «Живи и помни», «Прощание с Матёрой», «Век живи — век люби», «Что передать вороне?», «Наташа».

«Мне хорошо пишется в домике на Байкале», — говорил он. Насколько хорошо, можно понять из того же рассказа «Что передать вороне?» В самом начале писатель говорит о том, как на даче пошла работа, зазвучал нужный голос и с какой неохотой ему пришлось отрываться от стола, ехать в город. И чтобы не растерять вдохновение, сошедшее к нему на байкальской земле, вернулся в порт вечером того же дня, даже видя, что маленькая дочь сильно соскучилась и очень хочет, чтобы отец остался дома хотя бы до утра. Валентин Распутин недоволен собой, он рассказывает о том, как сразу в наказание за поездку начались невезение и разлад в душе. И Байкал, когда до него с трудом добрался писатель, был неспокоен и неприветлив: «Безветрие и грохот воды; ощущение было жутковатое — точно там, за краем причальной стенки, начинается другой свет». Ехать пришлось на портовском катеришке в сильный шторм: «...Катерок наш то вонзался в воду, то взлетал в воздух... а я, мокрый и продрогший, сидел на мешке с картошкой, который ездил подо мной, и безучастно ждал, чем всё это кончится...» Почему, ради чего Валентин Григорьевич отказался от тёплого вечера в семейном кругу? Его душе не давала покоя боль за Русскую землю, и он торопился на Байкал, чтобы осуществить свой творческий замысел. Тянула одинокая

дача, на которой он мог вдохновенно писать, «Матёра» — величайшая повесть XX века, в которую он вкладывал свою боль и всего себя. За это пришлось заплатить ещё одной болью: ему пришлось ощутить разлад с самим собой и природой, почувствовать обиду и отчуждённость дочери, которая заболела из-за отъезда отца, и невозможность в этот вечер и на следующий день написать ни строчки. Для чего же писателю было дано пережить такое состояние? Вероятнее всего, чтобы появился прекрасный рассказ-откровение «Что передать вороне?»

Доводилось жить в своей избушке Валентину Распутину и зимой. Переправы в зимние месяцы, когда стоял лёд, не было, и приходилось ему, как местным жителям, добираться из Листвянки в порт пешком. Чтобы попасть в свой домик, нужно было пересечь незамерзающий исток по кромке льда. По дороге попадаются большие трещины, лёд гудит, трескается под ногами, временами густой туман плотной завесой закрывает путь, пронизывающий хиус забирается под одежду. Путь не совсем безопасный, но незабываемый. Зимний исток Ангары прекрасен! Лёд местами покрыт снегом, местами, очищенный от него ветрами, во всей красе лежит сияющим прозрачным зеркалом. Сквозь чистый лёд, весь в зигзагах и сплетениях белёсых трещин, видна вода, в зависимости от глубины кажущаяся то чёрной, то синей, то светло-зелёной. Встречаются живописные причудливые нагромождения торосов. Недалеко от пешеходов плещутся в стыллой дымящейся ангарской воде дикие утки, каждый год прилетающие сюда зимовать. А какие яркие и вместе с тем нежные рассветы и закаты на зимнем Байкале!

Валентин Григорьевич любил Байкал в любое время года. Но зимой жить подолгу здесь не мог: нужно было заготавливать дрова, подолгу топить печь. А с мая, когда озеро вскрывалось, он жил, в основном, на даче. На лето приезжала и семья Распутиных.

Жена Светлана Ивановна, маленькая дочь Маша и сын Сергей тоже полюбили домик на Байкале. Светлана Ивановна, спортивная, увлекающаяся теннисом, купалась в Байкале. Дети любили проводить здесь лето, загорали, плескались в воде, набирались байкальского тепла и света на долгую зиму. Бывавшие в гостях у Распутиных Валерий Николаев и его жена Галина, учившаяся со Светланой в университете, в 1978 году также приобрели в посёлке дом.



*Дача В.Г. Распутина*

Много думал в своём домике писатель о нелёгкой доле русского народа и о страшных испытаниях для русского духа, выпавших во второй половине XX века. В 50-е годы началось строительство Иркутской и Братской ГЭС, повлекшее затопление больших территорий. В фильме «Река жизни» энергетик рассуждает так: «Мы не будем жечь 3000 тонн угля каждые сутки. Или мы затопим старое село. Что для нашей цивилизации лучше? Есть понятие: плата

за цивилизацию». Это рассуждение сродни примерно такому: «Отруби-ка матери палец и будешь жить богато». Дешёвая электроэнергия дорого обошлась людям, выселяемым с обжитой веками земли, особенно старикам, которые, как вековые деревья, выросли в родную почву. Потрясают слова Дарьи из «Прощания с Матёрой»: «А как можно отдать на смерть родную избу, из которой выносили отца и мать, деда и бабу, в которой сама она прожила всю, без малого, жизнь...» Но всё же затопили посёлки, затопили с погостами, с церквями. Был затоплен даже Братский острог, хотя часть его всё же сохранили: перевезли в музей посёлка Тальцы, что находится недалеко от Байкала. Уничтожалась красота русской природы, на дне оказались сибирские леса. Деревья, напоминающие гигантские водоросли, медленно умирали, а потом «утопленники» во множестве всплывали на поверхность немым укором. Русские земли издревле выжигали враги, ангарские же земли выжгли дотла, а потом и затопили «сыны» отечества в целях экономии. Валентин Григорьевич понимал,

что воды, пущенные человеком для затопления земли как «плата за цивилизацию» могут подмыть корни огромного, хранящего Землю Лиственя, и поплывёт человечество в ужасе и хаосе, им же созданном, к быстрому своему концу. И защищать Землю надо всем миром.

Варварское отношение к природе, к своим соотечественникам стало личной болью для Валентина Распутина, родившегося на Ангаре в небольшом посёлке Аталанка. Он говорил: «Я всегда был и останусь на стороне защищающейся от человека природы». Вышедшая в 1976 году повесть «Прощание с Матёрой» стала откровением для многих читателей, заставила их содрогнуться от содеянного людьми на земле, наполнила сердца болью за стариков, сплотившихся, отстаивающих родные дома, родные могилы. Но противостоять силе принятых государственных решений они не могли, как не может земля побороть натиск большой воды.

Ангара связана с Байкалом кровными узами. И Валентин Распутин, находясь на Байкале, следил за событиями, происходящими на Ангаре, чувствовал природу реки, слышал плач затопленной земли. Быстро слагалась повесть, хорошо работалось в байкальском домике под сенью семи лиственниц, одну из которых он в рассказе «Что передать вороне?» назвал могучей. Может быть, с неё рисовал он тот самый незабываемый Листвень из «Прощания с Матёрой»?.. Жители Порты Байкал часто бывали у писателя в гостях. Многие засиживались допоздна, любили поговорить с Валентином Григорьевичем, тем более что он внимательно слушал каждого. И многим писатель дарил свои книги с автографами. Можно было его увидеть сидящим на берегу с грузчиками порта, которые рассказывали о своём нелёгком житье. Иногда рыбачил с местными жителями на Ангаре, хотя рыбалка не была его страстью. Приходилось ездить в шторм на лодке с лихим лесничим Носыревым, который утонул в Байкале. Общаясь с местными жителями, художник подмечал всё: чем живёт простой сибирский человек, чем интересуется, как говорит, как ведёт себя в тайге, как относится к другим. Многих портбайкальцев можно встретить на страницах произведений Распутина. Вот бабушка села отдохнуть возле его дачи и смотрит с укоризной, как может мужчина так поздно вставать, вот разухабистые пьяные парни, падающие на катеришке с мешками картошки, с риском для жизни в шторм доставляют его в порт... Некоторые жители стали прототипами главных героев повестей и рассказов, в том числе и «Прощания с Матёрой». История с оцинкованным ведром в рассказе «Век живи — век люби» не выдумка писателя, она на самом деле произошла в прибайкальской тайге.

Валентин Распутин не понимал, как можно везти картошку из города в деревню и как можно не запастись на зиму лесными дарами, живя недалеко от леса. Сбор ягоды был его страстью. В молодости писатель страдал гипертонией и часто ходил и ездил за жимолостью. Иногда возил его на машине на ягодники Альберт Семёнович Гурулёв, приехавший в Порт Байкал. Ходил в лес с издателем Николаем Ивановичем Есипёнком, у которого есть об этом рассказ. Много лесных троп было исхожено с учёным-фольклористом, преподавателем Иркутского госуниверситета Валерием Петровичем Зиновьевым, с которым Распутин познакомился в Иркутске, а подружился на Байкале. Ходил за ягодами и с Пакуловым, хотя Глеб Иосифович собирать ягоды не любил, зато не мог жить без рыбалки.



«За ягодами». К. Мончилов, Г. Пакулов, В. Распутин

Нередко приглашали его за ягодой на старую железную дорогу и местные жители. Они водили его на ягодники, расположенные во многих местах Кругобайкалки: на 80-м километре, на 94-м, на 102-м. Поезд («сборное чудо-юдо») уходил ночью, возвращался вечером. Часто оставались ночевать в лесу в зимовьях. Добротное зимовье было построено в лесах в районе 80-го километра. Не раз проводил в нём ночь писатель. На 94-м километре очень привлекала Распутина избушка, находящаяся недалеко от желез-

ной дороги на живописной полянке, но надёжно спрятавшаяся в деревьях от посторонних глаз. Да и посторонних глаз в этих местах бывает мало. Хотелось здесь жить и писать, в таком месте никто не докучает, тишина, красота, пенье птиц, и до святого Байкала рукой подать: он плещется за рельсами Кругобайкалки. Кругобайкальская железная дорога и прилегающие к ней леса настолько живописны, что могут наполнить любовью к природе, вдохновить на творчество самого чёрствого человека. А какой богатой кладовой стали они для гениального писателя! Он ходил в тайге легко, ягоду собирал быстро и ловко, с любовью касался каждой ягодки. А какой вкусной была нехитрая еда на привалах и чай, заправленный смородиновым листом и пахнувший дымком! Эти впечатления легли в основу рассказа «Век живи — век люби». Читатель понимает, что не герой рассказа Саня, а сам автор до самозабвения любит природу байкальских гор и полностью растворяется в ней, что это он, зачарованный, с любовью, осторожно срывает каждую ягодку: «Пальцы скоро научились чувствовать податливость ягоды, её крепость и налив, и трогать её то одним лёгким касанием, то осторожным нажимом, то с мягкой подкруткой, чтобы не повредить её, когда ягода не хотела отставать от ростка; пальцы делали своё дело быстро и на удивление ловко... И обминая, обласкивая каждую ягодку, подталкивая их одну за другой в ладонь и ссыпая затем в пристёгнутый к ремню бидон, болтавшийся у него на животе, повторяя во множестве одни и те же движения, он и не замечал их однообразия, как не замечал времени, с головой уйдя в это живое и чувственное рукоделье и потерявшись совершенно в его частом и густом узоре...»

Для Валентина Григорьевича сбор ягод — это рукоделье, волшебство, а вкуснее ягоды, сорванной с куста, ничего нет и быть не может. Его герой оправдывается перед голубицей за то, что вынужден её сорвать: она нужна маленькой девочке по имени Катя. Валентин Распутин заготавливал на зиму ягоды для любимой дочери Маши. Этим «живым и чувственным рукодельем» автор рассказа продолжал заниматься на Кругобайкалке ещё много лет после того, как уехал из посёлка.

В рассказе «Век живи — век люби» автор любит необычными просторами байкальской тайги, неприступными скалами, могучими соснами и кедрами — всем, что открывается взору. И слагает гимн прекрасному солнечному дню, одному из тех, какие выдаются в природе редко: «... Это был его величество и сиятельство день, случающийся на году лишь однажды или даже раз в несколько лет, в своём величии, сиянии доходящий до последних границ».

Такой день стал подарком для Валентина Распутина и Владимира Крупина, приехавшего погостить в Порт Байкал. В этот «величество и сиятельство» день они ушли из Порта Байкал по старой железной дороге. Об этом путешествии вспоминает Валентин Распутин в очерке «Байкал», который стал одой байкальскому дню, блистательной поэзией прозы: «Был август — лучшее, благодатное время на Байкале, когда нагревается вода и бушуют разноцветьем сопки, когда, кажется, даже камень цветёт, полыхая красками; когда солнце до блеска высвечивает вновь выпавший снег на дальних гольцах в Саянах, которые представляются глазу во много раз ближе, чем они есть в действительности; когда уже впрок запаса Байкал водой из тающих ледников и лежит сыто, часто спокойно, набираясь сил для осенних штормов; когда щедро играет подле берега под крики чаек рыба и когда на каждом шагу по дороге встречается то одна ягода, то другая — то малина, то смородина, красная и чёрная, то жимолость... А тут ещё и день выдался редкостный: солнце, безветрие, тепло, воздух звенит. Байкал чист и застывшие-тих, далеко в воде взблескивают и переливаются красками камни, на дорогу пахнёт нагретым и горящим от поспевающего разнотравья воздухом с горы, то неосторожно донесёт прохладным и резким дыханием с моря...»

В этом отрывке Распутин выразил сполна отношение к природе Байкала. Мы видим, с какой гордостью показывает он своему гостю ставшие родными места, как сам он не менее, чем писатель-москвич, по-детски восхищён и зачарован ослепительными картинами Кругобайкалки, как радуется оттого, что его друга переполняют впечатления. Наверное, немного они общались во время этой большой прогулки, слова просто были не нужны. Владимир Николаевич Крупин навсегда запомнил «Его Сиятельство» байкальский день, а



по приезду в Москву написал Валентину Распутину: «Как хорошо, что у нас есть Байкал! Я поднимаюсь утром и, поклоняясь в вашу сторону, где батюшка-Байкал, начинаю горы ворочать...» Валентин Григорьевич подписался бы под каждым из этих слов. Своим друзьям и знакомым, которые собирались уехать из Иркутска, он говорил: «Как можно уехать от Байкала?»

Шли годы, всё менялось в стране и в посёлке. Сплошным потоком шли грузы через порт на север Байкала для строительства Байкало-Амурской магистрали. С южного Байкала на северный большими партиями в виде плотов доставляли строевой лес. Мощными байкальскими ветрами, как нитки, разрывало стальные тросы, которыми крепились плоты из брёвен. Эти плоты длинными хвостами тянулись за теплоходами, которые еле-еле тянули такую тяжесть. Плоты рассыпались, их разносило ветром по озеру, брёвна плавали, потом, тяжелея, уходили под воду, устилали дно. (Одно из таких брёвен, называемых в народе «топляками», и стало причиной гибели Александра Вампилова.) По Кругобайкальской дороге шли многочисленные поезда с грузами для БАМа. Недалеко от домика Распутина загрохотали высотные краны, порой сутки напролёт загружающие многотонные баржи. Покой в доме писателя по улице Вокзальной, 1 закончился. К тому же в отсутствие писателя совершались набеги на дачу, доставляющие писателю много неприятных минут. И Валентин Григорьевич решается на отъезд. Через некоторое время у него появилась новая дача — на 24-м километре Байкальского тракта. С Байкала он уехал, но сердце художника уже целиком ему принадлежало, и на Байкале он продолжал бывать часто и много. И много о нём писал.

Не раз приходилось читать и слышать, что Распутин ничего великого не писал начиная с 90-х годов прошлого века, а писал только публицистику. Как можно назвать то, что создал Валентин Григорьевич в это время, безликим словом «публицистика»? Вот эссе «Байкал предо мною». Это не публицистический текст, это шедевр даже не прозаический, это «чистое золото поэзии», это высочайшая музыка, от которой замирает душа. Это безграничный космос. Читая «Байкал предо мною», так ясно видишь незабываемые картины, подаренные грандиозным художником-Байкалом талантливому художнику-человеку, что озеро предстаёт перед тобой во всём великолепии, во всей тайне, понимаешь, это ТВОЙ Байкал, это ТЫ его только что видел, он перед ТОБОЙ и он прекрасен. Порой ощущаешь себя летящим над синей водой, благоговеешь от красок, от музыки слова, неповторимой, как уникальное озеро. Жители Порты Байкал распечатали этот текст, с упоением читали эти строки, передавали друг другу и гордились тем, что с такой грустью и такой любовью Распутин говорит о своём милом сердцу домике, о своих незабываемых байкальских прогулках, о чудесах, подаренных ему Байкалом: «В молодости, уже и тогда ища одиночества, завёл я в Порту Байкал домик в одну комнатку с кухонькой, жизнь в которой в течение нескольких лет вспоминаю как лучшее, по мне сшитое из всего, что выпадало затем во многих поисках и бытовых одеждах. Особенно любил я там октябрь, когда исчезают и гость, и турист, местный народ успокаивается под скупым теплом и в последних предзимних трудах, общее умиротворение и прощение наступают в мире, и когда каждый отклик, каждый звук в просторных горизонтах раздаётся с певучим колокольным резонансом... Я любил ещё тёплыми и мягкими подарочными вечерами, провожая солнце, уходить по рельсам старой Кругобайкальской дороге далеко, туда, где нет ни одной человеческой души, подолгу сидеть на берегу, совершенно забывая себя, а потом подняться в гору, да повыше, и там тоже замереть в блаженстве, ничего-ничего на свете больше не желая, кроме как надыхиваться и насматриваться хоть до бесконечности расстилающейся внизу благодатью...»

С огромной болью смотрел Валентин Григорьевич, как разбило на осколки русский народ, как разбивает неистовый шторм игольчатый лёд на Байкале, и плывут себе льдины и льдинки в потёмках, куда гонит их ветер, сшибаясь друг с другом, пока не превратятся в однородное крошево. Люди потеряли связь друг с другом, с мирозданием. «Господи, мы одиноки!»

Больно было видеть, как заводы, байкальский и селенгинский, травили Байкал, как суда наполняли воду мазутом, как огромный поток туристов оставлял после себя тонны

мусора. А Байкал постепенно утрачивал способность к самоочищению, к самовосстановлению. Вода мутнела, мертвела... Валентин Распутин боролся за чистую воду, за чистый Байкал, призывал опомниться тех, кто уничтожает уникальное озеро: «Байкал существует не сам по себе в своих автономных границах, и не только ветры и солнце, луна и звёзды по известным нам законам приводят его в движение... Нет, многими и многими чувствительными капиллярами связан он со всем огромным миром, видимым и невидимым, который нам до конца не дано постичь, поэтому лучше оставаться разумными сыновьями. Отцовская благодать Байкала так велика, что ни дух, ни тело наши бедствовать не могут. Так не станем же посягать на то, что нам не принадлежит. Надобно раз и навсегда поверить, что никогда Мать-Земля такое святилище, как Байкал, в том числе и нам, на поругание не отдаст...»

Каким было бы творчество Валентина Распутина, не будь в его жизни Байкала, домика, утопающего в зелени деревьев? Кто знает... Каким было бы оно, если бы он не уехал из посёлка? Неведомо. Ясно одно: Распутину необходим был Байкал, а Байкалу было нужно, чтобы этот великий художник поселился на его берегах. И замечательно, что эта встреча произошла, что Байкал будет вечно сиять со страниц книг Валентина Григорьевича.

Ушёл писатель, остался дорогой его сердцу уголок. Семь лиственниц, как молчаливые часовые, продолжают охранять дом. Так же, как и в далёкие 70-е, на них сидят вороны. Может, среди них есть та, которую Распутины называли «нашей». А за окнами по-прежнему плещется Байкал и, наверное, грустит о потере, ведь такой любящий и благодарный сын был у него пока только один за двадцать пять миллионов лет.

*Ирина ПРИЩЕПОВА*

## А жизнь всё-таки смеялась...



*А. Гурулёв, С. Черных, К. Житов, В. Распутин*

Я никогда не думал, что буду писать о Валентине. Ну, во-первых, я не чувствовал такой потребности: чего писать, если вот он, живой и свойский, рядом, на худой конец — в телефонной доступности. Писать о Валентине Григорьевиче Распутине, о его творчестве — удел высоколобых литературоведов и критиков, к коим я себя не причисляю, а житейские дела вроде бы лишь для обывателя.

Ну, и во-вторых, — у нас была возрастная разница, чуть ли не в два с половиной года в мою пользу, и по житейской логике я не должен был о нём писать. Но произошло то, что произошло, и теперь чувствую, что надо рассказать и о бытовых мелочах, среди которых выпестовывалась суть большого писателя. Вспомнить, если удаётся, и мысленно пройти путь от встречи в пятьдесят четвёртом году прошлого века в студенческом общежитии Иркутского университета до расставания перед его отъездом в Москву на зимовку и лечение в первых числах октября четырнадцатого года века нашего. И, как оказалось, навсегда.

Он заглянул ко мне домой после двухнедельного нахождения в областной больнице. Мы, допрежь, в те дни разговаривали по телефону, был он бодр голосом, говорил, что всё у него терпимо, его лечат, и не плохо, но однажды, перед самой выпиской, сказал, что обнаружилось ещё одно заболевание.

— Чего ещё тебе доктора навесили? — спросил я, не почувствовав в словах Валентина беспокойства.

— Да не по телефону... В Москву мне надо. Там уже с больницей договорились.

Валя вообще-то был по-сибирски — вот уже точно-то — немногословен, а о болезнях и вовсе не любил говорить, и я оставил всякие вопросы. Не спешил заводить этот разговор и когда он заглянул ко мне домой попрощаться перед своим отъездом.

Всё было как обычно. Мы даже очередной раз вспомнили и поулыбались славному и забавному отношению к недомоганию одного писателя из дальнего зарубежья, приехавшего лет пятнадцать-двадцать назад к Валентину в гости. На вопрос «как здоровье?» гость ответил очень оптимистично:

— Кое-что лечить приходится, и серьёзно лечить, но и для новых болезней есть ещё много места.

Эти слова как-то очень пришлись по душе и даже скрашивали те моменты, когда привязывалась очередная возрастная или случайная «комуха»...

Так случилось, так судьба распорядилась, одарив дружбой с Валентином на протяжении ровно шестидесяти лет. Впервые мы познакомились в общежитии университета по улице 25-го Октября, улице шибко отдававшей окраиной в то время: без асфальта и других излишеств вроде ночного освещения. Валентин жил в четырнадцатой

комнате первого этажа с выходом в боковой коридор, а я — в четвёртой. Общежитие имело общую кухню, умывальную комнату с холодной водой и собственную кочегарку. Остальные «удобства» — на улице, на горке, в дощатом домике. Общежитие было лучшее из всех четырёх, принадлежащих университету, и мы, студяги, прибывшие из посёлков и деревень, гордились его четырёхэтажностью и повышенным комфортом.

Потом мы в одно время оказались в составе редакции областной (молодёжной) газеты, вскорости ставшей клубом и кузницей начинающих авторов, со временем наковавшей добрую половину иркутской организации Союза писателей СССР. Кстати, в эти же времена в «Молодёжке» работал и Саня Вампилов. Позднее, если позволит провидение, я подробнее остановлюсь на жизни «той» редакции, где творческая жизнь буквально била через окна и двери днём, нередко и ночью. Ну а потом, я повторюсь, немалая часть редакции ушла на «вольные хлеба» и поодиночке перетекла в писательский Союз. Я назову лишь некоторые имена-фамилии: Александр Вампилов, Валентин Распутин, Евгений Суворов, Станислав Китайский, Владимир Жемчужников и аз грешный.

\* \* \*

Для меня Валентинов Распутиных было два, хотя оба они умещались в одном человеке. И каждый из них жил отдельной своей жизнью, лишь изредка позволяя себе напоминать друг о друге. Первый — свой парень, склонный к шутке, розыгрышу, ёрничеству. С которым хорошо сидеть у таёжного костра, добротнo выпить, с которым хорошо путешествовать хоть по Тункинской долине, хоть на реку Индигирку, в Заполярье, к самому Ледовитому океану. И надёжный, как ядрёный листвень, когда нужна душевная, а то и материальная подпорка.

Ну, а второй Распутин, Герой Социалистического Труда, награждённый двумя орденами Ленина и прочими орденами, лауреат Государственных и других премий, писатель мирового уровня, — находился где-то там, далеко, в Москвах, президиумах и империях. А иначе бы ни лёгкости, ни душевности, ни дружбы не получилось бы. Рядом с ним я забывал о всех его регалиях. А иногда помнить надо бы! Был такой случай, в довольно давние уже времена. Валя купил машину, «Жигули» хорошей модели, уступив просьбам жены Светланы, хотя долгое время упорно отбивался от покупки транспорта. В этом «чёрном» деле и я принимал участие своими прельстительными речами о том, что автомобиль — это свобода, это ветер путешествий, это близкая тайга, это в конце концов поездки за грибами. А тут надо сказать, что Валя очень любил грибную охоту, даже страстью это можно было назвать, и не принимал, по крайней мере для себя, ружейную забаву, и был довольно равнодушен к рыбалке.

Но я пока о том, о машине. Купил её Валентин. Я к тому времени имел уже «жигули-копейку» и «солидный» водительский стаж в три года и потому взялся помочь освоить вождение. Гостил у нас тогда якутский писатель, круглолицый Иван Федосеев. Мы с Валей провожали его в аэропорт. Прибыли в порт, а тут оказалось — рейс задерживается. Чтобы с пользой скоротать несколько часов, решили поехать в предместье Рабочее, где был безлюдный «пяточок», вполне пригодный для тренировки в управлении автомобилем. Решили — поехали.

Теперь почти все автомобилисты, и все они помнят свои первые часы за рулём братоубийственного снаряда, помнят огрехи вождения, когда путаются педали тормоза и газа, когда рычаг переключения передачи становится капризным, когда нужно смотреть, куда едешь, а не на чёртов рычаг. Так что рассказывать, какими словесами награждал их инструктор, не надо, все помнят. Помнил и я.

Вначале всё шло хорошо. Потом что-то не заладилось. И я, в лучших традициях знатоков словесности шахтёрского посёлка, где жил и набирался ума-разума во вре-

мена войны и в послевоенные годы, взялся «доступно» излагать ученику его ошибки и требовать немедленного их исправления. Я совсем забыл про Ивана, затихшего на заднем сидении. А когда мы закончили тренировку и Валя вышел из машины размять уставшие от напряжения ноги, Иван Федосеев обнаружил себя.

— Ты почему так разговариваешь с самим Распутиным? Валентином Григорьевичем! Такой большой человек... Лауреат...

Круглое лицо Ивана стало тёмно-красным, как вечернее солнце во время обложных таёжных пожаров. Я не сразу и не очень глубоко воспринял тревожное возмущение Ивана, представителя хотя и северного народа, но насквозь пропитанного азиатской ментальностью, а чуть поразмыслив, попытался ему объяснить ситуацию.

— Ты думаешь, я не знаю, не чувствую, кто есть Валентин Григорьевич? Знаю. И хорошо знаю. И, мало того, горжусь его сутью и давней дружбой с ним. Но сейчас за рулём сидел не всемирный писатель, а начинающий шофёр. И один к другому не имеющий никакого отношения. А мои слова второго качества спиши на моё плохое воспитание.

Иван кивнул головой вроде бы успокоенно, но по выражению его раскосых глаз я понял, что наш северянин на этот счёт имеет своё, крепко замороженное, словно вечная мерзлота, понятие. И, странное дело, мне душевно понравилась воспитательная реплика Федосеева. И одновременно несколько устыдился своей поселковой расхлябанности.

Тут надо сказать, что Валя, Валентин Григорьевич, родившийся и выросший в ангарской деревне, к которой до сих пор через тайгу нет нормальной дороги, не применял бранных слов, а если быть точным, то почти не применял, разве что в совсем крайних случаях. А может, как раз и потому, что дороги не было, — и там дольше сохранился настоящий народный язык, образный и красочный. Это не то что иные деревни, «хапнувшие культушки» городских окраин, потерявшие языковую культуру дедов и не приобретшие никакой другой, кроме унылой мочалы однообразного пережёвывания — к месту, а чаще и не к месту, по привычке, — языкового похабья.

Но из песни слова не выкинешь — слышал я из уст Григорьевича солёное слово. Однажды — точно. И сам себя спрашиваю: неужели за все шестьдесят лет доброго, близкого общения всего один раз? Покопался в памяти — и ничего больше не вспомнил. Вот так, оказывается, можно все эти «перлы» хранить в прочном запаснике и извлекать их лишь при крайней нужде...

Собрались мы как-то с Валентином и Костей Житовым сбежать за ягодой. За брусничкой. Кстати, сибирское слово «сбежать» никакого бега не предусматривает. «Сбежать за ягодой» означает, в данном случае, поездку на машине, а потом — пеший ход по лесной тропе, а то и вовсе без тропы, ориентируясь больше по солнцу, да ещё по какому-то древнему, не объяснимому самому себе чувству.

Решили ехать в Качуг, наш любимый район с давних пор. Ну, во-первых, это родина Кости Житова, нашего неизменного попутчика в эти края. Во-вторых, это верховье великой реки Лены. Ну а в-третьих, и это самое главное, край отзывчивых и щедрых душой людей, которых, однажды познакомившись с ними, не теряешь уже из виду и радуешься любой встрече с ними.

Заехали хорошо, да и зашли хорошо: местные знатоки угодий определили нам маршрут — и мы удачно выбрали на брусничники. Год выдался не шибко урожайным, но, чтобы сбить охотку и привезти домой, ягод вполне хватило. Мы набрали по добрых полведра, перекричались и потянулись к лесной проплешине, куда в оговоренное время должна прийти машина. Машина пришла, мы с Валентином объявили себя, а Костя где-то приотстал. Мы лениво покричали, шофёр посигналил, но Костя не откликнулся, хотя по недавней переключке знали, что он где-то близко, на слуху. Покричали ещё раз, громче, настойчивее. Но в ответ — тишина.

Костя — это Костя. Работящий газетчик, с явным уклоном в торопливое репортёрство, книгочей и непоседа, говорун и смехач, познавший сиротство и детдом, мог — мы это знали — поставить личный ягодный успех выше общественного интереса. Заблудиться наш товарищ не мог, на таком коротком пути сделать это трудно, «схарчить» его даже самый непритязательный медведь не мог — кому нужен тощий газетчик, когда в осенней тайге полно и более диетической пищи. Скорее всего Константин Яковлевич наткнулся у какой-нибудь старой замшелой валежины на рясную ягоду и по-бурундучьи затих, набивая ягодой, из-за отсутствия защёчных мешков, заплечный горбовик.

Мы с Валентином сдвоили наш ор, водитель вдавил ладонь в клаксон, и живая жизнь леса, думаю, впала в ступор, испытав незнаемое насилие. И только сердце товарища Житова осталось спокойным. И тут в наступившей тишине прозвучал одинокий голос Вали:

— Костя-я... — и дальше перестук калёных до внутреннего треска слов. Такого я прежде не слышал.

А через короткие секунды за деревьями послышалось тревожное хорканье, потом испуганно заматались ближние кусты, и в прогале появился живой и невредимый Константин Яковлевич, правда, в крайне непривычном смущении.

Ну, а дальше ситуация развивалась для читателя, думаю, вполне предсказуемо: мужская короткая беседа во спасение Костиной души. Да и сердиться на Костю долго невозможно.

\* \* \*

Самая хорошая похвала для сибирского индивидуума мужеска пола — «мужик». Если, как сказал классик, «человек — это звучит гордо», то для нашенского уха «мужик» звучит ещё весомее. «Мужчина» тоже, вроде, неплохое слово, хорошее даже слово, но рядом с «мужи́ком» сильно тускнеет и означает лишь половую принадлежность. «Джентльмен» означает человека мужского пола и, мало того, в высших проявлениях умственных, моральных и физических качеств, но тоже не то, какой-то набор благоприобретённых достоинств. А «мужик» — это почти необработанный самородок, годный для всякого дела. Дом построить, хлеб вырастить, детей поднять и воспитать, землю свою с оружием отстоять, бабу счастливой сделать — мужик. И мужик скорее себе пальцы отрубит, чем позволит предать мужское начало, к примеру, покрасить ногти. И лишь серьга в мочке левого уха приемлема. Это гордый знак победы смертельно опасного лиха. Это не из сегодняшнего дня, это уже из прошлого.

Валя был мужиком. Даже во внешнем проявлении. Помню момент, когда Света — Светлана Ивановна, жена Валентина — стала недомогать, и супруги решили скрепить союз церковным браком. Они сделали это спокойно, без ажиотажа, и однажды Валентин сказал мне, что они со Светой на днях обвенчались.

— А где обручальное кольцо? — спросил я, кивнув на его руку.

Валентин поднял руку, покрутил кисть перед глазами и бесцветно спросил:

— А ты представляешь нас с колечками?

Я обрадовался не столько вопросу, который нёс в себе одновременно и ответ, а вот этому «мы»: стало быть, и меня он числит по ряду мужиков. А это слышать от Валентина, человека крайне немногословного и неспособного к неискренности, дорогого стоило.

Я перечитал вот эти, только что написанные строчки, и призадумался: а не представил ли я Валентина таким противником символов — колечек, цепочек и прочего? Вроде бы нет, но... И потому поясняю: не был он противником мишуры. Просто не для всех она, она должна быть созвучна сути человека. Каждому своё. Нам — не надо.

Здесь ещё хочу добавить — хотя это вроде бы из другой песни — я никогда, подчеркиваю, никогда не видел Валентина в орденах, медалях и значках лауреатов. А было бы на что посмотреть: весьма впечатляющий «иконостас». Я об этом уже упоминал. Но его ордена лежали в уютной тишине и никогда не являли себя миру.

И к одежде он тяготел к самой простой, без малейшей вычурности, но добротной. Его довольно скоро, после первых публикаций, сказавших миру о появлении таланта, стали включать в зарубежные поездки. В те времена яркой одеждой можно было разжиться лишь за «бугром», да в три дорога у так называемых фарцовщиков, скупавших шмотки у иностранцев. Ни одной яркой вещи из-за рубежа Валя не привёз — только практичную и удобную, без модных вскриков...

Когда наши поездки в лес-тайгу стали довольно регулярными, особенно осенями, когда ночи становятся длинными и холодными, когда, как ни крутись, а у костра становится не так уютно — с одной стороны печёт, а с другой холодным ветром спину сечёт, — озаботились мы покупкой телогреек. Инициатором был Валентин. А где взять? В магазинах покупать не хочется. Туда родной Легпром поставляет, поставлял, конечно, телогрейки унылого вида, по известному в народе лекалу «на банный угол». А нам хотелось «телегу» пусть не от Армани, но чтобы она грела не только тело, но и душу.

Взялся за это дело наша беда и выручка Константин Яковлевич. В очередную поездку в Качуг Костя, человек непоседливый и инициативный, заглянул в местную пошивочную мастерскую и с детдомовской непосредственностью попросил сшить три телогрейки. Тут, конечно, сыграло имя Валентина, заказ был принят даже с гордостью, что именно к ним обратился знаменитый писатель, и был выполнен уже буквально на завтра. Я никогда не видел таких красивых телогреек. Аккуратные, прошитые с художественной выдумкой, с прорезными карманами, с красивыми кнопками вместо пуговиц. Годные не только для леса-поля, но и для городских улиц. Народ красоту оценил, и даже пришлось услышать совсем уж неожиданное:

— Это у вас из-за границы?

Не знаю, что говорили Валентин с Костей, а я неизменно отвечал:

— Мэйд ин Качуг!

Иные озадачивались названием государства, тревожили свою память: даже Гондурас знаем, Тринидад и Тобаго известны, а вот Качуг... Где это?

— В верховьях великой реки Лены. Посёлок такой.

В моём гараже до сих пор висит эта самая телогрейка. Крепко обтрёпанная, но всё ещё умеющая хранить тепло. На люди в ней уже не выйдешь, только можно на паперть, милостыню просить. Но выбросить жалко, рука не поднимается. Память!

\* \* \*

...Я не могу ощутить, что его нет. Видно, душа, защищаясь от пустоты, не хочет с этим соглашаться, не принимает реалий. Как же так — больше полвека был, а теперь нет? И голова поддерживает душу: не дай Бог проникнуться пустотой, бесприютностью в нынешней людской толчее, всё больше распадающейся на незалежные биологические образования. Не хочется восплакаться словами: «Господи, мы одиноки».

*Альберт ГУРУЛЁВ*



ВЛАДИМИР ТЫЦКИХ



## Каких утрат нам стоили моря

### Учение по живучести

Подвахта спит без лишних сновидений,  
Но бдительный вращается радар,  
И в графике старпомовских учений  
С «пробоиной» соседствует «пожар».

Не заскучаешь с нашей службой строгой —  
Для моряка обычные дела:  
За эту ночь в четвёртый раз тревогу  
Пронзительные бьют колокола.

И к чёрту сон и побоку усталость!  
Дай слабину — они тебя сомнут.

Нам, может быть, до гибели осталось  
С десяток обжигающих минут.

Тут ни к чему пустые оговорки  
О том, что, мол, условен этот бой.  
И мы крепим стальные переборки,  
Не торопясь пожертвовать собой.

Вкус нашей жизни, он бывает жгучим,  
И многое бы в ней пошло на слом,  
Когда бы нас бороться за живучесть  
Не научили море и старпом.

---

ТЫЦКИХ Владимир Михайлович родился в Казахстане (Лениногорск, ныне — Риддер) в 1949 г. Окончил Усть-Каменогорское медицинское училище по специальности «Фельдшер» и Киевское высшее военно-морское политическое училище. Служил на Балтийском и Тихоокеанском флотах. На надводных кораблях, подводных лодках, в редакции газеты флота, прошёл путь от матроса до капитана второго ранга. Возглавлял Приморскую писательскую организацию СП России, студию военных писателей Тихоокеанского регионального управления Федеральной пограничной службы, департамент информации и печати Морского государственного университета. Организатор Дней славянской письменности и культуры на Дальнем Востоке, издательской программы «Народная книга», в рамках которой увидели свет более 120 книг российских и зарубежных литераторов, редактор журнала «Сихотэ-Алинь». Автор трёх десятков книг поэзии, прозы, публицистики, литературной критики, изданных в Москве, Норильске, Владивостоке, Арсеньеве, Усть-Каменогорске. Публиковался более чем в семидесяти антологиях и сборниках в столичных и региональных издательствах; в журналах «Алтай», «Байкал», «Бежин луг», «День и ночь», «Звезда», «Знамя», «Москва», «Московский вестник», «Наш современник», «Огни Кузбасса», «Октябрь», «Пограничник», «Простор», «Сибирские огни», «Смена», «Советский воин», «Студенческий меридиан», «Юность» и др. Отмечен лауреатскими званиями в Москве, Хабаровске, Владивостоке, Нью-Йорке, награждён медалями им. Константина Симонова, им. Генералиссимуса Александра Суворова, им. Валентина Пикуля. Заслуженный работник культуры России. Действительный член Русского географического общества. Работает в Дальневосточной государственной академии искусств. Живёт во Владивостоке.



## Ночь на рождество

*Капитану 1 ранга И.М. Литвиненко,  
командиру моей подлодки*

Мы с командиром, заскучав маленько,  
Вернувшись с моря в ночь на Рождество,  
Употребляли спирт под карамельку  
В холодном кабинетике его.

Проверив дважды лодочную вахту,  
Вошли мы в этот самый кабинет,  
И командир шепнул: «Немножко жажнешь?»  
И я ему сказал: «Вопросов нет».

Умчалась по домам сходная смена,  
И вымотанный морем экипаж  
Отбился и уснул почти мгновенно,  
Ничем не нарушая праздник наш.

Мы шахматы расставили... Он — душка,  
И я ему проигрывал слегка.  
И мне хотелось жареной индюшки,  
И грезил он цыплёнком табака.

Но табака, тем более индюшки  
Там не было, а были вместо них  
Вода в графине, спирт в бутылке, кружки  
И в блюде «барбариска» на двоих.

Бутылку мы прибрали, между прочим,  
И солнце заглянуло к нам в окно.  
И было той рождественскою ночью  
Спокойствие страны защищено.

\* \* \*

Победный миг! Моторам дан отбой.  
И только шпиль\* ещё кряхтит помалу:  
Облезлой, обмороженной скулой  
Подлодка прижимается к причалу.

Полгода плохо спали по ночам  
В Славянке... Намангане... Кутаиси...  
Полгода экипаж не получал  
И не писал родным и близким писем.

Теперь другие канули во тьму  
Из ночи, полной воздуха и снега...  
Я к трапу сонных рук не подыму...  
Как тихо стало в глубине отсека...

Когда слетел, как будто ангел, вниз  
Наш почтальон с почтовыми мешками,  
Мне снился сон: пророс февральский пирс  
Цветущими алтайскими жарками!

\* \* \*

Весь мир играл в «холодную» войну.  
Мы тихо уходили от причала  
И загоняли лодку в глубину,  
И нас она из бездны поднимала.

В походах с февраля до января  
Мы никого запомнить не просили,  
Каких утрат нам стоили моря,  
Каких Земля нам стоила усилий.

На взлёте лета, посреди зимы,  
Храня сухим, как надлежало, порох,

Мы чуяли немилосердность тьмы  
За толщею хрустящих переборок.

Но командир мой бывший и старпом,  
Шинели сняв, живут отныне с толком.  
А лодка наша списана на лом,  
Как говорят на флоте, — «на иголки».

И, никому не предъявляя счёт,  
Ржавая в грязной бухте, слово в луже,  
Она лежит на дне и молча ждёт  
Прощения за боевую службу.

\*Шпиль — ворот с вертикальной осью вращения для подъёма якорей и натяжения тросов при швартовке.

\* \* \*

*Морякам 19-й бригады подводных лодок*

Нас нынче мало. Ну и что?  
Как говорится, мы в тельняшках.  
Пусть нам в морских глубинах тяжко,  
Но там не видит нас никто.

И для сомнений нет причин:  
Подводники — народ особый.  
Мужчина океанской пробы —  
Один на тысячу мужчин.

Пусть кто-то скажет: похвальба!  
А нам и спорить неохота.

Подплав — не служба, не работа,  
Но жизнь и песня, и судьба.

Подводники... Не соль земли —  
Скорее, соль седьмого пота.  
Но соль морей на всех широтах  
Лишь мы попробовать могли.

У нас всё честно — жизнь и смерть.  
Равны пред гибелью и славой,  
Мы души отдали подплаву —  
Нам больше не о чем жалеть.

## 2014-й

Стих нейдёт, не слагается проза.  
Знать, сегодня не шибко нужны...  
Под окном зеленеет берёза,  
Ну а клён не дожил до весны.

Не могло и прибредиться, чтобы  
Вышло горе с любимцем моим...  
Меж дворовых деревьев двое-оба  
Так срослись, что казались одним.

Оба-два из того ещё века,  
Где меня только ждёт океан,

И на кручах днепровских беспека<sup>1</sup>  
Не тревожит уважных киян<sup>2</sup>.

Там, не чуя грядущей пропажи,  
Утопает в каштанах Подол<sup>3</sup>,  
А на флоте в одном экипаже  
Ходят в море москаль и хохол.

И волнуется кроной кленовой  
Тайный смысл ненаписанных строк —  
Клён мой, беженец мой непутёвый,  
Возле пня несмышлёный росток...

\* \* \*

Любуюсь узорными гроздьями —  
Срывать их не время пока.  
Калина, красавица поздняя,  
Уж как ты, родная, горька.

Одна налитую да рясную  
Ты вышла из всех непогод.

Уж я соберу мою красную,  
Лишь первый морозец прижмёт.

Калинушка, русская скромница,  
Застенчивый сон ноября...  
Попробую ягодку — вспомнится,  
Как мама любила тебя.

<sup>1</sup>Безопасность (укр).

<sup>2</sup>Уважаемые кияне – уважаемые киевляне (укр).

<sup>3</sup>Район в Киеве, где располагалось Киевское высшее военно-морское политическое училище, прекратившее своё существование после расвала СССР.

\* \* \*

О как легко мне, не зная заранее  
Всё, что написано мне на роду,  
Вам, незнакомка, назначить свидание  
В полузабытом каком-то году.

Вы ничего в этой жизни не знаете.  
Я вдохновенно несу чепуху.  
Вы откровенно уже замерзаете  
В тесном пальтишке на рыбьем меху.

Вы только мамой пока что целованы.  
Я приглашу вас на танец сейчас.  
Вы не скрывайте, что сильно взволнованы, —  
Я, может статься, взволнованней вас.

Ну почему мы такие несмелые?!  
Мой одинокий протянется след  
С места прощания тропкою белою  
И затеряется в замети лет...

Ну до чего ж эта музыка нежная!  
Я вас, наверно, совсем закружу  
И после танцев по городу снежному,  
Если позволите, вас провожу.

О как легко мне, не зная заранее  
Всё, что написано мне на роду,  
Вам, дорогая, назначить свидание  
В неповторимо счастливом году.

\* \* \*

Мир в сугробах по грудь утонул и ослеп от бурана  
Так уже далеко и давно, что не видно почти.  
Да чего там смотреть? Ну зима и зима. Даже странно  
Вспоминать, как она за собой заметала пути.

Вот и присказка есть: это было давно и неправда.  
Ну, кружила метель, а в печи бормотали дрова...  
Кот дремал у окна, и часы куковали исправно.  
И горела свеча. И была моя мама жива.

Что там было ещё? Воробьи зимовали в скворечне.  
Лёд метровый ночами трещал на уснувшей реке.  
И стихал снегопад. И с утра первопутком в заречье  
За копёшкою сена отец уезжал на Серке...

Далеко-далеко... Лишь зима и осталась в наследство.  
Ни печи, ни котла, ни Серка — только память одна,  
Где в родимых сугробах тону я по самое сердце  
И навстречу бурану с заречья бредёт тишина.

\* \* \*

Так полетела осень журавлями,  
Так по садам повеяли дымы,  
Что сердце дорожить устало днями,  
Которые остались до зимы.

И веточной одной такую ранью  
Так начинала мне в стекло стучать,  
Как будто обещала расставанье,  
А встречи не решалась обещать.

И думал я: опять уносит дымом  
Всё то, что сердцем хочется обнять,  
И странно, всё вокруг невозвратно,  
А осень возвращается опять.

И долго лист кружился легкокрылый —  
Метель такая жёлтая мела,  
Что я подумал: ты меня забыла,  
Как будто ты и впрямь забыть могла.

Безумно расцветавшая весной,  
В моём окошке старая сирень  
Последнею озябшею листвою  
В вечернюю укутывалась тень.

И видел я: уже весь мир кружится  
И верить он откажется сейчас,  
Что скоро осень снова повторится  
И, может быть, ещё дождётся нас.

\* \* \*

С примятой травинки, упавшего наземь листа,  
С нежданно счастливой слезы и с печального взгляда  
Неведомый сказ размыкает немые уста,  
Неясный сюжет льётся в тихой ночи звездопада.

С трудом проступает, но скоро уносится прочь  
Беспомощной строчкой, короткой, как вдох или выдох,  
Где росчерком звёздным летит эта вечная ночь,  
Стекает слеза, и туманится взгляд от обиды.

А ты, как ребёнок, грядущей развязкой смущён,  
И ветер упавшим листом шелестит, как страницей,  
Где старый сюжет до конца не дописан ещё,  
А жизнь то ли снова с зачина идёт, то ли снится.

О чём эта повесть? Ты пот вытираешь со лба.  
И с каждым мгновением тайна становится ближе —  
Как много найдётся тобой не прочитанных книжек,  
Когда до финала тебя дочитает судьба.

## Перед Сахалинским рейсом

*Владимиру СКИФУ*

Мое сердце навсегда останется здесь.

*Адмирал Евфимий Путятин*

С глубин каких, с какой вершины  
Взять матерьял для свежих строк?  
Горшка не вылепишь без глины —  
Ищу её в пыли дорог.

В полях привольных — по крупичам,  
По граммам — в сумраке чащоб,  
Где в воздухе родном лучится  
Заветных слов золотничок.

Ищу в столицах и в глубинке,  
Куда не ходят поезда, —  
В Норильске, Хатанге, Дудинке,  
Где даже днём сверкает льдинкой  
Сквозь ночь Полярная звезда.

Земле державной бью поклоны,  
Горжусь — я сам её открыл  
От Котлина и до Ольхона,  
От Русского до Монерона  
И от Аскольда до Курил.

Ликует в травах, спит в сугробах —  
Повсюду Божья красота.

Но и по мерке высшей пробы  
Есть среди самых мест особых  
Ещё особые места.

И вот опять вдали от дома  
Грустит, просёлками пыля,  
Ещё с тобою не знакома —  
Уже любимая земля.

Простит, коль не со зла обидишь,  
А с ней и горе не беда.  
Одним глазком хоть раз увидишь —  
Оставишь сердце навсегда.

В судьбе дорог — коротких, длинных —  
Полным-полно. Но путь — один...  
Бежал бродяга с Сахалина.  
А мы летим на Сахалин!

## Прочитать всего Распутина

В день прощания с Валентином Григорьевичем, на поминальном обеде, режиссёр-кинодокументалист Сергей Мирошниченко в своём слове обратился к иркутянам. Смысл примерно таков: от вас, земляков, теперь многое зависит. Как сумеете вы сохранить память о таком писателе...

Что значит помнить писателя? Это значит, помнить то главное, ради чего он жил, — его книги. Но прежде их надо прочитать.

В скорбные мартовские дни в коротких газетных и телевизионных информационных, на радио и в Интернете чаще всего упоминались произведения, созданные Распутиным более тридцати лет назад: «Уроки французского», «Прощание с Матёрой»... Можно было подумать, что творчество выдающегося писателя современности не переступило рубежа 70-х годов минувшего века. Конечно, теперь читают мало, в то же время маленькие тиражи не способствуют распространению чтения, да и книга недёшево стоит...

Однако дело не только в этом.

Уже приходилось писать, и не раз, что Распутин последних десятилетий остаётся не прочитанным или прочитанным весьма ограниченно. Но ни для кого не секрет, что в годы перестройки литераторами либерального направления писатель Распутин, имевший другие убеждения, был вынесен за скобки российского литературного процесса. Это если выразиться мягко. А если почитать прессу тех лет, то можно убедиться, насколько категорично «свободолюбцы и плюралисты» отвергали любые несогласия с ними, как сводили полемику к откровенной травле инакомыслящих, в том числе и Распутина.

Но прошло время. Имевшее место затуманивание умов стало понемногу рассеиваться. Имя Распутина постепенно вернулось на своё, никем не занятое место.

Но не для всех и не для Дм. Быкова. В своём отклике на смерть писателя, озаглавленном «Жертва» и опубликованном в газете «Московский комсомолец. МК Байкал» за 25.03 — 1.04. 2015, он повторяет давно отработанную версию.

Она удивительно проста. Автор возносит всяческие хвалы таланту Распутина, пока тот оплакивал уходящую деревню. Но как только в его голосе послышалось сопротивление реформаторам-разрушителям, как тут же объявлено: Распутин утратил свой талант, в новые времена ничего, кроме пяти рассказов, не написал. Дальше — больше: «он вдруг ополчился на прогресс, на города, на свободу», «безнадёжно запутывался», «озвучивал банальнейшие мысли», у него «не оказалось иммунитета от человеконенавистнических теорий» и т. д. и т. п. Есть упрёки, которые невозможно повторить и с которыми хоть в суд иди — не подтверждённые ни одной цитатой, они больше похожи на навет.

Брошенное мимоходом «Распутин не идеолог и не мыслитель» явно рассчитано на несведущего читателя, который не станет вникать в слово Распутина, а поверит на слово Быкову. И не заметит главного: как писатель-патриот взял на себя весь груз «дней наших тяжких». Не заметит, как направил он свой огромный художественный дар и силу мысли на одно: снять пелену помрачения с глаз современника, помочь ему увидеть грозную реальность и подсказать пути спасения.

Да, он изменился. Во времена, грозящие гибелью России, краски его прозы приняли другой, более суровый колорит — их выбирала сама жизнь. Они подчинились задаче осмысления грянувших испытаний, и в этом Распутин остался глубок как писатель и отважен как гражданин.

Его мировоззрение русского патриота сформировалось задолго до перестройки. Он изначально был выразителем национального духа, и это общеизвестно. В 90-е годы его взгляды только окрепли. Распутин поддержал Солженицына в его идее «сбережения наро-

да»; в своей публицистике не раз обращался к трудам русского философа И.А. Ильина, в эмиграции неотступно размышлявшего о будущих путях России, предвидя, что они неизбежно изменятся; опирался на высказывания Достоевского, Розанова, Бердяева, Шмелёва, Тютчева в подтверждение своих взглядов и стал достойным продолжателем русской общественной мысли рубежа XIX–XX столетий, направленной к благу России.

Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать очерк 1990 года «Из огня да в полымя» (первое название «Интеллигенция и патриотизм»), где был дан блестящий портрет русской интеллигенции, издавна расколотой на две части: ту, что «вела и ведёт войну с собственной страной», и ту, что принадлежит к «целителям национальных язв». И это размежевание не политическое, не партийно-идеологическое, как представляется, к сожалению, многим, а духовное. Жить «не идеями, а идеалами» призывает Распутин, в том же году обратившись к образу Сергия Радонежского как идеальному воплощению лучших качеств русского человека, необходимых сегодня так же, как и прежде (очерк «Ближний свет издалека»).

Распутин не прошёл мимо ни одной важной проблемы своего времени. Обо всём судил не с точки зрения чьих-то победивших мнений, а с точки зрения выработанных веками истин, а главное — следуя совести. Недаром его так и стали называть — совестью России.

Его перо было нераздельно слито с деятельностью. Он защищал Байкал словом и делом, боролся против поворота северных и сибирских рек, в своих ярких очерках воспел Сибирь и одновременно выразил протест против превращения её в мировую колонию; с 80-х годов отстаивал русскую культуру, язык, образование — опять-таки словом и делом: два десятка лет был вдохновителем и организатором Дней русской духовности и культуры «Сияние России» на земле Иркутской; радел за сибирское село, как мог препятствовал разрушительным реформам в образовании. Прямо и открыто высказывал своё мнение о наболевшем с высоких трибун съездов — писательских, народных депутатов, Всемирного Русского Народного Собора, в беседах с журналистами. Всё это опубликовано в периодике и книгах, всё можно прочитать.

Он не жалел себя, и в этом смысле, наверное, был жертвой — как та часть народа, что была надорвана реформами. Он не мог не разделить его судьбы, не мог жить и писать по-другому. Его самоощущение на исходе первого десятилетия XXI века лучше всего передают его же слова, прозвучавшие во время встречи с читателями в Московском гуманитарном педагогическом институте в 2008 году, после выхода книги бесед с В. Кожемяко «Боль души».

«Наверное, я нарисовал довольно мрачную картину. Если продолжать эту «Боль души», то продолжать её придётся, видимо, долго. Однако и стоять придётся, поскольку веры в будущее и надежды терять нельзя.

Стоять надо! Бывает так, и у меня бывает: приглашают куда-то на хорошее дело, а уже устал, уже и годы, и не хочется никуда идти — тянет просто с книжкой посидеть. И отказываешься. А потом совесть среди ночи просыпается: почему отказался? Ведь полезное, нужное дело, о важном будет разговор, а ты всё-таки отказался.

Ну да, усталость, возраст, но надо идти до последнего. Носят ноги — иди, есть о чём говорить — говори. Я думаю, это наша призванность: ни в коем случае не молчать, не устраниваться, не уходить оттуда, где ты нужен...» (цит. по кн.: «Эти 20 убийственных лет». М., 2011).

\* \* \*

Его прозрения, предупреждения не только не устаревают, они всё чаще догоняют нас, срываясь со страниц давних и недавних книг.

«Пожар», отнесённый по ведомству публицистики, грозит превратиться в негосораемую эмблему постперестроечного времени: мы всё горим и горим. Горит тайга вместе с деревнями, в городах горят торговые центры, клубы, дома престарелых... Да что там! Пожарище войны подошло к нашим границам, и сегодня никто не может сказать, когда оно будет потушено.

Догонит нас и «Дочь Ивана, мать Ивана», заставит вспомнить многое, о чём предлагал задуматься её создатель двенадцать лет назад. Да вот хотя бы над словами Анатолия, мужа Тамары Ивановны, о себе, не сумевшем защитить семью: «Чудно: как-то так струсил, что и не догадался, что струсил...» Разве мало сегодня тех, кто бы мог повторить эти слова вслед за ним?

А рассказ «В непогоду», написанный тогда же? Его не забудет никто, если прочтёт хотя бы однажды. Шторм на байкальском побережье силой изображения перевесит многие толстые романы и оставит явственно пережитое чувство едва не разразившегося Апокалипсиса — за грехи наши!.. И пока отступившего, помилуй Бог!

Ещё раз вернусь к статье Дм. Быкова, единственно для того, чтобы ответить на вопрос: зачем понадобились автору устаревшие клише 90-х годов в оценке писателя Распутина?

Ну, во-первых, ради одной, предпоследней фразы: «И, может быть, кто-то, сравнив раннюю и позднюю прозу Распутина, лучше поймёт, чем кончается идеология и практика русского национализма». После всего сказанного до этого — вот она, главная страшилка. Прямо-таки пригвоздил! И это называется «по праву любви»!

Но не бойся, читатель! Открой лучше выступление Распутина на первом съезде Всемирного Русского Народного Собора в июне 1992 года и прочитай: «Как бы хотелось призвать к старому нравственному правилу: нельзя мне поступать дурно, ибо я русский. Когда-нибудь, будем надеяться, русский человек возведёт эти слова в свой главный жизненный принцип и сделает их национальным путеводством».

Не кажется ли тебе, читатель, что если бы «жертвой» такой идеологии стали все наши соотечественники, то жизнь в России давно была бы много лучше, чем теперь?

И второе, ради чего написаны примерно две трети статьи на смерть Распутина. Будучи давним оппонентом патриота и государственника, Дм. Быков торопится — теперь и сейчас — убедить всех, что взгляды, которым следовал писатель, губительны и неприемлемы ни в коем случае. А то ведь последнее время власть заговорила о патриотизме, стала прислушиваться к голосу Распутина... Как бы не увидела она в нём выразителя национальной идеи! И что тогда — напрасны все усилия, всё рвение доказать: патриотизм и человеконенавистничество — это одно и то же?!

«Всю жизнь я писал любовь к России» — скажет однажды Распутин, и нет причин услышать в его словах иное, чем любовь, и не увидеть письменное и деятельное тому подтверждение. И если это чувство кому-то неведомо и в других воспринимается как что-то лишнее и вредное, то это проблема самого индивидуума, которому просто не следует писать о том, что ему непостижимо.

Ну а тем, кто хотел бы понять Распутина, а вместе с ним наше время, надо просто прочитать его всего, и тогда откроется не только боль пережитых потерь, но и спасительность путей, на которые всё ещё рообет ступить многострадальное наше Отечество.

*Валентина СЕМЁНОВА*



## А мы звали его Вале́й...



*Валентин Распутин. Железнодорожный вокзал Красноярска*

Шли начальные шестидесятые. Хрущёвская «оттепель» чувствовалась и в жизни, и в искусстве, особенно — в литературе, поэзии. Модными были «молодёжные кафе», без «горячительных», но с жаркими дискуссиями на темы дня. Что-то подобное открылось и у нас в Канске, при «красном уголке» общежития текстильщиков. Мы, молодые поэты и прозаики из городского литобъединения, по очереди проводили там «творческие отчёты», а потом «отражали» их в местной газете. Однажды с подобным «отчётом» выступал и я, назвав его претенциозно-грустно «Пять лет

около литературы». Пришли газетчики, культработники, мои коллеги-учителя.

И неожиданно заглянул на наше заседание... Валентин Распутин, приехавший в командировку от «Красноярского комсомольца», где он тогда работал корреспондентом. И не просто «заглянул». Скромно посидев в уголке и послушав мои стихи, рассказы и критические отзывы на них, тоже взял слово. Притом дал моим опытам, в общем, неплохую, а главное, серьёзную оценку и в конце речи предложил убрать девиз «отчёта» как унижающий достоинство автора, пожелав ему скорее сменить предлог «около» на «в». Кто-то из моих приятелей тут же сорвал злополучный плакат, и все дружно захлопали, включая гостя.

С того литературного вечера мы с Валентином шли вместе и успели немного поговорить. Надо заметить, что знаменитым он тогда ещё не был, но по ярким публикациям в «Комсомольце» его многие уже выделяли. Меня, помнится, поразила зарисовка о глухонемой скотнице, вполне «тянувшая» на рассказ. И теперь, сказав Валентину об этом, я спросил, не думает ли он вплотную заняться художественной прозой. Валентин ответил доверительно, что уже собрал книжку рассказов. Видимо, речь шла о будущем «Человеке с этого света», изданном в Красноярске вслед за очерковым сборником «Костровые городов». Он посоветовал и мне смелее идти от газетных публикаций к книжке стихотворений.

Когда мы поравнялись с домом, где я жил в однокомнатной квартирке с женой и ребёнком, я по-провинциальному радушно предложил ему переночевать у нас, ибо уже стемнело, автобусы ходили плохо, а топать через Кан в гостиницу было далеко и небезопасно. Однако Валентин, поблагодарив за гостеприимство, твёрдо отклонил моё предложение. Я проводил его до моста. Мы расстались. И его сутуловатая фигура в тёмном осеннем пальто и дымчатой шапке с опущенными «ушами» вскоре растаяла во мгле.

Примерно через год я переехал в Красноярск, стал работать на студии ТВ. Изредка видел Валентина, но потом с ним случилась беда. Его избили какие-то хулиганы, когда он ночью возвращался в общежитие «технолажки», где они с женой снимали

комнату. Избили жестоко, так что пришлось делать операцию, после чего Валентин решил вернуться в родной Иркутск. Ну а через некоторое время все мы услышали о славной «иркутской стенке» молодых писателей во главе с ним...

Не задаваясь целью рассказать в этих коротких заметках-воспоминаниях о всех «встречах» с Валентином Распутиным, остановлюсь вкратце на двух-трёх, которые были наиболее значимыми и для меня, и могут представлять интерес для читателей.

В 1974 году в Иркутске проходил семинар молодых писателей. Среди красноярских «семинаристов» были мы с Анатолием Третьяковым, уже не слишком «молодые» пииты. А Валентин Григорьевич, почти наш ровесник, которого мы по привычке называли Вале́й, вместе с Евгением Носовым и Виктором Астафьевым руководил семинаром прозы. Но, лишённый всякого зазнайства и высокомерия, он в перерывах не раз подходил к нам, беседовал, а однажды пригласил к себе пообедать. И вот там, в его квартире с окнами на Ангару, мы под великолепные щи, поданные его доброй женой Светланой, и под рюмочку, предложенную Вале́й (сам он отказался «принять»), сославшись на бремя семинара), обстоятельно поговорили о жизни и литературе, в том числе красноярской. А на прощанье, естественно, оставили хозяину образцы своих шедевров. Не знаю, чем одарил Анато́ль, а я передал краткую повесть «Поют полозья по Руси». Валентин откликнулся на неё письмом, сдержанно похвалил, но посоветовал поискать «второй план», чтоб она не осталась «зарисовочной». Я «прислушался», и повесть эта потом появлялась в московских журналах и моих книжках...

Запомнились встречи в начале нового века на съезде Союза писателей России, проходившем в Орле. Я тогда по просьбе коллег «правил» нашей писательской организацией, но совершенно не знал «в лицо» московских литературных начальников. В чём признался Валентину ещё по пути в Орёл, столкнувшись с ним на вокзале. И он тут же, взяв меня за локоть, подвёл к голове Союза Валерию Ганичеву, его замам и помощникам, и потом во все дни съезда они первыми почтительно подавали мне руку. Авторитет Валентина был высок и непререкаем. К слову, не всем известно, что он выступил на том съезде с болью о снижении качества нашей литературы, о непомерно раздувшемся Союзе в годы смуты за счёт любителей и дилетантов.

В 2009-м Валентин Григорьевич вдруг пригласил меня на яркий иркутский праздник русской духовности и культуры «Сияние России», основателем и душой которого был на протяжении двух десятков лет. И мне довелось общаться с ним целую неделю на встречах с читателями, местными писателями, на приёмах у зама губернатора и министров. Но однажды он пожелал побеседовать со мною «отдельно». Пришёл в штаб праздника, работавший в гостинице, пригласил меня, и мы проговорили с ним «с глаза на глаз» около часа. Я понимал, что его интересовала не столько моя персона, сколько жизнь города на Енисее, где начался его литературный путь. И я, как смог, постарался удовлетворить его любопытство, перебрав имена и судьбы общих приятелей и знакомых. Валентин просил передать всем поклоны, а мне подарил свой прекрасно изданный фолиант «Земля у Байкала» с тёплой надписью: «Саше Щербакову — дружески издавна и навсегда. Спасибо за приезд в Иркутск. В. Распутин. Окт. 2009»...

Вообще, красноярцы должны знать, что Валентин Распутин любил и всегда помнил наш город, наш край, несмотря на то, что расстался с ними при столь драматических обстоятельствах. У него здесь было (да и осталось) много друзей и приятелей, читателей и верных почитателей. К примеру, мне довелось когда-то поработать в книжном издательстве, куда перекочевали бывшие сотрудницы Распутина по «Комсомольцу» — Маргарита Николаева, Лиля Моисеева, Рима Иванова. Так они не иначе, как только с обожанием говорили о своём Вале, следили за каждым его шагом. Особенно преданной оставалась ему Маргарита Ивановна. Она до конца дней переписывалась с ним, отзывалась в печати на все его книги и крупные публикации даже в годы

смуты, когда имя Распутина искусственно замалчивалось властями и СМИ. Точнее, особенно в эти годы. Именно тогда, теряя единомышленников в своём окружении, она стала часто звонить мне, чтобы сообщить новости о Валентине, его работах. И именно она, узнав, что её кумир затрудняется с названием своего последнего крупного произведения, где главная героиня так похожа на неё цельностью натуры, боевым характером, будучи сама дочерью Ивана и матерью сына Ивана, подсказала возможное заглавие. И он отвечал ей тем же, писал письма, высылал книги, журналы. И когда она ушла «с этого света», при встрече со мной расспрашивал о подробностях её ухода.

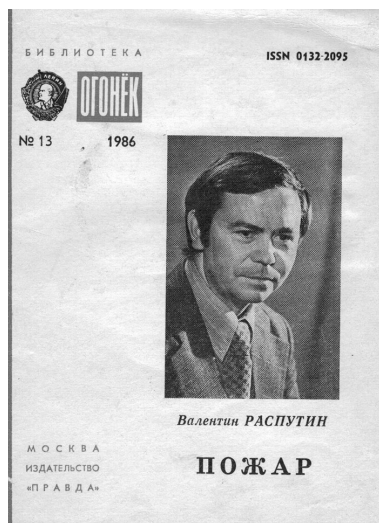
Да ведь и на своей любимой Ангаре он в последний раз побывал «со стороны» нашего города и края. Об этом снят подробный фильм. Бывший с ним в той поездке тогдашний ректор педуниверситета, в котором Распутин «короновали» почётным профессором, доктор истории Николай Дроздов, также рассказывал мне, что Валентин Григорьевич не раз заводил разговор о красноярских писателях и отозвался даже обо мне, грешном, а как — я по скромности умолчу. Кому интересно, пусть спросят у профессора Дроздова.

Но всё же более, чем этим комплиментом, Валентин Распутин дорог мне уроками, которые он преподавал всем нам — и в литературе, и в жизни. Я не сторонник спешной раздачи живым и мёртвым писателям таких эпитетов, как великий, гениальный. Но, думается, определение «классик» можно примерять к Распутину уже сегодня. Заслужил. Ибо твёрдо следовал классике — и в чистоте языка, и в строгости композиции произведений, а главное — в создании образов русских (и не только русских) людей. Кто-то сказал о Гоголе, что он вывел «целый зверинец типов». Вот и Распутин создал свой «зверинец» если не типов, то типических характеров. А это высший пилотаж в литературе.

Ну а жизненный урок его представляется ещё наглядней. Он показал, что при смене властей и режимов не обязательно сжигать то, чему поклонялся, чтобы остаться «на плаву» и «на слуху». Валентин Григорьевич сохранил верность себе и своему прошлому, прошёл через гонения и забвения и умер во славе, отпетый Патриархом в главном храме России. И с цветами к его гробу явилось первое лицо государства, словно признав его правоту и победу. И похоронен он в главном монастыре на родине, где покоятся великие и святые люди Сибири. Так что «Со святыми упокой...» над ним звучало не праздно.

*Александр ЩЕРБАКОВ*

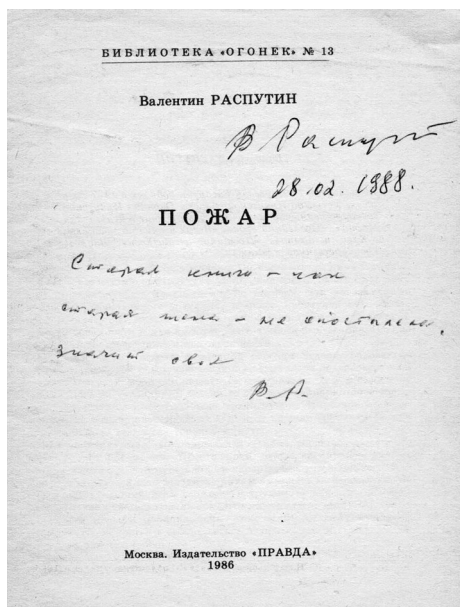
## «С радостью жить-быть рядом...»



В моей библиотеке более тысячи книг с автографами авторов. Книги с автографами представляют особый интерес, оттого что появлялись они в разных жизненных обстоятельствах и в разное время, начиная с первых лет моей творческой биографии. Среди многочисленных писателей и немногочисленных артистов, оставивших свои автографы-пожелания, автографы-размышления и даже автографы-стихи большое число самых досточтимых, самых талантливых и самых известных имён: Виктор Астафьев, Василий Белов, Игорь Шафаревич, Александр Вампилов, Валентин Распутин, Савва Ямщиков, Виктор Лихоносов, Леонид Бородин, Владимир Соколов, Юрий Кузнецов, Николай Дмитриев, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Булат Окуджава, Андрей Би-

тов, Николай Старшинов, Сергей Смирнов («Брестская крепость»), Василий Лановой, Станислав Говорухин, Юрий Назаров, кинооператор Анатолий Заболоцкий, Станислав Куняев, Владимир Костров, Сергей Куняев, Владимир Личутин, Александр Солженицын, Александр Проханов, Захар Прилепин, Владимир Бондаренко, Валентин Курбатов, Аркадий Елфимов, Леонид Кокоулин, Виктор Потанин, Валерий Ганичев, Георгий Куницын, Гарий Немченко, Юрий Поляков, Пётр Краснов, Алесь Адамович, Андрей Битов, Александр Сегень, Александр Бобров, Лев Котюков, Алексей Варламов, Григорий Калюжный, Андрей Воронцов, Юрий Беличенко, Ольга Ермолаева, Татьяна Бек, Александр Казинцев, Вячеслав Лютый, Юрий Перминов, Игорь Тюленев, Геннадий Красников, Владимир Шемшученко, Андрей Ребров, Николай Рачков, Юрий Павлов, Николай Тарасов (остров Сахалин), Мария Аввакумова, Светлана Сырнева, Надежда Мирошниченко, Нина Каргашова, Валентина Ефимовская, Олеся Николаева, Виктория Токарева.

Хотя со времён перестройки с некоторыми из упомянутых авторов мы оказались по разные стороны баррикад, тем не менее книги и автографы на них остаются, став сегодня историческими документами, прямыми свидетельствами того давнего, не испоганенного ложью, дружественного времени, за которым — увы! — последует расслоение общества и уничтожение великой державы. Здесь большое количество книг, подаренных лично авторами, а также купленных мною в магазинах Иркутска и Москвы, приобретённых в командировках на БАМе и в Братске, Усть-Илимске и Тулуне. А вообще-то моя библиотека начиналась в родной деревне, в посёлке Лермонтовском, когда я на первую зарплату деревенского учителя купил в родном посёлке Харик сразу несколько собраний сочинений, и мы с братом Анатолием везли эти книги на двух велосипедах по 25-километровой дороге от Харика до Лермонтово. Тогда я купил восьмитомник Блока, собрания сочинений Бунина, Куприна, Есенина, Эмиля Золя, Джека Лондона, один из ранних сборников Евгения Евтушенко «Стихи разных лет», который я впоследствии подарил другу Евтушенко журналисту Виталию Комину. Шёл 1964 год.



Впереди в моей судьбе будет служба в военно-морском флоте, откуда я привезу восемь чемоданов книг, купленных мною в книжном магазине, расположенном на территории воинской части, и оставленных на два года в Романовском доме офицеров в дни моей демобилизации. Через два года после службы я специально полетел во Владивосток, добрался до посёлка Романовка, где базировался наш авиационный полк, и потом из Владивостока на грузопочтовом поезде я перевёз эти книги в Иркутск. Как ни странно, они все сохранились, и я был чрезвычайно благодарен директору Дома офицеров майору Шарыгину, сохранившему это немалое количество книг.

Библиотека моя вырастет особенно в те годы, когда книга оказалась в непостижимом дефиците, тиражи печатались огромные, но

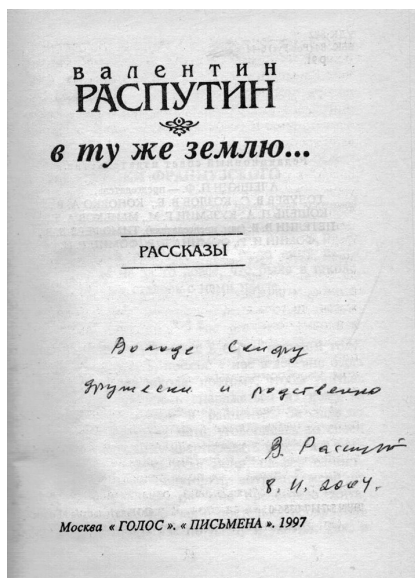
книг не хватало, весь народ, вся страна читала запоем. В те давние годы почти у каждого россиянина имелась своя, пусть и небольшая библиотека. С 1983 по 1988 год я работал старшим инспектором Иркутского облкниготорга, и как раз в эти годы я смог собрать самую многочисленную и лучшую часть своей библиотеки.

В 1970 году у меня вышел в свет первый поэтический сборник — «Зимняя мозаика», и тогда же у начинающего поэта Володи Смирнова появились старшие друзья-писатели, поэты и прозаики: Василий Стародумов, Денис Цветков, Пётр Реутский, Михаил Трофимов, Анатолий Горбунов, Альберт Гурулёв, Леонид Огневский, Павел Забелин, Станислав Китайский, Валентин Распутин. Боже, как мы были молоды! Бесконечно ездили в творческие командировки по всей Иркутской области. Сибирские читатели, зрители встречали нас с восторгом и большим почитанием. Это было великое время, великая страна, великие писатели, эпохальные события, совершенно неповторимые наши поездки, например, по реке Лене до Якутска и обратно, грандиозные выступления на всевозможных площадках, начиная с Братскгэстроя до Тулунского педагогического училища, от Красноярского тракторного завода до средней школы в селе Едогон Иркутской области, от московского магазина «Поэзия» до детского садика в городе Ангарске. С нами рядом в родном Иркутске и вправду жили-были, издавали свои выдающиеся произведения действительно великие писатели: Константин Седых и Алексей Зверев, Александр Вампилов и Валентин Распутин, Геннадий Машкин и Глеб Пакулов.

С тех давних пор у меня стали появляться книги с автографами самых дорогих моему сердцу и уважаемых писателей. Одними из первых книг стали книги Валентина Распутина. Тогда мы с ним ещё не породнились, я был Смирновым, а не Скифом, хотя однофамильцы потихоньку начинали меня терзать, занятные истории, связанные с моей фамилией, уже происходили и порою шокировали не только меня самого, но и моих друзей, о чём я написал в юмористической книге «Писатели улыбаются» и думаю, что напишу ещё.

Полагаю, что автографы Распутина, не только для меня, но и для любого другого человека всегда были интересны, искромётны и по большей части — неожиданны.

Знаю некоторых писателей, которые подписывают свои книги одной и той же фразой: «На память и с пожеланием удач». Автограф-амёба. Автографы Распутина, даже короткие, всегда блистательны, содержательны, с какой-то едва приметной, светящейся распутинской улыбкой. В 1968 году я демобилизовался из армии, и у меня



ещё не было авторских книг, впереди они шибко и не просматривались, но Валентин Григорьевич уже тогда озадачил меня в своём автографе. Вот он — первый автограф, на книге «Человек с этого света. Рассказы» (Красноярск: Краснояр. кн. изд-во, 1967, 120 стр.):

«Володе Смирнову взаймы за свою. В. Распутин. 17. IV — 68». Кроме этого автографа у меня хранятся ещё две такие же книги, подаренные другим людям: нашей общей с Валентином теще Виктории Станиславовне Молчановой и тогда ещё молодому фотожурналисту Виталию Белоколодову:

«Виктории Станиславне (именно так, видимо, для краткости. — В.С.) на сон грядущий. 25. IV — 67. В. Распутин».

«Виталию в странный день книжного базара. Искренне В. Распутин. 5 / V — 68».

Эту книгу Виталий принёс в мою копилку распутинских книг, скорей всего, для его будущего музея.

В аннотации к третьей книге Распутина сказано: «В книгу «Человек с этого света» вошли лучшие рассказы В. Распутина, написанные им в последнее время. Это рассказы о мальчишках, только-только начинающих жить, и о стариках, проживших жизнь долгую и нелёгкую. Но все рассказы **объединяет одно** — (выделено не мной. — В.С.) обострённое и пристальное внимание к человеку и его судьбе, «крупный план» человеческих поступков и переживаний».

Кстати, Распутин включил в данный сборник 12 рассказов, но лучшими, всё-таки, по мнению самого Валентина, оказались всего два рассказа, но каких рассказа! Это были «Василий и Василиса» и «Продаётся медвежья шкура». По ним впоследствии были сняты два замечательных кинофильма.

В 1970 году я, наконец-то, отдался Вале своей малюсенькой книжицей, вышедшей в серии «Бригада», и тут же получил в подарок от него выдающуюся повесть «Последний срок» (Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1970, 248 стр.) со следующим автографом: «Володе Смирнову с надеждой, что очень скоро он оплатит мне ещё одной книжкой. 21. III — 72. В. Распутин».

В 1974 году я взял псевдоним и стал печататься под другим именем. Мимо Распутина этот факт не проскочил, и уже следующая книга, повесть «Живи и помни» (М.: Современник, 1975, 272 стр.), за которую он получил первую Государственную премию, была подписана мне в апреле 1976 года. «Володе Смирнову, а также Скифу, с самыми дружескими чувствами. В. Распутин. апрель 76».

А в июне того же года в Москве, благодаря Валентину Григорьевичу, я попал на шестой съезд Союза писателей СССР, и на второй день съезда пришёл к нему в гостиницу «Россия». Валя был не в лучшем физическом состоянии. Ещё в Иркутске ему позвонили из Москвы и дали разрешение выступить на съезде. Распутин написал сильную, отчаянно-смелую по тем временам речь, но партийные кураторы речь запретили, и Валя пытался заглушить обиду спиртным. Наутро ему было так плохо, что мне пришлось вызвать «Скорую». Когда я пришёл к нему в номер, друзей-писателей рядом не оказалось, и Валя сам ничего не мог сделать. «Скорая» появилась почти мгновенно. Я находился рядом, и врач сделал всё возможное, чтобы улучшить Валино состояние. Три часа врач не уезжал, и когда Распутину полегчало, он решил отблагодарить доктора и сказал мне:

— Володя, вон из той коробки достань книгу...

Я подал книгу «Живи и помни», и Распутин подписал её врачу.

Врач, уходя из номера, подошёл поближе к своему знаменитому пациенту и сказал:

— Валентин Григорьевич, хочу вас убедить в одном — кроме вас вам никто не поможет. *Живите и помните!*

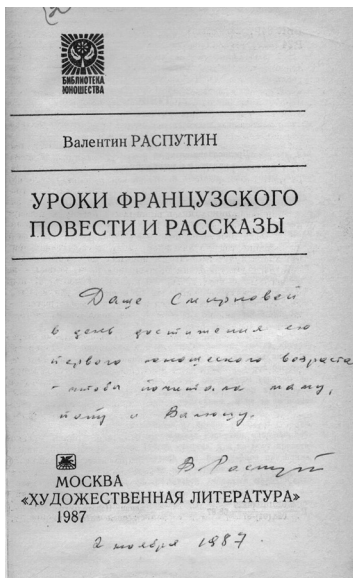
И, наклонив голову, распрощался.

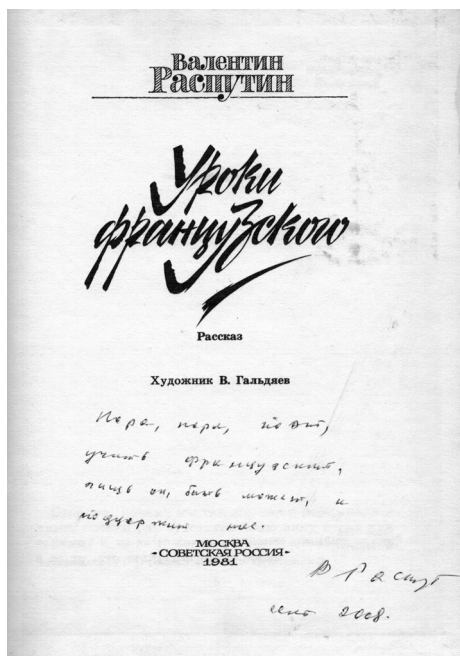
Следующий автограф на книге, которую Распутин назвал «Вниз и вверх по течению», достался не мне, а моей будущей теще Виктории Станиславовне. Но тогда я ещё не был женат на Евгении Молчановой — сестре жены Распутина, это произошло в 1976 году, а книга вышла в 1972-м, автограф поставлен в 1973-м. До моей женитьбы оставалось ещё три года, но я об этом ещё ничего не знал... В книгу вошли две повести «Последний срок», «Деньги для Марии» и очерк одной поездки, давший название книге. Первые две повести были восторженно приняты критикой и читателями, но Валентин Григорьевич уже высматривал в себе следующую повесть, горькую, выстраданную и в полной мере выдающуюся, — это «Прощание с Матёрой». А очерк «Вниз и вверх по течению» был таким предвестием будущей знаменитой повести. Кстати, я до затопления ложа Усть-Илимского водохранилища жил целый месяц в Нижнеилимске, разгуливал по будущему дну Усть-Илимского моря, наблюдал снос погостов и по приезду в Иркутск рассказал о своих впечатлениях Валентину Григорьевичу. Он очень заинтересованно выспрашивал меня обо всём, что я видел и какие картины наблюдал. Итак, «Вниз и вверх по течению» (М.: Советская Россия, 1972, 304 стр.) «Виктории Станиславовне от души свою последнюю книжку. 8. III — 73 г. В. Распутин». Понятно, что это была не последняя книжка, как таковая, а последняя из вновь изданных на то время.

На книге, изданной в Болгарии, Распутин посвятил своей теще ещё один автограф: «Виктории Станиславовне для изучения языков. Апрель 76. В. Распутин».

Валя с великой любовью относился к своим родным детям — Серёже и Марусе, но также нежно относился к племянникам, коими были наши с Евгенией Ивановной дети, ну и, конечно же, сын брата Гены — Юрий и дети сестры Аги (Альбины) — Катя и Юра. Наша средняя дочь Даша родилась в ноябре 1977 года, а через год, именно в ноябре, Валя подарил ей в День рождения книгу «Повести: Прощание с Матёрой. Живи и помни. Последний срок. Деньги для Марии» со следующим автографом: «Дарье в день рождения (самый первый) от дяди Вали в полное самостоятельное пользование. В. Распутин. 2 ноября. 1978». Это был первый, неожиданно объёмистый том, вышедший у сравнительно молодого автора (М.: Молодая гвардия, 1978, 656 стр.).

В 1981 году в издательстве «Советская Россия» у Валентина Григорьевича вышло красивое переиздание книги «Уроки французского», с великолепными иллюстрациями художника Петра Семёновича Сацкого, кстати, моего одноклассника, родившегося, как и я, в 1945 году. Иллюстрации были такие живые, что напоминали кинокадры из одноимённого фильма режиссёра Евгения Ташкова. И в то же время отличались некоей угловатостью, что свойственно характеру угловатого, стеснительного, но невиданно смыслёного героя раннего распутинского рассказа. Книга-то 1981 года, а автограф на ней появился через семнадцать лет, написанный с какой-то внутренней ритми-





кой, почти стихами: «Пора, пора, поэт, учить французский, лишь он, быть может, и поддержит нас. В. Распутин. сент. 2008». Напомню, что рассказ «Уроки французского» посвящён маме выдающегося русского драматурга Вампилова — Анастасии Прокопьевне Копыловой.

1986 год. Начало перестройки. Пустые разговоры Горбачёва о демократии и гласности, о великих переменах в экономике, в жизни страны и общества. Появляются знаменитые провидческие произведения Василия Белова «Всё впереди», Виктора Астафьева «Печальный детектив», но самой пророческой и первой в этом ряду была повесть Валентина Распутина «Пожар», где великий писатель во всю мощь своего неудержимого слова бил в набат, предупреждая всех без исключения россиян о грядущих страшных переменах. Повесть больно ударила многих —

и друзей Распутина, которые услышали этот набат, соперничали вместе с автором «Пожара», и его оппонентов, визжавших:

— Публицистика! Где художник Распутин!

Но он был прав своей космической мудростью и своей земной всепобеждающей правдой. Всё сбылось, что он предвидел, даже в тысячу раз явственнее и страшнее, чем предполагал «вперёдсмотрящий» Распутин. Об этом в 2007 году у меня появились стихи:

## Валентину Распутину

*Мы все, наверно, понимали,  
Придут разор и чёрный дым.  
Но ты грядущие печали  
Постиг пророчеством своим.*

*Горели судьбы и скрижали,  
Был воздух Родины тяжёл.  
Мы оказались на пожаре,  
Куда ты раньше нас пришёл.*

*Какая творческая сила  
Тебя над миром вознесла!  
Сама земля, сама Россия  
Тебе свой голос отдала.*

*Ты посреди родных околиц  
К живому Слову прирастал.  
Теперь там светит колокольня,  
И Храм, который ты создал.*

*Под ним — нетленная Матёра,  
И — Китежа большая тень,  
И — вся Россия, о которой  
Душою страждешь каждый день.*

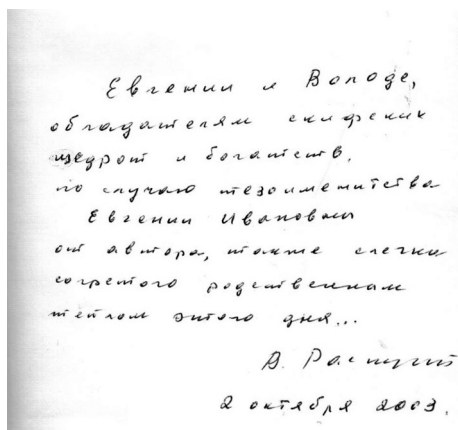
*О, как спасти родных и близких,  
Деревья, травы — от беды?  
Непокорённый царский листвень  
К тебе рванётся из воды.*

*Вдруг оживут луга и доли,  
Сойдут святители с небес.  
Взметнётся радуга у школы,  
Заговорит убитый лес.*

*Быть может, это вправду будет,  
И обновлённый мир вздохнёт?!  
Нам, грешным, Валентин Распутин —  
Матёру — каждому вернёт...*

Книга вышла в 1986 году, а автограф на моём экземпляре появился в 1988-м, где уже не за горами маячили «лихие» девяностые: «В. Распутин. 28. 02. 1988. Старая





книга — как старая жена — не опостыле-  
ла, значит своя. В. Р.» (М.: Правда, 1986, 64  
стр.)

В этом же году выходит первый «Библио-  
блиографический указатель» по творчеству  
Распутина, в котором, конечно же, собрана  
малая толика того, что появится во втором  
указателе, опубликованном издательством  
Сапронова в 2007 году, где художником-о-  
формителем, к слову, стала моя внучка  
Маша Николаева. Достойное пополнение в  
справочный отдел моей библиотеки! Вот и  
автограф Распутина это подтверждает: «Во-  
лоде Скифу в его справочную библиотеку

для разбавления серьёзных указателей. В. Распутин. сент. 1986» (Иркутск: Иркут-  
ская областная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского. Библиографи-  
ческий отдел, 1986, 192 стр.). В это первое издание я вклеил рецензию на данный  
указатель под названием «Энциклопедия жизни» кандидата филологических наук  
Елены Слабковской и анонс самого Распутина на выход книги «Сибирь, Сибирь...»,  
напечатанный во втором выпуске бюллетеня ВААП «Книга и искусство в СССР»:  
«Русская литература всегда, во все времена, прежде всего, отзывалась на потребно-  
сти Отечества. Сегодня, как никогда остро, стоит вопрос о бережливом, рачитель-  
ном отношении к природе. У каждого свой участок на общем литературном поле,  
на котором писатель может принести наибольшую пользу. Сейчас я работаю над  
публицистической книгой о заповедной Сибири. Её составят очерки о природе Байка-  
ла, Горного Алтая, Якутии, о старых сибирских городах, таких, как Томск, Тобольск,  
Иркутск, размышления о памятниках истории и культуры. Условное название книги  
«Сибирь, Сибирь...». Планирует её к выпуску издательство «Молодая гвардия» в се-  
рии «Отечество».

Книга «Сибирь, Сибирь...» будет переиздаваться много раз, но это начальное из-  
дание самое дорогое для меня, поскольку явилось беспримерным открытием мно-  
гозначного, полнозвучного сибирского мира, его старины и удивительной культуры,  
как русского, так и других народов, издревле населяющих Сибирь. Да и автограф Рас-  
путина бесценен и дорог для меня и моей семьи: «Всем Скифам — большим и ма-  
леньким, — только с большой и самой большой родственностью. В. Распутин. март  
1992» (М.: Молодая гвардия, 1991, 304 стр.)

Удивительное дело, но Распутин даже в автографах относится к себе критически,  
не говоря о первых книгах, где он строжит меня, что я собираю все его книги, как  
«свидетельские показания», но даже в книге «Что в слове, что за словом?», которую  
я читал с великим наслаждением, копаясь во многих распутинских фразах, изучая их  
построение, поэтику и философию, пытаюсь раскусить загадку их происхождения и  
неистребимого сияния мысли. Даже в этой книге он видит, казалось бы, невидимое,  
то, что его уже не удовлетворяет на новом этапе его мыслительного взлёта и одному  
ему присущего словотворчества: «Володе Скифу. Что написано пером — не вырубишь  
топором, а кое-что в этой книжке хотелось бы вырубить. Ну да, пускай живёт. В.  
Распутин. 8. 11. 2004.» (Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1987, 336 стр.).

Выше я уже приводил автограф, адресованный моей годовалой дочери Даше, на  
книге, изданной в 1976 (автограф 1978 года. — В. С.) издательством «Молодая гвар-  
дия», где были впервые опубликованы все вместе четыре повести Распутина, при-  
несшие ему заслуженную, невероятную славу. Появилась такая книга и у меня, но с  
промежутком в 28 лет: «Володе Скифу издаелека-далёко отыскавшуюся книжку ис-



кренне, с надеждой и верой, что сыщутся и ещё... В. Распутин. 8. 11. 2004» (М.: Молодая гвардия, 1976, 656 стр.).

А вот подоспели и «свидетельские показания», где на книге «Костровые новых городов» Распутин полусерьёзно, полусмешливо пытается внушить, наверно, и себе и мне, что он далеко ушёл от своих первых книг, первых литературных проб, которые не приносят сегодня ему должной радости, а только критический взгляд на свои прошлые опыты: «Скифу! За такие книги авторов пороть надо, а ты всё собираешь, как свидетельские показания. Сент. 2008. В. Распутин». (Красноярск: Краснояр. кн. изд-во, 1966, 100 стр.). Ну, что же! Возможно, это истинная правда, но книги живы, более того, они являются историческими фактами становления и развития великого писателя, это неоспоримая метаморфоза Валентина Распутина, распростёршего над нами свой духовный космос, своё никем недостижимое СЛОВО.

Валя, Валентин или Валюша, как все мы — от детей до взрослых — называли его в семье, очень много дарил книг именно детям и особенно в дни рождения. Когда Даше исполнилось десять лет, он подарил ей книгу «Уроки французского» с предисловием Валентина Курбатова в серии «Библиотека юношества», куда включил повести «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и самые удивительные, близкие к отроческому и юношескому возрасту рассказы «Рудольфо», «Уроки французского», «Век живи — век люби», «Что передать вороне»: «Даше Смирновой в день достижения ею первого юношеского возраста — чтобы почитала маму, папу и Валюшу. В. Распутин. 2 ноября 1987» (М.: Худ. лит. 1987, 480 стр.).

Явно детских книг у Распутина не было, но издательство «Малыш» и «Детская литература» выпускали ярко иллюстрированные его книги для самых маленьких, выбирая из его «взрослых» произведений лирические, трогательные куски о природе, об Ангаре, о сибирской тайге. Одна из таких книг — «В тайге над Байкалом» была подарена моей младшей дочери Саше, которой на тот момент исполнилось шесть лет, тем более что она с шести лет пошла в школу: «Алекса́ндре Смирновой в день вступления в октябрюта — наконец-то мировая революция победит! В. Распутин. 2 ноября 1987». (М.: Малыш, 1987, 32 стр.).

Не забывал Валюша и любимую тещу Викторию Станиславовну, от которой, по всей вероятности, и пошло это уменьшительно-ласкательное Валюша. Иронически-нежное отношение со стороны зятя и восторженно-умилительное, с пиететом и поклонением — со стороны тещи воспринималось всеми нами как само собой разумеющееся, потому что Валя очень ценил Викторию Станиславовну за её живой ум, за неподдельный восторг, детскую непосредственность и душевную, безграничную влюблённость в русскую литературу. Он подшучивал над тещей, бывало, даже разыгрывал её, но старался не обидеть, а с радостным, благородным чувством быть с ней на равных. Вот как он подписал ей книгу «Что передать вороне?» на её 85-летие: «Жил-был зять... И была у него одна теща (а посмотрите-ка, сколько теперь у зятьёв бывает тещ!!). И этот зять дарит своей единственной теще в день её юбилея десятую её — юбилейную книгу не в последний раз. Итак — Виктории Станиславовне, любимой теще, от зятя Валюши. В. Распутин. 14 апреля 1996» (Курган: Зауралье, 1995, 512 стр.).

Великое потрясение я испытал, прочитав книгу «В ту же землю». Во-первых, сам рассказ, давший название книге, заставил давиться от горечи за русскую женщину, за эту смертельную, навалившуюся на русского человека безысходность. Я зримо видел героиню рассказа Пашу, Пашуту и, как будто черту собственной жизни, воспринял её жизненную черту, за которой смысл жизни потерян и нет никого и ничего на свете, чтобы изменило эту гадкую, растерзавшую и страну, и человека жизнь. Позже я испытал подобное после прочтения рассказа «Нежданно-негаданно», который выстудил меня до озноба, вышиб из сердца самые горячайшие слёзы. Не проходящая душевная боль не покидала меня на протяжении суток. Хотелось, как Сене Познякову, выть и причитать, представляя отобранную у него и его жены девочку:

— Катя! Катя! Катя!

Автограф на книге «В ту же землю» гласил: *«Володе Скифу дружески и родственно. В. Распутин. 8. 11. 2004» (М.: Голос: Письмена, 1997, 432 стр.)*.

В июле 2001 года отмечалось 100-летие великой Транссибирской магистрали. Сто лет назад царь Александр III подписал на имя своего сына Николая рескрипт: «Ваше императорское высочество! Повелев ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные дарами природы Сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений, Я поручаю Вам объявить такую волю мою... Вместе с тем полагаю на Вас совершение во Владивостоке закладки разрешенного к сооружению за счет казны... Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути...» Цесаревич Николай отвез к месту насыпи под будущую рельсовую колею тачку с грунтом...

В дни празднования столетия дороги Распутина пригласили в поездку с писательской делегацией, которую возглавлял Валерий Ганичев. К юбилею приурочили выпуск великолепного двухтомника Валентина Распутина, изданного в Калининграде. «Об одном издании, приуроченном к этой уникальной поездке, надо сказать особо, — пишет в газете «День литературы» первый секретарь Правления Союза писателей России Геннадий Иванов, — двухтомник сочинений Валентина Распутина — красивое подарочное издание с золотым обрезом, в коже. Двухтомник вышел не без доброго участия МПС. Закопёрщик издания — Игорь Трофимович Янин, его фонд культурных инициатив «Взаимодействие». Этот двухтомник вручался на митингах руководителям МПС и дорог, известным или, как раньше говорили, знатным железнодорожникам, писателям на встречах в областных и краевых писательских организациях. И скажу, что везде в Сибири и на Дальнем Востоке этот подарок воспринимался всеми без исключения как желанный и уместный. Распутин и Сибирь — это навсегда».

Автограф на двухтомнике адресован нам с женой и подписан в её день рождения: *«Евгению и Володе, обладателям скифских щедрот и богатств, по случаю тезоименитства Евгении Ивановны от автора, также слегка согретого родственным теплом этого дня... В. Распутин. 2 октября 2003» (Калининград: Янтарный сказ, 2001, 672 стр.)*.

В 2004 году в издательстве Сапронова выходит нашумевшая книга Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана», в которую, как волкодавы, вцепились все эти быковы, симененки и прочие либерало-демократы. Дмитрий Быков в журнале «Огонёк» додумался до издевательски-просторечного названия своей статьи «Снасильничали», иронизируя и принижая трагический сюжет произведения, на что ему довольно резко ответила критик Капитолина Кокшенёва: *«Проворно лавируя на журналистском поле, Дм. Быков додумался до того, что «сквозная тема изнасилования» «кроваво-красной нитью проходит через почвенную литературу последнего десятилетия. Город растлил, кавказцы снасильничали, плохие мальчишки до плохого довели... Да как же это? Да что же это вас, сердешных, все время насилуют? Так ли вы красивы, умны, во всех отношениях совершенны, чтобы это с вами постоянно происходило? Может,*

не только китайцы да кавказцы, но и вы сами себя маленько... а? Был у меня спор со многими русофилами на эту тему, и всегда они говорят про насилие. Но если вас все насилуют — в диапазоне от Маркса до кавказцев, может, вы как-нибудь не так лежите? К тому же у кавказцев, насколько я знаю, ровно противоположное мнение насчет того, кто кого насилует, и мнение это подтверждается как хроникой кавказских войн, так и историей последних московских погромов. Так, может, образ страдающей изнасилованной кроткотерпицы страдает некоей как бы односторонностью... ась?» Оставим без внимания все эти «ась» и «маленько», как и скучный, бездарный ернический тон г-на Быкова. Любопытно другое — чуть выше в этой же статье он признавался, что всю жизнь читает Распутина «с чувством уважения и родства». Но коль скоро речь зашла о «почве», тут же аккуратный критик предпочел безопасную дистанцию от «них», русских, которые должны усомниться в своем уме, в своей истории, в своем положении («не так лежим»). Впору задать вопрос: быть может, это вы так косоглазо смотрите? Быть может, это вам «Русь не дает ответа», поскольку вам нечем этот ответ слышать и воспринимать?..»

Автограф Распутина на книге «Дочь Ивана, мать Ивана: «Володе Скифу на добрую память о тех временах, когда мы жили-дружили (и даже были в родственных связях) — и ещё поживём. В. Распутин. 16. 11. 2005» (М.: Эксмо, 2005, 640 стр.).

С 1993 года известный всей России журналист Виктор Кожемяко стал брать интервью у Валентина Распутина. Постепенно эти интервью превратились в диалоги о России, где два неустанных гражданина России говорили о жизни народа и страны, подводя итоги минувших лет и происходивших в них событий. Первая книга диалогов вышла в 2006 году, вторая, «Боль души», — в 2007-м, а третья, «Эти 20 убийственных лет», — в 2011-м. Первую книгу мне подписал вначале Виктор Стефанович Кожемяко, а затем сделал свою приписку Распутин: «Эту очень дорогую для меня книжечку — Евгении Ивановне и Владимиру Петровичу сердечно. Виктор Кожемяко. 18–I–2007 г. Надеюсь Валентин Григорьевич присоединится. И для меня тоже — В. Распутин». Валентин Распутин, Виктор Кожемяко «Последний срок: диалоги о России». 1993–2003. Трудные времена глазами писателя и журналиста» (М.: Воскресенье, 2006, 160 стр.).

На второй книге «Виктор Кожемяко, Валентин Распутин «Боль души» (М.: Алгоритм, 2007, 288 стр.) автограф оставил только Распутин, поскольку на этот раз собеседники были не рядом: «Володе Скифу в дополнение его поредевшей библиотеки, так что пусть всегда она будет во весь дом. В. Распутин. 9 июня 07». Почему «поредевшей», как написал Валентин Григорьевич? Всё очень просто: часть моей библиотеки с помощью директора «Саянского химпласта» Виктора Кузьмича Круглова переехала в посёлок Залари, где сгорела местная библиотека.

Следующий автограф на книге «Валентин Распутин. Эти 20 убийственных лет. Беседы с Виктором Кожемяко» (М.: Алгоритм: Эксмо, 2011, 736 стр.) снова выражал заботу Распутина о моей библиотеке: «Володе Скифу — да будет вместе с этой 20 тысяч книг. В. Распутин. 24 окт. 2012».

В 2007 году издатель Сапронов выпускает собрание сочинений Распутина в 4 томах, где на первом томе этого подарочного издания поставлен очень характерный для Распутина автограф: «Скифу и Евгении от непокорного, но искреннего родственника. Да будет мир и благополучие в вашей — нашей семье всегда и везде. В. Распутин. 20. 10. 07» (Иркутск: Издатель Сапронов, 2007, 672 стр.)

Мне осталось привести ещё три автографа на самых крупных по объёму книгах «Сибирь, Сибирь...» и «Земля у Байкала», изданных одним из лучших издателей страны Геннадием Сапроновым. В 2008 году на презентации книги «Земля у Байкала» ещё в старом здании Иркутской областной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского (бывший Дом политпросвещения на ул. Российской) Распутин, держа в руках увесистый том, сокрушался:

— Как же держать такую тяжесть? Как читать этот кирпич?

Две другие подобные книги вышли ещё раньше — в 2006-м и 2007-м годах. Это были два переиздания книги распутинских путешествий по городам и весям Сибири, где сияли Иркутск и Байкал, Русское Устье и Томск, Кяхта и Алтай. Он радовался выходу в свет этих многостраничных фолиантов, и тем не менее на издании «Сибирь, Сибирь...» 2006 года написал: «Скифам — и для чтения в свободные минуты, и для защиты от серьёзных нападений. В. Распутин. ноябрь 2007» (Иркутск: Издатель Сапронов, 2006, 576 стр.).

И ещё был один том «Сибири...», подаренный в 2008 году лично Евгении Ивановне на её 50-летний юбилей, где любимый Валюша расщедрился даже на стихи: «Евгении Ивановне, рождённой 50 лет назад на благо родных и близких. Сему и радуемся, этой надеждой и живём. В. Распутин.

*Вот дал Господь ей положение,  
Со всех сторон видна, красна,  
А всё от чтенья, от волнения,  
А всё от книжного вина.*

*В. Распутин. 2 октября 2008 г.»*

А в 2009 году снова в день рождения Женечки фолиант «Земля у Байкала» он дарит мне с неизменным подчёркиванием нашего родства: «Володе Скифу в день рождения его жены, на долгое неизменное (по части жён) родство. В. Распутин. 2 октября 2009 г.» (Иркутск: Издатель Сапронов, 2008, 416 стр.).

И вот последний автограф, слова из которого я взял в название этих воспоминаний. В 2012 году Сапронов издал книгу Распутина «Прощание с Матёрой», и Распутин в сентябре, в дни праздника русской духовности и культуры «Сияние России», перед своим отъездом в Москву, в автографе вновь обращается к Молчановой Евгении Ивановне: «Евгении Ивановне с радостью жить — быть с нею вместе и рядом. 24 сент. 2012. В. Распутин» (Иркутск: Издатель Сапронов, 2012, 208 стр.).

*Владимир СКИФ*

# Молитвы Валентина Распутина

(Статья написана к 70-летию писателя)

В начале восьмидесятых я, молодой рабочий-строитель и одновременно студент-заочник литературного факультета, впервые целиком прочитал «Тихий Дон», и меня неожиданно потрясло, что я современник Михаила Шолохова.

Я — современник Михаила Шолохова? Я, именно я, современник его? Да что за казусы или, напротив, презенты судьбы?

Меня дивило и пьянило, что я живу всего-то в каких-нибудь нескольких тысячах километрах от него, от благословенной Вёшенской, что, в сущности, я могу поездом или самолётом приехать к нему и поговорить с ним, если повезёт, или же посмотреть на него издали, в конце концов, подышать тем же воздухом, которым дышит и он, пройти по той же земле, по которой и он ходит, пожить вблизи от него в тех секундах, минутах и часах, в которых и он сейчас живёт.

Валентин Распутин — ближе, я встречаю его на улицах Иркутска, в Доме литераторов на Степана Разина, 40, ещё где-то и как-то. Он, слава Богу, жив и деятелен. Присматриваюсь к нему — мнится обычным, если хотите, неприметным человеком, этаким внешне стиснутым, несмелым крестьянином из какой-то таёжной Тмутаракани, незнамо зачем очутившимся в городе. Порой увидишь Валентина Григорьевича на улице, а у него в руках пакеты с продуктами или портфель, или так, налегке идёт, и невольно подумаешь зачем-то: вот, смотрите, люди, обычный человек перед вами. Он в чём-то непостижимо, необъяснимо привычен, обыден, если хотите. Но сердце своё не обманешь, не запутаешь, оно словно бы захолонёт и тут же ворохнётся: а ведь перед тобой, дружище, великий русский писатель.

Я доподлинно, я наверняка знаю, что Валентин Распутин — великий писатель. Да я и не хочу никому доказывать, что он вровень или в одном культурологическом пласту с Михаилом Шолоховым или Львом Толстым. Меня смущает и заботит только лишь вот что: я встречаю его на улицах Иркутска, а ведь он великий — великий писатель! Как мне это постичь, осмыслить, как свыкнуться?

Как?

А может, не надо свыкаться?

С Валентином Распутиным мы всегда жили рядом, нас отделяло друг от друга небольшое расстояние. Мы долго не были знакомы, но я знал и помнил, что он где-то поблизости, так, как всегда неподалёку от очередного моего дома Ангара и Байкал. Он по значимости и масштабу лично для меня, для моего сердца — Байкал, а его проза — Ангара. Согласитесь, уникальнейшая на планете увязка: Байкал — Ангара — Енисей — Мировой океан. И никак не рассоединяется во мне такая вот череда: вспомнишь о Валентине Распутине — пахнёт и Байкалом с Ангарой, вспомнишь о Байкале и Ангаре — вслед вспомняется как-то и Валентин Распутин, его проза, его мысли, его обличье.

Написал и — смутился, засомневался: ну что я зачастил «великий», «великий», да ещё Мировой океан примешал? Скажут, подхалимничает, низкопоклонничает землячок. Но я-то знаю, что не подхалимничаю, не прогибаюсь, не ишу у него особой защиты, хотя однажды обратился к нему с просьбой. Я говорю то, что должен сказать, о чём не могу не сказать именно сейчас, когда у Валентина Распутина юбилей. Так надо.

Так надо прежде всего лично для меня, и, кажется, пора мне сказать о Валентине Распутине так, как давно хотелось. Судите, кому охота и надо. Говорите о чём-то другом, кому охота и своя пора приспела.

Да, минули годы, десятилетия, но я по-прежнему восторженно и упоённо — не боюсь высокого слога — влюблён в литературу, в писательство, в добротную строку.

И вновь возвращаюсь к теме «великий»: никак не хочется называть Валентина Распутина великим, потому что он прост, ясен, открыт — и в творчестве, и в жизни. Но если как-нибудь по-другому называть да величать — понимаю, что мало, совсем-то маловато, недобор выходит самоочевидный и *беспокоящий*. А может, никак и не надо называть? Может быть, это как раз тот случай, когда говорят, что произнесённое слово — уже ложь? Возможно, всемирно известная форма-словосочетание «Валентин Распутин» — уже и есть высочайшая оценка, уже и есть ориентир, вектор для нас.

Нет, называть всё-таки надо, потому что если не называть, то можем окончательно сбиться, заплутать, очароваться по самую маковку ложными, раздутыми литературными, во всю ивановскую писательствующими авторитетами, разного колера пророками, борцами за придуманную ими самими демократию. Они сейчас, сдаётся, даже из-за каждого куста, как маньяки, насакаивают на тебя и требуют любви к себе, поклонения, жертв и чёрт знает чего ещё и зачем. Но они не знают, похоже, не догадываются даже, что писательство — настоящее мужское, буду точнее, мужичье дело, а писательство в России по силам дюжему мужику, мужику силачу, лобастому мужику, твердолобцу, которому чихать на всякую дешёвку со стороны публики и властей. А они кто? Хиляки, разомлевшие от дешёвого, всемещанского успеха, торопливо испечённая аристократия, не понявшая и не принявшая главного по жизни — Бог прежде всего труды любит. Валентин же Распутин — трудяга, мужик истый, мужик умом, обликом, норовом, каждой строкой своей.

Распутин у нас один, и мужиков от литературы настоящих пока что ещё немало, и трудятся они, как надо и должно, и к боям готовы. А современная русская литература — это поле битвы. И обе стороны ещё сильны и могут наступать. Кто ж кого?

Боязно, потому что лжелитература, лжеписательство лавой, селем прут и пучатся. И хотя хиляки, белоручки они, а ведь тьма тем их. Вдруг — задавят, сметут наёмными будьдозерами, закатают в асфальт то истинное, что скопилось и сбереглось в русской культуре за века, и нахально скажут, что так-де и было!

Жутковато порой.

Но перечитываешь добрую, подлинную литературу и радостно-зло думаешь: «Э-э, нет, ребята, ещё неизвестно, кто кого!»

Перечитал я недавно «Деньги для Марии». Боже, что же это! Прозаическое, поэтическое, драматургическое по своей сути? Нет, тривиальные, узкие, тесные определения. Нечто внежанровое, наджанровое? Нет, не надо выдумывать, изгаляясь над словами. Вероятно, молодой автор и сам не понимал хорошенько, что и зачем пишет. «Стараясь попадать в чьи-то следы, чтобы не мять снег, Кузьма через рельсы идёт к вокзалу...» Хочется всю повесть переписать куда-нибудь в дневник. Хочется «попадать в следы» Валентина Распутина, чтобы сохранить «снег» — любовь, добро, преданность, всё то небольшое и хрупкое, на чём и отчего произрастает сущее человеческое счастье.

Знаете, а ведь вся повесть — молитва.

Вся!

Он не писал её, он молился, не помня о жанрах, о рецензентах, о критиках и тому подобном. Молился за себя, за свою семью, за всех нас. Он сам-то знает ли, как текст «Денег для Марии» оказался на бумаге? Сохранились ли черновики? Много ли в них правок, именно его правок? А может, есть и редакторские? Нет, хочется думать, что повесть как-то, что ли благодатно, сошла на него.

Погоди-ка, дружище! Ты же на своей шкуре изведаль сполна: потому и неплохо, неподдельно может получиться иногда, что тяжело было в работе, что искал то самое неповторимое едино-единственное слово, находил его вечером, а утром выбрасывал — и снова, снова искал и снова выбрасывал.

Узловой вопрос для современного писателя, вопрос, которого не любят, от которого прячутся, начинают умствовать и запутываются, отвечая, — зачем писать? Настоящие ответы угадываются в подтекстах — чтобы прославиться, чтобы выплеснуть из себя помой, а ещё, полагают, можно и нужно писать для денег, для красивой жизни. И первое, и второе, и какое-нибудь десятое в этой же этической тональности так же глупо, как жить, к примеру, для того, чтобы дышать или пить воду.

И тем не менее — зачем писать, зачем?

Да, сложно ответить так, чтобы тебя не заподозрили в неискренности, чтобы ты сам был хотя бы немножко доволен своим ответом. А может, сначала задумаемся, «что в слове и что за словом?» — о чём спрашивает Валентин Распутин и нас, и себя. Но чуткому читателю доподлинно известно, что в его слове, в его прозе и публицистике она — молитва. А что за его словом, за его молитвой? А за его словом-молитвой — душа читателя, разбуженная к покаянию, к очищению, к своей неповторимой молитве. Не сомневаюсь, он пишет в упование, что его слова услышит Бог.

«И опять наступила весна, своя в своём нескончаемом ряду, но последняя для Матёры...» Хочу переписывать и «Прощание с Матёрой», и «Дочь Ивана, мать Ивана», — многое, многое. Не спеша переписывать, разбирать, вглядываться, умиротворённо «попадая» в распутинский след. Но опять сомнение и смута: не мучился, не маялся он над «Матёрой» (можно назвать и другие произведения), а писал, как молитву читал.

Но знаю, знаю, что молитву читают не потому, что больше нечего делать. К молитве надо прийти, её надо ещё и заслужить. А потом органично, ласково влиться в неё, текущую из веков, от предков твоих.

«В конце концов, отчаявшись куда-нибудь выплыть, Галкин выключил мотор. Стало совсем тихо. Кругом были только вода и туман, и ничего, кроме воды и тумана». Можно потерять и ум, и душу, кричи не кричи: «Ма-а-ать! Тётка Дарья-а-а! Эй, Матёра-а!..», а не знаешь пути, — на Бога надейся. Но говорят неспроста: «На Бога надейся, а сам не плошай». Заблудились, потому что обеспамятовали, потому что хотели ускользнуть от правды. С правдой тяжело жить. За правду не приласкают, не поблагодарят.

Валентин Распутин — писатель всея Руси, писатель той Святой Руси, которая была и остаётся высшим этическим идеалом для русского человека, потому что веками высшим законом и мерилем жизни была и будет правда.

Валентин Распутин *не* современный писатель, в значении модный, «продвинутый», а жутко, трагически старомоден. Посконен. Сыромятен. Но где теперь весь тот легион модных, крикливых, егозливых, партийных и не очень партийных сочинителей целого 20-го века, из которого и он, Валентин Распутин, вышел? Кто ими интересуется, кроме профессуры или предприимчивого фабриканта-макулатурщика? Валентин Распутин, его проза и публицистика выстояли, нужны 21-му веку, потому что в нём правда Святой Руси, потому что в нём молитва.

А какой у прозы Валентина Распутина недостаток? Есть такой, если вымерять его творчество филистерской мерой «престижно — непристижно». Валентин Распутин весь в традиции, он старомоден, а сейчас — и это вполне очевидно — устроен настоящий крестовый поход против традиции, всего корневого, народного. Ложных кумиров возносят за ахиною, за чревоушательство, за ёрничество, за выполаскивание своего кишечника перед всем светом. А что же Валентин Распутин? А он *традиционно, по-русски* молится за нас, грешных, плутающих, молится каждой строчкой своего творчества.



И его молитвам звучать в веках, как звучать в сердцах и помыслах истинных русских людей колокольным звоном Святой Руси, которую мы — нет, нет! — не потеряли, не изжили в себе, несмотря ни на что, но которую, похоже, как время от времени вообще случается с людьми, с изменчивой, неустойчивой человеческой породой, подзабыли, подзадвинули покудова в некое укромное местечко. Подзабыли и подзадвинули, конечно, с умыслом: чтобы нагрешиться вволю, досыта, оторваться, как говорится, по полной, коли уж дозволено всё и вся.

Но ходим-то по круглой земле, да и в природе всюду круговороты и круговерти.

Будем жить и помнить, мои дорогие соотечественники, что за душу нашу молятся, и что мы — современники Валентина Распутина.

«Господи, поверь в нас: мы одиноки», — взмолился он ещё молодым в «Что передать вороне?»

Господи, поверь в нас!

*Александр ДОНСКИХ*



ЮРИЙ ЧЕРНЫХ



## На Кудыкиной горе

### Кто пасётся на лугу?

Далеко, далеко  
На лугу пасутся ко...  
— Кони?  
— Нет, не кони!

Далеко, далеко  
На лугу пасутся ко...  
— Козы?  
— Нет, не козы!

Далеко, далеко  
На лугу пасутся ко...  
— Правильно — коровы!  
Пейте, дети, молоко —  
Будете здоровы!

---

ЧЕРНЫХ Юрий Егорович (27 ноября 1936, Усть-Кут — 12 сентября 1994, Иркутск) — русский советский детский поэт, автор известного детского стихотворения «Кто пасётся на лугу?» Родился 27 ноября 1936 г. в Усть-Куте Иркутской области. В 1960 г. окончил Иркутский сельскохозяйственный институт. В 1963 г. переехал в Братск, работал инженером-экономистом в Управлении автотранспорта. В 1965 г. опубликовал стихотворение «Кто пасётся на лугу?» Композитор Александра Пахмутова написала на это стихотворение детскую песенку, которая стала лауреатом Международного конкурса детской песни в Софии и послужила сюжетом для мультипликационного фильма «Кто пасётся на лугу?» Стихи публиковались в журналах «Весёлые картинки», «Сибирячок» и других изданиях. Автор десяти сборников для детей, которые были изданы в Братске, Иркутске, Москве: «На лугу пасутся ко...», «Весёлый разговор», «На Кудыкиной горе: стихи, песенки, загадки, сказки для детей», «Хотите — проверьте!», «Внучка-почемучка» и др. В Иркутске произведения входят в региональную школьную программу по внеклассному чтению.

## Братья и сёстры

Отличите-ка зайчонка  
От пушистого крольчонка!  
Не устану повторять я:  
Это братья, это братья!

Вот коза, а вот косуля,  
Грациозная красуля:  
Ножки быстры, рожки остры —  
Это сёстры, это сёстры!

Вот барашек круторогий  
Рядом с диким козерогом,

Вот охотничья собака  
Рядом с волком-забиякой.

Это резвая лошадка  
Рядом с зеброй полосатой,  
Это кошка-баловница  
И красавица-тигрица.

Все животные и звери —  
Нам родня, прошу поверить.  
Мы должны оберегать их,  
Как своих сестёр и братьев.

## Внучка-почемучка

Есть у деда внучка,  
Внучка-почемучка,  
И приходится ему  
Отвечать на «почему».

— А сорока почему,  
Белобока почему  
То стрекочет на колу,  
То летает по селу?

— А сорока потому,  
Суетится потому,  
Что разносит на хвосте  
Сто сорочьих новостей!

— А собака почему,  
Забияка почему

Громко лает на заре  
У соседей во дворе?

— А собака потому,  
Громко лает потому,  
Что назойливых сорок  
Не пускает на порог!

— А Бурёнка почему,  
Для телёнка почему  
Промычала это «му»?  
Непонятно никому!

— Промычала потому,  
Что ответила ему,  
Почемучке своему,  
На телячье «почему»!

## Встреча на косе

Шёл по берегу Косой  
Травянистою косой,  
Видит: девица с косой  
Машет острою косой.

— Слушай, серенький Косой, —  
Молвит девица с косой, —  
Я траву кошу косой,  
Ты ходи другой косой!

— Слушай, девица с косой, —  
Заупрямился Косой, —  
Не пугай меня косой,  
Не пойду другой косой!

Но попятился Косой  
Перед острою косой,  
Покосился на лесок...  
И помчал наискосок!

## Две луны

Мы гуляли у реки, В ней мерцали огоньки.	А двойняшки наутёк!
Над рекой плыла луна, А под ней ещё одна!	Я назад — они назад, Я стою — они стоят!
Плыли рядышком они И дразнили: догони!	Перед сном одна луна Мне сияла из окна,
Я за ними на мысок,	А в мои цветные сны Заплывали две луны!

## Егоркины скороговорки

Я сегодня был в восторге От затейника Егорки,	Векше шишку шелуша.
За его скороговорки Я поставил бы пятёрки!	— Лилии полили ли Иль увяли лилии?
Повторяйте, детвора: — Посреди двора дрова.	— Аня ныне нянина, Нина — няня Анина.
— Жук, над лужею жужжа, Ждал до ужина ужа.	— Мамами любимы мы Самыми любимыми!
— В перелеске перепел Перепёлку перепел!	То-то буду я в восторге, Если вы, как я Егорке,
— Мышь шуршит у шалаша,	За его скороговорки Мне поставите пятёрки!

## Жили-были

Жили-были  
Дед да баба  
С маленькою внучкой,  
Кошку рыжую свою  
Называли Жучкой.

А Хохлаткою они  
Звали жеребёнка,  
А ещё была у них  
Курица Бурёнка.

А ещё у них была  
Собачонка Мурка,  
А ещё — два козла:  
Сивка да Бурка!

## Песня ёжика

У меня-то что-то есть, Это что-то можно съесть! Это что-то сладкое, Круглое да гладкое.	Это что-то сладкое, Круглое да гладкое.  Много-много притащу, Папу с мамой угощу! Это что-то сладкое, Круглое да гладкое.
--	---

## Игры

Вчера барбос для лайки Играл на балалайке, А лайкины ребятки С утра играли в прятки.	Сегодня кот для кошки Играет на гармошке, А кошкины детишки Играют в кошки-мышки.
---	--

## Как в цирке

Мы сегодня всем детсадом Веселились до упаду, Потому что на тележке Прикатили к нам потешки, А за ними, словно утки, Прилетели прибаутки!	А когда на парашютах Опустилась пара шуток, И, как лёгкие снежинки, Залетели в рот смешинки, Ребятишки всем детсадом Хохотали до упаду!
--	--

## Как читать умеет Эля

Вот уже почти неделя,  
Как читать умеет Эля.  
И теперь любое слово  
Прочитать она готова.

Эля с мамой в магазине.  
Что за слово на витрине:  
Начинается на МО,  
Продолжается на ЛО  
И кончается на КО?

Удивительно легко  
Прочитала Эля слово:  
— Здесь написано КО-РО-ВА!

Вот уже почти неделя,  
Как читать умеет Эля.

## Познакомились

Три задиры муравья  
Повстречали воробья.  
— Чьи вы, чьи вы, муравьи?  
— Мы ничьи, ничьи, ничьи!  
— Вы куда, куда, куда?  
— Мы туда, туда, туда!  
— Вы зачем, зачем, зачем?  
— Мы затем, затем, затем!  
Мы за тем, за тем кустом

Познакомились с котом!  
— Он какой, какой, какой?  
— Он такой, такой, такой:  
В полосатой шубке,  
Остренькие зубки  
И на каждой лапке  
Когти цап-царапки!  
— Я давно уже знаком  
С каждым этим коготком

## На уроки

По зимнему лесу спросонок  
Бежит длинноногий лосёнок.  
Он резвым галопом  
Несётся по тропам  
Среди невысоких сосёнок.

Торопится увалень-мишка,  
Подмышкой — тяжёлая книжка.  
Устроить бы гонку,  
Догнать бы лосёнка,  
Да только мешают одышка!

Бегут озорницы-лисицы,  
Сегодня они ученицы.  
Спешит, как на праздник,

Бельчонок-проказник,  
Сегодня и он первоклассник.

Зайчишка купил за копейку  
Тетрадку в косую линейку,  
И мчится вприпрыжку  
Весёлый зайчишка,  
Ныряя в любую лазейку.

Стрекочут на ветках сороки,  
Торопят они,  
белобоки.

Несут меня ноги  
По белой дороге —  
Я тоже спешу на уроки!

## Сто потов

Тесно летом на дворе,  
И зимою тесно —  
Покататься детворе  
Не хватает места!

Нам поведал дед Егор  
Истину простую:  
— Оттого и тесен двор,  
Что пустырь пустует!

Тут Алёшка-богатырь  
Закричал: — Даёшь пустырь!  
Всем явиться чуть заря  
На расчистку пустыря!

Рано утром сто ребят  
Разобрали сто лопат —

Снег белее молока  
Полетел под облака!

К ночи срыли все бугры,  
Заровняли ямы.  
Пот катился с детворы  
Градом и ручьями!

Мы пролили сто потов —  
По ведру на брата,  
Но зато каток готов —  
Заливать не надо!

И сегодня на дворе  
Никому не тесно,  
И на бывшем пустыре  
Всем хватает места!

## Хотите — проверьте!

Хотите — поверьте,  
Хотите — проверьте,  
Но белки, однако, умеют летать.  
Обычные белки летать не умеют,  
Но белки-летяги умеют летать!

Хотите — поверьте,  
Хотите — проверьте,  
Но змеи, однако, умеют летать.  
Обычные змеи летать не умеют —  
Бумажные змеи умеют летать!

Хотите — поверьте,  
Хотите — проверьте,  
Но рыбы, однако, умеют летать.  
Обычные рыбы летать не умеют —  
Летучие рыбы умеют летать!

Хотите — поверьте,  
Хотите — проверьте:  
Я тоже, однако, умею летать.  
Летать наяву я пока не умею,  
Однако во сне я умею летать!

## Часы с кукушкой

Сколько времени сейчас,  
Если ровно через час  
На часах моих кукушка  
Прокукует восемь раз?

## На Кудыкиной горе

Дело было в декабре  
На Кудыкиной горе.

Я печурку затоплю,  
Ты пеки, а я посплю.

Из деревни в зимовьё,  
В свое зимнее жильё  
На Савраске Дед Мороз  
Бабу снежную привёз.

Через час проснулся дед...  
Ни тортов, ни бабы нет!  
Печка топится в углу,  
Сохнет лужа на полу.

— Будь хозяйкой! — молвил дед. —  
Скуден, баба, мой обед:  
Миска студня-холодца  
Да огрызок леденца...

Дед Мороз туда, сюда:  
— Где ты, баба? Вот беда!  
Ты куда ушла, куда?  
И откуда здесь вода?

Напеки ты мне тортов  
Всех названий и сортов!

Дело было в декабре  
На Кудыкиной горе...

## Неизвестное интервью Валентина Распутина

*В июле 2007 года писатель, продолжая путешествие вниз по Лене, побывал на её притоке Киренге и дал интервью, оставшееся неизвестным широкому кругу читателей...*

*Но прежде в составе группы из нескольких человек, включавшей издателя Геннадия Сапронова и служителей православных храмов, классик отечественной литературы посетил Усть-Кут, в который иркутяне прилетели самолётом. Гости осмотрели исторический музей и встретились с журналистами обеих местных газет, после чего отправились на машине в село Казачинское. Уже оттуда на большой моторной лодке они двинулись вниз по Лене, пока не достигли Киренги, в верховьях которой берут начало целебные Муннокские источники, ставшие конечной точкой маршрута. Там, на берегу северной красавицы, и состоялась встреча писателя с автором очерковой заметки, публикуемой ниже. Замечу, что собеседником писателя выступил не профессиональный журналист, но тем неприглаженной и, соответственно, правдивее детали, которые обнаружит читатель, главным образом, в ответах Валентина Распутина. Мне кажется, уже эта непосредственность в пересказе есть подлинное достоинство текста. В расширенном варианте он в своё время был напечатан в усть-кутском еженедельнике. Вниманию областных читателей предлагается впервые.*

Андрей АНТИПИН,  
член Союза писателей России

Я не могла и мечтать о такой встрече, соотнося масштаб его личности с нашей будничной суетной жизнью, но и на этот раз убедилась в истине, что все по-настоящему гениальные люди просты и доступны в общении...

Они поднялись вверх по Киренге на моторных лодках, а мы с Владимиром Фёдоровичем Огарковым, главой администрации посёлка Улькан, встречали их в дивно красивом местечке под названием «Талая». Это база отдыха посреди северной тайги.

...На базе писателя уже поджидают учителя и ученики ульканской школы.

— Ну, здравствуйте, местные жители! — говорит Валентин Григорьевич.

Вечером, несмотря на усталость от долгой дороги, он в течение почти трёх часов внимательно смотрит и слушает концерт, который специально для него приготовили дети. Не всё в их выступлении было удачным. Но едва со сцены раздаётся русская песня в исполнении ансамбля «Кудёрушки» ульканского ДК, Валентин Григорьевич заметно веселеет. А когда к пению ансамбля к тому же присоединяются мужчины из числа зрителей и начинают петь: «И жить будем, и гулять будем!», Распутин оборачивается к нам, сидящим у него за спиной, и говорит улыбаясь:

— Мы непобедимы!

Особенно порадовал всех солист-одиннадцатиклассник. В одной из исполненных им песен есть слова «Пой, золотая рожь, пой, кудрявый клён, пой о том, как я в Россию влюблён». Валентин Григорьевич чуть слышно подпевает, а после того как юноша заканчивает петь, подходит к нему и о чём-то недолго говорит...

Уже стемнело. Большой костёр освещает лицо писателя, которого окружили и дети, и взрослые. Прежде чем поставить автограф, он непременно разговаривает с каждым, задаёт вопросы, высказывает пожелания. Среди книг, которые подают для



подписи, есть «Сибирь, Сибирь...» 2000 года выпуска, а другие книги в основном советских и перестроечных изданий.

— Вы устали, Валентин Григорьевич? — не выдерживаю и спрашиваю я.

— Да не устал. Жить тяжело...

Я, словесник по основной профессии, говорю о том, как нужны его произведения. Он слушает внимательно, но молчит. Очень скромный человек. Когда в конце встречи с учениками стоящий рядом мужчина говорит ему: «Спасибо вам, великий русский писатель!», Валентин Григорьевич даже сердится: «Никакой я не великий! Я себе цену знаю!»

— Но честный писатель! — вступаю я за мужчину.

— Так тоже нельзя говорить, — не соглашается и с этим. — Вы, наверное, работали в 80-е годы? Но тогда много было честных писателей. Нельзя называть меня одного. А вот девяностые годы... Там, пожалуй...

Наутро мы идём с Валентином Григорьевичем по лесной дорожке от базы отдыха к берегу Киренги (иркутяне должны были отправиться дальше, вверх по реке). Пользуясь случаем, спрашиваю у писателя разрешение на интервью с ним для усть-кутской газеты. Он не сразу, но соглашается.

\* \* \*

— Валентин Григорьевич, ваша родная деревня — Аталанка? Так писали ваши ранние биографы. Но потом появилась Усть-Уда как место вашего рождения... Кто прав?

— Нет, я родился в Усть-Уде. Но это всё рядом. В Аталанку я переехал с родителями. Была хорошая большая деревня. Люди занимались сельским хозяйством, потом появился леспромхоз. Но теперь там мало народу — деревня гибнет. Я помогал, чем мог: построил там хорошую большую школу. Борис Александрович Говорин хорошо помог, практически взял на себя руководство строительством, лично следил за поставкой цемента, кирпича, других стройматериалов. Я ему за это очень благодарен. Хотя остановить гибель Аталанки, как и других деревень, невозможно: народ изнемог.

— В своё время в связи со строительством гидроэлектростанций вы писали о том, что нельзя так бездумно относиться к земле. Не помню дословно, но вы спрашивали, зачем нам столько электроэнергии? И сами же отвечали: «Чтобы знать её, дешёвую, в Китай, жертвуя прекрасными пашинями, хлебобобовыми полями, затопляя родные дома, сгоняя людей с обжитых мест...» Сегодня электроэнергия продаётся в Китай. Что вы об этом думаете?

— Это нам уже так аукнулось! Но самое страшное ещё впереди. Посмотрите: человек перестал работать на земле, утратил с нею связь, кровную связь. Человек из земли приходит и в землю же уходит! Мы же без земли — ничто. Страшная запущенность земель, сколько их выведено из оборота. Земля не работает, а раз не работает, то разрушается, как любой живой организм. Когда мы поймём, что нельзя бесконечно выкачивать из земли нефть и газ? Надо на земле работать!

— В 1980-е годы Виктор Петрович Астафьев заявил, что нет уже такой общности — русский народ. Меня тогда это неприятно задело и даже обидело. Но спустя годы убеждаюсь, что он был прав. А как считаете вы?

— Думаю, что народ опомнился. Даже молодёжь. Потому что многие поняли, что дальше — тот самый край, гибель, бездна...

— Что же, совсем нет надежды? Спасение в чём?

— В жизни — нет. Надежда на то, что Бог поможет. Начнётся возрождение души.

— Но ведь это непросто — прийти к Богу! Особенно нашему поколению, воспитанному атеистами...

— К Богу ведут две дороги. Первая — воспитание с детства. Вторая — это когда

человек осознаёт, что это ему необходимо, что только это ему и поможет, и спасёт его. Конечно, это трудно, и мне непросто прийти в храм, даже сейчас... Но придёшь, послушаешь службу, и легче становится на душе.

— *А как вы относитесь к тому, что в девяностые многие наши «правители» всех уровней выстроились перед образами со свечами в руках?*

— Это показуха.

— *Валентин Григорьевич, как человек умудрённый, многое переживший, можете сказать, где брать силы, что помогает душе жить?*

— Человек сам дал себе ответ на это. Если есть в тебе эта духовная сила, то она и помогает жить. Надо думать о душе и помнить о ней.

— *Скажите, что привело вас на Киренгу? Может, есть какие-нибудь творческие планы, цель какая-то?*

— Да никакой цели! Не был здесь ни разу. Жалею, что не приехал раньше: такие красивые места. И ещё потому поехал, что знаю: рядом в поездке — хорошие люди. Да и пока есть ещё возможность поехать...

— *Не утомительно? Всё-таки более ста километров в лодке.*

— Нет, хорошо. Красивые места, душа отдыхает. Тишина... Это же не пешком! Пешком, конечно, трудно.

— *Вновь возвращаясь к вашему творчеству... Ваша повесть «Пожар» опалила душу! Мне тогда показалось, что это предсказание, а не реальность. Я не права?*

— Нет. Всё это было уже тогда. Это же публицистика.

— *После прочтения повести «Дочь Ивана, мать Ивана» осталось тягостное чувство: совсем всё у нас безнадежно? Выход где?*

— Осталась только надежда на Бога. Я же ничего не придумал. Мне дали судебное дело. Это ведь происходило тогда не только в Иркутске, но и по всей стране. Народ был в растерянности. Об этом надо было писать, чтобы возникало сопротивление.

— *В дикие годы разрухи внутренняя сила героини рассказа «Изба» не только удивляла и восхищала, но и не давала опустить руки перед обстоятельствами: стыдно было опустить... У неё есть прототип?*

— Да, есть. Это та же тётка Улита — героиня одноимённого рассказа. И старуха — подруга Анны — из «Последнего срока». Была у нас в деревне такая. Спросишь её: «Куда бежишь, тётка Улита?» И она — на ходу: «Куда-никуда, а бежать надо». Очень шустрая, боевая, всегда в работе...

— *Часто перечитываю ваш очерк о Шукшине «Твой сын, Россия, горячий брат наш...» Вы были знакомы с Василием Макаровичем?*

— Нет... несколько мимолётных встреч было. После мне давали читать его записи: он хорошо отзывался о моих книгах. То есть мы были близки по духу! (Вижу, как это важно моему собеседнику. — *Прим. Т. Кузаковой*).

— *После смерти Шукшина, некоторое время спустя, журнал «Наши современники» написал о вашем приезде в Сростки, на гору Пикет, где проходили Шукшинские чтения: «Он спускался к людям откуда-то сверху, как патриарх русской литературы...»*

— Ну, это и вы могли написать!

— *А вы считаете себя патриархом?*

— Ну что вы? Какой я патриарх!

— *Валентин Григорьевич, у вас, видимо, хорошая память: вы из своего деревенского детства вынесли такой яркий язык, выразительную народную речь!*

— У меня плохая память! Это же в каждом из нас (прикладывает руку к груди. — *Прим. Т. Кузаковой*). Надо только дать этому вовремя открыться.

— *В «Уроках французского» есть фраза, которую нельзя не запомнить: «Откуда мне было знать, что никогда и никому ещё не прощилось, если в своём деле он вырывается вперёд? Не жди тогда пощады, не ищи заступничества, для других он*

*выскачка, и больше всего ненавидит его тот, кто идёт за ним следом». Вы и сейчас так считаете?*

— Конечно. Это же зависть. Она всегда была и есть. Вроде росли, учились в одной школе, а потом кто-то выбивается вперёд. И со мной такое было, тем более что в школе я ничем не отличался от других. А потом что-то получаться стало...

— *Есть ли у вас среди ваших произведений любимые?*

— Наверное, это те, которые получились. Считаю, что получились «Уроки французского», «Прощание с Матёрой».

— *А ваша пронзительная повесть «Живи и помни»?!*

— Она очень трудно писалась. Потому, наверное, не могу назвать её любимой. А вот «Матёра» писалась легко и быстро.

— *И, пожалуй, главный вопрос: есть ли надежда у ваших читателей, что вы вернётесь к художественной прозе?*

— Не знаю... Не могу давать обещаний. После последних событий вообще не знаю, смогу ли. Всё ещё так недавно было...

...У берега иркутян уже ждёт лодка. Собираюсь с духом и прошу Валентина Григорьевича написать несколько слов для нашей газеты. Слышу слегка укоряющий голос матушки из саянского храма: «Утомляете Валентина Григорьевича!» А он без раздражения берёт ручку и раскрытый заранее блокнот и пишет.

Я говорю ему, что благодарна судьбе за такую встречу... От волнения сбиваюсь на шаблонные слова, но по его глазам вижу, что прорвались точные: «Пусть Бог даст вам сил перетерпеть, пережить эту боль...» Пожал руку, поблагодарил.

Садится в лодку. Я фотографирую.

— Помашите мне рукой! Прошу! Как при расставании с близким и родным человеком.

Улыбается и машет.

*Татьяна КУЗАКОВА,  
учитель, г. Усть-Кут*

## Первая встреча. Последняя встреча



*В. Распутин, С. Куняев, Т. Миронова, Ст. Куняев*

Хорошо помню особый сердечный трепет при первой встрече с Валентином Григорьевичем Распутиным, и не отстранённой встрече, а соприкосновенной. Когда подошёл, внимательно посмотрел, что-то сказал. И как посмотрел — было важно, потому что устанавливалась внутренняя связь — взаимопонимания. А что сказал — не важно. Тогда — не важно было. Думаю, и слух мой был отверст только для обертонов его голоса, а не для смысла сказанных слов. Да и что мог Валентин

Григорьевич сказать при первой встрече мне, не знакомой, а только рядом стоящей с мужем — писателем Александром Семёновым, которого Валентин Григорьевич знал и ценил за творческий дар, мировоззренческое сходство.

Именно первая встреча в 1990-м году положила прочное начало нашим самым сердечным отношениям. Первый трепет перерос в радостное волнение каждой новой встречи. И однажды я сказала Валентину Григорьевичу, что в моей душе, в самом сокровенном уголке есть место, которое занимает только он. И как бы ни был велик наш русский язык, не всегда удается передать словами чувства — их палитра настолько сложна и многогранна, они находятся на таком тонком, порой интуитивном уровне, что нет слов. Он понял меня, внимательно посмотрел, поверил. Это было чувство родства, совпадения, которому я не удивилась, но которое как-то по-особому грело. И о величии его таланта думалось светло. Господь наградил его свойством прямого монолога, откровенного — от сердца к сердцу — с людьми. Ведь писатель всегда в монологе. Не зря на Руси великих писателей называют пророками. Они видят наперёд, больше того, что для остальных сокрыто за пеленой сегодняшнего дня. Но люди это чувствуют — его правду. Слушают и верят ему.

Не сразу, не по горячему впечатлению, а годы спустя сказалась «Первая встреча», посвящённая В.Г. Распутину:

*В раздумье голову склоня,  
Распутин смотрит на меня  
И держит паузу упорно.  
Вопрос, конечно, очень спорный —  
Мне тоже паузу держать  
Иль разговор самой начать?*

*Преодолеть смущенье сложно,  
А постараться — так возможно.  
Но на замке мои уста,  
И сковывает немота.*

*Что я могу сказать такого,  
Что стоит одного лишь слова  
Распутина? И я молчу.  
Так тихо-тихо. Только, чу!*

*Заговорил.  
О чём? — Бог весть,  
Но предо мною он как есть.  
Такой,  
как чувствует душа,  
Запомнить этот миг спеша.*

Валентин Григорьевич — мыслитель от земли Русской, отсюда великолепный дар публициста, отсюда же происходит его несловоохотливость. Мне кажется, что часто у устного рассказчика слова опережают мысль. Но есть чудесные образчики, когда талант писа-

теля сочетается с искромётным талантом рассказчика. И мне сразу вспомнился Владимир Николаевич Крупин, творчество которого задевает моё сердце и которого мне доводилось слушать при частых встречах на «Сиянии России» и при редких встречах в Москве. И греют моё сердце (но не тщеславие) его слова, что моя книжка стихов лежит на его столе и он к ней время от времени возвращается. Вспомнилось, как он рассказывал о первых своих поэтических опытах с улыбкой.

Казалось бы, таких разных, Распутина и Крупина, связывала многолетняя, более сорока лет, крепкая дружба. Сдержанная мужская теплота, как мне виделось, проявлялась скорее в движениях души, в жестах, чем в словах. Хотя, кто знает, о чём они говорили наедине друг с другом? До последнего дня Владимир Николаевич был рядом с Валентином Григорьевичем.

\* \* \*

Валентин Григорьевич от природы — это невозможно в себе воспитать — обладал редчайшей деликатностью. И она проявлялась в тех самых случаях, когда природа, я бы сказала, порода Распутина, безошибочно это подсказывала. При этом в нём, казалось бы, сочеталось несочетаемое — эта самая деликатность с твёрдостью взглядов, с решимостью в поступках, отстаиванием справедливости во всём — в отношениях к людям и к земле-матушке, в словах и в делах.

Чтобы понять, откуда идёт вся натура Распутина, достаточно прочитать его рассказ «Уроки французского». Рассказ автобиографический, при этом необыкновенно художественный, наполненный неповторимой интонацией автора. Конечно, все мы — из детства. Но кого-то жизнь ломает, кого-то ничему не учит, кто-то (и очень многие) уходят от своих природных и родовых корней. Распутин — сын своей земли, не просто любящий сын, а болеющий за неё, и не только болеющий, но и бьющий в набат, в вечевой колокол о её спасении. Боец на мировом поле брани. Потому что всем своим творчеством отстаивает общечеловеческие ценности. Вот почему его читают по всему миру. Специалисты берутся за перевод распутинского слога, непростого, наполненного метафорами и аллегориями, чтобы донести до читателей главное: мир будет жив, если будет жива совесть человеческая.

\* \* \*

Одним из порочных явлений современного мира Распутин считал лживость. Ведь что такое ложь? Это искажение действительности, когда белое называют чёрным и наоборот, да даже пусть не так резко, но и полутона — большая помеха понять реальность и действовать соответственно ей. Ложь — это сознательное блуждание в тумане, где творятся тёмные дела. И туман этот с каждым годом всё сильнее сгущается. Он это знал, говорил об этом. Только слышали ли, что мир катится в бездну? На наших глазах узаконивается блуд — телесный и словесный, он был во все времена, но всё-таки вне закона. А сегодня идёт информационная война на всех фронтах, пострашнее любой другой войны, потому что на корню губятся души тех, кто завтра должен держать мир в своих руках. Души молодые. Им внушается, что то, что казалось срамным и непристойным, на самом деле в порядке вещей. Но не все так доверчивы или слепы. И пока есть человеческое достоинство, которое впитывается с молоком матери и укрепляется мужеством отца, пока жива любовь к отечеству, к его младенцам и старикам, к памяти павших за отечество — мир не рухнет.

\* \* \*

Говорят, он был не улыбочив, несколько отстранён, даже неприступен. Классик. Я знала его другим: сдержанным и внимательным, улыбочивым и с чувством юмора. Знающим цену своему слову, умеющим держать паузу, так смущавшую многих, как и меня вначале. Потом я к этим длиннотам молчания привыкла, и они меня не смущали. Разговор возобновлялся так же естественно, как будто и не прерывался. Он ведь вообще по натуре своей

не был говорун и оратор. Он был мыслителем, великим писателем. Но никогда своё величие не ограждал неприступностью. Ему не нужно было это ограждение вроде холодной отстранённости от лихих набегов или расслабляющего славословия. Он сам в себе был крепость. И, прежде всего, крепость духа.

\* \* \*

Последняя встреча с Валентином Григорьевичем была в Иркутске в октябре прошлого года, мы вдвоём с Александром Семёновым пришли к нему домой по его приглашению. Он, как всегда, встретил нас тепло. Слегка похудевший, подтянутый, говорил, что физически чувствует себя нормально, силы есть, только память слабеет. У меня не ёкнуло сердце в предчувствии, что видимся в последний раз, а Саша почувствовал и позже об этом вспоминал. Когда уходили, Валентин Григорьевич сказал: не теряйтесь, будете в Москве, заходите. Мы попрощались. Назавтра он улетал в Москву. О смертельной болезни ещё не знал. За пять месяцев сгорел.

\* \* \*

Была ещё у нас последняя встреча, уже на отпевании в храме Христа Спасителя. Господь сподобил нас с Александром Семёновым в этот горький час оказаться в Москве проездом из Иерусалима. Зашли в редакцию журнала «Наш современник», редактор Станислав Куняев пригласил к себе в кабинет помянуть Валентина Григорьевича. На следующий день мы стояли с народом, который пришёл проститься с Валентиной Распутиным, сказать ему последнее «прости» и поклониться. Мы прощались навсегда.

Мы слушали слова Патриарха Кирилла об усопшем, и сердце волновалось, и проникалось величием происходящего. Позволю себе привести прощальное слово Патриарха: *«История нашей русской литературы явила множество замечательных имен. Писателей, которые отличаются от большинства людей, пишущих художественные тексты, мы называем известными, популярными, выдающимися или великими. Последнее определение даётся только тем писателям, которые оставляют особый след в истории литературы, в истории мысли и в духовной истории своего народа. Совершенно очевидно, что Валентин Григорьевич Распутин был одним из великих русских писателей XX века... Самым главным критерием в определении величия писателя является понимание того, что происходит в душе человека после прочтения художественного текста: он становится лучше или хуже, его душа поднимается к небу или расплывается над землёй, он возвышает свой дух или разрушает его, приближаясь к образу животного бытия... Валентин Григорьевич Распутин стал великим при жизни, потому что все его творчество пронизано этим стремлением помочь человеку обрести иное видение, поднять его над повседневностью».*

\* \* \*

На память от Валентина Григорьевича у меня осталась икона, которую он привёз из Иерусалима несколько лет назад и подарил мне по движению души. Просто посреди разговора у него дома в Иркутске он встал и начал искать икону, сетуя, что память слабеет: вот положил, приготовил и забыл, куда. Нашёл. Сказал, что вёз для меня эту икону со Святой земли — Иерусалимскую Пресвятую Богородицу. На последний поклон я пришла к нему в храм Христа Спасителя, вернувшись за день до его кончины из Иерусалима.

Татьяна МИРОНОВА



ВИКТОР БАЛЫКОВ



## Поры осенней неизбежность...

### ДЗОТ

Мы утром штурмовали ДЗОТ.  
Мы — это я и целый взвод.  
По снегу. Через целину.  
В который раз за всю войну.

И каждый добежать хотел.  
И каждый не бежал, летел.  
И каждый что-нибудь кричал.  
Кричали все, а я молчал.

Молчал и слушал пулемёт,  
А он — из амбразуры бьёт!

Он бьёт, как будто говорит:  
«Ты тоже должен быть убит.

Как те — в шинелях на снегу».  
А я, уже один, бегу.  
И пули мне свистят: «Сейчас».  
Но у меня другой приказ...

Я добежал. И взорван ДЗОТ.  
И стало всё наоборот —  
Мой взвод молчит, а я кричу.  
Я уцелел. И жить хочу.

---

БАЛЫКОВ Виктор Геннадьевич родился в 1956 г. на острове Сахалин. Окончил Новосибирский электротехнический институт по специальности «Инженер-механик». Служил в рядах Российской армии. Капитан в отставке. Публиковался в журнале «Сибирь», коллективных сборниках. Живёт в Ангарске.

\* \* \*

Облака пеленают  
Неба звёздную высь...  
Мне тебя не хватает,  
Если можешь, вернись.

Мне тебя не хватает.  
В этой пропасти дней

Снег лежит и не тает  
На ладони моей.

Снег лежит и не тает  
У меня на пути.  
Мне тебя не хватает,  
Чтобы дальше идти.

\* \* \*

Простукиваю стену кулаком,  
Прощупываю стык кирпичной кладки.  
Я не устал. Со мною всё в порядке.  
Я с правилами общими знаком.

Но кожа с кулака — за слоем слой.  
И как смириться с многолетней пылью,  
Когда мешают собственные крылья  
И чей-то тихий шёпот за стеной.

Однажды лёгким росчерком пера,  
Одной внезапно вырвавшейся фразой  
Захлопну дверь и выдохну: «Пора...»  
Как будто с корнем вырву, всё и сразу,

И растворюсь в безмолвной темноте.  
Тоску и боль в одной мешая чаше,  
Исчезну в многолюдной суете,  
Так всё же и не тронув сердце ваше.

\* \* \*

Я забуду, как пахнут цветы,  
Как речные шумят перекаты,  
И далёкого детства мечты  
Я наверно забуду когда-то.

Стану просто и правильно жить,  
Никогда ни о чём не жалея...  
Но тебя не смогу я забыть...  
Потому что прощать не умею.

\* \* \*

Сползёт рассвет в холодную траву,  
Переливаясь каплями росы.  
Я шёпот твой молчанием прерву,  
Добавив груз сомнений на весы.

И будет долго пауза звучать,  
Приподнимая своды тишины...  
И вспыхнет в небе яркая печать  
Немного опечаленной луны.

\* \* \*

Ложится на пол у окна  
Полоска света,  
Перечеркнув остатки сна  
В лучах рассвета.  
  
Я вновь рождаюсь в этот мир —  
И в этом дело.  
И стёрто прошлое до дыр  
И до предела.

И словно подан тайный знак  
Моим рождением —

Снимает видимого лак  
Воображенья.

Кругом галактики плетут  
Свои спирали,  
И маки красные цветут  
На перевале.

И мир врывается в мой дом,  
Как откровенье,  
Как старые друзья с вином  
На день рождения.



\* \* \*

Моим стихам моё мешает тело.  
Оно живёт ещё, а потому  
Я не могу поведать никому,  
Что плоть моя за рифмами летела.

И каждый раз гадая: чёт иль нечет,  
Я гнусь под тяжким грузом бытия.

И каждый раз бунтует плоть моя,  
И каждый раз стихам противоречит.

И я терплю. Но всё труднее ждать,  
Когда моя душа освободится...  
А по ночам мне чистый воздух снится  
И тело — обречённое летать.

\* \* \*

Люди верят в небеса,  
В гениальность колеса,  
В силу воли, в силу духа,  
В горизонт и паруса,

Верят в девичью красу  
И целебную росу...  
Я в тебя хочу поверить  
И цветы тебе несусь.

Ни икона, ни ларец,  
И не сразу под венец...  
Есть у наших встреч начало  
И неведомый конец.

То ли завтра поутру,  
То ли годы в пыль сотру,  
То ли веря — снова встречу,  
На руках твоих умру.

\* \* \*

Ты только на мгновенье оглянулась —  
И с таинством заглавного листа  
Внимание твоё меня коснулось  
Лишь уголками чувственного рта.

И всё. Как будто молния сверкнула,  
Скользнув холодным светом. Без тепла,  
Ты не зажгла и не перевернула,  
И даже за собой не позвала.

Но почему так хочется стремиться  
Куда-то ввысь, туда, за облака,  
Где что-то вдруг со мной должно случиться,  
Что не случилось, видимо, пока.

\* \* \*

В молоке разлитом  
Звёздочки видны.  
С краешком отбитым  
Блюдечко луны.

Робкий и покорный  
Мир в моём окне,  
Как котёнок чёрный,  
Ластится ко мне.

Гладит сон ресницы  
Нежною рукой.  
Как ночная птица,  
Кружится покой.

И забыв напасти  
Суетного дня,  
Засыпает счастье  
В доме у меня.

## Ранняя осень

Поры осенней неизбежность	И в перемене настроений,
Опять преследует меня,	И в постоянстве красоты.
Сменив восторженную нежность	
На грусть задумчивого дня.	Ещё нежны и безмятежны
	Прикосновенья тёплых струй,
Среди чарующих томлений	Но первый вестник вихрей снежных —
Я узнаю её черты	Её прохладный поцелуй.

## Вдохновение

Вдруг всколыхнётся, задрожит	Забыв, что в этом мире я,
Едва заметная тревога,	Мне шепчут мёртвые поэты.
И тонкой струйкой побежит	
Волненье вспыхнувшего слога.	Их голоса, сливаясь в стон,
	Звучат сильнее сердца стука
Как будто из небытия,	И падают со всех сторон,
Сломав печати и запреты,	Как пепел выжженного звука.

## Годы

Они крадутся, я их слышу,	Как неприступные торосы...
То осторожно, то спешат,	И начинаю замечать:
Усталые, в затылок дышат,	Всё меньше хочется вопросов,
Перед глазами мельтешат,	Всё чаще надо отвечать.

## Когда о чём-то надо говорить

О чём-то надо говорить, а я устал	Растрчивать свой внутренний покой
И не могу себя перебороть,	И ясно понимать, что не поймут.
И не могу приговорить уста	
Слова на звуки, как дрова, колоть.	И я, как в вате, в созерцании тону.
	Улыбкою стараюсь покорить,
О чём-то надо говорить, но, боже мой,	Словам предпочитая тишину...
Какой неблагоприятный это труд —	Когда о чём-то надо говорить.

## Истина

Кровь барабанит нам в виски,  
но без успеха.  
Дорога рвётся на куски  
за вехой веха.  
Мы загоняем жизнь, как дичь,  
не раз бывало.  
Нам, чтобы истину постичь,  
и жизни мало.

И мы проходим много раз  
одно и то же.  
Мы за пластом срываем пласт  
умом и кожей.  
В вине, в душе, в земной коре...  
За что нам это?  
А истина всегда в игре  
теней и света,  
Всегда чуть-чуть не до конца,  
всегда у края,  
Бросая вызов и лица  
не закрывая.

## Кафка

Вот и ещё один из многих,  
Спокойных, тихих и убогих,  
Ничем невосполнимых дней  
Из жизни вычеркнут моей.

И, перейдя в разряд вчерашних,  
Осталась на бескрайней пашне  
Моя, кривая как всегда,  
Очередная борозда.

Поля. От края и до края.  
Цветами радуги играя,  
Оттенки, тени — счёта нет.  
И белый цвет, и чёрный цвет.

Одни кичатся пышным садом  
И зрелостью плодов, а рядом —

Лишь увядание и тлен.  
И слабость гнувшихся колен.

Все вместе. Без границ и рамок.  
Над этим всем незримый замок  
Навис громадиной своей.  
Судья, защитник и злодей.

Поля. И в каждом сердце бьётся.  
Над ними рой пчелиный вьётся,  
И саранча, и вороньё...  
И где-то там одно — моё.

А я — лишь пахарь поневоле.  
И что взойдёт на этом поле —  
Увидеть мне не суждено...  
Но в землю брошено зерно.

# Метаморфозы света и тьмы\*

*Где путь к жилищу света, и где место тьмы?*

Иов 38:19

Многие пишущие о художественном мастерстве Валентина Распутина задаются вопросом: в чём секрет его удивительной прозы, покорившей читающую публику, заставившей говорить о нём как о писателе мирового уровня? Можно, конечно, ответить на этот вопрос одним словом — в таланте. И это будет, в общем, правильно. Но в таком случае неизбежно напрашивается следующий вопрос: в чём же заключается талант писателя?

Мне бы хотелось обратить внимание на одну, на мой взгляд, весьма существенную черту распутинской прозы. Я имею в виду её живописность, или, правильнее сказать, живописную светоносность.

Валентин Григорьевич Распутин безусловно относится к числу выдающихся мастеров прозы, прежде всего благодаря необыкновенному дару с помощью «словесной колористики» отобразить красоту внешнего и внутреннего бытия человека. Писатель исключительно тонко и точно пользуется всей палитрой имеющихся красок, всей цветовой гаммой. Его цветовой спектр разнообразен и богат. При этом цветовая радуга у Распутина приглушена, в ней нет показной броскости, яркости красок. Я бы даже сказал: цвет для художника слова Распутина хотя и весьма существенное, но не самое главное в его художественной колористике.

Не цвет, а свет и тьма приковывают внимание писателя, выступая предметом и средством художественного осмысления и изображения. Какую бы художественную работу Распутина мы ни взяли, везде обнаружим краткое или развёрнутое описание различных состояний и метаморфоз света. Свет присутствует всюду: он растворён в воздухе, проникает в материнское лоно земли. Загадочными бликами играет свет на поверхности ангарской воды, он же проникает в её толщу, делая прозрачными её мистические глубины. Тревожным светом освещает мрак ночи рыжий огонь пожара. Просветляются и хмурятся лица распутинских героев, притягательно светятся льняные волосы деревенских красавиц, белесым, преобразившимся светом отсвечивают седые волосы мудрых старух.

Напомню, что свет и тьма используются художником слова как, впрочем, и любым художником, многообразно.

Прежде всего, в прямом смысле, буквально, как определённое физическое явление, обладающее самостоятельной эстетической ценностью, изображение которого способно вызвать восхищение и даже экстаз у читателя от растворённой в нём красоты. Достаточно вспомнить чудное описание украинской ночи Пушкиным или гоголевскую «Ночь перед Рождеством».

Но чаще всего свет и тьма изображаются в художественной литературе метафорически, в качестве средства, призванного усилить или, наоборот, ослабить чувственное и логическое впечатление от изображаемых событий, психологического и духовного состояния действующих героев. При этом, как правило, светлое ассоциируется с радостными

---

\*Из книги А.Д. Сирина «Свет распутинской прозы». Иркутск: Издатель Сапронов, 2007. С.137–162.

событиями и переживаниями, а мрачное, тёмное связывается с недобрым исходом, с несчастливым концом, с горестными днями, чувствами и настроениями.

Есть и другой, тоже метафорический, вид обращённости к свету и тьме. Свет и тьма соответственно олицетворяют доброе и злое, ангельское и демоническое в человеке — два непримиримых, противоположных начала. Обычно между ними по воле автора разгораются всевозможные споры, происходят острые столкновения, идёт напряжённая борьба.

Близко к этому виду иносказание — уподобление света и тьмы соответственно знанию и незнанию (ученье — свет, а неученье — тьма), истинному и ложному. В этой связи опять-таки невольно вспоминается знаменитое пушкинское «Ты, солнце святое, гори!», где ложная мудрость сравнивается с едва светящейся лампадой, мерцающей в непробиваемой тьме, а истинная мудрость — с горящим светильником, всепроникающими его лучами.

Все названные приемы использования света и тьмы в художественной литературе сложились давно, имеют древнюю традицию, в них явственно обнаруживается влияние философских и религиозных воззрений. Истоки идут от религиозного их восприятия и понимания, согласно которым свет несёт в себе духовное начало, связан с божественными духовными излияниями (эманациями), а тьма означает отсутствие познания Бога, гибельную беспросветность. Божественный свет озаряет ум человека, открывает перед ним сокровенные тайны бытия, делает его бессмертным. С помощью света открываются неведомые миры, обнаруживаются вьяве глубочайшие тайны человеческого духа. Злой же дух погружён во тьму кромешную, во мрак бесконечный.

В произведениях Распутина подобное обращение к свету, цвету и тьме встречается постоянно. Попробуем проиллюстрировать сказанное на примере некоторых его повестей и рассказов.

Пожалуй, наиболее полно, чем в других работах, это выражено в повести «Последний срок». Изображение света и тьмы происходит как бы параллельно с повествованием о последних часах жизни старухи Анны. В одном случае речь идёт о вечном, бессмертном, в другом — о короткой, в общем-то, беспросветной или, правильнее сказать, с нечастными просветами, жизни деревенской старухи, подошедшей к самой черте, отделяющей её от смерти. Но эти две кажущиеся параллели жизни и света на самом деле таинственно и глубоко проникают друг в друга. Между ними просматривается своеобразная «предустановленная гармония».

Часы жизни старухи Анны показывают приблизившийся вплотную последний срок. Смерть рядышком, но и жизнь ещё окончательно не покинула старуху. Пусть слабо и не мощно, но держится где-то внутри. В её душе перемешаны любовь и надежда, печаль и осознание близкого расставания с жизнью.

Подобно этому перемешан и свет начинающегося дня. *«В свой черёд засветилось утро, стало проясняться, но ещё до солнца с реки нанесло такого густого и непроглядного тумана, что всё в нём утонуло, потерялось. Утробно кричали по деревне коровы, горланили петухи, коротко и приглушённо, будто рыба плещет в воде, доносились людские звуки — все в белой, морозящей зге, в которой только себя и видеть. Светало теперь и без того поздно, а тут ещё этот туман украл утро, заставил тыкаться наугад».*

Но стоящая чуть ли не обеими ногами в гробу Анна неожиданно начинает подавать признаки жизни. Высшая небесная сила отодвинула на некоторое время её смерть. Признаки возвращения старухи к жизни обнаружили не сразу. Лицо её казалось ещё мертвее, но *«сердце по-прежнему продолжало колотиться, не пуская ее оторваться от людей».* Подобно этому, долго, до одиннадцатого часа держался и туман, *«пока не нашлась какая-то сила, которая подняла его вверх. Сразу ударило солнце, ещё ядрёное, яркое с лета, и вся местность повеселела, радостно натянулась».*

Когда после завтрака сыновья Анны — Михаил и Илья — вышли покурить на крыльцо, появился явно обнадеживающий признак, что часы старухиной жизни продлены. *«День разгуливался, небо вместе с туманом отодвигалось всё выше и выше, в синих, обрывающихся в даль разводах для него уже не хватало человеческого взгляда, который*

*пугался этой красивой бездонности и искал что поближе, на чём можно остановиться и передохнуть. Лес, приласканный солнцем, засветился зеленью, раздвинулся шире — на три стороны от деревни, оставив четвёртую для реки». О том же свидетельствовал и установившийся предобеденный покой, который «смирлял и шумы и движения, ладил с ясным, светящимся теплом, падающим с открытого неба, тихо и невидно возносил деревню, отогревая её после ночи».*

Обретающий теплоту и всё большую ясность день не только высвечивал надежду на краткое Аннино возвращение, считай, с того света, но как бы сознательно сам содействовал этому. *«День всё же выдался с умыслом, не просто так, и умысел этот вполне мог касаться старухи — день был мягкий и лёгкий и ровно сошёл над самой деревней, а то и над самой старухиной избой. Время уже придвигалось к обеду, а он так и не расиумелся, тёк тихо и близко, оберегая кого-то от вредного беспокойства. Небо с утра приспустилось ниже и вроде бы задумалось, но и не сильно, в ожидании. В сентябре дни тоже стоят не молоденькие, много чего с весны повидали, а этот, похоже, и вовсе всё под собой знал и в чём-то, может, хотел помочь старухе, чтобы не находиться ей больше на суровом, судном месте — только и надо было: незаметно передвинуть её вперёд или назад, чуть подтолкнуть оттуда, где она застряла».*

Свет, как неведомое живое существо, осторожно, боясь уронить, вытягивает старуху на своих тонких золотистых нитях из мрака потерянного сознания, стремясь, пусть ненадолго, отвести её от роковой черты. *«Что-то стало биться в старухины глаза, шевелить их, и глаза не сразу, не легко, но открылись, попробовали пойматься за свет и не смогли, сорвались. Несколько минут они лежали спокойно, затем опять пришли в движение и разомкнулись, на этот раз силы в них было больше, и они в своём ненадёжном свете что-то увидели, что-то такое, что тоже было ненадёжным и туманным, как видение...»*

Последний, предсмертный день Анны выдался таким же, как и тот, который помог ей выкарабкаться из смертельных потёмок: ясным, солнечным, тёплым. Но перед вечером, как заходить солнцу, небо подёрнулось дымчатой плёнкой, на ясном светло-синем горизонте появилась, будто невзначай, маленькая тучка как символ, знак предстоящей печали. Весь же остальной небесный простор *«оставался чистым, глубоким и выражал бесконечный покой, под которым, заливаемая солнцем, легко и послушно лежала земля».* Смерть пришла к старухе, как они и договаривались с ней днём раньше, в ночное время. Что это была за ночь, писатель не рассказывает. Можно только догадываться, что она была похожа на предыдущую, изображённую им раньше. Холодное сияние той ночи завораживало и умиротворяло, вызывало желание «забыться и заснуть». *«Ночь настала, сделалась твёрже, её ясное, холодное сияние, проникая сквозь окна, ворожило на стенах. Старуха не забыла, как звенит и играет в эту пору небо, с какой призывной страстью и обещанием горят звёзды и близко, царственно ходит молодой месяц. А на земле тихо, мёртво, недвижно — всё убрано сном, всё в его глубоко, колдовском оцепенении».*

Обратимся теперь к рассказу «В ту же землю». Он начинается с описания глубокого мрака беспросветной осенней ночи в многотысячном городе энергетиков, дающем свет чуть ли не половине Восточной Сибири. И сразу становится ясным, что ничего радостного в жизни его героев не предвидится. К тому же и сам автор предупреждает читателя об этом: *«В городе ночным светом никого не удивить. Но на этот раз весь огромный дом был тёмн, весь он утонул во мраке ночи, смешанном с мраком тумана».*

Мрак ночи и тумана, слившись в одну беспросветную тьму, символизируют две безвыходных печали. Не зря же говорят: одна беда — не беда. К безутешному горю — смерти матери — присоединяется другая неизбывная печаль: как похоронить мать, не прописанную в городе, не имея за душой ни копейки. Трагический финал простых русских людей, всю жизнь вкалывавших ради светлого будущего и оказывающихся под конец жизни у разбитого корыта!

Дочь Пашута — сама уже пожилая, неработающая женщина — принимает необычное решение: похоронить мать тайком в пригородном лесу, не исполняя не только положенных в этих случаях загсовских формальностей, но и требуемых обрядовых правил.

Обрядив мертвое тело матери, Пашута едет в другой конец города к некогда близкому ей не только по работе человеку — Стасу Николаевичу. Едет она в ещё не растворившейся темноте наугад, не уверенная, застанет ли Стаса дома и согласится ли он с её решением столь странным образом похоронить мать. *«В половине восьмого, на рассвете, когда чуть посинел туман, подошла она к дому Стаса с двумя окошками в переулок. За окнами стояла темнота. Досыпает Стас или нет дома?»* Однако этот вопрос фактически был уже излишним. На него ответил «посиневший туман», укрепивший в беспросветной тьме надежду на благополучный исход дела.

Но синий туман появился и исчез. Тяжёлый мрак окутал происходящие в рассказе события, навис над его героями вплоть до окончания похорон. Даже день не в состоянии был развеять потёмки, уплотнённые мелким дождём. *«А ведь моросило. Не дождём ещё, а мелким вязким бусом, налипающим на одежду. Всё кругом было затянуто угрюмой тяжёлой завесью. Время обеденное, а дня уже нет».*

Глубоки и необычны наблюдения Распутина над метаморфозами света и тьмы. Водянистый дневной полумрак сменяется сквозящей темнотой ночи, дающей возможность определиться с местом похорон и копанием могилы, не привлекая внимания со стороны. Ночное время втайне совершающейся работы по предстоящему погребению не только усиливает мрак, но и порождает подтай, дающий возможность завершить дело в урочные часы. *«Стемнело до чуть сквозящей темноты и остановилось. Небо по-прежнему было глухо затянуто, по-прежнему моросило, уж не бусом, а мелким тихим дождиком, но различимый отсвет чего-то огромного, излучающегося сквозь любую преграду стоял над землёй подобно свечению единой всечеловеческой жизни. Непогода пригасила электрическое зарево города, придавила многие и многие тысячи огней, взмелькивающих как-то сиротливо и обречённо, а этот неизвестный и глубокий подтай ночи загасить была не в состоянии».*

Когда везли гроб с телом Аксины к вырытой могиле, опять сгустилась темнота, скрывшая след. Пришлось, несмотря на дурную примету, возвращаться назад *«в нечистой мешанине тьмы и света, угарных городских выбросов и морока».* Однако к моменту самих похорон стало светлеть, над городом обозначилось небо, хотя перед этим рассвело мутно, день опять обещал быть слепым. Пошёл снег. Небесный свет его проникал глубоко. *«До чего кстати этот снег, — замечает автор, — словно всем им даровалось прощенье за незаконные действия. Словно высшая сила снискала над человеческой слабостью и своевољством. Ветер затих, прохаживаясь остывающими порывами, небо белело, и лиственницы-близнецы, возвышающиеся над соснами, стояли в нём красиво и грозно».*

Заканчивается этот удивительный рассказ на светлой мажорной ноте. На обратном пути Пашута вошла в храм и впервые *«подняла руку для креста».* Горели на медной подставке свечи, *«в высокое окно косым снопом било солнце, чисто разносилось восторженное ангельское пение».*

Не менее, если не более сильное впечатление на читателя производит описание света и тьмы и происходящих на этом фоне драматических событий в повести «Живи и помни».

Нежданная и негаданная встреча со сбежавшим с фронта мужем предваряется посещением Настёной ранним утром промёрзшей бани, где и произошла на другой день встреча с Андреем, положившая начало последующим трагическим событиям. Уже по особенностям предрассветной освещённости бани можно заключить, что в этом месте готовится что-то неладное: *«В бане было темно, маленькое окошечко, выходящее на Ангару, на запад, только-только стало заниматься блеклым, полумёртвым светом».* Символична и полная темнота, в которой происходит внезапное появление перед задремавшей в остывающей бане Настёной большой чёрной фигуры Андрея. Вот как описывает эту неожиданную встречу автор: *«На Ангаре изредка с тугим бегущим звоном покальвало лёд, да вздыхала, остывая, баня. Настёна сидела в полной темноте, едва различая окошко, и чувствовала себя в оцепенении маленькой несчастной зверюшкой. <...>*

*Дверь вдруг открылась, и что-то, задев её, шебуриша, полезло в баню. Настёна вскочила.*

*Господи! Кто это, кто? — крикнула она, обмирая от страха.*

*Большая чёрная фигура на мгновение застыла у двери, потом кинулась к Настёне».*

Конечно, и чёрная фигура, обезличенная кромешной темнотой, и остывающие вздохи бани вкупе с шумным, натяжным дыханием неожиданно, будто с того света, появившегося Андрея, не сулили от этой встречи ничего хорошего.

Но и посреди безысходной, скрытной от людей, без каких-либо надежд на лучшее, состоящей из недолгих и нечастых совместных встреч жизни, появляются иногда и свои радости. Они, как правило, сопровождаются, правда, ненадолго, световым преобразованием природных явлений: яркостью солнца, светящимся снегом, выкрашенным в светлые тона лесом, сверкающей водной поверхностью реки.

Перед одной из знаменательных встреч, положившей начало зарождению в Настёне новой жизни, хмурые, морозные дни сменились ярким, прозрачным и тёплым предвесенним днём: *«...Выехали уже поздно, когда поднялось оплывшее прозрачное солнце. Мороз после крещенской завети давно отпустил, утро было прохладное, но ясное и податливое к теплу, чувствовалось, что днём отмякнет ещё больше... От полей, покрытых снегами, поднималась парная синь, в воздухе перед окоёмом мерещились стоячие белёсые полосы».*

А вот как повела себя природная стихия перед встречей Настёны с Андреем, когда Настёна собралась объявить своему мужу о том, что забеременела, «понесла». Она, эта разыгравшаяся ангарская непогода, зная или, может быть, только догадываясь о трагическом исходе зародившейся в Настёне жизни, предупреждала её об этом.

*«На Ангаре задувало во всю моченку, мокрый липкий снег несло по воздуху мутным прогонистым течением и несло тоже вниз — верховиком... Ветер бил ровно и сильно, без порывов, одной бешеной струёй. Гудело как в трубе — мощными и длинным гудом, но и сквозь него отчётливо слышалось вторым голосом шипение несущегося снега. Уже в трёх шагах ничего нельзя было рассмотреть, хотя вокруг казалось светло, но светло каким-то белёсым, как в тумане, непроглядным, рвущимся в движении, мелькающим светом. Голые торчащие льдины звенели, снег, налетая на них, брызгами разбивался на стороны, там его подхватывало и несло дальше».*

Обратимся теперь к эпизоду из этой повести, в котором с необыкновенной художественной силой изображается неудавшаяся попытка Настёны в последний раз повидаться с мужем в его логове на Ангаре.

Стремительно, посреди бурлящей ангарской воды, набравшей на стреме своего течения наивысшую скорость, приближаются последние роковые минуты разыгравшейся трагедии. Их невозможно остановить, подобно тому, как невозможно замедлить невидимый посреди беспросветной тьмы бег Ангары. Судьба. Неотвратимость финала несостоявшейся жизни. Беспросветная ночь. В такую жуткую темень в глухом сибирском углу не всякий даже самый опытный мужик решится плыть на утлой лодчонке посреди стремительно несущейся, бурлящей ангарской воды. Сильна и безоглядна любовь русской коренной сибирячки! Вряд ли можно было ожидать, что в такую темень, когда *«душа боязливо замирает в уголке, прячась от неясных подзвонков»*, могло состояться последнее свидание, да и вообще что-либо путное.

*«Темно; до чего темно, беспросветно кругом! — восклицает автор. — И давит, давит тяжестью с неба, и нет берегов — только вода, которая в любой момент может, не останавливаясь, разомкнуться и снова сомкнуться. И не понять, светит ли ещё, не умерк ли робкий огонёк бакена — то сверкнёт, то потеряется <...> и чудится, что вот-вот мелькнёт в глубине голос, скажет что-то зловеце-верное, с чем не захочется дальше и плыть».*

Посреди кромешной тьмы, да ещё находясь на стреме быстротекучей Ангары, Настёна с жадностью вслушивалась в доносившиеся до неё звуки. Её не страшила ни жуткая ночь, ни вполне реальная опасность оказаться навсегда погребённой в воде. По речным шумам она определила, что её кто-то выслеживает на реке. В ночном беспросветье она услышала ширканье сталкиваемой с галечника лодки, бульканье потревоженной воды и поняла, что следом за ней движется другая лодка, хозяин которой решил разузнать, к кому



и на какое свидание собралась Настёна в такую глухую ночь. Могла не только сорваться эта заранее намеченная, важная встреча с мужем, но и неожиданно и позорно закончиться затянувшаяся постыдная драма. Помочь состояться последнему предсмертному свиданию с Андреем сейчас могли лишь звуки. Надо было не только чутко улавливать малейшие шорохи, каждый посторонний звук, но и не «завучиться» самой, затаиться во мраке ночи, не выдать себя неосторожным шумом.

*«Настёна мягко, без всплесков, опускала лопашины и осторожно протягивала их в воде, подавая лодку вперёд. Она двигалась, казалось ей, бесшумно, чутко внимая каждому звуку — речному, чуждому ли, потустороннему, — ко всему насторожённая, ко всему готовая».*

Изображенные художником последние минуты приготовления Настёны к погружению в Ангару на вечный покой и полное освобождение от невыносимых мук и позора вместе с новой зародившейся жизнью в её утробе потрясают. Минуты эти протекают посреди почти полной беспросветности. Жуткая темь кругом, движение ночи в виде широкой тени поперёк Ангары, пугающая чернота её бегущих вод. Напрягаясь зрением и стараясь отыскать в их непроницаемой толще хоть какой-нибудь обнадёживающий просвет, она вдруг увидела у самого дна ярко вспыхнувшую спичку. Загадочный огонёк спички, осветившей в кромешной темноте глубокое дно Ангары, глубоко символичен. Он манит к себе, подаёт знак, оповещающий, что там, куда теперь она решилась уйти навсегда, есть тихое и светлое пристанище измученной душе.

*«Она встала в рост и посмотрела в сторону Андреевского. Но оно, Андреевское, задано было темью...*

*<...>*

*Поперек Ангары проплыла широкая тень: двигалась ночь. В уши набирался плеск — чистый, ласковый и подталкивающий, в нём звенели десятки, сотни, тысячи колокольчиков... И сзывали те колокольчики кого-то на праздник. Казалось Настёне, что её морит сон. Опершись коленями в борт, она наклоняла его все ниже и ниже, пристально, всем зрением, которое было ей отпущено на многие годы вперёд, взглядывая вглубь, и увидела: у самого дна вспыхнула спичка.*

*— Настёна, не смей! Настё-ё-о-на! — услышала ещё она отчаянный крик Максима Вологжина, последнее, что довелось ей услышать, и осторожно перевалилась в воду.*

*Плеснула Ангара, закачался шитик, в слабом ночном свете потянулись на стороны круги. Но рванулась Ангара сильнее и смяла, закрыла их — и не осталось на том месте даже выбоинки, о которую бы спотыкалось течение».*

Велика сила художественного воздействия распутинской прозы! Долго ещё и после прочтения этого отрывка из замечательной, одной из лучших повестей писателя, слышится отчаянный крик Максима Вологжина: *«Настёна, не смей! Настё-ё-о-на!»*, обнажая наши сердца и въяве показывая весь трагизм случившегося.

Не менее талантливо пользуется автор описанием света и тьмы для характеристики происходящих событий, психологического состояния героев и их поступков в повести «Прощание с Матёрой». Общий фон повести затемнённый, с частыми обращениями к изображению сумерек, густого ангарского тумана, тусклого сияния звёзд и луны на ночном небе уходящей под воду деревни. Дымы от горящих изб, деревенских построек, деревянных крестов, травы и деревьев плотно окутали Матёру. Под самый отъезд последних и наиболее стойких её старожиллов природа надолго напускает такого непроглядного тумана, какого здесь не видели никогда.

Устроенные по приказу властей поджоги домов лишь усиливают гнетущую беспросветность. Люди собираются вокруг своих горящих изб не для спасения их от пожара, как это делается в таких случаях, а чтобы в молчаливой беспомощности смотреть, как догорает вместе с отеческим домом их прежняя жизнь на острове. Свет от огня безумных пожарниц не в состоянии разогнать тьму: высвечивая в ночной темноте лица собравшихся вокруг людей, он искажает их, делает немыми, разъединяет, наводит тени, делает невидимым небесный свод. *«Тут была вся оставшаяся деревня, даже ребятишки. Но и они не го-*

монили, как обычно; стояли заворожённые и подавленные страшной силой огня. Старухи с суровыми и скорбными лицами держались не вместе, а кто где — с какой стороны подбежала каждая и упёрлась перед жаром. Как никогда неподвижные лица их при свете огня казались слепленными, восковыми, длинные уродливые тени подпрыгивали и извивались».

Совсем иначе ведут себя перед горящими деревенскими постройками приезжие люди, выполняющие обязанности профессиональных поджигателей. *«На подъезде возле горячей мельницы толпились одни приезжие... Эти как с ума посходили, они прыгали, кричали, бросались под жар — кто дальше забегит, дольше продержится, погеройствует, и, не выдерживая, падая на опалённую бурую землю, с гиком откатывались назад. Взвизгивали бабешки, их было здесь две, когда их, пугая, подталкивали к огню, замахивались на мужиков кулаками, стучали по спинам и были довольны, веселы, счастливы. Какой-то парень, совсем ещё молоденький, глупый, залез на берёзу и болтал ногами, ошалев от огня, выкрикивал оттуда частушки».*

До чего же похоже кощунственное веселье этих пришлых людей на сегодняшний «смех без причины» наших любителей пошлых кривляний, хохмачей и скоморохов, денно и ночью прыгающих в светящихся коробках телевизоров!

В рассматриваемой повести есть замечательные образцы описания ночного и лунного света как символов душевного мрака и безысходности. Уже само по себе изображение этого вторичного, отражённого света великолепно. Оно возбуждает в нас поток всевозможных ассоциаций. У читателя, даже если он ничего не знает о том, что ждёт его на следующей странице повести, с какими ситуациями ему предстоит встретиться впереди, от одних мастерски сделанных зарисовок отражённого, вторичного света возникает тревожное чувство ожидания чего-то неладного, какой-то беды. Гаснет вечерний свет, наступает темнота. Но вслед за ней зажигаются таинственные огни света ночи: *«Вечерний свет погас, и теперь после недолгой темноты всходил ночной: ярче обозначились окна, мёртвым сиянием дробился мутный воздух, выплывали, покачиваясь, из невиди предметы, ложились слабые, дроглые тени... Стало ещё светлей и беспокойней — вышла в окно луна... Пол-ограды было залито ярким и полным лунным светом, деревянные мостки у крыльца купались в нём, как в воде; пол-ограды лежало в тяжёлой, сплошной тени от амбаров. «Как варёный», вздрогнув, подумала Дарья о лунном свете и отвернулась от окна».*

Да и дневной свет, к изображению которого автор «Прощания...» прибегает неоднократно по ходу повествования, как правило, приглушён, неяркий, неэнергичен: *«Утро было позднее и тихое, солнце, вставшее уже высоко, светило ясно и ярко, но без мощи, без напора, со сдержанной силой, и это чувствовалось даже в избе; свет за окнами казался вялым, а разные шумы вокруг словно бы не собирались сюда в одно место для слуха, а оттекали в стороны. ...И не понять, в солнце остров или уже нет солнца; есть оно в небе, есть какое-то сияние в воздухе и на земле, но слабое, едва подкрашенное, не дающее тени».* Лишь однажды во время последнего на острове сенокоса тепло и радостно засияло солнышко. Ещё с вечера оно, усталое и бледное, с великим трудом продравшееся сквозь тучи, неожиданно, как раз в момент мрачных мыслей старухи Дарьи о смерти, засияло радостно, пообещав хороший денёк. Ведь это будет последний в длинной трёхвековой череде день покоса на острове!

*«На другой день оно вышло с восходом; в небе ещё держались тучи, подсохшие и сморённые, словно надоевшие сами себе, но восточная, утренняя сторона, была чистой, и солнце выкатилось без помех. И пока оно поднималось, тучи, уменьшаясь и сквозя, всё отступали от него и отступали — и наконец, как льдины, растяжи совсем. К обеду небо полностью освободилось, засияло и в радостном нетерпении как бы заходило, закружилась над землей, снизывая, волна за волной, щедрую чистую краску».*

Ещё один благодатный день, случившийся в то лето на острове, наступил в самом конце последнего срока пребывания жителей материнской деревни. Но запомнился он не солнечной погодой, а тихим прощальным очищающим дождём. Это был дождь, не похожий на те дожди, которые изображены писателем в рассказе «В ту же землю». Сравнивая их, невольно приходится снова и снова удивляться глубине и точности наблюдения худож-

ника за метаморфозами природных явлений и умению столь же глубоко и точно отобразить их в нужном месте. Дожди в упомянутом рассказе делают невидимыми окружающие предметы даже в дневное время, плотная дождевая завеса, подобно мраку ночи, скрывает их от глаз. Последний, прощальный матёринский дождь, начавшийся сразу после отъезда пришлых людей с острова, словно по велению свыше, не только не затемняет предметности окружающего пространства, но и делает её более зримой. Это был необыкновенно тихий, светлый и «услужливый» дождь. Он шёл, чтобы «...унять пыль, помягчить усталую затвердевшую землю, промыть леса... подогнать на свет Божий рыжики... пригасить чадящие дымы и горькие, разорные запахи пожарниц. И падал этот дождь светло и тихо, не забывая воздуха и не закрывая далей, не давая лишней воды, — сквозь неплотные, подтаивающие тучи вторым, прореженным светом удавалось сочиться солнцу».

И под самый занавес окончательного прощания с Матёрой свет вообще как бы исчез. У людей, собравшихся на последнюю ночёвку в оставшийся от пожогщиков «куратник», не нашлось ни лампы, ни свечки. Ночная тьма прореживается лишь слабым «издонным» холодным светом, шедшим неведь откуда. Он «кружил по курятнику, смутной рябью падал на стены и лица, тенётил дверь напротив окошка. И заворожённые этим светом, в молчании и потерянности, старухи забылись».

Валентин Распутин — непревзойдённый мастер художественного отображения не только света, но и звука, в чём отчасти можно было убедиться из приведённых выше примеров. То, что было сказано о различных вариациях использования художником цветовой палитры, в равной мере относится и к звуковой гамме, звуку в целом.

Особенно сильное впечатление оставляет художественное изображение писателем совместного воздействия световых, звуковых и других явлений окружающего мира. Часто в работах Распутина свет и тьма присутствует вкупе со звуками, запахами, вкусом, осязанием. При этом тьма как предвестник чего-то недоброго усиливается устрашающими звуками, дурными запахами или неприятными вкусовыми ощущениями. И, наоборот, светоносное дополняется звуковой гармонией или заворачивающими запахами трав.

Звук как особое явление материального мира, помимо физических свойств, исследуемых наукой, наделён также и только ему присущей эстетической ценностью. Звуки идут к нам и из далёкого космоса, и от предметов неорганической природы, и от живых существ. Если бы кто и задался целью составить хотя бы приблизительный перечень существующих звуков, то вряд ли бы ему это удалось. Что же касается эстетической природы звуков, то она тоже многообразна. Во всяком случае, есть красивые и безобразные, грубые и нежные, радостные и печальные и т. д. Такие классификации звуков возможны, и они, наверное, существуют. Неповторимо красивы звуки человеческого голоса, наполненные смыслом и значением. Чарующие звуки музыкальных инструментов приводят нас в восторг. Стихи и песни, исполняемые великими мастерами сцены, пленяют, радуют, заставляют плакать. Особенно сильное впечатление производят музыка и пение, в которых выражаются самые потаённые чувства и тончайшие нюансы душевных состояний. Известны случаи, когда даже неисправимые преступники под влиянием церковного пения исправлялись и становились на путь добра. Но дурная музыка, то есть особым образом подобранные звуки могут изуродовать человека, сделать его инвалидом, преступником, ожесточить, направить жизнь в трагическое русло безнадёжности. Музыка и звучащее слово могут вылечить человека, но могут его и погубить. Особенно опасным стало звуковое воздействие в наши дни. Тиражированные радио и телевидением душераздирающие крики, всевозможные орущие и барабаниющие ансамбли, рок и поп музыка, дополненные грохотом самолётов, автомобилей и других технических средств, уродуют человека, делают его глухим к добре и красоте.

Писатель, разумеется, должен увидеть и оценить красоту или безобразие тех или иных звуков, принять в расчёт их значение для общей конструкции художественного произведения. Я уже упомянул выше, что использование художником слова звука аналогично использованию им света и цвета. Звук, вернее, его эстетическая составляющая, может изображаться им безотносительно к общей фабуле произведения, описанию событий, по-

ступков действующих лиц. Другими словами, звук в данном случае выступает в качестве относительно самостоятельной эстетической единицы художественного отражения в прямом и непосредственном его значении. Но чаще всего звуки и общий звуковой фон служат средством, усиливающим или, наоборот, ослабляющим общее впечатление от изображения тех или иных событий или явлений. Однако в отличие, скажем, от композитора и музыканта, живописца, имитирующих звуки, цвет, краски, что называется, в натуре, живьём, писатель не создаёт и не воспроизводит сами звуки. Его задача, а лучше сказать, одна из задач — в своём литературно-художественном творчестве отобразить с помощью слова звуковую природу изображаемых явлений.

Художественно отобразить звуки, на мой взгляд, значительно труднее, чем свет и цвет. Зрительные представления намного богаче и разнообразнее, чем слуховые. Они легче запоминаются и дольше сохраняются в нашей памяти. Свет высвечивает скрытые в потёмках предметы и лица, освещает прежде невидимое, а то и невиданное. Благодаря свету невиданное подлежит узнаванию, а невидимое становится увиденным и узнаваемым. Свет не утаивает и ни от кого ничего не скрывает. Что касается звуков, то хотя они одинаково слышны и при свете, и в темноте, они всегда содержат в себе значительную долю неопределённости. Звуки идут изнутри вещей, невидимы и требуют порой больших усилий для их познания. Вот почему отобразить на письме, с помощью художественного слова звуки, особенно идущие из глубин и высот окружающего природного и духовного мира, определить по ним сам звучащий предмет, показать, чем и как он живёт, на что жалуется и чему радуется, дано не каждому.

В связи с этим не могу сдержаться, чтобы ещё раз не обратиться к уже цитированному ранее небольшому отрывку из повести «Прощание с Матёрой», в котором рассказывается о ночном обходе острова его Хозяином. В этом необыкновенно сильном в художественном и познавательном отношении отрывке содержится столько глубоких наблюдений окружающих нас звуков, что приходишь в недоумение, как их возможно было разместить на одной страничке текста!

Умение ёмко и точно выразить, художественно изобразить такое разнообразие звуков, показать их значение и место в общей канве происходящих на острове событий — задача необыкновенно трудная. Не всякий даже самый талантливый писатель может справиться с ней. Ещё сложнее определить, откуда идёт каждый звук, кому принадлежит и что означает. Распутин умеет, однако, не только слышать, различать и толковать смысл каждого отдельного звука, но и найти в разнообразии, уникальности и неповторимости каждого отдельного звука, в звуковой разноголосице общую их тональность, единый мотив и композицию. Выдающийся художник слова тем и отличается от простых смертных, в том числе и обычных собратьев по перу, что способен расшифровать код происходящих событий по чисто внешним и даже случайным явлениям, вроде бы и не связанным между собой.

Мы слышим, как в сонной и живой, *«текущей, как река, тишине»* синхронно складываются в единый мотив разнообразные звуки. Сначала слышится среди тёплой и тихой, проглядной и сквозной под огромным надречным небом ночи верхнее, более податливое слуху, звучание, идущее от Ангары: журчание воды, *«глухой и неверный, как от ветра в деревьях»*, шум переката на другом берегу, редкие, мгновенные всплески запоздало играющей рыбы. Услышав и распознав речные звуки, идущие от самого острова: тяжкого, натужного скрипа старой лиственницы, топтания и жвачки пасущихся коров, шевеления кур, собак, скотины. Освоившись и с этими звуками, он начинает выделять то, что происходит в земле и возле земли: шорох мыши, выбирающейся на охоту, притаённую возню пичуги, сидящей в гнезде на яйцах, слабые замирающие ихи качнувшейся ветки, показавшейся ночной птице неудобной, дыхание растущей травы.

В этом необычном оркестре звучащих предметов явственно пробиваются отдельные, вроде бы случайные, но на самом деле полные значения звуки, дополняя и обогащая общий музыкальный мотив ночного острова. Откуда-то пробивается, вливаясь в общее звучание, слабый и тяжёлый дых ветра, охнувший и осевший, как волна, втянувшийся в песок. Тревожнее и длиннее скрипит старая лиственница. Ни с чего, будто спросонья,

мыкнула, будто мякнула, корова. В береговых зарослях смородины освободился от гнёта соседнего дерева смородиновый куст и, покачиваясь, встал в рост. Вот хлипнула вода то ли от содрогания умирающей рыбы, то ли от лопнувшего долго державшегося на воде пузырька, и, наконец, послышалось падение на землю последнего прошлогоднего листа, сорвавшегося с берёзы на поскотине.

Можно сказать, что человек погружён в бесконечный мир бесчисленных звуков. Каждый звук, воспринимаемый нами с помощью слуха, своеобразен и неповторим. По звукам, исходящим от текущей ангарской воды, от всякой предметности и живности, пребывавшей на острове, его хранитель — мифический Хозяин, безошибочно определяет: дни жизни острова, а следовательно, и всего, что пребывает и остаётся на нём, сочтены. *«Чему быть, к тому земля и молчаливые становища на ней начинают готовиться загодя, — замечает писатель и продолжает:*

*Хозяин присел и прислонился с улицы к старому и крепкому дереву избы. По бревнам, спускаясь вниз, потекли тукающие токи. «Ток-ток-ток», стонала изба, — ток...ток... ток...». Он прислушался и, послушав, крепче прижался, успокаиваясь, к тёплому дереву». По этому звучащему токанию островной хозяин заключил, что именно этой избе выпала судьба первой быть спалённой не по своей воле людьми.*

Такие писатели-художники, как Распутин, своим творчеством невольно заставляют задуматься, во всяком случае тех, кто способен на это, что предупреждающие нас звуки о великих скорбях предстоящих перемен (впрочем, как и вообще о всякого рода «пере» — переездах, переселениях, переделках и перестройках) могут исходить не только от разумного человека (*Homo sapiens*), но и от предметов неживой природы, и от живых существ, находящихся рядом с нами.

Если бы мы хоть в малой степени научились прислушиваться к голосам и звукам, идущим от родной земли, многие беды, подобные той, что случилась с Матёрой, не произошли бы. Увы, мы не хотим этому учиться. Мы не желаем прислушиваться не только к тревожным звукам окружающих нас предметов, но и к понятным без расшифровки голосам близких и дальних людей, стремящихся отвлечь нас от неразумных поступков. Больше того, люди скорее прислушиваются к тем, кто зовёт их своими фальшивыми гладкими речами к явной гибели, кто бессовестно и нагло озвучивает легко различимую ложь сатаны.

Но звуки идут к нам не только от людей, других живых существ и неживой предметности, но и из недоступных глубин земли, от неведомых источников дольного и горного мира. Есть у Распутина особняком стоящий, непохожий на другие рассказ «Видение». Это целиком автобиографичный рассказ, в котором речь идёт не только о видении, хотя и близком к реальности, но основанном на игре воображения, а и о звучании, вернее, звоне, который близок к видению или даже провидению. Начинается рассказ с признания автора о посещающем его по ночам звоне: *«Стал я по ночам слышать звон. Будто трогают длинную, протянутую через небо струну и она откликается томным, чистым, занывающим звуком. Только отойдёт, отзвучит одна волна, одnogолосо, пронизывающе вызванивается другая. Я лежу, полностью проснувшись, весь уйдя по внимание, охваченный тревогой, и вслушиваюсь: чудится это мне или не чудится? Но почудиться может однажды, дважды, а не каждую ночь с редкими перерывами. Чудиться может и днём, а днём этого не бывает. Я отчётливо слышу возникающий где-то надо мной от нарочитого и осторожного прикосновения струнный звук, растекающийся затем в слабое, печальное гудение». Конечно, это не галлюцинации. Тогда что же это? Распутин делает предположение, что виновником ночного звона является тот, кто отмеряет срок нашего земного пребывания: *«В такие мгновения, когда возникает и удаляется стонуций призыв, я ко всему готов. И кажется мне, что это моё имя вызванивается, уносимое для какой-то примерки. Ничего не поделаешь: должно быть, подходит и мой черёд».* Кто знает, может быть, это и так. Одно несомненно: это свидетельство, помимо прочего, исключительной обострённости слуха писателя.*

В рассказе «Под небом ночным» Распутин, описывая красоту ночи Тункинской доли-

ны Восточных Саян, замечает, что *«глаза тоже слышат: опустишь их – и торжественная тишина понизу, а поднимешь — шуршание, сухой мелодичный треск, вздохи и высоко стоящий, медленно и осторожно снизывающийся гул огромного, во весь свод, колокола»*. Без этой слуховой чуткости никакой большой писатель, а тем более такого масштаба, как Распутин, не может состояться.

Можно иметь прекрасное зрение и не видеть. Можно обладать хорошим слухом и не слышать. Внешние чувства должны просветляться внутренней духовной энергией ума и сердца. Большие художники слова наделены не только счастливой способностью умом и сердцем созерцать красоту человека и мира, но и умением изобразить эту красоту и представить её на всеобщее обозрение, да так, чтобы помочь другим людям увидеть то, что они не разглядели, услышать то, что они не услышали.

*А.Д. СИРИН*

## Письмо в «Сибирь»

Уважаемые земляки-иркутяне-москвичи! Уважаемые коллеги, друзья и товарищи!

Быстро пролетело 40 дней... 22 апреля 2015 года, в среду, родные, близкие, друзья, коллеги и товарищи Валентина Григорьевича Распутина собрались и почтили его память в Сретенском ставропигиальном мужском монастыре (г. Москва). Была отслужена в Храме заупокойная лития, которую совершил архимандрит Тихон (Шевкунов), и состоялась поминальная трапеза.

В аудитории литературы Сретенской духовной семинарии проведена очередная (выездная) встреча в Литературном клубе «Иркутск — Москва». В непринуждённой обстановке были показаны видеофильм «Мгновения жизни. Валентин Распутин: Живём и Помним!» (авторы: В.В. Воронов и А.Д. Адрианов — 10 минут), видеофильм о поездке В.Г. Распутина и О.В. Лосевой с губернатором Иркутской области С.В. Ерошенко по Байкалу летом 2014 года, отрывки из видеокниги «Прощание с Матёрой». Валентин Распутин. Читаем вместе». Во время тёплых и душевных бесед говорили о многом и многом — вечном и ценном!

С родными и близкими В.Г. Распутина в это время смогли быть: В.И. Толстой — советник Президента РФ по культуре, архимандрит Тихон, С.В. Охотников, Н.Д. Солженицына, С.В. Мирошниченко, В.С. Кожемяко, иеромонах Иоанн, иеромонах Иоасаф, Ш.А. Баулов, Ю.В. и Р.А. Григорьевы, А.Д. Заболоцкий, Р.Я. Княжевский, В.Н. и Н.Л. Крупины, С.С. Куняев, Е.В. Мамонова, О.И. Фаризов и другие.

В связи с тем, что многие из участников традиционных встреч в Литературном клубе «Иркутск — Москва» не смогли присутствовать на этом мероприятии, предлагаем присоединиться к этому памятного событию, посмотрев фоторепортаж, видеофильм, видеоотрывки и другое... (прилагается в файлах и можно пройти по ссылкам).

Будем и дальше Жить и Помнить!

*С уважением, В.В. Воронов,  
сопредседатель Литературного клуба «Иркутск — Москва», профессор,  
заслуженный экономист РФ, член Союза писателей России,  
директор Международной школы управления  
«Интенсив» РАНХиГС;  
А.В. Сафёлкин и И.М. Корчажинская,  
координаторы Литературного клуба «Иркутск — Москва»*

Приложения:

1. Видеофильм «Мгновения жизни. Валентин Распутин: Живём и Помним» — продолжительность 10 минут, <https://yadi.sk/d/6VxUMd7ng8GDq>
2. Фоторепортаж, <https://yadi.sk/d/bdbrDbYjgAiDA>
3. Отрывки из видеокниги: «Прощание с Матёрой». Валентин Распутин. Читаем вместе», <https://yadi.sk/i/2NOF-zjygA9Tr>; <https://yadi.sk/i/El6YEC59ekap3>
4. Видеокнига «Прощание с Матёрой». Валентин Распутин. Читаем вместе», <http://www.dramteatr.ru/project/valentin-rasputin-chitaem-vmeste>

# ПОЭЗИЯ



СЕРГЕЙ КУДАЕВ



## На горизонте памяти и боли

\* \* \*

Как стыло и ветрено в ранние сроки зимы,  
Когда неуверенно снег прикасается к почве,  
Но тянут по небу обозы большие сомы,  
И кончились жёлтые письма на лиственной почте.

Как странно заметить, что воздух меняет свой вкус,  
Как боязно рвать беззащитные корочки лужиц,  
И в низкие тучи забравшийся ветками куст  
Испуганно прячется там от обещанной стужи.

К чему отнести это время транзитных снегов  
меж старостью осеней и возрождением весен?  
И я, вопросительным знаком меж двух берегов,  
Тону в снегопаде, как в лодке без днища и весел...

---

КУДАЕВ Сергей Иванович родился в 1955 г. в г. Прокопьевске Кемеровской области. Образование — высшее экономическое. Стихи начал писать в раннем детстве, однако серьёзно увлекся поэзией в 2009 году. Имеет публикации в различных коллективных сборниках, номинирован на премии «Поэт года – 2014» и «Наследие» на интернет-портале [www.stihi.ru](http://www.stihi.ru). Живёт в Усть-Илимске.



\* \* \*

Там, где мой дом, там тополь-великан,  
К нему дожди цепляют ленты радуг,  
Там быстротечен утренний туман,  
А вечер прячет эхо за ограду.

Там на ладонь садятся мотыльки,  
А воздух пахнет грозами и хлебом,

Там не устанут мускулы реки  
Катать в рулоны облачное небо.

Там, где мой дом, там ветер многокрыл  
И пыль дорог, как бархат под стопами.  
Прости, мой дом, о многом я забыл...  
Слаба с годами делается память...

\* \* \*

Тёплый ветер ли бережно в памяти дремлющей веет,  
Зажигая тихонько фонарики прожитых дней,  
Или бродит душа в уходящей в былое аллее,  
Где шумел карнавал, но, как бисер, рассыпался в ней.

В ярких ленточках нот, в конфетти отзвучавшего смеха,  
В полуспущенных шариках некогда лёгких надежд  
Есть едва различимая грусть улетевшего эха,  
Миновавшего вдруг невозвратный последний рубеж.

Не имеет для вечной реки никакого значенья  
Прорастанье моё в незапамятный крошечный миг.  
Ей почти всё равно, кто я есть, почему и зачем я  
На могучей волне — непослушный бурунчик — возник.

Но линуют асфальт за окном полуночные шины,  
И сияет луна, как далёкий маяк кораблю,  
И хотя поистратилось яркое пламя души, но  
Я как прежде — живу. Я — живу, потому что — люблю...

\* \* \*

Он не придёт, она звонить не станет,  
Помчатся дни, умножатся дела,  
И вряд ли прояснится, чья взяла  
В той буре, уместившейся в стакане.

У судеб одиноких путь не прям  
На горизонте памяти и боли.  
Возможно, круг сомкнётся для обоих  
По двум их неуверенным следам.

Но высоки гранитные заборы  
Двух не смертельных, в общем-то, обид,  
И ссор нежданных пенится карбид  
В пустой водице едких разговоров...

...Как часто в этой жизни пустяки  
Ломают судьбы, как сухие ветки,  
Как часто мы себя сажаем в клетки —  
Любви, зовущей в небо, вопреки...

\* \* \*

Смотрел в тебя задумчиво, как в книгу,  
Читал вперёд, назад,  
Наискосок,  
Передувая медленно,  
По мигу —  
Твоих путей  
Разбросанный песок.

И был я в этот час великим богом,  
Но, сдерживая власть кипящих сил,  
Всё принимал.  
И бережно — не трогал...  
Не навредил.  
Отхлынул.  
Отпустил.

\* \* \*

Всё сказано до нас.  
Расплавленное слово,  
Нагруженный язык,  
Исторгнуть — не спеши.  
Не торопись, рука,  
В стремлении грошовом  
На строки разлагать  
Метания души.

А вечность — это что?  
И чем её измерить?  
И вхож ли я в неё —  
Транжира малых дней?  
И кем я раньше был,  
И стану кем теперь я,  
Когда бесценность слов  
Понятна стала мне?..

А что же есть душа?  
Загадочное нечто,  
Божественный цветок  
Дарованный судьбой,  
Где каждый лепесток —  
Непознанная вечность,  
Вместившая любовь,  
Дарующая боль?

Ведь слово — это мост  
Меж вечностью и мигом,  
Пусть нет на том мосту  
Ни знаков, ни перил.  
...Вторична тишина,  
Хоть и владеет миром.  
Первично ли всё то,  
О чём я говорил?

\* \* \*

Вот календарь — суровый пластырь  
Моих летящих в бездну дней.  
Вот — оптимизма ветхий пластырь  
Висит лохмотьями на мне.

Вот — понимание, что надо  
Притормозить на вираже.  
А вот — за ветреность награда —  
Большая стопка миражей.

Они изрядно обветшали,  
Мои надежды на «авось»,

И мне слегка, конечно, жаль их...  
Но — не сбылось, так не сбылось.

С небесной почтою вчерашней  
Пришёл приказ: «Готовься в путь!»  
И хоть в финале жизни зряшной  
Умней и правильнее будь!

Но что там выйдет — плюс на минус,  
Поди, заранее скажи...  
Торгую временем на вынос,  
Скупаю оптом миражи.

\* \* \*

Что делают в мороз сибиряки,  
Когда их мир укрыт густым туманом?  
Они, погоде лютой вопреки,  
Не прячутся, как мелочь по карманам!

Такой расклад зимы для них не нов,  
Сибиряки не мёрзнут под мехами,  
В мороз они выходят из домов  
И... согревают мир своим дыханьем!

\* \* \*

*Моей жене посвящается...*

Милая, сердитая, смешная,  
Слёзы и улыбки невпопад.  
Я, прости, не сразу понимаю,  
В чём перед тобою виноват.

Трели за окном выводят птицы,  
Гаснут звёзды, нотками звеня,  
Ранний час, но мне совсем не спится,  
Буду сон твой лёгкий охранять.

Тонкие обветренные пальцы  
Чутко шелохнутся и замрут,  
В ходиках два лучика-скитальца  
Дремлют беззаботно поутру.

Волосы струятся на подушке,  
Мягко бьётся венка у виска —  
Ты сейчас похожа на игрушку,  
Может быть, на ангела... слегка.

Хмуришь ты порой легонько брови,  
Что-то беспокоит там, во сне?  
Созерцаю тихо и с любовью  
Женщину, дарованную мне.

Грянет день, и он раскроет карты,  
Что в нём будет доброго — Бог весть!  
Утро за окном. Начало марта.  
Спи, моя родная, время есть...

\* \* \*

Похожий на женские волосы дождь  
На ветках берёз перечёсывал струи,  
Меняя причёски — одну на другую,  
А я — в мастерскую природы не вхож —

Сидел, созерцая. Мой зрительный зал  
Случился на лавке, под старым навесом.

А дождь по-за тучами в спички играл,  
И явственно пахло грибами и лесом.

И лужи у ног закипали, шурша.  
Но было на сердце легко и спокойно,  
И мысли оставили вечные войны,  
И в шепчущих звуках купалась душа...

\* \* \*

Творит пейзаж задумчивый художник  
Уверенно, размашисто, с листа...  
Под кистью мир — подвижный и тревожный —  
Полотнище огромного холста

Кольшимо легко вечерним бризом,  
Развеялся шафрановый закат,  
Стекаая вниз по облачным карнизам,  
И медленная, вечная река

Беззвучно проявилась в русле неба,  
Травинки звёзд качая в глубине.  
Штрихи комет, подобно стрелам Феба,  
Разносят свет мистический. И мне

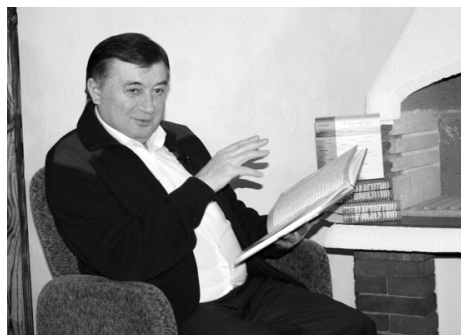
Досталось их искрящихся материй,  
В душе моей от них возник пожар.  
Я не Художник, нет, я — подмастерье,  
Одно мгновенье кисть в руке держал.

\* \* \*

Что дала мне судьба?  
Испытаний нежадною мерой,  
Неизвестную даль,  
что тревожит и ждёт впереди.  
А в придачу дала  
и смешную весёлую веру  
в бесконечность любви  
и надёжность земного пути.

Чем ответил судьбе,  
как сдаю этот долгий экзамен?  
Только «тройки», пожалуй,  
достоин ответ мой любовью.  
Но на мир я смотрю  
удивлёнными с детства глазами.  
Да и «тройка» моя —  
это вера, надежда, любовь!

## «Книги Валентина Распутина — это лекарство от беспамятства»



*В.В. Воронов с книгой Валентина Распутина*

*Интервью с профессором, заслуженным экономистом России, директором Международной школы управления «Интенсив» Академии при Президенте РФ (РАНХиГС), председателем Литературного клуба Иркутского землячества «Байкал» в Москве Виктором Вороновым состоялось незадолго до ухода из жизни Валентина Григорьевича Распутина. С Виктором Васильевичем они были хорошо знакомы. В те дни на их общей Родине — Сибирской земле — готовился к выпуску проект Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова «Валентин Распутин. Читаем вместе». Наш разговор был посвящён творчеству Валентина Григорьевича, смелой правде и лиричности его произведений. Теперь же это интервью выходит в память о великом писателе.*

*Виктор Васильевич, когда вы впервые взяли в руки книгу Валентина Распутина?*

— Вопрос для меня несколько неожиданный. Мне-то кажется, что я давным-давно знаком и с творчеством Валентина Григорьевича, и с ним самим... Вроде бы так было всегда... Валентин Григорьевич старше меня, и становление его профессионального мастерства писателя происходило в те годы, когда я учился в школе, а затем в Иркутском политехническом институте. Тогда читали много. От корки до корки зачитывали каждый свежий номер «Роман-газеты», «Огонька», с нетерпением ждали выхода и других журналов, книг, которые выпускались миллионными тиражами. Известных и громких имён было много. И сказать, что в этом многообразии я сразу «заприметил» Валентина Распутина, значит, сказать неправду. Однако в театрах советской страны тогда уже активно шли постановки по произведениям А.В. Вампилова и В.Г. Распутина. Большие дискуссии о гармонизации отношений человека и природы вызвал кинофильм «У озера» Сергея Герасимова. Наверное, также срабатывал и этот не очень хороший принцип «Нет пророка в своём Отечестве». Конечно, наши взоры были устремлены туда — в центр, в Москву. Оценки оттуда сильно влияли и на выработку наших собственных оценок и мнений. Да и сейчас, во времена шоу и сплошного телевидения, это тоже сильно проявляется. Но всё же позднее, на стройке и на комсомольской работе я стал более внимательно читать распутинские произведения. Тем более что многие из них затрагивали самые злободневные вопросы действительности страны и нашей Иркутской области. Да и нашим гостям из Москвы мы уже тогда (и даже с гордостью за земляка) дарили некоторые книги Валентина Распутина, выпущенные в Иркутске... Поэтому настолько ли важна конкретная дата первого знакомства с произведениями Распутина?

— *Как вы считаете, почему современному человеку нужно читать произведения Валентина Григорьевича?*

— Современному человеку, а особенно молодым людям, крайне необходимо читать произведения Валентина Григорьевича. Почему? Прежде всего для того, чтобы заставить работать свой ум, душу, сердце, т. е. работать над собой. Его книги учат задумываться, сверять свои поступки и действия с тем, о чём пишет Валентин Григорьевич, а также помогают вырабатывать для себя ту или иную жизненную установку, ценности. Конечно, очень важно читать его прозу, принимая при этом своеобразное и всем нам нужное лекарство от беспамятства. Например, повесть «Прощание с Матёрой» во многом очень провидческое произведение. Такие люди, как Валентин Григорьевич Распутин, — люди планетарного масштаба. Они видят многое сквозь толщу времён, могут в своих произведениях прямо и иносказательно отразить то, что потом сбывается. Прощание с Матёрой — малой родиной жителей одноимённой с островом приангарской деревеньки — неожиданно, всего через каких-то пятнадцать лет аукнулось для всех нас вселенской катастрофой: разрушением и разграблением нашей большой Родины — Советского Союза. Таким образом, прощание даже с одной малой родиной оказалось пророческим прощанием с Родиной большой. Мы все теперь «задним умом» понимаем, что тоже сплеховали, дали возможность рвачам, негодьям, предателям и демагогам разрушить созданное огромным трудом многих поколений советских людей. Об этом с болью Валентин Григорьевич напишет в более поздних своих книгах. В «Прощании с Матёрой», прочитав его теперь, можно услышать предостерегающие от большой беды «нотки», звуки, слова, оттенки, намёки, выводы и другие различные знаки, которыми писатель тогда пытался, возможно, и сам ещё до конца этого не представляя, всех нас оберечь.

— *Актуальна ли тема этого произведения сегодня? Какая тема в повести стала главной для вас?*

— Совершенно правильно в вопросе звучит слово «тема». Конечно, не одна, а много тем в этом произведении находит каждый читающий его или смотрящий кинофильм или спектакль по этой повести. Большинство тем, поднятых в повести, несомненно, актуальны и сегодня. К примеру, гармонизация отношений активной хозяйственной деятельности человечества и природы. Всё ли правильно просчитывается и прорабатывается при введении новых и новых гидроэлектростанций? Где их лучше строить и как, с тем чтобы причинить меньший вред природе нашей планеты. Ведь и при строительстве следующей на Ангаре — Богучанской ГЭС — были допущены те же ошибки, и последствия их ещё долго будет ощущать на себе не одно поколение нашего народа. И, конечно, очень важны темы «корней» человека, сохранения малых родин, разговор о нашей памяти, о совести, справедливости. Все эти темы главные, все они связаны друг с другом, переплетены. Чем и ценно это произведение Валентина Распутина. Конечно, эта драматическая и даже близкая к трагическому, печальная повесть Валентина Григорьевича не какое-то «лёгкое чтение», в котором для поднятия настроения можно найти любимые места. Но особенно хотелось бы отметить монологи и целые рассказы-воспоминания главной героини повести Дарьи о нашей памяти, совести, что «её ни у кого не купишь», что всё в жизни должно делаться по-человечески.

— *Как вы считаете, нужно ли изучать произведения Валентина Григорьевича в школе? Или лучше знакомиться с ними в более позднем возрасте, когда уже приобретён определённый жизненный опыт?*

— О том, что необходимо начинать читать уже в школе, а какую книгу следует брать в руки в более поздние периоды жизни каждого человека, по мере приобретения им жизненного опыта и появлении потребности в этих книгах, должны думать все: органы образовательных учреждений, родительские комитеты, педагоги, сами писатели и литераторы, а также все заинтересованные лица. Одно несомненно: у такого богатого на произведения классика советской и русской литературы, как Валентина

Григорьевича Распутина, всегда можно подобрать «вещи», которые можно и нужно читать в школе. С чем-то ознакомить только обзорно, не «забывая» головы школьников теми проблемами, которые они лучше поймут, прочувствуют, став старше. Например, «Уроки французского», «Байкал предо мной», «Женский разговор», «Что передать вороне».

— *Есть ли сегодня необходимость в проектах, подобных народному чтению «Валентин Распутин. Читаем вместе»?*

— Несомненно и несомненно! Такие проекты ещё более актуальны при сегодняшнем общем снижении уровня чтения в нашей стране, да и в целом в мире. Нужно изыскивать самые различные способы, чтобы, используя не только сами книги, а и другие современные технические средства: компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны и т. п., — подталкивать людей к знакомству с шедеврами нашей отечественной литературной классики, к числу которой по праву относится большинство произведений Валентина Распутина. То, что благодаря Иркутскому академическому драматическому театру им. Н.П. Охлопкова триста сорок пять человек прочитали по отрывку из «Прощания с Матёрой», подтолкнёт других тоже прочитать эту или иную повесть Валентина Григорьевича, познакомиться с другими писателями. Хочется в это верить!

*Записала Ольга ОЛЁКМИНСКАЯ  
Фото А.В. САФЁЛКИНА*

*15 февраля 2015 г.*



ЕЛЕНА ПАВЛОВА



## Чтобы лето не скучало

\* \* \*

Мама гусыня потеряла сына,  
Шалуна-ребёнка малого гусёнка.  
— Га-га-га, го-го-го!  
Может, видели его?  
У малюточки гусёнка  
Вся из перьев рубашонка.  
На нём красные сапожки  
И на курточке застёжки.  
А на шапочке помпон.  
Может, знаете, где он?  
Он совсем малютка-гусь,  
За него я так боюсь!  
Мы утешили гусыню:  
— Твоего видали сына,  
За кустом невдалеке,  
Он купается в реке.

---

ПАВЛОВА Елена Александровна — коренная иркутянка, родилась в 1951 г. Историк, культуролог. Преподавала историю, обществознание, культурологию, мировую художественную культуру и основы православной культуры в школах города Иркутска. Публиковалась в журнале «Сибирячок» и газете «Советская молодёжь».

\* \* \*

Мне подарили самокат,  
Подарку этому я рад.

Теперь качу, куда хочу.  
Хотите, всех вас прокачу!

Отец сказал, что самокат —  
Велосипеду младший брат.

Когда мне будет больше лет,  
Подарят мне велосипед.

Но самокат я не предам —  
Я малышам его отдам.

\* \* \*

Это что за колобок?	И гуляю чаще
У него колючий бок,	По сосновой чаще.
У него иголки	Там в лесу, у ёлки,
И длинные, и колки.	Тоже есть иголки.
— Я совсем не колобок,	Я на ёлку не похож,
Не стригу колючий бок	Потому я просто — ёж!

\* \* \*

Кипятилось молоко:	Убежало молоко...
«Убегу я далеко,	Далеко? — Недалеко!
Убегу в луга домой,	Половина на плиту,
Стану сочною травой».	Половина в рот коту.

\* \* \*

Мимо ёлок, мимо пня  
С горки лыжи мчат меня,  
Мимо сосен и берёз —  
Не догонит Дед-Мороз!  
Ну-ка, лыжи, стоп, стоп, стоп!  
Впереди большой сугроб!  
Я в сугроб с разбегу — хлоп!  
Надо мной смеются птицы,  
Снег забрался в рукавицы.  
Я от боли не кричу,  
Я не плачу —  
Хохочу!



\* \* \*

На сосёнке, на верхушке	Пять и шесть, и семь, и восемь —
Дни считают две кукушки.	И выходит сразу осень.
— Раз, два, три, четыре, пять —	— Эй, кукушки! Как же это?
Посмотри, зима опять.	Позабыли вы про лето!
Три, четыре, пять, шесть, семь —	Чтобы лето не скучало,
На дворе весна совсем.	Начинайте счёт сначала!

\* \* \*

Я укладывала спать	И не поддаётся:
Новую игрушку.	— Спать совсем не стану,
Уложила на кровать	А уложишь — встану.
И дала подушку,	Не нужна мне нянька,
А она смеётся	Я ведь Ванька-встанька!

\* \* \*

Громко тикают часы,  
Шевеля свои усы:  
— Мы считаем время сами,  
Потому-то мы с усами.

\* \* \*

Краснощёкий самовар,	Наливаю в чашки чаю.
Из-под крышки пышет пар —	Вот рогалик,
Пух-пух-пух!	Вот рожок,
Бух-бух-бух!	Вот с малиной пирожок,
Я от чая весь разбух.	И варенье, и печенье —
Угощаю, угощаю —	Ребятишкам угощенье.

\* \* \*

Крокодил цветы сажал,  
Носорог — испёк пирог,  
Бегемот — варил компот,  
Кот — валялся у ворот.  
Вот!  
— А ещё что было?  
— Дальше я забыла...

\* \* \*

Вот так Дедушка Мороз —	Так морозил, так старался,
Сам от холода замёрз!	Сам мороза испугался.

Он от холода бежит                      Я замёрз, я не шучу,  
И от холода дрожит,                    Отогреться я хочу!  
Он стучится в окна, двери:            Вот так Дедушка Мороз —  
— Открывайте, люди, двери!        Сам от холода замёрз!

\* \* \*

Сидит кукушка на суку                   Помогите мне в беде!»  
На весь лес кричит: «Ку-ку!»        А кукушкины сапожки  
Я разута, я раздета,                    Тихо спрятались в кусты.  
Сапоги пропали где-то.                А кукушкины сапожки  
Я искала их везде —                    Превратились в цветы.

\* \* \*

Корабли в большом порту  
Кричат друг дружке:  
— Ту-гу-гу!  
Ты откуда?  
— Я оттуда,  
Видел пальмы и верблюда.

Там девчонки и мальчишки  
Зиму знают понаслышке.  
— Я — большой корабль «Союз»,  
В моих трюмах разный груз.  
Собираюсь я на полюс,  
Где земли холодный пояс,  
К холодам, снегам и льдинам —  
Передам привет пингвинам.

— Я — корабль «Альбатрос»,  
Ребятишкам груз привёз.  
Им прислали обезьяны  
Очень вкусные бананы.  
Им прислали папуасы  
Из Гвинеи ананасы.

А моржи — мороженое,  
Вкусно замороженное.  
— А ты куда?  
— А я туда,  
Где только небо и вода.

Ждут меня Италия,  
Испания и Дания.  
Дорога будет дальняя —  
До скорого свидания!

\* \* \*

Ну-ка, Ника,  
Подойди-ка!  
Под листочки  
Загляни-ка!  
Там под ними земляника,  
Спелая-преспелая,  
От солнца загорелая.

\* \* \*

— Это что за малыши?	Можно нами рисовать
— Это мы, карандаши —	Можно буквы написать.
— Красный,	— Красный,
— Жёлтый,	Жёлтый,
— Голубой.	Голубой,
Выбирай себе любой!	Мы подружимся с тобой!



## ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

РАССКАЗЫ

### В ту же землю...

Крайней улицей микрорайон выходил на овраг, обширный и пустой, лежащий огромной неровной впадиной. Его можно было принять за заросший карьер, но нет, грунтовой выемки тут никогда не было, так устроилось природой. Вокруг этого города, блиставшего в своё время славой великой стройки коммунизма, земля перебучена и перелопачена на десятки километров, здесь вбили в русло гигантскую плотину для электрических турбин, построили огромный алюминиевый завод, лесопромышленный комплекс, до десятка других крупных заводов, но и здесь кое-где остались участки нетронутой земли. Одним из них и был этот овраг, заросший среди глинистых проплешин обдёрганными кустами ольхи, осинником да крапивой. Город с двух сторон полукругом подступил к нему и остановился. На третьей, на южной стороне, где ходило солнце, противоположной микрорайону, сразу за оврагом тянулся в гору сосняк, вблизи города побитый, с частыми следами кострищ и палов, но всё-таки живой, отраднo зеленеющий и зимой и летом.

В прежние годы, когда ещё делались попытки приукрасить жизнь, у обрывистого края оврага, где микрорайон, соорудили спортивный трамплин для прыжков с лыжами. И прыгали, пружинисто выбрасываясь в воздух, и летели на птичьей высоте выгнутыми вперёд фигурами, насаженными на лыжи, и, приземляясь, взрывали снег и долго катились под уклон. На трамплин со всего города собирались мальчишки, здесь всегда было шумно, весело и колготно. Потом, когда жизнь открылась сплошной раной, трамплин забросили, и металлическая ферма его теперь торчала голо и мёртво, как скелет.

Как раз напротив трамплина через дорогу, в первом подъезде длинного пятиэтажного дома, делающего поворотный изгиб вместе с дорогой, глухой ночью горел на третьем этаже свет. В городе ночным светом никого не удивить. Но на этот раз весь огромный дом был темен, весь он утонул во мраке ночи, смешанном с мраком тумана, и два одиноко светящихся окна, едва пробивающихся сквозь туман, ничего, кроме тревоги, вызвать не могли. К этой поре все засыпают, и в эту пору без беды или болезни не поднимаются.

Тяжёлая фигура женщины с непокрытой головой выступила из тумана, обтекающего дом, ещё раз бросила взгляд на окна, с усилием поднялась по каменным ступенькам к развёрстому входу и полезла по лестнице. Дверь в подъезд была сорвана, свет внутри не горел, подниматься приходилось ощупью. Она открыла незапертую дверь в квартиру, после свежего холодного воздуха потянула носом, пригнувшись, и, пройдя мимо закрытой слева двери, вошла во вторую комнату, сбросила отсыревшую тёмную куртку на узкую продавленную кушетку, стоящую за дверью справа, упала на неё сама и только теперь, словно в назначенную минуту, тяжким прерывистым стоном заскулила по-собачьи, закрывая рукой рот, чтобы не услышали.

В первой, в маленькой комнатушке лежала покойница, мать этой женщины, самой ей было под шестьдесят, но не о матери, зажившейся на свете и скончавшейся несколько часов назад, плакала эта рыхлая мужиковатая женщина, не себя она жалела, никогда не снисходя до жалости к себе, а, сильной, ко всему привыкшей, не хватало ей сил, чтобы подступить к страшной тяжести приближающегося дня. Она и на улицу выходила, чтобы движением облегчить её, эту тяжесть, и только сильнее ещё придавилась. Не хватало воздуха, нечем было дышать.

Звали эту женщину Пашутой. Имя, как и одежда, меняется, чтобы облегать человека, соответствовать происходящим в нём переменам. Была Пашенька с тонкой талией и блестящими глазами; потом, войдя в возраст, в замужество, в стать — Паша; потом один человек первым подсмотрел — Пашута. Как фамилия. Так и стали называть, порою не зная, имя это или фамилия. «Это сытно звучит. И сама ты баба сытная», — говорил в похвалу тот самый человек, который окрестил её Пашутой.

Накануне вечером Пашута воротилась домой поздно, уже в темноте, доходил десятый час. Поехав в город, она не собиралась задерживаться. Но не утерпела и зашла в свою столовую, а там девчонки пригласили поработать вечером на спецобслуживании. Спецобслуживание — это когда снимают столовую для события. Какое было событие, Пашута не разобрала, как ни прислушивалась к тостам. Праздновала какая-то незначительная организация, гуляли и невесело, и скромно, но Пашуте пришлось возиться с посудой чуть не до конца, пока не понесли мороженое. Девчонки и ей сунули в баночке два комка мороженого. Девчонки — по привычке, по старой памяти, когда они действительно начинали девчонками, половина из них уже в бабках. В сумке у Пашуты лежал ещё и пакет с пловом, выскребенным из остатков в котле. Приходилось не брезговать и этим. Тыкавшая себя постоянно в своё униженное положение, Пашута корилась, что она и в столовую продолжает ходить ради подачек. Но это неправда. Всю жизнь проработавшая в столовых и почти десять лет проработавшая в этой, последней, она скучала без неё, никак не могла отвыкнуть от «ада», как дружно все они проклинали чад и смрад, жар и пар среди печей и котлов, густых и одуряющих запахов пищи, впитывающихся в тело, по нескольку часов на ногах. В столовых она сполна прошла весь трудовой путь от заведующей до посудомойки. Путь в обратном направлении. В двадцать лет, среди восемнадцатилетних, — заведующая, и два года, уже с пенсией, — посудомойка. Месяц назад её рассчитали. Столовая была кормным местом, в неё напрашивалась и молодёжь, а у Пашуты совсем стали отказывать ноги. Девчонки бы ещё постояли за неё, но и их ожидала та же участь. Хозяином столовой становился казбек, гибкий, поигрывающий телом молодой человек из кавказцев с пронзительными глазами на узком птичьем лице. Дело шло к приватизации и перестройке в ресторан — и уж тогда в городе, кроме заводских, не останется ни одной столовой.

Девчонка была дома, когда Пашута вернулась. С нею жила внучка, учившаяся с сентября в педагогическом училище. Но родных детей у Пашуты не было, она брала приёмную дочь, когда жила семьёй; внучка от приёмной, родная и не родная, без кровной близости. Мать её, Анфиса, ушла в замужество в леспромхозовскую деревню, за двести километров от города, там и осталась, потеряв мужа. В Пашуте она видела воспитательницу, но не мать, матерью и не называла. Но вот удивительно: чем больше она отдалялась от приёмной матери, тем больше на неё походила. Такая же внешне вялая, но с твёрдым характером, так же тянет в разговоре слова, такой же замедленный шаг. И такое же безмужество, только от Пашуты муж ушёл, у Анфисы утонул, оставив её с двумя маленькими ребятишками. Пашута догадывалась, что, обижаясь на свою неудавшуюся жизнь, Анфиса за это сходство в том, что она не любила в себе, не любила и её, Пашуту.

Но за девчонку Пашута простила бы ей вдесятеро больше. За то, что она прислала на учёбу пятнадцатилетнюю Таньку. С нею как-никак посветлела жизнь. Вот почему в семье нужны дети. Разве бы обрадовалась она так мороженому, доставшемуся с чужого стола, разве бы торопилась так домой, чтобы оно не успело растаять? Не мороженое она несла ей, а свою нежную душу, устроенную грубо, свою ласку, не умеющую себя показать.

Танька была с подружкой из какого-то дальнего подъезда в этом же доме. Подружка, по имени Соня, хорошо шила, и Пашуту эта дружба не тревожила. Она вручила девчонкам мороженое, и те от восторга завизжали, запрыгали.

— Бабуля, ты где взяла? — приплясывала Танька. — Ты где украла?

— Украла и есть, — усмехнулась Пашута и пошла к матери, лежавшей за закрытой дверью.

Вернулась она скоро, спросила у Таньки:

— Ты давно дома?

— Уж скоро час. Мы у Сони были.  
— К старенькой бабушке заглядывала?  
— Заглядывала. Она спит.

Пашута ушла в кухню и, высматривая оттуда, ждала, когда девчонки доедят мороженое. И — обратилась к подружке:

— Ты Таню не сможешь на ночёвку взять?  
— Бабушка, зачем? — удивилась Танька. — Я не хочу никуда идти.  
— Надо! — грубо оборвала её Пашута. — Из бабушкиной деревни приехал один человек, мне некуда его положить.

Врала — и зачем врала? — с перепугу, что ли?

— Я могу на полу, — предлагала Танька.

— Нет, уходи! Уходи, Татьяна... Я тебе потом всё расскажу. Не будут твои родители ругаться? — она не спрашивала у подружки, а поторапливала.

— Нет, нет, не будут.

И смотрела неотрывно, как девчонки испуганно и торопливо собираются. У двери Танька обиженно буркнула:

— Сначала мороженое, потом уходи...

— погоди-ка! — Пашута задержала Таньку и отвела её от подружки. — Дай ключи. Без меня не приходи. Я буду вечером. Ты всё поняла?

Аксинья Егоровна скончалась тихо, во сне. Не пришлось и глаза закрывать. Так её намаяла, так изъездила жизнь, что она в последний месяц и не знала, живёт она или не живёт. Оскудевшая телом, высохшая, с бескровным жёлтым лицом, с руками в обвисшей коже, похожими на перепончатые лапки, она лежала в кровати как в усыпальнице и по большей части спала. Сначала её поднимали к столу, вели в кухню, Танька заговаривала с нею, пытаясь расспрашивать, но она в ответ только растягивала под глазами морщинки, что выходило прежде улыбкой, говорила тихо и услужливо нитяным тонким голоском и просилась обратно в кровать. Эти выходы доставляли ей мучение, и её оставили в покое, стали приносить еду в постель. Ела она так помалу, уже не испытывая потребности в пище, что тепло в ней со дня на день должно было дотлеть.

И вот оно дотлело. Пашута широкой большой рукой гладила мать по маленькой, быстро остывшей голове, по ввалившимся щекам, по подвязанному подбородку и думала, думала... Она и сама, казалось ей, постепенно застывает в мумию и уже не способна отдаться горю. Произошло то, что и должно было произойти. Но, как ни ожидала она его, как ни смирилась давно уже с ним, она не была к нему подготовлена. Ничего в ней не было готово к тому, чтобы встретить материнскую смерть. Не врасплах, и всё равно врасплах. Мать так долго оттягивала неприятность, которую она доставит дочери своей смертью, что Пашута и дальше собиралась оставаться в этом удобном ожидании. Впрочем, ничего она не собиралась. А безвольно тащилась по дням своей расплывшейся фигурой, делая только самые необходимые движения. И к чему-то готовится, что-то предупреждать она разучилась.

Не смерть матери её ужасала, нет, а то тяжкое и властное, что надвигалось теперь со смертью, то, как обладать двухдневные проводы до окончательного прощания. Но и после прощания — девятины, сороковины, полгода, год... Существуют давние, крепче всякого закона, календарь и ритуал проводов. В городе живых заведено немало служб, принадлежащих, в сущности, тому свету, в которых заняты люди, устраивающие туда дорогу. Мёртвый не имеет права считаться мёртвым, пока не выдано свидетельство о смерти. По этому свидетельству его отвезут в морг, там, окаменевшего и униженного в смерти последним, самым жестоким унижением, окаят из шланга водой, воткнут в принесённую одежду; по этому свидетельству на фабрике ритуальных услуг подберут гроб, украсят его по одному из пунктов ассортимента и подадут под тело; по этому же свидетельству на кладбище выроют могилу в такой тесноте мёртвых, что на похоронах натопчешься всласть на соседях... И всюду заплати. В морг, наверное, можно не возить, а всего остального не миновать. Там миллион заплати и там миллион с полмиллионом, а там только полмиллиона и ещё семь

раз по полмиллиону. Меньше нигде не берут. Но откуда у Пашуты такие деньги? У неё нет их ни в десятой, ни в сотой доли. Где она их возьмёт?

Но и это ещё не всё. Чтобы быть прописанным на городском кладбище, надо при жизни иметь прописку в городе. А у Аксиньи Егоровны её не было. Она не имела права здесь умирать. Пашута, как и до того трижды привозила её, привезла мать на зимовку; одной ей в восемьдесят четыре года отапливать и обихаживать себя в деревне было непосильно. Но как только отогревалось солнышко и вскрывалась ото льда Лена, Аксинья Егоровна рвалась обратно. Никакими уговорами или запугиваниями удержать её было нельзя — скорей, скорей на волю из ненавистной каменной тюрьмы, скорей взойти на свой порожок, надыхать избу своим духом, и хоть букашкой ползать, да по натоптанным родным тропкам. Нынче, приехав за матерью, Пашута не могла не видеть, что матери едва ли суждено вернуться, но разве позволила бы Аксинья Егоровна себя из деревни выписать! Да и как Пашута стала бы её выписывать, если деревня, продолжая ещё стоять под небом, под государством больше не стояла?! Не было здесь ни колхоза, ни совхоза, ни сельсовета, ни магазина, ни медпункта, ни школы — всё унесло неведомо куда при новых порядках. Отпустили деревню на полную, райскую волю, на безвластье, сняли подчистую вековые держи, выпрягли из всех хомутов — гуляй на все четыре стороны! Хочешь — объявляй своё собственное государство, хочешь — отдавайся под руку Китая. Не было сюда летом твёрдой проезжей дороги, а зимой заносило снегами так, что не пробиться и танкам. Мужики промышляли в тайге, брали в Лене рыбу — этим и жили. И пили, пили...

Земли, угодья здесь завидные. С этого воля и начиналась, что выглядели богатство, позавидовали и добились, чтобы колхозные земли отошли сначала в подсобное хозяйство крупного машиностроительного завода... Но завод по дальности и бездорожью не потянул. Передали новому хозяину — БАМу. БАМ тогда по своей силе мог осваивать Луну, не то что ленские просторы. Погнали в деревню технику, повезли кирпич, принялись строить новую ферму и овощехранилище, на берегу поставили причал, одарили местный народ бамовскими льготами. Что под таким хозяином не жить?! И никто не подозревал, в том числе и хозяин, что можно полететь в яму в считанные месяцы. Ничто стало не нужно — ни строительство дороги, ни подсобное хозяйство; рабочие кинулись врассыпную с великой стройки, а деревне куда деться? С землёй, с волей, беспривязная, брошенная — залегла она под ленский берег и ждёт, всё меньше и меньше трезвясь с непривычки к свободе, кому бы отдаться, чтобы хлеб привозили?..

Тем паче из такой деревни надо было вывозить мать окончательно. Пашута это видела. Она и собрала её на всякий случай так, что можно было не возвращаться... Но какая тут выписка, какая прописка, в какое государство обращаться? Должно быть, ехать требовалось в район, а это в обратную сторону, им с матерью предстояло спускаться по течению к железной дороге. Да и когда это бывало, если даже поехать, что поехал и справил дело?

Пашута сидела и сидела возле матери, словно советуясь с нею, что теперь делать, как быть, а рука всё тянулась прикоснуться, приласкать. Немного в жизни досталось Аксинье Егоровне ласки от дочери. В восемнадцать лет убежала на стройку — и зачем? — щи варить да камбалу жарить весёлым, дерзким и прожорливым строителям коммунизма. К матери приезжала редко и, сунув гостинец, сразу рвалась обратно, в шум и гам несусветной толчеи, без которой уже не могла обходиться, в общежитие, не понять, мужское или женское, которое сделалось ближе родного дома. Почти десять лет то в общежитии, то в бараке, таком же весёлом и холодном. Квартиры противоречили романтике, а когда через годы и годы стали даваться рабочим, давались, как и положено, в первую очередь детным семьям. А у Пашуты детей не было. Её Бог наказал за аборт. В такой колготне, «навстречу утренней заре по Ангаре, по Ангаре», семья могли держаться только ребятишками. Пашута разошлась, не осознав толком, что выходила замуж, с первым мужем, с безалаберным бетонщиком из моряцкого отряда (на стройку приезжали бригадами, классами, выпусками, отрядами), путавшим жену с девчонками, только через три года вышла снова — за бригадира взрывников, человека много старше себя, с которым из барака переселились наконец в квартиру. Этому помогла приёмная четырёхлетняя девочка, взятая из приюта.

Но не ради квартиры удочерила её Пашута. А поняла, что своих детей ей не иметь, надо строить на будущее подпорки. Взрывник оказался мужиком едким, насмешливым, они часто ссорились, и она мало удивилась, когда, уехав в командировку взрывать диабаз для котлована соседней стройки, он не вернулся.

Так что же делать?

Где-то пропищали сигналы, возвестившие наступление круглого часа. Одиннадцать или двенадцать? Всё равно. Всё равно надо подниматься. Пашута вышла в прихожую и с испугом увидела себя в зеркало. Тюха, даже зеркало не завесила! Вот тюха так тюха! Но перед тем как завесить, она взгляделась в себя: широкое, затёкшее лицо, некрашенные пегие волосы, которые были когда-то чёрными до цыганской черноты с синим отливом, забитые тоской глаза, над верхней губой знак какого-то внутреннего неряшества — бабьи усы. Она никогда не была красавицей, но была добра, расположена к людям, и эта доброта вобрала в себя и обрисовала все черты лица, делая его привлекательным. И в возраст вошла — была миловидна с блеском больших карих глаз и со спадающими на высокий лоб завитками волос, с чувственно оттопыривающейся нижней губой. Трудно поверить, что ещё десять лет назад тело её оставалось без всяких упражнений и диет подобранным и чутким. Девчонки в столовой завидовали: «Ты, Пашута, ртом дыши, ртом, изнутри вздувай фигуру, чтобы она загуляла».

Сейчас её можно принять за сильно пьющую, опустившуюся, потерявшую себя. Но в водочку Пашута не окуналась. Так разве рюмку-две когда по случаю, и то без удовольствия. А что потеряла себя — да, потеряла. В одиночестве это происходит быстро. Человек не может быть нужен только самому себе, он — часть общего дела, общего организма, и когда этот живой организм объявляется бесполезным, обмирают и все его органы, существовать внутри своей функции они не в состоянии.

Выходя на улицу, Пашута вела себя, направляя — куда, по какой дороге идти, как обойти прохожего, куда поставить ногу, чтобы войти в автобус, но как только необходимость наблюдать за собой отпадала, глаза обращались внутрь, в темноту и боль.

Приезжая за матерью в деревню, чтобы взять её на зиму в тепло, она спрашивала по обычаю у окоченевшей в одиночестве Аксиньи Егоровны, сидевшей не в избе на кровати, а на крылечке под солнышком: «Ну, как ты, мать?» Аксинья Егоровна отвечала: «Сидю и плачу».

Глаза её были сухи, она плакала в себя. Это там всё болело и стонало в муке, которая уже становилась привычной. Пашуте нечем было её утешить. Аксинья Егоровна и не поняла бы утешения. Не везде, не ко всем членам доставала теперь в ней кровь, но боль, продолжающая жизнь, обтекала каждую клеточку.

Господи, но как же просто было бы сейчас в деревне! Как близко там почившему от дома до дома! Снесли бы Аксинью Егоровну на руках, положили просторно среди своих, деревенских, и весь обряд был бы дорогой к родителям, а не хождением по мукам, по хищникам-разбойникам, наживающимся на смерти. Там бы и небо приспустилось над Аксиньей Егоровной, труженицей и страдальницей, и лес бы на прощанье помахал ветками, и дых ветра, пронесшись струнно, заставил бы склониться в прощальном поклоне всякую травку.

Но что-то уже стало собираться бессвязными обрывками в обмершем сознании Пашуты, что-то постукивало в его стенки. В материнской комнате она подняла крышку высокого сундука (это деревенское происхождение заставило Пашуту заказать такой сундук) с тряпками Аксиньи Егоровны и сразу же наткнулась на аккуратно и красноречиво уложенное в прозрачный полиэтиленовый пакет смертное. Пашута узнала его по тёмно-коричневому вельветовому платью с чёрным витым пояском, ею же, Пашутой, давным-давно купленному и ни разу не надёванному. Оно показалось матери при дарении настолько праздничным, что ни один из прижизненных праздников не мог до него подняться. И тогда же Аксинья Егоровна положила: это для смерти. Пашута напрочь забыла о существовании этого платья — и вот оно, во исполнение воли усопшей сразу же ей под руки... Там было и всё остальное: тонкие шерстяные чулки, чунчики, как их называла мать, — что-то вроде



мягких низких сапожек с меховым отворотом, тёмный платок, ниже... Мать готовилась к смерти. В восемьдесят четыре года как не готовиться!.. Но сложено и поднято вверх было недавно, в близком и ясном предчувствии — как для заказанной бани. Невольно начинало высматриваться то первое, что надо делать. Нет, никому она мать не отдаст, вымоет сама. Хотя это вроде не полагается — самой. Бог простит. Богу, похоже, придётся прощать ей многое.

Без малого сорок лет в этом городе, а посмотреть вокруг — никого поблизости. Ни к ней никто, чтобы хоть изредка душу отвести, ни она к кому. Пашута теперь уже и не знала, почему это бывает, что человек остается один. В молодости сказала бы, что для этого нужно быть чересчур нелюдимым или гордым, не иметь тепла в душе к тем, с кем сводит жизнь. Сейчас все по-другому, обо всём надо судить заново. Сама ли виновата, по характеру своему, или это судьба всех уходящих в старость — ей не хотелось в этом разбираться, да и, пожалуй, не под силу было. Как медведи, в зимний гнёт залегли по берлогам и высываются редко, только по необходимости. В какой-то общей вине, в общем попушении злу прячут глаза. Невольно прячут и те, кто считает себя виноватым и кто не считает.

Редко-редко вспоминала Пашута свою молодость. Слишком далеко и нереально это было. Только встретит если смутно-знакомое лицо и начнёт в поисках его отлистывать назад годы, когда она знала здесь всех и все знали её. Разве бы удалось в то время кому-то миновать котлован, эту огромную каменную утробу, где всё гремело, светилось, кипело и кружилось? И разве, пройдя котлован, можно было миновать столовую. На левом берегу при въезде в него? Столовая работала круглосуточно — и весь котлован, сотни и тысячи людей, кормился там. Плыли и плыли они с подносами мимо раздачи, голодные, весёлые, нетерпеливые, и только и слышалось: «Паша, подгоняй своих девочек, пусть не заглядываются!», «Паша, разберись, почему у вас двойная порция входит в одну тарелку», «Паша, — громче всех кричал кто-нибудь один. Значит, как договорились, да?!» Она успевала метаться по кухне, успевала отвечать и распоряжаться этой огромной алчущей волной так, что та вовремя откатывалась, чтобы через четыре-пять часов накатить снова. Когда перекрывали Ангару и в проран летели бетонные кубы с надписями, должными увековечить это событие, на одном из кубов голубой краской, под цвет ангарской воды, было выведено её имя. Выводил кто-то один (она знала кто), но как бы по общему мнению. Годы и годы она крутилась в счастливой карусели работы, дружеских сходов, походов, розыгрышей, в ушах постоянно стоял шум подъёма и веселья, сердце билось возбуждённо, захватываясь общим могучим ритмом, и, по-деревенски замкнутая, она раскрылась, разговорилась, научилась смотреть смело и отвечать дерзко.

Но, порывисто вознесшись в общем вихревом потоке, она, как только он начал спадать, почувствовала это и остыла вместе с ним.

Это началось с переезда из посёлка гидростроителей в город, куда на смену мятежной и окрылённой кочевой молодости собирался оседлый и расчётливый народ — эксплуатационники. Кочевье укатилось дальше, на следующую стройку. Оставались пожинающие плоды, они обзаводились машинами, дачами, дефицитом и, как и всюду, где жилось льготно, острили и напитокывали ядом умы. Их оседлость была временной — до выработки стажа, до служебного возвышения, а там — на юг, где заранее возводились дома, или в столицы, куда отлетали избранным кругом вслед за одним, достигавшим высоты. К тому времени, когда окончательно вырисовывалось, во что превратилась великая стройка, в городе из высокоинтеллектуального «золотого» общества, каковым считали себя его представители, никого не осталось.

Город постепенно приобретал другую славу. На дешёвой электроэнергии выплавляли на самом крупном в мире заводе алюминий, на самом крупном в мире лесоконном комплексе варили целлюлозу. От фтора на десятки и сотни вёрст вокруг чахли леса, от метилмеркаптана забивали в квартирах форточки, законопачивали, щели, и всё равно заходились в удушливом кашле. Через двадцать лет после того как гидростанция дала ток, город превратился в один из самых опасных для здоровья. Строили город будущего, а выстроили медленно действующую газовую камеру под открытым небом. Народ пошёл на площади протесто-

вать, эти протесты, как и всюду, были использованы, чтобы свалить старую власть, но пришла новая — и сами собой протесты прекратились, потому что новая знала самый верный способ борьбы с недовольством: не делать одно лучше, другое хуже, а развалить без сожаления всё, и тогда в охоте за куском хлеба, хватаясь по-животному за любую жизнь, забудут люди о такой причуде, как чистый воздух и чистая вода.

Но это было позже. Позже и квартиру свою в городе, в хорошем доме, поменяла Пашута на микрорайон: отравлялась она в городе от аварийных выбросов с комбината до того, что лежала пластом, не в силах встать. Микрорайон же выстроили в стороне, верилось — там чище. Но разницы или не было вовсе, или она оказалась так мала, что её нельзя было почувствовать. Поменялась ещё и ради приплаты за большую площадь, которую оставляла, но разошлась эта приплата за три месяца. В микрорайон стала Пашута привозить на зиму мать. И где-то далеко-далеко, как в другой жизни, осталось, что растила она девочку, взятую из приюта, что сразу же после вдохновенной молодости пришлось надеть тягло матери-одиночки: работа, детсад, потом школа, подмены во время болезни девочки, нескончаемое рысканье по городу в поисках то молока, то лекарства, то тёплой одежды. С одиноких загнанных женщин молодость слетает быстро — и вот уже приходилось замечать, что всё меньше и меньше остается желаний, всё длиннее невидящий взгляд и всё пустынной и мимолетней дни. Не стало у Пашуты близкого круга друзей, не стало ярких праздников, опьяняющих привязанностей... Что случалось, случалось как бы из милости. Всё это ещё словно бы расставлено было перед нею с раскрытыми дверями, но никто не зазывал из них, как раньше, а самой стучаться уже и не хотелось.

От одного удивления не могла она освободиться: как из того, что начиналось тут, получилось то, что есть...

Пашута принесла в тазу воды, нашла махровое полотенце и раздела мать донага. Поворачивать, раздевая, было мукой, не околоченное до конца тело выгибалось в поясице с сухим хрустом — будто косточки ломались. А ведь предстояло ещё мыть, поворачивая с боку на бок, предстояло одевать, приподымая. Пашута накрыла голое тело простынью и торопливо вышла отдышаться.

Господи, что же она делает?! Можно же было, наверное, найти днём старушек, чтобы помыли и свершили обряд как положено!.. Но она не знала, где искать этих старушек. Обмывают знакомые, подруги по старости, возрастом и положением подготовленные для этой роли, а таких у Аксиньи Егоровны не было, никого она здесь, не выходя из квартиры, не знала. Не было их поблизости и у Пашуты, а ехать в город, зазывать женщин, с которыми она давно потеряла знакомство, не хотелось.

Но самое главное: если чужие руки будут обмывать, то и всё остальное придётся делать чужими руками. Нет, надо хоть сердце своё заменить, чтобы оно не пугалось, но справиться самой. И сразу сказать себе, что другого выхода у неё нет.

Матери совсем стало плохо месяца полтора назад. До этого она выходила к столу и с жалкой улыбкой ждала, когда ей нальют чаю. Всё жаловалась на воду — вода не такая, как в Лене, чем-то травленная. Спрашивала робко, нет ли письма из деревни.

— От кого ты ждёшь письмо? — Пашута не курила, но голос у неё был грубый, как прокуренный; меняется, становится бесформенной фигура, меняется и нутро. Этот голос пугал мать.

— Кто-нить, поди, напишет. Я Лизу просила написать. Как узнать без письма, чё там дееся.

— Никто нам, мать, не напишет. Не жди.

Не могла себя пересилить Пашута: «мама» не выговаривалось.

Это она подхватила месяца полтора назад, уже при Таньке, грипп и заразила мать. Та совсем перестала подниматься, её приходилось таскать на руках. Две недели кормили её с ложечки. Тело подсушилось, вжалось в кости и сделалось лёгким. Жила в это время Аксинья Егоровна в деревне и разговаривала не с Пашутой, которую не узнавала, а с Лизой, деревенской соседкой, расспрашивая её про корову, про сильно пьющего зятя, про внуков... Всех их она помнила по именам. Спрашивала как о живых, о давно умерших. И

голос у неё в разговоре с Лизой становился крепче, и память наплывала из глубин, и лицо разминалось — нет, деревня, деревня постоянно была у неё на уме, деревней она только и дышала.

В последнюю неделю она опять, пусть и с огромным трудом, стала подставлять под себя негнущиеся ноги, вошла в память. Но уже молчала — ни о чём не хотелось ей говорить, всё умолкало в ней. В смерть входила тихо и незаметно (а Пашута считала, что это она возвращается в жизнь), подолгу спала, почти бездыханно, лежа на спине кверху заострившимся маленьким личиком.

Во сне и оттолкнулась последним вздохом.

Пашута обмыла мать, справилась и с этим. Вернее, не обмыла, а обтёрла мокрым полотенцем. Кожа уже не краснела, оставаясь пергаментной, тело как бы налилось чем-то изнутри, разгладив лишнюю изношенность. И потом, когда одевала, ломая тело, почувствовала, как оно потяжелело.

Но перед тем как одевать в прощальные одежды, Пашута опять отдохнула. Каждое новое движение требовало всё больше решимости и сил. А ведь это только начало. Но она управлялась пока почти бесчувственно, без страдания, с какой-то стыльостью и глухотой, подгоняя себя: дальше, дальше... Не дочь это хлопотала над матерью, а какое-то неловкое и бездушное обряжающее существо, взявшееся не за своё дело. Ей и самой становилось страшно за свою опустошённость: уж человек ли ещё она? И страшно становилось, и нужно было пользоваться этой бесчувственностью, чтобы успеть.

Мать лежала прибранная, торжественная, со скрещёнными на груди руками, с расчёсанными волосами под тёмным платочком, завязанным под подбородком. Подвязаны были вместе и вытянутые, вдоволь набегавшиеся ноги. Такой покой был на её лице, будто ни одного, даже маленького дела неоконченным она не оставила.

Перед утром Пашута, не раздеваясь, прилегла ненадолго, чтобы обмануть отдыхом тело, особенно ноги, которые придётся в этот день таскать без жалости. И почему-то до рези устали глаза, будто она часами неотрывно смотрела на яркий свет.

Она полежала, должно быть, с час, не шелохнувшись и на этом экономя силы. И за четверть часа до шести поднялась, поставила чайник. Ей надо было успеть до того, как пойдут на работу. А ехать далеко. Ехать надо было в железнодорожный посёлок за тридцать километров от города, но входящий в городскую черту; такие же взмахи своей чертой город делал не в одну сторону, будучи разбросанным и представляя собой создание уродливое, бесформенное. На автобусе она доедет до вокзала, а там электричка. Должна успеть. Раньше не получится, она выйдет к первому автобусу. Но если всё-таки не успеет, не застанет дома — пойдёт искать на работу. Возвращаться ни с чем ей нельзя.

Только бы согласился Стас.

Она поехала к тому самому человеку, который впервые назвал её Пашутой, который говорил, что она сытная баба, такая, стало быть, что возле неё чувствуешь себя сытно, успокоенно. А он знал её. Лет восемь подряд, оба одинокие, потрёпанные жизнью, грелись они друг возле друга. То она приезжала к нему, то он к ней. Было это давно: всё, достойное памяти, было давно, последние годы только уродовали её и унижали. Она и связь со Стасом порвала оттого, что ей стыдно стало показывать себя, больную, расплывшуюся тоже «за черту». Встречались они теперь совсем редко; раз или два в году по обязанности доброго сердца он заглядывал, пытался растормошить её, упрекая за безволие, и уходил, она видела, расстроенным.

Стасом она называла его про себя, а перед ним — Стас Николаевич. Навсегда он остался для неё человеком другого круга — образованным, многознающим, собранным аккуратно в приятный порядок, так что не топорщилось ничто ни в одежде, ни в речи, ни в поведении. На стройке он начинал с диспетчерской, голос его разносился через громкоговоритель далеко — и всегда без крика. Потом как инженер поднимал алюминиевый завод. У него рано погибла жена, которую он очень любил, погибла у него на глазах во время спуска на резинках по горной реке, куда он её затащил, оставив ему, кроме трёхлетнего сына, незаживающее чувство вины. Сына пришлось отправить к своим родителям в Ря-

заны; тот, выучившись, там и остался. А Стас надолго сник, переходил с работы на работу, чуть было не ушёл в пьянку, но удержался и перебрался из города в этот пристанционный посёлок, купил здесь небольшой деревянный домик и, уже оформив в прошлом году пенсию, подрабатывал в столярке.

Кроме Стаса, не осталось у Пашуты ни одного человека, кому бы она могла довериться.

Она вышла к автобусу в темноте, забитой сырым вонючим туманом. Шла к остановке и билась в кашле. До чего же горазды они делать аварийные выбросы в туман — будто это туманом нанесло невесть откуда, а они здесь ни при чём. Но уже без возмущения вспомнила о них Пашута. Они и раньше были недосыгаемы, хотя и признавалось открыто, что творят беззаконие, теперь же и вовсе превратились в небожителей, обращаться к которым можно только с мольбой, превратились в признанных богов, дарующих кусок хлеба. А за него простится всё. И не к ним, как все вокруг, взыскивала Пашута, а к своему нездоровью, к своим грехам. За грехи наказываются.

Слабо толкнулось в неё: что-то мало народу в автобусе. Но как толкнулось: слава Богу, можно не давить тушей на ноги, а посадить её, пусть ещё ноги поберегутся. Но и в электричке было свободно. Пашута принялась рыться в памяти и вырыла с трудом, что сегодня суббота, день для нижнего густого народа нерабочий. Можно было и не торопиться. Сегодня жмут на свои педали, качающие деньги, всякие «куммерсанты», как выговаривала Аксинья Егоровна, да банкиры. Но они выходят позже и в автобусах не ездят.

Пашута не помнила, учится ли по субботам Танька.

В половине восьмого, на рассвете, когда чуть посинел туман, подошла она к дому Стаса с двумя окошками в переулок. За окнами стояла темнота. Досыпает Стас или нет дома? Она давно его не видела; у него был телефон, но ей и в голову не пришло позвонить. А когда бы она стала звонить? Ещё полсуток не прошло, как отбыла мать; это кажется, что давно. И пришлось эти полсуток на ночь. Решения, которые принимала она, были не результатом работы мысли, не сигналы, посылаемые в мозг и возвращающиеся с ответами обратно, направляли её — ничему она, оцепеневшая и затухающая, не сигналила, а словно бы отслаивалось что-то в нужный момент от корковатого сердца и подталкивало.

В восемь, не дождавшись из окон света от гидростанции, которую они со Стасом строили, Пашута позвонила. Нет, не зря строили: свет вспыхнул. Стас открыл без оклика. Вслед за ним, полуголым, ни о чём не спрашивающим, прошла она в дом, сбросила куртку и скорей убирать из-под тяжести ноги.

Они сидели за чаем в кухонке, в голом, без ставня, окне которой, засиженном мухами, летели космы тумана, путаясь в чёрных и острых ветках яблони, и виднелся навес с верстаком по левую сторону и поленицей дров по правую. Всё промозгло за сырую осеннюю ночь и стояло уныло. Рассвело мутным болезненным светом.

Пашута дорвалась до чая, пила и пила. Стас подливал уже дважды. Он был в старой меховой душегрейке-безрукавке, накинута на майку, крепкие руки ходили с силой. Потрескивала остывающая конфорка электроплиты в углу, а рядом, возле двери, потрескивал в печи живой огонь. В деревянных домах всё уживалось вместе — и старое, и новое. Передом печь выходила в кухонку, а задом в единственную и просторную комнату.

Пашута сказала о смерти матери, но о самом главном, ради чего приехала, молчала, ожидая подходящего момента. Встряхиваясь среди редкословного разговора, тревожно всматривалась она в окно: время шло. Время шло, а ничего не сделано, наступивший день начинал придавливать не снятым с него грузом. Так хорошо прежде бывало со Стасом! Она словно бы погружалась в другую, нереальную жизнь, даваемую за страдания, где всё к ней благоволило, всё приносило утешение, — и как из тёплой обласкивающей воды выходила потом на берег, встречающий холодным безучастием. Здесь, в этих стенах, она, казалось, и оставалась постоянно той своей частью, которая не потеряла радости, сюда приходила на свидание с нею, здесь пополняла свои душевные запасы. А Стас только устраивал эти встречи, приводил её, приходящую, потайными ходами к живущей в счастливом затворничестве.

А теперь и здесь её не сыскать.

Пашута наблюдала за Стасом: тот и не тот человек. Держался по-прежнему прямо и потому казался высоким, всё так же коротко стриг седую крупную голову. Рядом с нею он выглядел хоть куда, и она правильно сделала, отойдя от него, избавив Стаса от неизбежно явившегося бы чувства жалости и брезгливости. Но и в нём ещё глубже врезались морщины в продолговатое, мужественно вылепленное лицо с волевым подбородком — врезались густо и не подчеркивали, а скорее перечеркивали мужественность, оттеняли жизнь, потерявшую цель. И загас в глазах знаменитый высверк, вспыхивавший неожиданно и ярко, как молния, который умел сразить наповал. Глаза смотрели печально и терпеливо.

Тянуть было некогда. Пашута, как и по земле ходила тяжёлой поступью, и здесь двинулась к цели без тонкостей. Ничего, что можно было подостлать под просьбу, смягчить её, не находилось, она спросила напрямую:

— Ты, Стас Николаевич, не сделаешь нам гроб?

— Гроб? — нельзя было понять, удивился ли он. Но смотрел на неё длинным и пристальным взглядом, забывчиво держа на весу кружку с чаем. — Разве там не сделают гроб? У них правило: покойник ваш, а гроб наш. Разве не так?

Она покивала: так. И сказала наконец то, к чему уже приступила за ночь. Сказала с замедлением, вдавливая слова:

— Я, Стас Николаевич, задумала мать сама похоронить. Без них. Мне к ним идти не с чем.

Он невольно перешёл на тот же выговор, давая на каждое слово:

— Без них, дорогая Пашута, туда не попасть. Это не деревня. Сердце продавай, печень, селезёнку, душу... Теперь всё покупают, но иди к ним.

— Мою печёнку-селезёнку никто не купит. Я бы продала... — и с отвращением отказалась: — Вру, не продам. И продавать не буду, и к ним не пойду.

— У многих не с чем идти, не у тебя одной, — продолжал он, не убеждая, а отыскивая выход, который можно было бы предложить. — Но собирают как-то. Теперь так и хоронят: с миру по копейке. Соберём и тебе. Есть же у тебя родственники, друзья, знакомые...

Она освободила голос и — показалось — с облегчением ответила:

— У меня никого нет.

— У всех есть. Ты гордыню свою не выставляй. Не тот случай.

— А у тебя родственники, друзья есть? — спросила она, задетая «гордыней». — Что молчишь, Стас Николаевич? Есть они у тебя теперь? А сколько их увивалось возле тебя! Не разлей вода до гробовой доски! К многим ты пойдёшь, так чтобы ноги несли?

— Ноги наши по другой причине не несут. Ты путаешь...

Пашута перебила его. На неё, намолчавшуюся, настрадавшуюся, с ворохом обид, унижений, недоумений и горечи, теснившихся безответно в груди, обжигая её, нашло злое вдохновение — то самое, которое не выносит боль, а только её обнажает.

— А чего тут путать?! — перебила она. — Чего тут путать, Стас Николаевич? Не мы с тобой стали никому не нужными, а все кругом, все! Время настало такое провальное, всё сквозь землю провалилось, чем жили... Ничего не стало. Встретишь знакомых — глаза прячут, не узнают. Надо было сначала вытравить всех прежних, потом начинать эти порядки без стыда и без совести. Мы оттого и прячем глаза, не узнаём друг друга — стыдно... стыд у нас от старых времён сохранился. Всё отдали добровольно, пальцем не шевельнули... и себя сдали. Теперь стыдно. А мы и не знали, что будет стыдно. — Она помолчала и резко повернула, видя, что уводит разговор в сторону, где только сердце надрывать. — Дадут! — согласилась она. — Если просить, кланяться — дадут. Те дадут, кому нечего давать. Из последнего. Ну, насобираю я по-пластунски, может, сто тысяч. А мне надо сто раз по сто. Нет, не выговорится у меня языком — приходите и просить. А чем ещё просить — не знаю.

Стас осторожно напомнил:

— У тебя ведь дочь есть.

— Дочь мне неродная, — глухо сказала Пашута. — И живет она с мальчонкой в последнюю проголодь. Девчонку мне отдала в учёбу. Живёт одна, без мужика. Это вся моя

родня. Дальняя есть, но такая дальняя, что я её плохо знаю. Нас у матери было четверо, в живых я одна. Всё ненормально верно ведь, Стас Николаевич?

— Не паникуй. Куда твоя твёрдость девалась?

— Остатки при мне. И то много. С нею-то хуже. Она не для воровства, не для плутовства у меня, скорей в угол загонит.

Туман разошёлся, света за окном стало больше, но оставался он серым, утомлённым. Поддувал ветер. Яблонька томилась такой тоской, высветившись ещё черней и корявей и поскребывая ветками по стеклу, что на неё было больно смотреть. Никак не могла затянувшаяся осень проломиться в зиму, никак не набирался сухой мороз, чтобы упал снег. Слишком заморилось всё.

«Но земля, слава Богу, талая», — подумала Пашута. И опять стеснило её надвигающимся днём: ничего она пока не добилась. А пора, пора...

— Ну, сделаю гроб, — спрашивал Стас, — и куда ты с ним? Дальше-то что? В какую контору, под какую печать? Это же всё потребуется!

Пашута и здесь кивнула: потребовалось бы... Но не потребуется.

— Я тебе ещё не всё сказала, — и, говоря, смотрела на него пристально, не отводя глаз. Он упомянул о твёрдости — вот она, твёрдость. — Мне ничего не потребуется, Стас Николаевич. У нас не будет свидетельства о смерти, потому что не было прописки. И здесь, наверное, можно добиться... За деньги теперь всего можно добиться. — Сделала паузу, говорящую, что не ей этого добиваться. И повторила: — Мне нужен гроб, Стас Николаевич. Я сама вырою могилу.

— Где?

— У нас за пустырём лес. Место сухое. И от меня недалеко.

На Стаса это произвело впечатление. Он поднялся, завис над столом на длинных руках.

— Но это же не похороны, Пашута. Это же — зарыть!.. — он сдержался, не стал продолжать.

— Зарыть, — согласилась она.

— Взять и зарыть?! Ты с ума сошла, Пашута! Ведь она у тебя русского житья была человек. А ты — зарыть!

Он перешёл на шёпот. На шёпот гремящий.

— Дай Бог, чтобы тебя не зарыли, Стас Николаевич. А мы — ладно. Я и на зарытьё согласна, — и вернулась: не о ней сейчас речь. — Если будет гроб, всё остальное я сделаю сама.

— Ка-ак? — добивался он. — Ты всё продумала, но как? Как ты повезёшь, как ты землю будешь бить? Там же, наверное, камень... В городе! Там же город, люди! Всё это надо отставить, Пашута. Отставить! Это же человек, мать твоя, а не собака! — И ещё одно со страхом вспомнил он: — Ты и попрощаться с нею людям не дашь.

— С ней тут некому прощаться, — Пашута смотрела в окно куда-то далеко-далеко, чувствуя, как в глаза наплескиваются слёзы. Но нет, не заплакать, ни за что не заплакать. — Завезла я её в такое чудесное место, что никто тут её не знал. Она и на улицу почти не выходила. — Пашута встряхнулась. — Ладно, Стас Николаевич, нет — так нет. Скажу я тебе самое последнее. Денег у меня нет, ничего нет... Но если бы и были... Знаешь, кажется мне: всё равно надо было бы так сделать.

— Ты не была сумасшедшей, — хмуро ответил он.

— Ох, какой я была, Стас Николаевич! Разве теперь сравнить! — и выбило разом все запоры, хлынули слёзы, и, не успев подложить руки, стукнувшись о стол головой, затряслась в рыданиях, вырывавшихся рваным некрасивым клёкотом.

Стас растерянно ходил рядом, гладил её по голове, по пегого цвета спутавшимся волосам, отходил и снова молча гладил, ощупывая, с какой-то беспомощной слепотой в руках и глазах. И сам теперь, своим опытом и умом шёл той дорогой, которую выбрала Пашута, всматриваясь, где могут быть непроходимые места. Они были всюду от начала до конца.

Пашута заставила себя успокоиться и подняла голову. Он спросил:

— Когда ты хотела это сделать?

Она не стала ломаться, понимая, что заставила его согласиться.

— Завтра воскресенье. Люди спать будут.

— Да ведь по обычаю на третий день?..

Что было объяснять? Всё тут поперёк обычаев, за всё отвечать придётся. Пашута после слёз закаменела ещё больше. Стас перешёл в комнату и кому-то звонил.

— Серёга, — говорил он в телефон. — Подходи-ка ко мне. Очень ты мне нужен. Давай-давай, Серёга, по пустякам я бы тебя не погнал. Подходи.

Пашута подковыливала к дому, когда заметила Таньку, стоявшую в отдалении, среди чахлах топольков, которыми дом пытался зарыться от дороги. В синенькой курточке с откинутым капюшоном, с непокрытыми льняными волосами, как-то особенно чисто и грустно светившимися в пасмури дня, она бродила тут, должно быть, давно. Шёл двенадцатый час. Пашута приостановилась, поджидая несмело приближавшуюся девчонку.

— Я тебе сказала — до вечера не появляться! Что ты тут делаешь?

Танька молчала, быстро и с испугом вскидывая на Пашуту и опуская глаза.

— В школе была? — Пашута училище называла школой. Да ей, малолетке, в школу бы ещё и ходить, а не в заведение, где чего только не наберётся.

— Н-нет.

— А кто будет платить за твои «нет»?

В училище за каждый пропущенный урок и за каждую двойку полагалось платить — всё мужающими тысячами. Ушинские и Сухомлинские, предлагавшие свои известные воспитательные системы, до этого не додумались. Чтобы додуматься — нужны были умы решительные, дерзкие, широкого государственного размаха, и время их немедленно представило.

Танька набралась духу, подняла на Пашуту своё белесое, в конопушках, круглое лицо, вздрагивающее от недоброго предчувствия:

— Что у нас случилось, бабушка? Почему ты меня выгнала?

Пашута тяжело думала, что сказать, как поступить с девчонкой. Вечером она не додумала — и вот Танька здесь.

— У нас что, старенькая бабушка померла?

— Пойдём, — подтолкнула Пашута девчонку поперёд себя. Теперь уже ничего другого не оставалось.

В квартире стоял запах — ещё не тления, но горя. В жилых стенах пахло запустением и горечью, в них поселилось бестелесное существо, приходящее в тяжёлые дни, чтобы справить какой-то свой ритуал. Пашута приноживалась, пахло как от овчины, из которой не вынашивается дыхание жизни, её породившей.

Танька скинула курточку, прошла и села, приготовившись к разговору, на свою кушетку, нервно поводя глазами и сложив руки на сдвинутые колени. Кровать Пашуты стояла в той же комнате за шкафом. Теперь они смогут разехаться, у каждой будет своя комната.

— Пришла так пришла, ладно, — начала Пашута, выходя от матери. — Может, оно к лучшему. Старенькая бабушка у нас умерла, это ты верно догадалась, — голос её при этих словах не изменился, не дрогнул, она думала о чём-то, чему появление девчонки всё-таки мешало. — Бабушка наша правильно сделала, что не стала тянуть. Не смотри на меня так, я старуха грубая. А прикидываться разучилась. Бабушка и пору выбрала самую подходящую — перед зимой. Она нам всё устроила как лучше. А теперь, Татьяна, слушай, — она опустилась с девчонкой рядом на кушетку: — Бабушку я буду хоронить наособицу. Крадучись буду хоронить, ночью, чтобы люди не видели. На кладбище везти — денег у нас с тобой нету. А побираться я не хочу. И ещё слушай. Ни матери, ни кому другому я не дала знать. Потом скажем. И ты куда молчи.

Танька сидела, замерев, уставив глаза в стену.

— С этого момента придётся тебе стать совсем взрослой, — продолжала Пашута. — Некогда нам дожидаться, когда это само произойдёт. Отгуляла детскую радость... хотя и

такой радости, девочка ты моя, у тебя, однако, было не много... Принимайся-ка теперь за долю. Будет у тебя всё, будут и радости... А пока придётся нам горемычество принять, — и, помолчав, подтолкнула к первому шагу: — Иди, взгляни на бабушку.

Танька пошла. Пашута осталась сидеть: не вздымали ноги, ныли пронзающими тукающими ударами. Но можно было поддаться теперь ненадолго и слабости — после проявленной силы. Она вернулась от Стаса, добившись большего, чем ожидала. Теперь, если ничто не сойдётся с хода, а самое важное — если ничто не воспротивится незаконному ходу, будет легче. У могилы матери, когда встанет она перед могилой (а так далеко ещё до этого и так ненадёжно!), когда взглянется Судия недремный, что же такое там бесславное происходит и кто это затеял, она не станет прятаться. Видит Бог, Стасу это было совсем не по душе.

Вышла Танька, присела рядом, вздрагивая и испуганно прижимаясь. Пронзило девочку. С этого дня и без наставлений Пашуты ей станет не просто пятнадцать, а пятнадцать с этим днём, который потянет ой как много. Не мать жалко, не себя, а её. Мать и грехи с собой понесла... Господи, какие у неё грехи! — вся жизнь в работе и робости; на себя Пашута давно махнула рукой, довлачиться бы только каким угодно ползком до конца... Но легче жить без надежды, чем умирать бессветно. Танька — девочка ласковая, в лесу сохранилась. Надо не потерять её, в городе на каждом шагу погибель. Господи, что это за мир такой, если решил он обойтись без добрых людей, если всё, что рождает и питает добро, пошло на свалку?!

— А бабушка верила в Бога? — спросила неожиданно Танька.

Пашута обернула к ней лицо и внимательно всмотрелась. Вот так недовлетка! Она спросила то, что Пашута боялась додумать. «Там разберутся», — казалось ей. Там-то там, но и здесь, выходит, надо разбираться. Вот этого она и избегала — разбираться здесь. Одно дело — грубо, вопреки правилам, спровадить неприкаянную душу, и совсем иное — если и там у души дом родной, где её ждут.

— Не знаю, — угрюмо ответила она. Ответила не только Таньке. — Как, поди, не верила — она старого житья была человек.

— Она просила, чтобы я ей в церкви иконку купила...

— А ты купила? — напряженно спросила Пашута.

— Маленькую такую. Богородицу. В ладошку входит.

— А как я не видела?

— Она на этажерке стоит. Ты не заметила.

Пашута задумалась. Она легко уходила от разговора и теперь думала о том, что надо подниматься и выстраивать в новый, более определённый порядок намеченное дело. Засиделась. Почти наяву она видела, как дело выгибается к ней странной, ненаполненной, схематической фигурой, чтобы поторопить. Но так не хотелось отлепляться от девочки, как никогда, ищущей сегодня ласки и слов!

— Крестить тебя надо, — вспомнив, о чём говорили, сказала она.

— А ты крещёная?

— Нет! — с такой лёгкостью, как сейчас, твердел у неё голос и с таким трудом мягчел. — Я выпала, обо мне нет разговора. А тебе жить.

— Но я видела: совсем старых крестят.

— Ты, значит, бываешь в церкви?

— Мы с Соней из интересу заходим. Совсем старые есть, которые от советской власти родились...

— От кого родились? — охнула Пашута.

— Ну, это так говорят.

— Говорят... Как это у вас все ловко говорится?.. Ладно, — решительно предложила она. — Поднимаемся, что ли?

И — промедлила. Танька вдруг прильнула к ней, обняла, ткнулась головой в грудь. Пашута растерялась:

— Ну, что ты! что ты!



— Бабушка, ты разговаривай со мной, разговаривай!.. — отчаянным шёпотом рвалось из Таньки. — Ты молчишь, я не знаю, почему молчишь... Я не маленькая, пойму. Почему ты вчера не сказала мне?.. Ты думаешь, что я неродная, а я родная... хочу быть родной. Хочу помогать тебе, хочу, чтобы ты не была одна! Мы вместе, бабушка, вместе!..

Пашута застыла. Сегодня она уже дала слабину — у Стаса, когда разрыдалась. Если ещё раз пустит слезу — дело плохо. Она приказала себе замереть, чтобы ни звука не вырвалось из её недр, пока не откатит волна сладкой боли, перехватившей горло, так давно не испытываемой. Что-то ещё осталось в ней, что-то вырабатывает эти чувствительные приступы. Она успокоилась и лишь после этого в ответ обняла Таньку, прижала неловко и пообещала:

— С кем же мне ещё разговаривать, как не с тобой! Больше у меня никого нет.

— Мне шестнадцать будет — я могу в подъезде мыть. Или телеграммы разносить — я узнавала. Я могу... я могу, бабушка! — сорвалась опять Танька на слёзный шёпот. Она выпрямилась и, моргая часто от слёз и напряжения, искала, искала в Пашуте перемен, которые могли произойти от её порыва. Она бы хотела, подняв голову, увидеть Пашуту совсем другой — ласковой и доступной. Пашута понимала её и ненавидела себя ещё больше.

Она сказала:

— Прокормимся, Татьяна.

Не выговорилось у неё: спасибо, милая девочка, вот мы и породнились ещё ближе.

— Давай дверь откроем, — предложила Танька, поднимаясь первой. — Она там совсем одна.

Сама же и растворила дверь.

Как в жизни была Аксинья Егоровна незаметной, тихой, всё старающейся спрятаться в закуток, так и теперь лежала она сиротинушкой, и в смерти, в единственный день, отпущенный ей для внушения остающимся, не взяла главного места. Ни одной обиде не оставила она попрека. Морщинистое лицо, ещё вчера досуха обтянутое кожей, разгладилось от какого-то последнего посмертного дуновения. Вид матери, торжественный и смиренный, как бы подтверждающий, что ни за что она по лихой године не взыщет, ненадолго успокоил Пашуту: всё должно получиться. Но уже у дверей, уходя, чтобы купить обивку для гроба и что-нибудь для завершающего дело стола, она опять ощутила нескончаемость и неподатливость своего вызова, который должен быть уложен в строгие рамки времени.

А ведь моросило. Не дождём еще, а мелким вязким бусом, налипающим на одежду. Всё кругом было затянуто угрюмой тяжёлой завесью. Время обеденное, а дня уже нет.

В пятом часу постучал парень и, когда впустили его, коротко и угрюмо спросил:

— Сюда?

— Сюда, — ответила Пашута.

Ни он не знал их, ни они его, но никакой чужой человек прийти в эту квартиру не мог. Никто в Пашуте не нуждался, никто к ней давно уже не заходил, не пойдут и лихие люди, снаружи умеющие видеть, за какими дверями живёт бедность и за какими богатство.

Это и был Серёга, от Стаса Николаевича, — невысокий, широко и могуче сбитый, со щёткой усов, которые называют пшеничными. Невесёлое предстояло ему дело, и всем своим видом он не скрывал, что «мобилизован», выглядывая из глубоко сидящих глаз с сочувствием и одновременно с досадой. Присесть отказался.

— Поедем, тётка, смотреть, куда что, — нетерпеливо сказал он. И в том, что назвал «тёткой», как в автобусе или на базаре, тоже чувствовалось недовольство: день сорван, сорвана и ночь, а это значит, что завтрашнего дня тоже не будет. — Может, света хоть немножко прихватим, — мрачно, в тон погоде добавил он.

А его уже и не было, света-то. Задёрнуло его низким сырым небом, забило всё сочащимся сеевом. В окне стоял полумрак. Размыто, как высокая гора, темнел лес за пустырьём, куда предстояло ехать.

Пашута принялась торопливо одеваться. Танька из дверного проёма в большую комнату смотрела на Серёгу с испугом — как на вестника чего-то неземного, страшного. Ей жутко было остаться наедине с покойницей и жутко было napроситься поехать куда-то в

надвигающуюся темноту вместе с этим суровым посланником происходящей вокруг неотвратимости. В полинявшей штормовке поверх свитера и разбитых кирзовых сапогах, плотный, сильный, Серёга держался до того уверенно, прочно, что Пашута опять успокоилась. Она влезла в ту же куртку и те же сапоги, что и утром, других сапог для опухших ног у неё не было. Танька выслушала наказ сварить принесённое Пашутой мясо, а кроме того, сварить ещё и кисель — беспрекословно, в этот момент и не понимая, что от неё требуется. Она бросилась к окну, когда вышли, и сквозь водянистый полумрак рассмотрела, что садятся в зелёную «Ниву», которая тронулась сначала вправо, к соседнему микрорайону, но остановилась и принялась разворачиваться влево, к дороге, ведущей в аэропорт.

«Если ехать от микрорайона, с той стороны и в лесу ещё могут шататься, — рассудила Пашута. — Лучше подняться от дороги, там от жилья далеко, там и в добрую погоду ходят меньше». Но кому в такую мокреть ходить? Что тут сейчас делать? Погода самая воровская, но для какого-то особого, как у неё, у Пашуты, воровства, от которого страдает не собственность чья-то, а сами человеческие устои. Против чего-то слишком серьёзного и святого выступила Пашута; как знать, не держитесь ли сейчас, в эти минуты, всемогущий и справедливый совет: допустить ли, даже из милосердия, её готовящееся покушение... На что покушение? — Пашута до сих пор не решалась додумать.

Они съехали с асфальта, как только сосняк справа из мелкого поднялся выше. Показывала, куда ехать, и сама не зная куда, Пашута. Оба микрорайона вокруг оврага лежали в сбившихся в кучу мелких дрожливых огнях. Пашуте хотелось, чтобы с места, которое они выберут, виден был её дом. Она узнает его по трамплину, он и сейчас изгибался над высоким берегом оврага как мостки, под которыми ходит, казалось, тёмная вода.

Но — если видеть дом, смотреть пришлось бы, откуда ни возьми, со свалки — так был захламлиён, набит стеклом, завален банками и пакетами, зачернён кострищами, затоптан и загажен ближний к оврагу и городу лес. Надо отодвигаться дальше. Но отодвигаться так, чтобы не уехать. Иначе не достать потом Пашуте с её неходячими ногами.

Выехали на полянку среди редколесья; Серега затормозил и первым вышел. Выбралась, уже видя, что нашли, и Пашута. Вокруг стояли сосны, а с тёмной, с северной стороны высоко и могуче вздымались из одного корневища, расходясь, как сиамские близнецы, на высоте человеческого роста две листовницы. Других таких во всём лесу быть не могло. Будут стоять как сторожа над материнской могиле. Да, здесь разводить могилу, ничего другого можно не искать. Полянка небольшая, но, должно быть, весёлая и приветливая при свете и солнце, в мягкой хвойной подстилке с негустой травой. Из города слабо промелькивали сквозь лес огни, но город оставался недалеко, и утробный гул его стоял в воздухе. Но он слышен и на кладбище; для тех, кто переезжает туда, есть, кроме расстояния, ещё одна защита. Будет она и здесь. Надо только поглубже её сделать.

Серёга сбросил с машины лопату и ломик, велел Пашуте оконтурить «работу». Он так и сказал — «работу», не прибегая к слову, которое не хотелось произносить. По городским огням Пашута сориентировалась, где восток и где запад, чтобы правильно развернуть могилу, и сделала надрез. Пока совсем не стемнело, Серёга поехал вмять в землю напрямую к дороге след. Пашута слышала, как на обратном пути он метит деревья затесями, показывающими дорогу. Вернулся, отнял у неё лопату и заработал, как машина.

Стемнело до чуть сквозящей темноты и остановилось. Небо по-прежнему было глухо затянуто, по-прежнему моросило, уж не бусом, а мелким тихим дождиком, но различимый отсвет чего-то огромного, излучающегося сквозь любую преграду стоял над землёй подобно свечению единой всечеловеческой жизни. Непогода пригасила электрическое зарево города, придавила многие и многие тысячи огней, взмелькивающих как-то сиротливо и обречённо, а этот неизвестный и глубокий подтай ночи загасить была не в состоянии.

Продёрнуло сквозь лес холодным ветерком, шумнуло в соснах и стихло, через минуту опять.

Серёга сгибался и разгибался, сгибался и разгибался, уже по пояс в яме. Ему приходилось капывать, и вёл он углубление ступами, аккуратно складывая землю с левой от себя стороны. Почва оказалась слоёная, вслед за чёрной землёй шла глина, в которую лопата

входила вязко, но податливо, затем глина с песком, и зашуршало, зашуршало, стекая с холмика обратно, затем заскреблись камни. Серёга выбрался за ломиком, осветил фонариком дно. Там лежал плитняк. Он снова спустился и пошёл крушить плитняк ломиком, вымахивая удары мощными движениями. Плитняк поддавался лому, но не брался сапёрной лопатой. Серёга стал выбрасывать его руками.

Ветер трогал всё чаще и чаще, нахлёстывая дождём. В соснах от дождя и от ветра шумело не переставая, и этот шум тоже был кстати, без него удары железа о камень раздавались бы далеко. Всё было до везения кстати. Прятаться в машину, куда отправлял её Серега, чтобы не мокла, Пашута не хотела. Почему-то надо было мокнуть и мёрзнуть, но быть рядом с этой всё углубляющейся прямоугольной ямой, присутствовать при её творении. Никаких чувств она не испытывала, а только присутствовала. Холодность, безразличие, равнодушие пугали её всё больше; она спрашивала себя, понимает ли, что это могила матери со стуком разверзается перед нею, бездна, которой мать будет поглощена навсегда, и казалось ей, что не понимает. Не хватало для этого ни ума, ни чувств, ни представлений, всё укорачивалось, слабело, отмирало. Похоронит мать, и надо будет думать, как быть с собой.

Серёга вылез и отряхнулся.

— Поехали, — сказал он.

— Мало, — решительно возразила Пашута и взяла у него фонарик, осветила. — Мало, парень.

— Знаю, что мало, — ответил он без раздражения. — Остальное потом. Сейчас надо ехать.

Спустились на асфальт, и он остановил машину, вышел, что-то примечая, затем для верности снял на бумажку цифру со спидометра. Работа примирила его с выпавшей ему ролью, и, мокрый, измазанный грязью, он повеселел, воодушевился, готов был разговаривать.

— Место мы с тобой хорошее выбрали...

— Хорошее, — согласилась Пашута.

— Вот думаю: не бронировать ли у тебя рядышком? Не люблю толкотню, тоже на высылки не отказался бы.

— Тебе до этого далеко... — в машине с включённой печкой Пашута стала согреваться, нагрелись в ней и чувства, она говорила искренне. — Было бы кому передать свою волю, мне-то рядышком с матерью Бог велел.

Серёга понял это по-своему:

— Припекло тебя?

— Припекло.

— А ты сопротивляйся.

— А я что делаю? Зачем ты мне землю долбил, если не сопротивляюсь?! Только как: одни сопротивляются — хочу жить. А я не хочу так жить, не умею. У меня ноги больные — на колени падать. И спина не гнётся.

— Бабы должны быть нежные или такие, как ты, — сделал Серега вывод. — Можно пополам. А они вздорные пошли, дёрганые.

— Сказать тебе, какие мужики пошли?

— Я знаю. Мужики пошли как танки — для выполнения боевого задания. Без мозгов. Кто заплатит, тот и стреляет из такого мужика.

Высаживая Пашуту возле дома, Серёга предупредил:

— Я у Стаса сосну часок, потом приедем, если у него готово.

...Танька спала, свернувшись клубком на кушетке. Мясо на электроплите уже и не варилось, а жарилось в выкипевшей кастрюле. До киселя дело не дошло. Девчонка уснула со страха, и взysкивать с неё было бы грешно. Не стала и Пашута возиться с киселём. Разве можно одним киселём обмануть отвергнутый порядок?! Столько было хлопот, что она не знала, за что взяться, но всё это могли быть хлопоты из старой обрядности, а Пашута шла мимо, не заботясь о ней, поэтому можно было, казалось, ничего не делать.

Она только и смогла заставить себя — почистить картошку. Мужиков, когда вернутся они из леса, надо накормить. Поминками это назвать нельзя, а накормить, налить рюмку надо. Картошка была мелкая, чистить её приходилось, заперев и мысли, и сердце, уткнувшись в одно только это занятие. Мелкая — придётся жарить в духовке.

Кажется, это называется: картофель по-французски. Русское горе по-французски звучит красиво.

Стас с Серёгой приехали только под утро. Первым прокрался Стас, постучал тихонько, и следом за ним, обхватив сбоку руками длинный прямой предмет, обёрнутый в мешковину, поднялся Серёга. Он подал этот предмет в дверь Стасу, тот принял и поставил стоймя к стене направо. Запахло деревом, смольём.

Чтобы не топотить, скинули сапоги, говорили вполголоса. Вдвоём — не загремело бы — развязали мешковину, скинули её, цепляющуюся за углы, и приняли гроб на руки, почтительно держали его с двух концов, пока Пашута не подставила табуретки. И как только здесь же, в маленькой прихожей установили его, новенький, из свежей золотисто-янтарной сосновой доски, остро и сладко пахнувший, не просто скаляканый в четыре доски, а высокий и просторный, солнечный, к изголовью расходящийся, а в ногах поуже, с горбатой крышкой, да как только сняли эту крышку и открылась теплоприимная обитель Аксиньи Егоровны — это было уже не изделие рук Стаса, над которым он провозился весь день, а нечто, явившееся по высочайшей воле, огромное, важное, заполнившее не одну лишь квартиру, но весь дом. С незапамятных времён называют эту обитель человеческой бренности домовиной. Боковые ребристые стены её, под углом расходящиеся, чтобы не тесно было в локтях и не давило грудь, и снова сдвинутые, шатровый потолок, общая ее форма, «архитектура» — всё внушало почтение и трепет, от всего замирало сердце.

Домовина для Аксиньи Егоровны была выстроена по первому разряду, ничего не скажешь. Грех обижаться. Но эту домовину нужно было ещё выстелить теплом и убранством. Красный материал для обивки Пашута купила. Залезла в долг, истратилась, но материал был под стать гробу — праздничный и суровый. Им она и принялась выстилать ложе, закрепляя его кнопками. Стас помогал ей. Разговаривали шёпотом. Серёга попросил чаю, Пашута отправила его в кухню распорядиться самому. Опоздали из-за него: он, захав домой, уснул.

Ничего не умела, ничего не знала Пашута из обряда, на похороны ходила в провожающих, не заглядывая в правила. И сейчас она выстилала домовину по своему разумению: обила тряпкой ложе и крышу, под спину подложила лёгонькое стёганое одеяло — не из новых, под голову подушечку — как для сна.

И надо было торопиться, и не торопилось, движения сдерживались сами, отмеряя положенный ритм.

А много ли прибора? Пашута выпрямилась и кивнула Стасу. Вдвоём, не отрывая от табуреток, они перенесли гроб, поставили его рядом с кроватью Аксиньи Егоровны. Подняли её, подхватывая с двух сторон под спину, опустили в новую хоромину. Удобно легла Аксинья Егоровна, не тесно. Пашута поправила ей руки, платок на голове; вспомнив об иконке, сняла её с этажерки и положила под руки.

Вот теперь дома. Теперь дома, Аксинья Егоровна, и вместе с домом поедет прибавлять земли. Поедем в истинные отчие пределы, где тебя заждались. Только это и выскреблось из сердца Пашуты, ворочающегося медленно, гулко, как из-под гнёта.

Проснулась Танька и стояла в дверях, глядя на происходящее расширенными от ужаса глазами. Старенькая бабушка лежала лицом к ней, и так много за полминуты сказало ей это лицо в раме гроба, успокоенное, освещённое нездешним светом, обращённое к ней одной, что чувствительная душа девчонки опалилась. Не бездыханно лежала Аксинья Егоровна перед Танькой, а стояла, как и она, в раме выходной двери, обернувшись всем телом для прощания. Сколько потом придётся пытаться себя — всю жизнь! — чтобы понять то обосветное, что говорилось ею.

Пашута укрыла мать сверху белым, аккуратно подоткнула со всех сторон, постояла с минуту и пошла собирать сумку. Стас с Серёгой опустили на домовину крышку и вдавили

наживленные гвозди. Всё без стука, с редкими, приглушёнными словами. Наблюдая, как они обуваются, Танька вдруг поняла, что сейчас уйдут, уйдут все, вместе со старенькой бабушкой, и только её собираются оставить здесь. Она закричала, не сдерживаясь:

— И я! И я! С вами! Вместе!

На неё зашикали, Танька испугалась ещё больше, со стоном повторяя:

— И я! И я!

— Куда её? — тяжёлым шёпотом спросила Пашута.

— Некуда, — пожал плечами Серега. — Заднее сиденье мы убрали.

Танька умоляюще смотрела на Стаса, чувствуя в нём главного. Вот что значит: нет лица — один страх, одни слёзы, одна мольба. Стас сдался.

— Как-нибудь поместимся, — сказал он.

Собрались, приготовились. Насторожили Аксинью Егоровну ногами вперёд. Зашли слева, подняли её на длинных полотенечных жгутах, приобнимая гроб правыми руками, открыли дверь, тронулись. Пашута придержала Таньку — пусть снесут — и встала у окна, чтобы видеть, когда выйдут. Всё тайком, всё как у татей.

На улице серело. В холодном предсветье было сыро, но без дождя. Похватывал порывами ветер. Пашуту усадили на переднее сиденье рядом с Серёгой, Стас с Танькой устроились позади, рядом с Аксиньей Егоровной, домовина которой высовывалась наружу. Потянут в гору — начнёт она скатываться... Но сейчас важно было скорей отъехать с глаз долой, укрепят потом. Скорей, скорей!..

«А ведь везёт. Пока везёт», — думала Пашута, уставившись в раскрывающуюся перед светом фар дорогу. И уже не её — посторонней мыслью продолжилось: «Можно было всё это среди бела дня делать. Никто бы внимания не обратил. Никто сейчас ничего не видит».

На выезде из города остановились, подвязали заднюю дверцу, накинули на гроб петлю из того же полотенечного материала, концы её Стас намотал на руку. Танька с ужасом смотрела, как он садится на гроб верхом, точно взнуздав его, точно собираясь подстёгивать. Но, должно быть, и Стас разобрался, что сидит он нехорошо и встал на колени рядом.

Серёга всё-таки потерял сворот. Отметил, до метра отметил, сколько от него до подъезда Пашутиного дома, а обратно, включив скорость, память не включил. Остановился и раз, и другой, но в нечистой мешанине тьмы и света, угарных городских выбросов и морозка след разглядеть было невозможно, а лес справа возвышался сплошной, глухо ворчащей под ветром стеной. Шёпотом выругавшись, Серёга решительно повернул назад.

Обратно поехала Асинья Егоровна, должно быть, первая из покойников.

— Шесть километров четыреста метров, — мрачно, как пригрозил, уже громче объявил Серёга.

Пашута не приняла разворот за дурной знак. Если всё от начала до конца не так, то по нетаку и это так. Но светало, светало, над городом обозначилось небо. Она прикрыла глаза, прислушиваясь, как ездит в просторной домовине мать.

Через шесть километров четыреста метров от подъезда Серега остановился, сделал вперёд шагов десять и красноречиво вскинул руки в сторону леса. Нашёл. Теперь в гору, в гору... На вымокшем скользком подъёме натужно ревел мотор.

И били, били камень, теперь уже вдвоём, сменяя друг друга. Били кайлом и ломом, от могучих, на весь вынос сил, ударов Серёги сотрясалась поляна. Рассветало мутно, день опять обещал быть слепым. В соснах ходил гул ветра; накатывался с запада, где стояла тайга, и здесь, возле поляны, обрывался в пустоту, точно разбивался о берег, скатываясь слабым выдохом обратно. Снова вал и снова с отдачей назад и срываемыми с неба мелкими редкими брызгами.

Аксинью Егоровну оставили в машине одну. Танька ушла в лес, Пашута топталась возле мужиков, то подходя взглянуть, то отходя присесть на выброшенные из машины доски. Когда спускался вниз Серёга, казалось, что осталось только подчистить, но вот он, вспотевший, взлохмаченный, с набившейся в усы землёй, выбрасывал своё тело наверх, наступала очередь более высокого, едва не на голову, Стаса — и видно было: мало. Без оголожи, без догляда опустить следовало дальше. Сидя на коротких, сложенных одна на дру-

гую досках и глядя на торчащий из машины гроб, прислушиваясь к гулким размеренным ударам заостренного железа о камень, Пашута раз за разом забывалась до беспамятства от напряжения и двух подряд бессонных ночей, с трудом приходила в себя, ещё пытливей и ещё тупей всматривалась в гроб, ждала, когда её проберёт стыд за неспособность к боли и, не дождавшись, встряхиваясь от онемения, поднималась. Поднявшись в очередной раз, она заметила, что Стас удлиняет могилу новым надрезом в изножье, чтобы отступить от неподатливого огромного камня в изголовье. Просторной вышла для Аксиньи Егоровны домовина, но ещё просторней выходила могила. А вокруг такой простор под солнцем, что лежи не тужи, такой перебор ветра в тяжёлых тугих ветках, что днём и ночью будет звучать музыка.

Господи, как хорошо не видеть того, что делается на этой земле!

Пашуту подтолкнули: рядом с могилой на деревянных брусках, нарезанных для полатей, уже стояла домовина с Аксиньей Егоровной, её открытое, успокоенное, сухое лицо было подставлено небу. На лицо падали снежинки. Они взволновали Пашуту больше, чем всё, происходившее здесь до сих пор. Она хлопнула неразборчиво и обрадованно, звуком, в котором смешались горечь и утешение, боль и порыв, опустилась перед матерью на колени, только для неё одной выдохнула «прости» и прикоснулась к холодному твёрдому лбу поцелуем. Ткнулась и Танька в старенькую бабушку и отпрянула, не отводя оцепеневшего взгляда, попятилась.

Дали ещё полежать Аксинье Егоровне под небом, с которого, набираясь, спадал снег. До чего кстати этот снег — словно всем им даровалось прощение за незаконные действия. Словно высшая сила сникала над человеческой слабостью и своевољством. Ветер затихал, прохаживаясь остывающими порывами, небо белело, и лиственницы-близнецы, возвышающиеся над соснами, стояли в нём красиво и грозно.

Пашута пристально смотрела, как опускают гроб, как вытягивают из-под него верёвки; беззвучный стон пронзил её, когда Серёга спрыгнул сверху на гроб и принялся наставлять стояки для полатей, которые ненадолго защитят тело Аксиньи Егоровны от каменного гнёта. Днём, как она представляла, вместе с матерью и половина её, Пашуты, отделится и уйдёт в могилу. Что ушло, понять было нельзя. Но ушло, меньше её стало, и стучащие о доски камни, осыпающийся, плотно закрывающий поры песок начинали давить и её, она хватала ртом воздух, жадно подставляла лицо под снежинки.

Не похожи лицами были они с матерью, но Пашута сейчас видела только сходство. Дышала, дышала учащённо и жадно — и не хватало воздуха.

... — А что, — громко и облегчённо говорил Серёга, со стаканом водки в руке оглядывая оставляемый холмик. — Хоронят же при дорогах шоферов, когда погибают при исполнении обязанностей. Какая разница — где?! В ту же землю... Правда, Танька?

Танька торопливо закивала. В освещённых недетским прозрением глазах её стояли слёзы. Решительно вступала в свои права зима — снег шёл густо, небесный свет его должен был проникать глубоко.

Зимой по богатому снегу Пашута не добрела бы до могилы. Добралась она до неё лишь по весне, когда в лесу ещё томились снежные обтаи. Подковыляла к полянке и ахнула: по обе стороны от материнской могилы вздымались ещё два холмика. Аксинья Егоровна лежала не одна. Такое славное сыскали место, что появились соседи. Но как и кто среди тучных снегов мог обнаружить её последнюю обитель?

Удивление Пашуты было настолько велико, что она не выдержала и отправилась к Стасу. Он вышел к ней мятый, с резко обострившимся лицом из тех, которые несут на себе весть, совсем больной. «Заболел, что ли?» — от порога спросила она. «Вроде того», — ответил он.

Прошли опять в кухню. Стас принялся расчищать неприбранный стол, с бряком сваливая посуду в мойку. Всё так же черно и коряво заглядывала в окно яблоня, всё так же терзал её ветер. В доме было прохладно и неуютно. Пашута не стала тянуть.

— Стас Николаевич, не забыл, как за городом мать мою перед зимой хоронили? — спросила она, внимательно в него глядя.

— Как же забыть?.. Не забыл...

— Я вчера пошла... и что нашла?.. Рядом с матерью ещё две могилы. Целое кладбище. Целую нахаловку, выходит, мы тогда расчали...

Стас глухо сказал:

— Одна могила Серёгина. Чья другая — не знаю.

— Как Серёгина?! — ужаснулась Пашута. — Ты что говоришь, Стас Николаевич?

— Убили Серёгу, после Нового года. Остался я без товарища. Я и подсказал туда свезти, к хорошему человеку. Вместе веселей. И себя заказал туда же.

— Кто убил, почему?

— Он в органах работал, — с нарочитым покашливанием, чтобы не выдавал голос слабость, говорил Стас. — Внедрили его к бандитам в охрану. И сами же выдали на растерзание. Вот так, Пашута. Такая теперь жизнь и смерть.

Последние слова заставили Пашуту всмотреться в него ещё внимательней. Не его это были слова, не его интонация, какая-то манерная, жалкая.

— Пьёшь ты, что ли, Стас Николаевич? — спросила она.

— Пью, — признался он. — Пью, Пашута. — И, округлив рот, со шлёпом бил изнутри по щекам языком.

Она не пожалела его:

— Сильных убивают, сильные спиваются... Кто же останется, Стас Николаевич?

— Кто-нибудь останется...

— Но кто? Ты знаешь их?

— Нет. Все, кого я знаю, не те.

— А где те?

— Я тебе скажу, чем они нас взяли, — не отвечая, взялся он рассуждать. — Подлостью, бесстыдством, каинством. Против этого оружия нет. Нашли народ, который беззащитен против этого. Говорят, русский человек — хам. Да, он крикун, дурак, у него средневековое хамство. А уж эти, которые пришли... Эти — профессора! Академики! Гуманисты! Гарварды! — Ничего страшней и законченней образованного уродства он не знал и бессиленно умолк. Молчала и она, испуганная этой вспышкой всегда спокойного, выдержанного человека. Он добавил, пытаясь объяснить:

— Я алюминиевый завод вот этими руками строил. От начала до конца. А двое пройдох, двое то ли братьев, то ли сватьев под одной фамилией... И фамилия какая — Чёрные!.. Эти Чёрные взяли и хапом его закупили. Это действует, Пашута! Действует! Будто меня проглотили!

— Стас Николаевич, да ты оправдания себе ищешь... Не может того быть! Чтобы взяли... всех взяли! Ты же не веришь в это?

Стас улыбался и не отвечал. Странная и страшная это была улыбка, изломанно-скорбная, похожая на шрам, застывшая на лице человека с отпечатавшегося где-то глубоко в небе образа обманутого мира.

...На обратном пути Пашута заехала в храм. Впервые вошла одна под образа, с огромным трудом подняла руку для креста. Под сводами нового храма, выстроенного лет пять назад, в будний день и в час, свободный от службы, искали утешения всего несколько человек. В высокое окно косым снопом било солнце, чисто разносилось восторженное ангельское пение, должно быть в записи, истаивая на круглой медной подставе, горели свечи. Неумело Пашута попросила и для себя свечей, неумело возжгла их и поставила — две на помин души рабов Божьих Аксиньи и Сергея и одну во спасение души Стаса.

## Что передать вороне?

Уезжая ранним утром, я дал себе слово, что вечером обязательно вернусь. Работа у меня наконец пошла, и я боялся сбой, боялся, что даже за два-три дня посторонней жизни растеряю всё, что с таким трудом собирал, настраивая себя на работу, — собирал в чтении, раздумьях, в долгих и мучительных попытках отыскать нужный голос, который не спотыкался бы на каждой фразе, а, словно намагниченная особым манером струна, сам притягивал к себе необходимые для полного и точного звучания слова. «Полным и точным звучанием» я похвалиться не мог, но кое-что получалось, я чувствовал это и потому без обычной в таких случаях охоты отрывался на сей раз от стола, когда потребовалось ехать в город.

Поездка в город — это три часа от порога до порога туда и столько же обратно. Чтобы, не дай бог, не передумать и не задержаться, я сразу проехал в городе на автовокзал и взял на последний автобус билет. Впереди у меня оставался почти полный день, за который можно успеть и с делами, и побыть, сколько удастся, дома.

И всё шло хорошо, всё подвигалось по задуманному до того момента, когда я, покончив с суетой, но не сбавляя ещё взятого темпа, забежал на исходе дня в детский сад за дочерью. Дочь мне очень обрадовалась. Она спускалась по лестнице и, увидев меня, вся встрепенулась, обмерла, вцепившись ручонкой в поручень, но то была моя дочь: она не рванулась ко мне, не заторопилась, а, быстро овладев собой, с нарочитой сдержанностью и неторопливостью подошла и нехотя дала себя обнять. В ней выказывался характер, но я-то видел сквозь этот врождённый, но не затвердевший ещё характер, каких усилий стоит ей сдерживаться и не кинуться мне на шею.

— Приехал? — по-взрослому спросила она и, часто взглядывая на меня, стала торопливо одеваться.

До дому было слишком близко, чтобы прогуляться, и мы мимо дома прошли на набережную. Погода для конца сентября стояла совсем летняя, тёплая, и стояла она такой без всякого видимого изменения уже давно, всходя с каждым новым днём с постоянством неурочной, словно бы дарованной благодати. В эту пору и в улицах было хорошо, а здесь, на набережной возле реки, тем более: тревожная и умиротворяющая власть вечного движения воды, неспешный и неслышный шаг трезвого, приветливого народа, тихие голоса, низкая при боковом солнце, но полная и тёплая, так располагающая к согласию осиянность вечеряющего дня. Это был тот час, случающийся совсем не часто, когда чудилось, что при всём многолюдье гуляющего народа каждого ведут и за каждого молвят, собравшись на назначенную встречу, их не любящие одиночества души.

Мы гуляли, наверное, с час, и дочь против обыкновения почти не вынимала своей ручонки из моей руки, выдёргивая её лишь для того, чтобы показать что-то или изобразить, когда без рук не обойтись, и тут же всовывала обратно. Я не мог не оценить этого: значит, и верно соскучилась. С нынешней весны, когда ей исполнилось пять, она как-то сразу сильно изменилась — по нашему понятию, не к лучшему, потому что в ней проявилось незаметное так до той поры упрямство. Сочтя себя, видимо, достаточно взрослой и самостоятельной, дочь не хотела, чтобы её, как всех детей, водили за руку. С ней случалось вести борьбу даже посреди бушующего от машин перекрёстка. Дочь боялась машин, но, отдергивая плечико, за которое мы в отчаянии хватали её, всё-таки норовила идти своим собственным ходом. Мы с женой спорили, сваливая друг на друга, от кого из нас могло передаться девочке столь дикое, как нам представлялось, упрямство, забывая, что каждого из нас в отдельности для этого было бы, разумеется, мало.

И вот теперь вдруг такие терпение, послушание, нежность... Дочь расщебеталась, разговорилась, рассказывая о садике и расспрашивая меня о нашей вороне. У нас на Байкале была своя ворона. У нас там был свой домик, своя гора, едва ли не отвесно подымающаяся сразу от домика каменной скалой; из скалы бил свой ключик, который журчащим ручейком пробегал только по нашему двору и возле калитки опять уходил под деревянные



мостики, под землю и больше уже нигде и ни для кого не показывался. Во дворе у нас стояли свои лиственницы, тополя и берёзы и свой большой черёмуховый куст. На этот куст слетались со всей округи воробьи и синицы, вспархивали с него под нашу водичку, под ключик (трясогузки длинным поклоном вспархивали с забора), который они облюбовали словно бы потому, что он был им под стать, по размеру, по росту и вкусу, и в жаркие дни они плескались в нём без боязни, помня, что после купания под могучей лиственницей, растущей посреди двора, можно покормиться хлебными крошками. Птиц собиралось много, с ними смирился даже наш котёнок Тишка, которого я подобрал на рельсах, но мы не могли сказать, что это наши птички. Они прилетали и, поев и попив, опять куда-то улетали. Ворона же была точно наша. Дочь в первый же день, как приехала в начале лета, рассмотрела высоко на лиственнице лохматую шапку её гнезда. Я до того месяц жил и не замечал. Летаёт и летаёт ворона, каркает, как ей положено, — что с того? Мне и в голову не приходило, что это наша ворона, потому что тут, среди нас, её гнездо и в нём она выводила своих воронят.

Конечно, наша ворона должна была стать особенной, не такой, как все прочие вороны, и она ею стала. Очень скоро мы с нею научились понимать друг друга, и она пересказывала мне всё, что видела и слышала, облетая дальние и ближние края, а я затем подробно передавал её рассказы дочери. Дочь верила. Может быть, она и не верила; как и многие другие, я склонен думать, что это не мы играем с детьми, забавляя их чем только можно, а они, как существа более чистые и разумные, играют с нами, чтобы приглушить в нас боль нашего жития. Может быть, она и не верила, но с таким вниманием слушала, с таким нетерпением ждала продолжения, когда я прерывался, и так при этом горели её глазёнки, выдавая полную незамутнёность души, что и мне эти рассказы стали в удовольствие, я стал замечать в себе волнение, которое передавалось от дочери и удивительным образом уравнивало нас, точно сближая на одинаковом друг от друга возрастном расстоянии. Я выдумывал, зная, что выдумываю, дочь верила, не обращая внимания на то, что я выдумываю, но в этой, казалось бы, игре существовало редкое меж нами согласие и понимание, не найденные благодаря правилам игры здесь, а словно бы доставленные откуда-то оттуда, где только они и есть. Доставленные, быть может, той же вороной. Не знаю, не смогу объяснить почему, но с давних пор живёт во мне уверенность, что, если и существует связь между этим миром и не этим, так в тот и другой залетает только она, ворона, и я издавна с тайным любопытством и страхом посматриваю на неё, тщась и боясь додумать, почему это может быть только она.

Наша ворона была, однако, вполне обыкновенная, земная, без всяких таких сношений с запредельем, добрая и разговорчивая, с задатками того, что мы называем ясновидением.

С утра я забегал домой, кое-что знал о последних делах дочери, если их можно назвать делами, и теперь пересказал их ей якобы со слов вороны.

— Позавчера она опять прилетала в город и видела, что вы с Мариной поссорились. Она, конечно, очень удивилась. Так всегда дружили, водой не разольёшь, а тут вдруг из-за пустяка повели себя как последние дикари...

— Да-а, а если она мне показала язык! — тотчас вскинулась дочь. — Думаешь, приятно, да, когда тебе показывают язык? Приятно, да?

— Безобразие. Конечно, неприятно. Только зачем ты ей потом показала язык? Ей тоже неприятно.

— А что, ворона видела, да, что я показывала?

— Видела. Она всё видит.

— А вот и неправда. Никто не мог видеть. Ворона тоже не могла.

— Может быть, и не видела, да догадалась. Она тебя изучила как облупленную, ей нетрудно догадаться.

На «облупленную» дочь обиделась, но, не зная, на кого отнести обиду, на меня или на ворону, примолкла, обескураженная ещё и тем, что каким-то образом стало известно слишком уж тайное. Чуть погодя она призналась, что показала Марине язык уже в дверь, когда Марина ушла. Дочь куда-то ничего не умела скрывать, вернее, не скрывала, подобно

нам, всякую ерунду, которой можно не загружать себя и тем облегчить себе жизнь, но своё, как говорится, она носила с собой.

Мне между тем подступало время собираться, и я сказал дочери, что нам пора домой.

— Нет, давай ещё погуляем, — не согласилась она.

— Пора, — повторил я. — Мне сегодня уезжать обратно.

Её ручонка дрогнула в моей руке. Дочь не сказала, а пропела:

— А ты не уезжай сегодня. — И добавила как окончательно решённое: — Вот.

Тут бы мне и дрогнуть: это была не просто просьба, каких у детей на каждом шагу, — нет, это была мольба, высказанная сдержанно, с достоинством, но всем существом, осторожно искавшим своего законного на меня права, не знающего и не желающего знать принятых в жизни правил. Но я-то был уже немало испорчен и угнетён этими правилами, и когда не хватало чужих, установленных для всех, я выдумывал, как и на этот раз, свои. Вздохнув, я вспомнил данное себе утром слово и упёрся:

— Понимаешь, надо. Не могу.

Дочь послушно дала повернуть себя к дому, перевести через улицу и вырвалась, убежала вперёд. Она не дождалась меня и у подъезда, как всегда в таких случаях бывало; когда я поднялся в квартиру, она уже занималась чем-то в своём углу. Я стал собирать рюкзак, то и дело подходя к дочери, заговаривая с ней; она замкнулась и отвечала натянуто. Всё — больше она уже не была со мной, она ушла в себя, и чем больше пытался бы я приблизиться к ней, тем дальше бы она отстранялась. Я это слишком хорошо знал. Жена, догадываясь, что произошло, предложила самое в этом случае разумное:

— Можно первым утренним уехать. К девяти часам там.

— Нет, не можно, — я разозлился оттого, что это действительно было разумно.

У меня оставалась ещё надежда на прощание. Так уж принято среди нас: что бы ни было, а при прощании, даже самом обыденном и неопасном, будь добр оставить все обиды, правые и неправые, за спиной и проститься с необременённой душой. Я собрался и подзвал дочь.

— До свидания. Что передать вороне?

— Ничего. До свидания, — отводя глаза, сказала она как-то безразлично и ловко, голосом, который ей рано было иметь.

Будто нарочно, сразу подошёл трамвай, и я приехал на станцию за двадцать минут до автобуса. А ведь мог бы эти двадцать минут погулять с дочерью, их бы, наверное, хватило, чтобы она не заметила спешки, и ничего бы между нами не случилось.

\* \* \*

Дальше, как бы в урок мне, сплошь началось невезение. Автобус подошёл с опозданием — не подошёл, а подскочил нырком, вывернув из-за угла со скрежетом и лязгом: вот, мол, как я торопился, — расхристанный весь и покорябанный, с оборванной половинкой передней двери. Мы сели и сидели, оседлав этот норовистый, подозрительно притихший под нами, как перед очередным прыжком, автобус, а шофёр, зайдя в диспетчерскую, сгинул там и не появлялся. Мы сидели и десять, и пятнадцать минут, вдыхая запах наваленной на заднее сиденье в мешках картошки; народ подобрался молчаливый, отяжелевший к вечеру, и не роптал. Мы сидели безмолвно, удовлетворённые уже и тем, что сидим на своих местах, — как мало, не однажды я замечал, надо нашему человеку: пострашай, что автобуса до утра не будет, подыметесь яростный, до полного одурения крик, а подгони этот автобус, загрузи его и не трогай до утра — останутся довольны и поверят, что своего добились. Тут срабатывает, видимо, правило своего законного места, никем другим не занятого и никому не отданного, а везёт это место или не везёт, не столь уж и важно.

Была, была у меня здравая мысль сойти с этого никуда не везущего места и вернуться домой. Как бы обрадовалась дочь! Конечно, она бы и виду не подала, что обрадовалась, и подошла бы, выдержав характер, не сразу, но потом прилепилась бы и не отошла до сна. И я был бы прощён, и ворона. И какой бы хороший, тёплый получился вечер, который

потом вспоминая да вспоминая во дни нового одиночества, грейся возле него, тревожа и утешая душу, мучайся с отрадой его полной и счастливой завершенностью. Наши дни во времени не совпадают с днями, отпущенными для дела; время обычно заканчивается раньше, чем мы поспеваем, оставляя нелепо торчащие концы начатого и брошенного; над нашими детьми с первых же часов огромной тяжестью нависает не грех зачатия, а грех не исполненного своими отцами. Этот день на редкость мог остаться законченным, во всех отношениях закрытым и, как зерно, дать начало таким же дням. Когда я говорю о делах, о законченности или незаконченности их во днях, не всякие дела я имею в виду, а лишь те, с которыми соглашается душа, дающая нам, помимо обычной работы, особое задание и спрашивающая с нас по своему счёту.

И я уж готов был подняться и выйти из автобуса, совсем готов, да что-то удерживало. Место, на котором я усиделся, удерживало. Удобное было место, у окна с правой стороны, где не помешают встречные машины. А тут и шофёр наконец подбежал чуть не бегом, показывая опять, как он торопится, быстро пересчитал нас, сверился с путевым листом и гаснул. Я смирился, обрадовавшись даже тому, что у меня отнята возможность решать, ехать или не ехать. Мы поехали.

Поехать-то мы поехали, да уехали недалеко. Ничего другого и нельзя было ожидать от нашего автобуса и от нашего шофёра. Шофёр, маленький, вертлявый, плутоватый мужичонка, смахивал на воробья — те же подскоки и подпрыги, резкость и кособокость в движениях, а плутоватость, та просматривалась не только в лице, где она прямо-таки сияла, но и во всей фигуре, и когда он сидел к нам спиной, то и со спины было видно, что этот нигде не пропадёт. Я стал догадываться, почему он задерживался в диспетчерской: это был не его рейс, и не этот автобус должен был выйти на линию, но он из какого-то своего расчёта уговорил кого-то подмениться, затем уговорил диспетчера — и вот мы, отъехав с глаз долой за два квартала, снова стоим, а шофёр наш с ведёрком в руке прыгает по-воробьиному посреди дороги, выпрашивая бензин, чтобы дотянуть до заправки. Там, значит, опять стой: я не на шутку стал тревожиться, дождётся ли наш рейс, как это было принято, переправа. Мы уже опаздывали слишком. Не хватало ещё, чтобы, выдержав всё ради утренней работы, мне пришлось ночевать на виду своего домишки на другом берегу Байкала, не ночевать, а маяться всю ночь в ожидании утренней переправы и погубить тем самым весь предстоящий день. И тут ещё я мог сойти, но и тут не сошёл. «Вредность, парень, поперёд тебя родилась», — говаривала в таких случаях моя бабушка. Здесь, однако, и не вредность была, а то другое, приобретённое от прежних судорожных попыток выковать характер, которые нет-нет да и отзывались ещё во мне. Характер, разумеется, твёрже не стал, но та сторона, куда гнули его, иногда самым неожиданным образом выказывалась и требовала своего.

В конце концов мы с грехом пополам добрались до заправки, а там и тронулись дальше. Я боялся смотреть на часы: будь что будет. За городом сразу стемнело: лес, не потерявший ещё листа, размашисто отваливался с моей стороны плотной чёрной боковиной. Свету в салоне не оказалось, и странно, если бы он оказался, хорошо, хоть горели фары; мы ехали в темноте и все дремали. Автобус между тем, словно торопясь домой к себе, разбежался: взглядывая сквозь полудрёму в окно, я видел быстро сносимое назад полотно дороги и мелькающие километровые столбики. В располовиненную дверь задувало, и чем ближе к Байкалу, тем ощутимей, лязгало и дрыгало адскими очередями под ногами у шофера, когда он переключал скорости, но мы все мало что замечали и мало чем отличались от наваленных позади мешков с картошкой.

Везёт — это не когда действительно везёт, а когда есть изменения к лучшему по сравнению с невезением. Тут градус отклонения обозначить нельзя. Я так обрадовался, увидев при подъезде огоньки переправы, что и внимания не обратил, что это не «Бабушкин», не теплоход, с апреля по январь выполнявший паромную работу и приспособленный не только для грузов, но и для пассажиров, а маленький катер, едва заметный под причальной стенкой. Шофёр с набегу резко затормозил, дав нам почувствовать, что мы всё-таки живые люди, и первым торопливо выскочил, склонился к катеру, что-то крича и размахивая руками, до чего-то докричался и кинулся обратно поторапливать нас.

Байкал шумел, и довольно сильно. В воздухе, однако, было совсем спокойно, даже глухо — стало быть, Байкал раскачало где-то на севере и вал гнало многие десятки километров, но и здесь он шёл с такой мощью, прочерчивая раз за разом под тихим молодым месяцем огнистые полосы пены, и с таким гулом, что становилось ветрено и зябко от возникающего в тебе собственного холода. Бедный катерок подпрыгивал у стенки, словно силясь заскочить наверх. Мы опоздали почти на час, и команда катера, четверо или пятеро молодых парней (точно сосчитать их было невозможно), не теряла времени даром: все они были распянёшеньки. Шофёр проворно выносил из автобуса мешки с картошкой, подавал вниз, а они, принимая, бестолково суегились, кричали и, чувствовалось, заваливались вместе с мешками. Пассажиры разошлись, и только мы, три несчастные фигуры, которым предстояло переправляться на этом катере с этой командой через этот Байкал, жались друг к другу, не зная, что делать. Безветрие и грохот воды; ощущение было жутковатое — точно там, за краем причальной стенки, начинается другой свет. Парни оттуда, из преисподней, прикрикнули на нас, и мы неловко, подолгу прицеливаясь и примериваясь, в последней степени обречённости принялись прыгать вниз. Я прыгал первым. Уже снизу я сумел услышать сквозь грохот, как шофёр весело наказывал, чтоб не вздумали дурить, дождались, пока он поставит автобус, и успокоился: с этим не пропадёшь.

Припоминая потом обратную дорогу от начала и до конца, и особенно переправу, я думал о ней не как о чём-то ужасном или неприятном, а как о неизбежном, происшедшем во всей этой последовательности и во всех обстоятельствах только из-за меня, чтобы преподать мне какой-то урок. Какой? — я не знал, и не скоро, быть может, узнаю; да тут и не ответ важен, а ощущение своей вины. Это были не случайные случайности. Мне казалось, что и люди, которые ехали со мной, страдали и рисковали только по моей милости. А в последние полчаса, когда мы перегребали с берега на берег, риск, конечно, существовал — что и говорить! Они, эти полчаса, почти не остались ни в памяти моей, ни в чувствах; катерок наш то вонзался в воду, то взлетал в воздух, парни в рубке, а с ними шофёр, от восторга издавали какой-то один и тот же клич, а я, мокрый и продрогший, сидел на мешке с картошкой, который ездил подо мной, и безучастно ждал, чем всё это кончится. Помню, мы долго не могли подойти к причалу, к этому времени я уже снова вошёл в память; помню, когда наконец зацепились и стали выползать наверх, на твёрдую землю, один из четвёрки или пятёрки отважных бросился нам вдогонку собирать по сорок копеек за переезд. Шофёра нашего ждали и встретили на берегу шумно, с ласковыми матерками и толпой сразу куда-то повели.

Я так изнемог за этот день, что не стал, придя к себе, ни чай кипятить, ни даже разбирать рюкзак, а тут же повалился в постель. Было уже за полночь. В последний момент, на волосок ото сна, меня вдруг поразило: зачем, почему он вёз картошку из города сюда, в деревню, если все, напротив, как и должно быть, везут её отсюда в город?

Не знаю, бывает ли у кого ещё такое, но у меня нет чувства полной и нераздельной слитности с собою. Нет у меня, как положено, того ощущения, что всё во мне от начала и до конца совпадает, смыкается во всех мелочах в одно целое, так что нигде не хлябает и не топорщится. Постоянно во мне что-нибудь хлябает и топорщится: то голова заболит, и не простой болью, которую можно снять таблетками или свежим воздухом, а словно бы от страдания, что не тому она досталась; то поймашь себя на мысли или чувстве, которых никаким образом в тебе не должно бы быть; то подынешься утром, выспавшийся и здоровый, без всякого желанья жить, то что-нибудь ещё. Конечно, у нормального человека такого не бывает, это свойство людей случайных или подмененных. Относительно «подмененных» я думал особо: предположим, кто-то должен был родиться, но по какой-то (не нам знать) причине ему не выпало в свой черёд родиться, и тогда срочно из соседнего порядка на его место был призван другой.

Он и родился, ничем не отличаясь от остальных, поднялся; никому в огромном многолюдье невдомёк, что с ним что-то не то, и только сам он чем дальше, тем больше мучается своей невольной виной и своим несовпадением с тем местом в мире, которое отведено было для другого.

Похожие мысли, какими бы ни показались они вздорными, в минуты разлада с собой не раз приходили мне в голову.

А отсюда и другая моя ненормальность: я никак не привыкну к себе. Проживши немало лет, каждое утро, просыпаясь, я обнаруживаю себя с продолжающимся удивлением, что я — это действительно я и что я существую наяву, а не в донёсшихся до меня (то, что могло быть передо мной или после меня) чьих-то воспоминаниях и представлениях. Это случается не только по утрам. Стоит мне глубоко задуматься или, напротив, забиться в приятном бездумье, как я тут же теряю себя, словно бы отлетаю в какое-то предстоящее мне пограничье, откуда не хочется возвращаться. Это небыванье в себе, этакая беспризорность происходят довольно часто, невольно я начинаю следить за собой, сторожить, чтобы я был на месте, в себе, но вся беда в том, что я не знаю, чью мне взять сторону, в котором из них подлинный «я», — или в том, что с терпением и надеждой ждёт себя, или же в том, что в каких-то безуспешных попытках убегает от себя? Убегает, чтобы отыскать нечто другое, но своё, родное, с кем произошло бы полное и счастливое совпадение? Или ждёт, чтобы смирить своим подобием и невозможностью хоть на капельку что-нибудь поправить? Ведь должен же быть в каком-то из них «я», так сказать, изначальный, основной, которому что-то затем бы добавлялось, а не которым что-то добавлялось в случившейся неполноте.

\* \* \*

Наутро после поездки в город я поднялся поздно. Ночью я не закрыл ставни на окнах, и ещё во сне меня терзало солнце, я спал и не спал под его натиском, мучаясь тем, что хочу и не могу проснуться. Беспомощность эта хорошо всем знакома: вот-вот, кажется, проредёшься сквозь тягостную плоть к спасительному выходу, где можно очнуться, — нет, в последний момент какая-то сила сбрасывает тебя обратно. Я всякий раз в таких случаях испытываю ужас перед тем пространством, которое надо преодолеть, чтобы снова приблизиться к черте пробуждения, а ещё больше — приблизившись, угадать последнее движение так, чтобы встречным порывом тебя опять не сорвало вниз. Там, в этом не подвластном тебе глухом сознании, всё имеет другие измерения: кажется, для того чтобы проснуться, может уйти вся жизнь.

Изловчившись, я всё же открыл глаза... Я открыл глаза и сразу, будто увидел перед собой, почувствовал своё нездоровье. И в груди, и в голове давила тяжёлая пустота, слишком хорошо мне известная, чтобы отмахнуться от неё, из того разряда неурядиц с собой, которые я пытался объяснить. Но, странно, я нисколько не удивился этому своему состоянию, словно должен был знать о нём заранее, но отчего-то забыл.

Солнце, которое чудилось мне во сне сильным и ярким, лежало в комнате на полу размытым блеклым пятном, оконные переплёты подрагивали на нём едва приметной, далеко вдавленной тенью.

Домишко мой был некорыстный: маленькая кухня, на добрую треть занятая плитой, и маленькая же передняя комната, или горница, с двумя окнами через угол на две стороны, из того и другого виден за дорогой Байкал. Третья стена, та, что под скалой, глухая, оттуда всегда несёт прохладой и едва различимым запахом подгнившего дерева. Сейчас этот запах проступал сильнее — верный признак того, что погода сворачивает на урон. И верно, пока я одевался, солнечное пятно на полу исчезло совсем; выходит, солнце не приснилось мне ярким, а на восходе действительно могло быть ярким, но с той поры его успело затянуть. Было тихо; я не сразу после мучительного сна осознал, что тишина полная, какой в этом бойком месте, где стоит мой домишко, рядом с причалом и железной дорогой, почти не случается. Я прислушался снова: тишина была — как в праздник для стариков, если бы таковой существовал, и это меня насторожило, я заторопился на улицу.

Нет, всё оставалось на месте — и вагоны, длинной двойной очередью в никуда стоящие с весны на боковых путях неподалёку от дома, и большой сухогруз напротив на Байкале со склонённой к нему стрелой замершего портального крана, и сидящая на брёвныш-

ке у дороги старушка с сумками возле ног, с молчаливым укором наблюдавшая за мной, не понимая, как это можно подниматься столь поздно... Байкал успокаивался. На нём ещё вздрагивала то здесь, то там короткая волна и, плеснув, соскальзывала, не дотянув до берега. Воздух слепил глаза каким-то мутным блеском испорченного солнца; его, солнце, нельзя было показать в одном месте, оно, казалось, растекалось по всему белесо-задымлённому, вяло опущенному небу и блестело со всех сторон. Утренняя прохлада успела к этой поре сойти, но день ещё не нагрелся; похоже, он и не собирался нагреваться, занятый какою-то другой, более важной переменной, так что было не прохладно и не тепло, не солнечно и не пасмурно, а как-то между тем и другим, как-то неопределённо и тягостно.

И опять я почувствовал такую неприкаянность и обездоленность в себе, что едва удержался, чтобы, ни к чему не приступая, снова не лечь. Сон, из которого я не чаял как вырваться, представлялся уже желанным освобождением, но я знал, что не усну и что в попытках уснуть могу растревожиться ещё больше.

Мне удавалось иногда в таких случаях переламывать себя... Я не помнил, как это происходило — само собой или с помощью сознательных моих усилий, но надо было что-то делать и теперь. С преувеличенной бодростью принялся я растапливать печку и готовить чай, разбирая между делом рюкзак, выносил в кладовку банки и свёртки. Я люблю эти минуты перед утренним чаем: разгорается печь, начинает посапывать чайник, на краю плиты томится на слабом жару в ожидании кипятка, испуская благостный дух, приготовленная заварка, а в открытую дверь дыханием наносит и, словно обжегшись о печь, относит обратно уличной свежестью. Я люблю быть в такие минуты один и, поспевая за разгорающимся огнём, чувствовать и своё поспевание к чаю, выстраданную и приятную готовность к первому глотку. И вот чай заварен, вот он налит, кружка курится душистым хмельным парком, над горячей, густо коричневой поверхностью низко висит укрывающей, таинственно пошевеливающейся плёнкой фиолетовая дымка... Вот наконец первый глоток!.. Как не сравнить тут, что торжественным колокольным ударом прозвучит он в твоём одиноком мире, возвещая полное пришествие нового дня, и, ничем не прерываемый, дозвучит до множественных, как рассыпавшееся эхо, отголосков. И второй глоток, и третий — те же громогласные сигналы общей готовности разморённых за ночь сил. Затем начинается долгое, едва не на час, рабочее чаепитие, постепенно подкрадывающееся и подлаживающееся к твоему делу. Для начала этакий барский, поверхностный взгляд со стороны: что это ты там вчера навывдумывал? Годится или нет? Туда или не туда заехал? В тебе словно бы и интереса нет ко вчерашней работе, а так, вспомнил ненароком, что делал что-то... Это направленное, но ещё блуждающее внимание. Не торопясь ты пьёшь чай, всё глубже и глубже задумываясь с каждым глотком какой-то неопределённой и беспредметной мыслью, ощущью и лениво ищущей неизвестно что в полном тумане. И вдруг невесть с чего, как зрак, мелькнёт в этом тумане первая ответная мысль, слабая и неверная, которой придётся затем посторониться, но, мелькнув, она покажет, где искать дальше. Теперь уж близко, ты переходишь, прихватив с собой кружку с чаем, с одного стола за другой, ты для порядка просматриваешь ещё старую, сделанную работу, а в тебе нетерпеливо начинает звучать продолжение.

Ничего похожего на этот раз у меня не было. Я даже двигался с усилием. Чай пил, как всегда, с удовольствием, но он нисколько не помог мне и не взбодрил, беспричинная холодная тяжесть и не собиралась отступать. Из упрямства я подсел всё-таки к столу с бумагами, но это было всё равно что слепому смотреть в бинокль: ни единого проблеска впереди, сплошь серая плотная стена. Полным истуканом, с кирпичом вместо головы, просидел я полчаса и, до последней степени возненавидев себя, поднялся.

Что-то как бы пискнуло со злорадством за моей спиной, когда я отходил от стола...

\* \* \*

Не находя себе места, я двигался бесцельно и бестолково — то выйду во двор и вслушиваюсь и всматриваюсь во что-то, сам не зная во что, то вернусь снова в избу и встану,

истязая себя, подле горячей печки, пока не станет до дурноты жарко, и опять на улицу. Помню, я всё пытался понять, как, откуда набралась столь полная, древняя тишина, хотя прежней, утренней тишины уже не было — уже стучало что-то время от времени на сухогрузе, командовал где-то над водой в мегафон крепкий, привыкший командовать голос, два или три раза прострочил мимо мотоцикл. Но глуше и мягче становилось в воздухе, словно укрывался, пытаюсь запахнуть в себе от чужого простора, день, и глохли, увязали в плотном воздухе звуки, доносясь до слуха слабо и уныло.

Промаявшись так, наверное, с час и чувствуя, что облегчения не найти, я закрыл избу и пошёл куда глаза глядят. И верно, как по выходе из калитки смотрелось, туда и пошёл по выбитой рядом с рельсами сухой тропке и в минуту ушёл далеко за посёлок, в те звонкие по берегу Байкала и радостные места, которые бывают звонкими, радостными и полновидными в любую погоду — и летом, и зимой, и в солнце, и в ненастье. Но даже и здесь теперь почти осязаемо чувствовалось, как всё ниже и ниже опускается день и как плотнее сходится он с краёв. На Байкале без ветра не бывает, это как дыхание — то спокойное, ровное, то посильней, а то во всю моченьку, когда успевай только прятаться куда ни попало... и теперь дул ветерок, но словно бы не сквозной, словно бы всё пытающийся разогнаться и всё-таки застревающий... Солнце сморилось окончательно и затухало уже и в воздухе. Байкал лежал в сплошной и густой синеве.

Я постоял на берегу, выбирая без всякого желания, спуститься ли к воде или подняться в гору, и оттого, что спуск к воде был здесь положим, лёгким, а гора крутая, как и везде почти, со страха перед Байкалом торопливо вставшая во весь рост, оттого, что здесь она казалась особенно крутой, я начал подыматься в неё, стараясь дышать под шаг, чтобы растянуть дыхание на отрезок горы побольше. По голому каменному крутяку, переполошив каменную мелочь, я выбрался на траву, длинными и белыми космами выбивающуюся из-под редкой ещё и тоже белой земли, и оглянулся. Надо мной кружилось низкое, склонённое широким краем к Байкалу небо — какое-то совсем бесцветное и выгоревшее, для чего-то разом из конца в конец приготовляемое и ещё не готовое. Ветер на высоте был посвежей, но от камней и от земли несло сухим и глубинным, словно тоже для чего-то торопливо отдаваемым теплом. Я пошёл дальше и за следующий переход выбрался на изломанную и узкую длинную поляну, которая прибиралась в сенокос, — сено с неё давно было спущено и увезено, и она в своей сиротливой и праздничной ухоженности лежала как-то уж очень грустно и одиноко. Пожалев её, я сел здесь на камень и стал смотреть вниз.

Медленно и беззвучно продолжало кружиться небо, снижаясь всё ближе и ближе и набираясь сухо-дымчатой безоблачной плоти. За горой, за редкими на вершине деревьями его уже не было, там зияла серая и неприятная пустота, всё небо стянулось и стало над Байкалом, точь-в-точь повторяя и цвет его, и форму. Но теперь и вода в Байкале, подчиняясь небу, начала движение медленными и правильными, не выплескиваясь на берег, кругами, будто кто-то, как в чане, размешал её и оставил затихать.

Они закружили меня. Скоро я уже плохо понимал, что я, где я и зачем я здесь, и понимание этого было мне не нужно. Многое из того, что заботило меня ещё и вчера, и сегодня и представлялось важным, было теперь не нужно и отошло от меня с такой лёгкостью, точно в каком-то определённом порядке обновления это стало неизбежным и для этого подступил свой черед. Но это было и не обновление, а что-то иное, что-то совершающееся в большом, широко и высоко от меня отстоящем мире, внутри которого я очутился совершенно случайно и таинственное движение которого ненароком захватило и меня. Я чувствовал приятную освобожденность от недавней, так мучившей меня болезненной тяжести, её не стало во мне вовсе, я точно приподнялся и расправился в себе и, примериваясь, знал каким-то образом, что это ещё не полная освобождённость и что дальше станет ещё лучше.

Я сидел не шевелясь, с рассеянной, как бы ожидающей особенного момента значительностью глядя перед собой на тёмное зарево Байкала, и слушал поднимающееся из глубины, как из опрокинутого, направленного в небо колокола, гудение. Тревога и беспокойство слышались в нём в движении — или они затихали, или, напротив, набирали

силу — мне не дано было понять: тот миг, за который они родились, растягивался для меня в долгое и однозвучное существование. И не дано было понять мне, чья была сила, чья власть — неба над водой или воды над небом, но то, что они находились в живом и вышнем подчинении друг другу, я увидел совершенно ясно. В вышнем — для чего, над чем? Где, в какой стороне высота и в какой глубина? И где меж ними граница? Где, в каком из этих равных просторов сознание, ведающее простую из простых, но недоступную нам тайну мира, в котором мы остановились.

Конечно, вопросы эти были напрасны. На них не только нельзя ответить, но их нельзя и задавать. И для вопросов существуют границы, за которые не следует переходить. Это то же самое, что небо и вода, небо и земля, находящиеся в вечном продолжении и подчинении друг к другу, и что из них вопрос и что ответ? Мы можем, из последних сил подступив, лишь замереть в бессилии перед неизъяснимостью наших понятий и недоступностью соседних пределов, но переступить их и подать оттуда пусть слабый совсем и случайный голос нам не позволит. Знай сверчок свой шесток.

Я тщился и размышлять ещё, и слушать, но всё больше и больше и сознание, и чувства, и зрение, и слух приятной подавленностью меркли во мне, отдаляясь в какое-то общее чувствилище. И всё тише становилось во мне, все покойней и покойней. Я не ощущал себя вовсе, всякие внутренние движения сошли из меня, но я продолжал замечать всё, что происходило вокруг, сразу всё и далеко вокруг, но только замечать. Я словно бы соединился с единым для всего чувствилищем и остался в нём. Ни неба я не видел, ни воды и ни земли, а в пустынном светоносном миру висела и уходила в горизонтальную даль незримая дорога, по которой то быстрее, то тише проносились голоса. Лишь по их звучанию и можно было определить, что дорога существует, — с одной стороны они возникали и в другую уносились. И странно, что, приближаясь, они звучали совсем по-другому, чем удаляясь: до меня в них слышались согласие и счастливая до самозабвения вера, а после меня — почти ропот. Что-то во мне не нравилось им, против чего-то они возражали. Я же, напротив, с каждым мгновением чувствовал себя всё приятней и легче, и по мере того как мне становилось легче, затихали и выходящие голоса. Я уже готовился и знал каким-то образом, что тоже помчусь скоро, как только буду готов, как только она откроется передо мной въяве, по этой очистительной дороге, и мне не терпелось помчаться. Я словно бы нестерпимый зов слышал с той стороны, куда уходила дорога.

Потом я очнулся и увидел, что перед глазами моими, качаясь, висит одинокая паутинка. Воздух гудел все теми же голосами (я ещё не потерял способности их слышать), творившими вокруг меня прощальный наставительный хоровод. Я сидел совсем в другом месте и, судя по берегу Байкала, далеко от прежнего. Рядом со мной три берёзки грустно играли, точно ворожили, сбрасываемыми листочками. Воздух совсем замер; в такой вот неподвижности, когда всё предоставлено, кажется, только себе, и отлетает, отмирает более, чем под ветром, чему положено отмереть; это покой осторожного вышнего присутствия, собирающего урожай. Как радостно, должно быть, вольной и заказанной душе умереть осенью, в светлый час, когда открываются просторы!..

И снова, придя в себя, я обнаружил, что нахожусь далеко и от последнего места с берёзками. Байкала видно не было — значит, я успел перевалить через гору и по обратной стороне спуститься чуть не до конца. Смеркалось. Я стоял на ногах — или только что подошёл, или поднялся, чтобы идти дальше. А как, откуда шёл, почему шёл сюда — не помнил. Где-то внизу шумела в камнях речка, и по шуму её, бойкому и прерывисто-слитному, я, не видя речки, увидел, как она бежит — где и куда поворачивает, где бьётся о какие камни и где, вздрагивая пенистыми бурунами, ненадолго затихает. Я несколько этому зрению не удивился, точно так и должно было быть. Но это не всё: я вдруг увидел, как поднимаюсь со своего прежнего места возле берёзок и направляюсь в гору. Я продолжал стоять там же, где обнаружил себя, для верности ухватившись рукой за торчащий от упавшей лиственницы толстый сук, и одновременно шёл, шаг за шагом, взгляд за взглядом выбирая удобную тропку; я ощущал в себе каждое движение и слышал каждый свой вздох. Наконец я приблизился к тому месту, где стоял возле упавшей лиственницы, и слился с



собой. Но и этому я ничуть не удивился, точно и это должно было быть именно так, лишь почувствовал в себе какую-то излишнюю сытость, мешающую свободно дышать. И тут, полностью соединившись с собой, я вспомнил о доме.

Было уже совсем темно, когда я подошёл к своей избушке. Ноги едва держали меня — видать, все переходы, памятные и беспамятные, совершались всё-таки на ногах. Возле ключика я отыскал в траве банку и подставил её под струю. И долго пил, окончательно возвращаясь в себя — каким я был вчера и стану завтра. В избу идти не хотелось, я сел на чурбан и, замерев от усталости и какой-то особенной душевной наполненности слился с темнотой, неподвижностью и тишиной позднего вечера.

Темнота всё сгущалась и сгущалась, воздух тяжелел, резко и горько пахло отсыревшей землёй. Я сидел и размягченно смотрел, как мигает напротив на ряжах красным светом маленький маячок, и слушал доносимые ключиком бессвязные, обессловленные голоса моих умерших друзей, до изнеможения пытающихся что-то сказать мне...

Господи, поверь в нас: мы одиноки.

\* \* \*

Среди ночи я проснулся от стука дождя по сухой крыше, с удовольствием подумал, что вот и дождь, как подготавлилось и ожидалось весь день, наладился, и всё же невесть с чего опять почувствовал в себе такую тоску и такую печаль, что едва удержался, чтобы не подняться и не заметаться по избёнке. Дождь пошёл чаще и глуше, и под шум его я так с тоской и уснул, даже и во сне страдая от неё и там понимая, что страдаю. И во всю оставшуюся ночь мне слышалось, будто раз за разом громко и требовательно каркает ворона, и чудилось, будто она ходит по завалинке перед окнами и стучит клювом в закрытые ставни.

И верно, я проснулся от крика вороны. Утро было серое и мокрое, дождь шёл не переставая, с деревьев обрывались крупные и белые, как снег, капли. Не разжигая печки, я оделся и направился в диспетчерскую порта, откуда можно было позвонить в город. Мне долго не удавалось соединиться, телефон подключался и тут же обрывался, а когда я наконец дозволился, из дому мне сказали, что дочь ещё вчера слегла и лежит с высокой температурой.

1981 г.

## В больнице

На третью неделю после выписки с операции Алексей Петрович Носов почувствовал себя совсем плохо. Шла кровь, лекарства не помогали, он спустил её в унитаз, должно быть, с полведра. Поликлиники Носов избегал, не зная, примут ли его в старой, которой он пользовался несколько лет с тех пор, как переехал в Москву, ибо с переменой власти и отменой персональных пенсий поликлиника перешла на обслуживание нового начальства и на платное для богачей. А от старого, смещённого начальства освободилась. В том числе и от пенсионеров. Поэтому и тянул Алексей Петрович: в районную поликлинику он не успел перебраться, да и, признаться, боялся её, а в прежней не хотел натолкнуться на неприятное: простите, вас у нас нет.

Он слабел, он чувствовал это. Поднимался с кровати и тут же искал стену, хватаясь за неё при неуверенном шаге, в низу живота появилась мозжащая, грызущая боль. Вслед за нею поднялась температура. И он сдался. Позвонил-таки в старую поликлинику урологу, с которым имел дело до операции, и неожиданно сердитым голосом сказал, что готов заплатить за приём, но идти ему больше некуда. «Ну что вы, — вздыхая, отвечал врач. — Конечно, приходите. Я и карточку вашу ещё не сдал».

Идти было недалеко, но Алексей Петрович не отказался от помощи жены. Раз десять делали передышку, пока дотянули до богатого, с колоннами, старинного особняка поликлиники. Дальше, приняв от жены нагретую сумку, он полез один. Не хотелось, чтобы при жене придирались к пропуску, не хотелось, чтобы она суетилась объяснениями. Всякие объяснения теперь недействительны.

Потом, побывав у врача, он сидел в коридоре, на широком диване жёлтой кожи, поставив между ног кубастый китайский термос яркой расцветки, и пил, пил... Чтобы наполнить мочевой пузырь, выпить надо было много, не меньше двух литров. Чай заваривался с травками, был приятен и согревал не только теплом, но и запахами сухой степи. Он сидел как раз в углу коридора, расходящегося на две стороны, и видел оба его длинных конца, один из которых вёл к парадной мраморной лестнице, застланной ковром, а другой уходил в пристрой, не менее роскошный, чем дворцовая часть. В коридоре не толклись у дверей, не шумели очереди, здесь каждому назначался для приёма определённый час. И пышные ковры, и высокие потолки с широко раздвинутыми стенами, и большие окна топили и разносили запахи болезней, оставляя лишь запах казённой чистоты.

Операцию Носову делали в госпитале ветеранов войны. Алексей Петрович выбрал его сам. Выбрал, собственно, не госпиталь, а хирурга, как делают многие. Хирург оказался могучего сложения, с огромными, как ковши, руками, из бывших шахтёров. Принял он Алексея Петровича спокойно и равнодушно, но, посмотрев рентгеновские снимки, воодушевился. «Картинки», как он выразился, ему понравились. Тяжело и радостно ступая вперёд-назад в узком проходе заставленного и заваленного кабинета, он наливал в маленькие фарфоровые чашки кипятка для кофе, а в большие — коньяк из пузатой, под самовар, бутылки с краником... а Алексей Петрович косился на его «ковши» и пытался представить инструмент, который бы в них не хрупнул и не затерялся в едва сгибающихся тяжёлых пальцах.

— Мы сделаем сразу две операции, — мощно прихлёбывая из большой чашки, объяснял хирург, снова и снова любуясь «картинками». — Тур и полостную. Вам объяснили, что такое тур? Трансуретральная резекция. Это для аденомы. Введём инструмент через канал и всё, что надо, вырежем и вычистим. Заодно в мочевом пузыре я сделаю с внешней стороны во-от такое окошечко, — он покрутил пальцем, и по взмаху руки окошечко выходило преизрядным. — Потом, чтобы вам не терять лишней крови, вскроем полость и уберём ваш дивертикул.

Этот проклятый дивертикул, от которого Алексей Петрович за последние полгода терпелся вдоволь, и заставлял идти на операцию. Каких только напастей на человека не наслано! Лишняя полость неизвестного происхождения, и звучит благородно, но терпеть её дальше было невмочь. Одно утешало: если есть название — должно быть и лечение. Компьютер дал размеры этого «диверсанта», вычислил, сколько отсасывается в него из мочевого пузыря жидкости и сколько не сливается, застаиваясь и воспаляя полость. Дивертикул заставил Алексея Петровича на старости лет познакомиться с таким набором изощрённых процедур, о применении которых к безвинному человеку нельзя было и подзревать.

Операция прошла удачно. Удачно для Алексея Петровича и блестяще, как он видел, для хирурга. По нескольку раз на дню он забегал в палату к Носову, был неизменно бодр, даже весел, доволен собой и, откидывая с больного одеяло, жадно всматривался в воспалённое и наполовину заклеенное пластырем «стыдное» место с тремя торчащими выводными трубками...

— Вы, оказывается, мастер по кроссвордам, — сообщил он сразу же, как только Алексея Петровича вернули из реанимации в палату.

— О чём это вы?

— Не помните? С анестезиологом занимались кроссвордом, пока я над вами трудился. Поэт этот... литовец... поэму «Человек» написал. Город в Северной Африке... Ловко так. Но когда полость вскрыл, тут уж пришлось поспать.

— Не помню.

После рентгена он заставил Алексея Петровича долго сидеть в холодном каменном коридоре — пока не принесли снимки. И в полутёмном лифте, пока поднимались на десятый этаж, выставив против света чёрную бумагу с водянистым контуром чего-то безобразного, увесисто, не набивая себе цену, а подтверждая её, сказал:

— Как новенький ваш пузырь. Видите? Неужели не видите? Как у ребёнка.

И ещё раз хирург приходил в нетерпении, в жажде получить очередной необходимый результат. Он вернулся после операции, про которую на вопрос Алексея Петровича отозвался по-пижонски: «Фирма веники не вяжет». От него чуть слышно попахивало коньяком. По настороженным, нацеленным невесть на что глазам Алексей Петрович догадался, что предстоит какое-то важное действие.

— Загоните вы себя, — всматриваясь в него и зная, как много он работает, не удержался Алексей Петрович. — Загоните, а больных меньше не будет. И для них же хуже будет.

— У меня на прошлой неделе было... — и, опять показалось, с бравадой признался: — Зажало сердце — и ни туда ни сюда. Я уж взмолился: если ты есть, Бог, дай в какую-нибудь одну сторону, не держи.

— Вот видите.

Хирург решительно снял с Алексея Петровича одеяло, чуть подождал, взглядываясь, и с той же решимостью выдернул последнюю трубку — ту, по которой из мочевого пузыря сливалась в целлофановый мешок по прозрачному тонкому шлангу жидкость. Алексей Петрович и ахнуть не успел.

— А если не пойдёт? — не без испуга спросил он.

— Должна пойти. Сестра сейчас тут обработает. И пейте. Без меня не проверяйте.

Они вместе, спустя час, зашли в туалет — и, когда, разбрызгиваясь сквозь резь, вместе со сгустками крови выдернулась струя, хирург крикнул удовлетворённо, придвинул своё большое мужицкое лицо к узкому прямоугольнику зеркала на стене и оттуда, из зеркала, подмигнул Алексею Петровичу.

Больше Алексей Петрович был ему неинтересен.

\* \* \*

И вот снова больница. Алексей Петрович уже готов был к этому, всё состояние, какое-то ржаво-горячее, доходящее до беспамятства, весь перехваченный болью таз говорили ему, что дома не подняться. Однако он не был готов к новой операции. Но в поликлинике дважды за два дня, собираясь по несколько человек у экрана ультразвукового аппарата, пришли к выводу: разошёлся внутренний шов, без операции не обойтись.

Его привезли вечером, уже в сумерках. Из той поликлиники могли привезти только в эту больницу — барскую, принадлежавшую ещё недавно знаменитому четвёртому управлению, расположенную в большом парке на окраине города. Носов и на неё не имел прав, как не имел прав на поликлинику, но уж коли удалось ему проникнуть в поликлинику, другой дороги, кроме этой больницы, не существовало.

В приёмном покое пришлось сидеть долго. Старушка, направленная в терапевтическое отделение, никак не хотела ехать в кардиологическое. Большая, рыхлая, с белой головой, с жёстким сухим голосом, привыкшим к повелительной интонации, она уже сидела в коляске, когда из телефонного разговора дежурной поняла, что её собираются везти не туда, куда надо, и решительно воспротивилась. Дежурная, красивая, вся подтянутая с ног до головы, отшлифованная, выдрессированная в вежливости молодая женщина, объясняла, то поднимаясь и выходя из-за стола, то снова присаживаясь к телефону, что места в терапевтическом сегодня нет, нет ни одного, оно будет завтра или послезавтра. Старушка решительно отвечала, что не может быть, чтобы не было, зачем же тогда её везли сегодня, она бы и приехала завтра или послезавтра. Высокий флегматичный парень с заспанным лицом, санитар, то брался за коляску, когда казалось, что наконец договорились, то отступал и взибался в телевизор. Телевизор был приглушён, но, когда прыгают в нём с микрофоном в руках, надрывая глотку, звук имеет свойство переходить в рёв как-то сам собою.

Уткнувшись в себя, Алексей Петрович сидел в низком кресле в туманной полудрёме. Температура опять набралась, во рту было сухо, всё тело, казалось ему, униженно скулит. Мало этого — начался ещё и кашель. Из тумана наплывала и всматривалась в него фигура хирурга из госпиталя, делавшего операцию. Алексей Петрович вдруг вспомнил себя на операционном столе, вспомнил памятью больного нутра, как хирург, навалившись на его живот, точно бы поддвигает чем-то, каким-то рычагом, приподнимая и отдирая часть нутра. Всё тело под могучими руками хирурга поддается этим рывкам, совершенно безболезненным, и ходит ходуном. А справа, откуда-то споднизу, доносится гулкий голос анестезиолога, то спрашивающего о самочувствии, то зачитывающего вопросы из кроссворда. Нижняя часть тела отнялась, отсутствуя полностью, зато почему-то ясно и свежо было в голове.

Старуху наконец увезли, Алексей Петрович пропустил, на что она согласилась, но дежурная после неё была обессилена. Она зашла за штору, плохо прикрыв её за собою, и перед зеркалом обеими руками принялась массировать лицо. Привезли и поставили перед Носовым коляску, кто-то показал ему, где переодеться, кто-то ему, уже сидевшему в коляске в полотняной больничной паре с короткими рукавами и штанинами, сунул градусник. Опять сидела за столом та же дежурная, записывала и звонила. Лифт, в котором поднимали, был с зеркалом, и санитар, совсем ещё парнишечка с едва пробивающимися усиками, всё оттягивал верхнюю губу перед зеркалом, всё трогал усики то пальцами, то языком.

В палате на двоих, с широким окном и железными кроватями вдоль боковых стен, работал телевизор. Боясь телевизора, Алексей Петрович прежде всего замечал его. На кровати справа лицом к двери и телевизору лежал сосед в белой и толстой нижней рубашке. Ничего больше в тот вечер Алексей Петрович не рассмотрел. Почти сразу же ему принесли гранёный графин с желтоватой водой и заставили пить. Сосед о чём-то спрашивал, Алексей Петрович сквозь обморочный полумрак что-то отвечал. Внимание сосредоточено было на графине, на том, как вылить из него в себя противную жидкость с ржавым привкусом. И телевизор казался мерцающим, пышущим красками сосудом, и из него надо было переливать волнующееся пойло. Он очнулся от прикосновения холодной трубки, шарящей по низу живота, которую вдавливали внутрь всё сильнее и сильнее, и справа от себя увидел фигуру, вплотную склонившуюся к экрану. Пахло кофе. «Что там?» — спросил Алексей Петрович. Голос ответил: «Кажется, не то. Завтра надо повторить». А что не то, хорошо это или плохо, не было сил спросить. С последним трудом он поднялся с лежанки, поданной бумажной салфеткой стёр с живота вазелин и пошёл в дверь. «Не туда, не туда!» — закричали ему в два голоса. Но как выходил «туда», не помнил.

Ночью его дважды вытаскивали из забытья, чтобы сделать уколы. Гребясь коленками и локтями, он переворачивался на живот, в котором булькало, едва чувствовал жалающий удар и снова забывался. Что-то брезжило ему урывками, какие-то неприятные медузные пятна на экране и на рентгеновских снимках, приготовившиеся к движению... Совсем рядом дробно, гулко стучало.

\* \* \*

Стучала капель по подоконнику, обитому жостью. Ночью шёл снег и сразу таял, в раскрытую форточку над батареей парового отопления доносило сыростью. В окне стоял сумеречный гнилой свет, по которому не определить, раскрывается день или уже закрывается. Окно выходило на лес, стоящий высоко и густо, с перекрещенными чёрными ветками голых деревьев. Громко и картаво кричали вороны, отъезжали с фырканием где-то неподалёку машины, раздавались крикливые голоса двух женщин...

На тумбочке стояла тарелка с остывшей котлетой. Едва взглянув на неё, Алексей Петрович почувствовал тошноту. Есть не хотелось, но стакан горячего чая для побудки оставшихся в нём сил теперь бы не помешал. Он взглянул на часы: доходил десятый час. Работал телевизор; один из тех, молодых, да ранних, кто лезет теперь в глаза и уши из каждой светящейся или звучащей дырки, с каждой газетной полосы, женственный и пис-

клявый, с ужимками повода обвислыми плечами, соловьём заливался с экрана о красотах приватизации. Сосед с кровати внимательно слушал. На шевеление Алексея Петровича он оторвался от телевизора, справился о самочувствии и, возвращаясь обратно, сказал с удивлением:

— До чего умные мужики подобрались!

Говорить это без иронии, казалось Алексею Петровичу, нельзя, и он в ответ слабо и подтверждающе улыбнулся.

Потом он внимательно рассмотрел соседа. А расспрашивать его не пришлось, он рассказывал сам. Был он невысок и плотен, из того сорта людей, что всегда бодры, много едят, много пьют и не страдают угрызениями совести, всё пропускают сквозь себя словно бы только физиологически. Звали его Антон Ильич. Карьеру сделал своим ходом, без посторонней помощи, и продвинулся в своём деле от инженера и начальника участка до управляющего крупным строительным трестом. Теперь четвёртый год на пенсии. И четвёртый год ходит по врачам с камнями в почке. Человек неслабой воли, после отставки и жестоких приступов боли, сваливающихся всегда неожиданно, становился он всё более раздражительным, всё более неуверенным в себе и упрямым. Три года отказывался от операции и перебирал, не жалея денег, расплотившихся врачей с новомодными способами лечения. Но... крепок был он сам и камень в почке взрастил крепким, как булыжник, не поддающимся ни специалистам филиппинским и итальянским растворам, ни бомбардировке лазером. И вот... сдался. За операцию заплатил трест, которым он руководил, но оставалось ещё рассчитывать после за каждый день пребывания в больнице, что заставляло его считать дни не только от тоски по дому, нервничать и подгонять себя. Однако он мог дергать себя и нервничать сколько угодно, а в больнице был свой порядок, а возможно, и свой расчёт. От него ничего не зависело. Он, должно быть, за последние годы привык, что от него зависит всё меньше и меньше, но тут и вовсе было какое-то непонятное ему противоречие, какой-то хитрый парадокс: в интересах собственного же здоровья не следовало сокращать больничное время, но как только начинал он задумываться, во что ему может обойтись это вольное лежание, трезвые рассуждения летели ко всем чертям.

Алексея Петровича бил кашель, всё злей и злей. Температура снизилась, но это по утренней поре, к вечеру подскочит. Он не без труда поднялся с постели, достал из сумки кипятильник и старую металлическую кружку, с которыми не расставался при любой отлучке из дома, и кружку за кружкой пил и пил обжигающий крепкий чай. За этим занятием и застал его врач, делающий с медсёстрами обход, — в белом халате и шапочке, аккуратный, невысокий и немногословный, с добрыми печальными глазами. Стоя над Алексеем Петровичем, он выслушал сестру, затем осторожно, чтобы не вызвать боль, прошёлся маленькой рукой вокруг шва и спросил Алексея Петровича, как он спал.

— Кашель,— сказал Алексей Петрович, опять закашлявшись. — Отдает туда, — и показал на пах.

— Ну, с кашлем как-нибудь, — задумчиво отвечал врач и пошёл к двери.

— А меня когда, Вадим Сергеич? — вскинулся сосед. — Когда меня возьмёте?

— Да вы ведь ещё не готовы...

— Я готов, — перебил сосед.

— Не торопитесь, — говорил от двери врач. — Пройдёте обследование, ещё раз посмотрим как следует — тогда.

И вышел. Медсестра осталась и, склонившись над тумбочкой соседа, писала для него направления — когда и куда тому идти на анализы.

В госпитале, где лежал Алексей Петрович, медсёстры были молодые горластые девчонки, грубоватые, покрикивающие на стариков, но расторопные и умелые. Но там и больные были потяжелей, и насчитывалось их вполвину больше. Здесь вчера и сегодня сестры пожилые, безнагужно вежливые, спокойные, ни о чём не забывающие.

— Вы кстати пьёте, — сказано было Алексею Петровичу. — Через час пойдём с вами на ультразвук. Пейте больше.

— Я ночью там был.

— И ночью, и днём, и утром, и вечером, — певуче отвечала сестра, поворачивая Алексея Петровича неожиданно сильными руками на бок. И, прилепнув по мягкому месту, тотчас всадила иглу, не дав приготовиться, а потому и не дав почувствовать боль.

Сосед ушёл, не выключив по своему обыкновению телевизор, и тот, не обнаружив внимания и добиваясь его, стал проделывать перед Алексеем Петровичем такие штучки, что Алексей Петрович сжался в испуге. Но подниматься, чтобы отказаться от его услуг, Алексею Петровичу не хотелось: кашель под горячим чаем притих, а поднимешься — расшевелишь его. Из глубины экрана, как из тоннеля, летели одна за другой на Алексея Петровича громадными хищными птицами голые девицы с вытянутыми вперёд ногами, которыми они в последний момент, алчно вскрикивая, оплетали какое-то рекламное слово, имевшее форму... Господи, прости и помилуй! Даже наедине неприлично было это видеть, но куда было и отвернуться, девицы в скоростном бреющем полёте устремлялись и из стоящего за кроватью соседа тёмно-коричневого лакированного шкафа, и из створчатого трюмо за кроватью Алексея Петровича. Потом рекламный номер сменился: налетавшись, девицы выстроились в ряд, потрясли под звуки бубенчиков своими прелестями, клацнули одновременно ослепительными улыбками, на лету поймали какие-то баночки и в остервенении принялись натирать себя белой мазью. «Господи! — взмолился Алексей Петрович. — И это... и это...» Что «это», ему так и не удалось обнаружить.

Сосед вернулся с газетами, их, оказывается, продают на первом этаже. Тут пришли и за Алексеем Петровичем, волей-неволей надо было подниматься. Он плёлся за медсестрой, которая отбегала от него и останавливалась в ожидании перед очередным поворотом; шли в тот же кабинет, что и ночью, но Алексей Петрович совершенно не помнил, где это, не помнил и лифта, в котором пришлось подниматься, и только распластавшись на лежанке и подняв к потолку глаза, узнал комнату.

Но и на обратном пути без медсестры он снова спрашивал дорогу в своё отделение.

Сосед спал, поверх одеяла были разбросаны газеты. «Злодей», усадив любимцев своего экрана в кружок за низким журнальным столиком, вбивал в мозги всё ту же песню стоящего за дверью благоденствия. Все это были, как на подбор, бородачи, лопочущие быстро и неестественно, актёрскими голосами; Алексею Петровичу показалось, что это мультфильм. Он с таким удовольствием нажал на кнопку выключателя и с таким наслаждением смотрел, как бородачи, превращаясь в куклы, уносятся прочь, что его это развлекло.

Пасмурный мартовский день мерк окончательно, лес за окном стоял в застывшей печали, с трудом узнавалось, где в переплетении чёрных ветвей липы и где сосны. Ночной снег вытаял, мокро, грустно смотрелась и земля в обнажившейся подстилке бурых листьев, и обвисшее небо с водянистыми разводами у горизонта. В лес уводила бетонная прогулочная дорожка, она была пуста.

Алексей Петрович опять прилёт. Мозжило и занывало уже не только в больном месте, но и во всём теле. Его тянуло в сон, но уснуть не давал кашель. Из коридора доносился голос медсестры, её столик в коридоре был почти напротив двери. Время от времени слышались шаги: торопливые, со стуком каблучков — медперсонала, и мягкие, замедленные — больных. Раздавался приглушённый расстоянием говорок радио. Всё это действовало усыпляюще.

Принесли на высокой подставке капельницу, Алексей Петрович заученно вытянул руку, услышал одинаковое во всех больницах «поработаем кулачком» и, подгоняя кровь, принялся сжимать и разжимать кулак, пока не ощутил тугой жгут, пережавший руку выше локтя, и не почувствовал, как вползает в вену игла. Сквозь полудрёму он разглядел на тумбочке, кроме вставленной в подставку, ещё две пузатые банки, которые предстояло перекачать в вену. Это часа на два. Морозило — и он попросил сестру чем-нибудь его укрыть. И пригрелся под наброшенным одеялом, притаился, обиженный и одновременно приласканный, страдающий и утешенный. Боль в паху тоже пригрелась и слабо потокивала. «Ничего, ничего», — опять бессвязно думал Алексей Петрович, и перед ним наплывали знакомые лица, застывшие в ожидании, то ли его провожать, то ли встречать.

Подходила сестра, и он заставлял себя открывать глаза, скашивал их на капельницу. Желтоватая жидкость тянулась и тянулась по прозрачному шлангу и стекала на обмершей

растянутой руке в вену. Никакого присутствия чего-то постороннего он не ощущал и снова в приятной слабости погружался в тепло.

Для чего-то надо было очнуться, он открыл глаза. В полумраке перед ним стоял врач, отчётливо выделяясь белым халатом и шапочкой.

— Что, доктор, как там... когда операция? — стараясь, чтобы голос не звучал слабо, спросил Алексей Петрович.

— Посмотрим, посмотрим, — он, казалось, для того и зашёл, чтобы посмотреть на Алексея Петровича, и, посмотрев, не прикоснувшись к нему, вышел. Успокоенный, что не надо подниматься, Алексей Петрович счастливо оттолкнулся от твёрдого берега, куда он ненадолго приставал, и, как аквалангист, медленно и томно поплыл, поплыл опять в приятную глубину.

\* \* \*

На следующий день Носову запретили подниматься. На гремящей тележке привозили в палату еду, он едва трогал её и, изнемогая, отставлял, чувствуя, как неудобно, грубо укладывается в желудке пища. День опять вставал хмурый и мокрый, в окно наливался серый тяжёлый свет. В больном месте как бы перебегало что-то из конца в конец и садняще тукало. В одном действовало лекарство: кашель стал меньше и выкашливался без надсады, поэтому Алексей Петрович мог больше спать. Он уходил в сон мгновенно, стоило лишь закрыть глаза, но был ли это сон, трудно сказать. Словно он окунался по многу раз в одну и ту же купель с нечистой водой и застоявшимся воздухом. В ней не было ни плохо, ни хорошо, она просто утягивала в себя и затуманивала сознание. Приходили с уколами, с таблетками, с приборами — он механически исполнял всё, что требовалось, бессмысленно смотрел с минуту на дергающиеся в телевизоре фигуры и безвольно закрывал опять глаза.

Изредка случались просветления, возвращающие к жизни. В одно из них он вспомнил, что жена беспокоится, не находит себе места, а в эту режимную больницу без пропуска не пустят, и попросил соседа позвонить жене и сказать, что он закажет пропуск на завтра. Завтра должно стать легче. Он уже попросил соседа, тот стоял наготове, но никак не мог Алексей Петрович найти в своей памяти телефон. Совсем отказывала память. Всё отказывало. Он вспомнил, наконец, зайдя в память с другой стороны: представил, как записаны цифры на приклеенной к телефонному аппарату маленькой жёлтой карточке. А добившись результата, совсем очнулся.

Сосед позвонил, передал и засобирился за газетами, надевая на белую нательную рубаху куртку от ярко-синего спортивного костюма. Ожидание операции делало соседа беспокойным и натянутым, голос его иногда оборванно взбулькивал, глаза смотрели затравленно. Вечером он просил у сестры снотворное.

— Возьмите, пожалуйста, и для меня, — попросил Алексей Петрович и назвал две газеты.

Сосед, оглядывающий себя в зеркало, неопределённо хмыкнул и вышел.

В первый раз идти на операцию особенно тяжело. Жил-жил человек, каким создал его Господь Бог, и вдруг что-то происходит, что требует немедленного вмешательства и ремонта. Есть в этом что-то неестественное, грубое, незаконное, особенно теперь, когда стали менять органы. Божественное, единое, незаменное опускалось до уровня механического и составного. Можно вырезать желчный пузырь, убрать негодную почку, лёгкое, окоротить и подтянуть, как шланги, выводные пути, вырезать из одного места и приставить к другому, подшить оборванную руку или ногу, из аппендикса сшить мочевого пузырь. Наука ремонта достигла невиданных результатов и совершенствуется всё больше и больше. Вмешиваясь в божественность человеческого сосуда, споря с нею, она сама по степени мастерства становится божественной и претендует на высочайшую роль. Спасённая жизнь оправдывает всё — пока человек живёт. Но каждое такое спасительное вмешательство, должно быть, откладывается в нём в особый счет... и кому он потом будет предъявлен? Алексей Петрович четырежды прошёл через операционный стол, живёт от починки к починке, как при-

мус, но после каждой операции невольно в нём нарастает тревога от какого-то словно бы повторяемого предательства... Он не мог сказать, что предавалось и что именно тревожило его, но чувство нечистоплотности не проходило.

Вернулся сосед, ни слова не говоря, шурша газетами, стал укладываться.

— А про меня забыли, Антон Ильич? — спросил Носов.

— Откровенно говоря, не забыл, — вдруг резко, отчеканивая слова, точно вздымая принципы, ответил сосед и дёрнулся лицом. — Не захотел руки марать. Вот так.

— То есть как? — не понял Алексей Петрович. — Что вы такое говорите?

— Одна вражеская пропаганда в ваших газетах. Вред один. Вот так. Если хотите, читайте мои.

— Можно, конечно, и ваши, — растерянно отвечал Алексей Петрович, всматриваясь в соседа с болью и стыдом. И вдруг тоже разозлился, беспомощно и жалко. — А разве там у вас, — трясущейся рукой он показал на телевизор, — не вражеская пропаганда? Не растление? Не одурачивание?

— Нет. А если бы и так? Дураков одурачивать — только умными делать.

— А вы не слишком грубо? Да и рискованно, пожалуй...

— Я не имел в виду вас лично.

— Спасибо. Но если мы с вами не входим в число дураков, вы бы этой штуквине, — Алексей Петрович с ненавистью кивнул на телевизор, — давали иногда отдохнуть. Неизвестно, как она действует на умных...

— Говорите, если мешает. Что же не говорите? Будем договариваться.

«Неужели так трусит перед операцией? — размышлял Алексей Петрович, закрывая глаза. — Но в таком случае, кажется, должно быть наоборот». Он стал вспоминать, что чувствовал перед операцией сам. Но можно было и не вспоминать. Да, угнетённость... жаль себя немного. И в то же время особая пристальность ко всему, что окружает, словно стараешься крепче зацепиться, внимательность к людям, примирение с ними, готовность оказать услугу. Так грустно бывает и почему-то так легко! Ничто от тебя больше не зависит, ты, как никогда, свободен и обращён в сторону, где живёт вечность. Но зависит ещё до операции, до хирурга, от мнения о тебе людей, которое собирается вместе в бестелесную, как тень, фигуру, ангелом-хранителем стоящую неподалёку. Да, там без ангела-хранителя нельзя. Алексей Петрович перевёл размышления на себя. Где сейчас его, Алексей Петровича, ангел-хранитель, не устал ли он его сопровождать?

Однажды, после одной из операций, кажется второй, которая могла кончиться печально, Алексей Петрович видел сон. Он пришёл в себя после наркоза в реанимационной, кровать почему-то была поднята высоко, на уровень стоящей рядом тумбочки. Неподалёку стонала и вскрикивала женщина, быстрые шаги приближались и удалялись. Было не душно, но воздух, казалось, был обработан до сухости и колючести. Алексей Петрович и не проснулся бы, если бы не тормозила и не шлёпала его по щекам сестра — зачем-то требовалось, чтобы он не спал. Он очнулся в страшном ознобе, тело ходило ходуном, и, не слыша своего голоса, попросил, чтобы его укрыли. Озноб не проходил. «Не спите, не спите», — повторяла сестра, оттягивая его руку и массируя её в локте, чтобы найти вену. Ему хотелось помочь ей, но веки, едва разведённые из-под непосильной тяжести, снова и снова закрывались.

Тогда он и увидел этот сон. Огромный, ярко освещённый зал без окон, стены завешены картинами в лёгких прямоугольных рамках, на холстах всё что-то абстрактное, неправильные фигуры и ломаные, рвущиеся линии. Он ищет выход и не может его найти, снова и снова обходя зал и приподнимая все подряд картины, за которыми могли бы быть окно или лаз. Ничего, все та же белая глухая стена. В отчаянии он принимается плакать, понимая, что оставаться ему здесь нельзя. И уже бегаёт, бегаёт, совсем потеряв голову, а свет становится всё ярче и ярче... ещё мгновение, и он испепелит его.

Сестра едва добилась, чтобы он снова очнулся. Слёзы продолжали бежать, он попросил сестру не отходить, ухватившись, как маленький, за её руку. «Не спите, — умоляла она. — Попробуйте не закрывать глаза. Держитесь». Все двадцать лет после этого, вспо-



миная случаи, когда ему удавалось всерьёз проявить волю, Алексей Петрович начинал перечень прежде всего с того огромного усилия, которое удалось тогда в полубессознании собрать, чтобы не соскользнуть в беспамятство.

С тех пор он боялся повторения этого сна. Да и не сон, казалось ему, это был, а что-то иное, прощальное. Когда-нибудь оно должно было вернуться. Он так чётко, так зримо помнил глухой зал, залитый нестерпимо ярким электрическим светом, и себя, со слезами мечущегося по нему, что где-то это должно было находиться неподалёку. В последний раз, в госпитале, легко придя в себя после неглубокого наркоза, он обрадовался сильнее, чем прежде, должно быть, всё меньше надеясь на свои запасы. И обрадовался, сам того не сознавая, больше всего тому, что вернулся, миновав знакомый зал.

Сестра дежурила вторые сутки подряд. Она же была и за нянечку. Сегодня Алексей Петрович лучше рассмотрел её: удлинённое и сухощавое доброе лицо со спокойными, терпеливо светящимися глазами, привычными к страданиям, и чуть более, чем нужно, укороченные, толчковые движения человека, пережившего лучшую пору. И нагнбалась она как-то изломанно, и шваброй по полу водила со стеснёнными, безразмашными движениями, и, выпрямляясь, прислушиваясь к звукам в коридоре, чуть заметно клонила вперёд.

— Как вас зовут? — с опозданием спросил Алексей Петрович, с мукой наблюдая, как она, чтобы отереть пот, отворачивается и тычется в подставленный платок.

— Татьяна Васильевна зовут. Сорок лет трудового стажа. Почти двадцать лет здесь, — подсмеиваясь над собой и одновременно гордясь, доложила она, не оставляя работы.

— А что вы без отдыха второй день?

— Не люблю отдыхать. В молодости любила, как все молодые, а теперь так бы и жила в больнице, — она говорила и гремела передвигаемыми стульями, взглядывая на Алексея Петровича с обращённой к себе иронической улыбкой.

— Зарплаты, что ли, не хватает? — вмешался сосед. — Не может быть, чтобы у вас здесь была маленькая зарплата.

— У сестричек она нигде не была большая. Ни в этой больнице, ни в другой. Я работала в районной больнице, работала в институтской — разница невелика.

— Муж-то есть? — поинтересовался сосед.

— Нет. Умер.

— Вот так везде, — оборачиваясь к Алексею Петровичу, невесело подытожил сосед. — Мужа нет, а жена есть. Вся демография сюда сходится.

Татьяна Васильевна со скорбью посмотрела на него.

— А ещё трое внуков есть, — сказала она без выражения. — А у дочери тоже мужа нет.

— Помогать им приходится?

— Приходится.

— Всё равно в этой больнице легче.

— Здесь легче, потому что больных меньше, — стала объяснять сестра. — Но здесь больной — за двоих. Капризный очень, требовательный, нервный. Сколько я здесь слёз пролила, пока научилась сдерживаться...

— Контингент, — понимающе кивнул сосед. — Номенклатура. Как только не издевались над человеком...

— Да, — замешкавшись, согласилась медсестра. — Только сейчас ещё больше издеваются. Очень грубые поступают люди. — Говорить больше сказанного ей не хотелось, и она снова принялась за работу. Но тут же оставила её. — А знаете, — обратилась она к Алексею Петровичу, — вам, наверное, не будут делать операцию. Шов у вас в порядке. Но обширный инфильтрат, много запёкшейся внутри крови. Вас не долечили. Если удастся инфильтрат рассосать... Вадим Сергеевич заказал... — она назвала лекарство, но с таким мудрёным названием, что Носову совсем нечем было задержать его в памяти. — Если это лекарство пришлют — вам повезло.

Она с улыбкой ожидающе смотрела на Алексея Петровича, но он в ответ не мог показать радости, ему было как-то всё равно. Но он вдруг ясно увидел, как шов его где-то

там в недрах тела, который представлялся оборванным, с кровоточащими бахромистыми краями ткани, обвисшими и треплющимися при движении, в одно мгновение чудом превратился в ровную бледную стёжку, едва выдающую постороннее вмешательство.

И с такой счастливой покорностью он отдался слабости, что через полчаса опять спал. До того как уйти в сон, уже с закрытыми глазами услышал он голос соседа:

— А вы где работали?

И ответил с усилием сквозь накрывающую пелену:

— В министерстве лесного хозяйства.

— Люблю лес, — донеслось до него.

Это были достойные слова, ими можно было прощаться и с жизнью.

\* \* \*

Вся вторая половина этого дня прошла в продолжающихся сонных обрывах, вязких и душных, из которых Алексей Петрович выдирался лишь тогда, когда совсем нечем было дышать. Но, выдираясь, сразу вспоминал он о шве, исправно несущем службу, согревался и ненадолго взбадривался чудом исправности, тянул руку к стакану с водой, но не было сил подняться и вскипятить чай. Ужин он пропустил, с тумбочки, из накрытой блюдцем тарелки доносило пресным запахом гречневой каши. Сумерки сменились электричеством, уколы ставила новая, третья по счёту, медсестра с острым, как у птицы, лицом и распущенными по высоко поднятым плечам чёрными волосами, с голосом резким, кавказским. Сосед то приходил, то уходил, меняя в телевизоре голоса, скрипел кроватью, вздыхал. Перед отбоем зашёл дежурный врач, молодой, неимоверно длинный, клонящий маленькую голову. Температура у Алексея Петровича опять поднялась, видел он подходящих мутно, в дрожащем мареве противоположной белой стены. И снова засыпал.

Проснулся он ночью ещё прежде тревожного часа, встряхнувшего всё отделение. Проснулся с чувством — всё, выспался. Подушка была мокрой от пота, мокрой была и рубашка, в жаре и беспамятстве он влип в постель так плотно, что при движении потянул за собой простыню. Нашував на спинке кровати полотенце, Алексей Петрович протянул его по спине, свел концы полотенца на груди и завязал, оттопыривая от тела мокрую рубашку. И перевернул подушку. За окном тревожно шумел ветер, натягиваясь в продолжительные свистящие порывы, что-то где-то падало с гулким гремящим звуком, отчаянно скрипели деревья и шоркало длинными голыми ветками. Качались на опорах электрические светильники и качался, метался по комнате набрасываемый в окно свет. Сосед густо, натужно храпел, перекачивая в горле громовые удары, каждая очередь которых оканчивалась тоненькой, как у младенца, фистулой.

Всё было тревожно — и ветер, гудящий зло, напористо, угрожающе, и всполохами прыгающий по стене свет, и неумеренно громкий храп, и эта издевательская фистула. Алексей Петрович лежал и слушал, всё наполняясь и наполняясь звуками общего, широко распростёртого, гулко переливающегося через край уже и не шума, а страдания, требовавшего какого-то результата.

И вдруг ещё один звук — продолжительный, требовательный звонок в коридоре. Не телефонный, а высокий, непрерывный, надрывный, как сирена. Послышались отбегающие шаги, смолк и звонок, на несколько минут в коридоре примолкло — и вдруг снова торопливые шаги, испуганный голос в телефон, короткие возбуждённые голоса за дверью. Алексей Петрович приподнялся на локте и всматривался в дверь: что-то случилось непростое. В коридоре уже царил суматоха, бежали с той и другой стороны, бегом прокатили громыхающую тележку, по телефону просили срочно отыскать какого-то Василия Степановича. Пост медсестры был рядом, её резкие, гортанные вскрики то появлялись, то исчезали. Затем всё откатилось влево, в глубину длинного коридора. Надолго наступила тишина, лишь с тем же упорством бил и бил ветер. Натянутый, объятый острой жалостью к себе и в себе — к человеку вообще, Алексей Петрович ждал. И вот слева возникло движение, молчаливое шествие сразу нескольких ног и придавленное тяжестью колёсное ши-

тение по полу каталки. Оно проплыло мимо в сторону лифтов и стихло. Уже без спешки, чётко протянулись шаги отставшего, затем ещё одного.

Ночь продолжалась. Ни разу Алексею Петровичу не пришло в голову взглянуть на часы: время как бы остановилось. Он всё вслушивался во что-то, ожидая какого-то окончательного звука, быть может, едва различимого прощального стелания. Вернулась к своему столику сестра, придерживаемым изменившимся голосом возбуждённо и растерянно говорила по телефону.

Алексей Петрович не смерти боялся, а умирания. Это надо было сделать достойно. И плыть потом вместе с землёй, став частью её живого организма, плыть и плыть бесконечно, ни во что не вмешиваясь. Он не рассчитывал на долгую память о себе — нет, очень скоро иссекут её дожди и снега, истопит солнце и занесёт, завалит привозом новых дней. Дети, внуки? А разве не поступил он точно так же со своими родителями? Время от времени донесёт печальным невидимым током, потревожит робким прикосновением, а он и побыть не предложит, ему всё некогда. Его детям, судя по новым временам, будет ещё более некогда. Нет, уходя, надо прощаться навсегда. Не есть ли этот ветер, тревожный, требовательный, заунывными порывами стискивающий душу... не есть ли он?.. Алексей Петрович не стал додумывать, натолкнувшись на запретное. Ветер есть ветер, Алексей Петрович знал, откуда берётся ветер. Но что такое знания в такую ночь, нет никакого знания. Только что провезли длинную, в рост человека каталку — и разве всё продолжается своим чередом без изменения? Придёт новый день — и разве то будет день, похожий на вчерашний? Зачем он, Алексей Петрович, хватается за жизнь? Нет ничего, совершенно ничего, что держало бы его здесь с необходимостью избранного. Он сам изнашивает память о себе до ветхого и скорбного образа, ещё при жизни теряющего черты.

Алексей Петрович зашевелился протестующе: нет, не так. Не так. Не ему это решать. Четырежды он ходил на операцию и четырежды его словно бы ставили на весы, отмеривающие две известные меры. И отпускали обратно. Его пробрало холодом, когда представил он, что, быть может, в последний раз перевес оказался таким ничтожно малым, что за ним послали вновь. И с напряжением вслушался в себя, отодвинув посторонние звуки. Но не услышал, а увидел, как воровато озираясь, подкладывает он в ту чашу, которая ползла вверх. Слёзы брызнули из глаз Алексея Петровича: нет, жить, жить! Он обтирал их со сладкой непереносимой мукой, чувствуя опустошительное облегчение. Вложил в эту мольбу все силы и, изнеможенный, уснул.

\* \* \*

Эта ночь оказалась переломной, после неё Алексей Петрович пошёл на поправку.

Он и проснулся с радостью: жара не было, кашель с облегчением вызванивал последнюю немочь, хотелось движения. В больном месте чувствовалась тяжесть, будто каменная плита давила, но и она не пугала его так, как вчера: что там, теперь известно, и что делать, известно тоже. Гнилостный кислый запах, проникавший и сквозь кожу и донимавший Алексея Петровича особенно по утрам, на этот раз не был таким густым и беспощадным. Какой-то грязный, душный оболоч сошёл с него, стало просторней в груди, в голове — везде. Но его сильно качнуло, когда он поднялся на ноги; болезнь выцедила из него слишком много. Крепко, не жалея себя, Алексей Петрович умылся под тугой холодной струей и решительно продолжил подвиг дальше: снял больничную белую рубаху из грубой материи и протёр себя мокрым махровым полотенцем. И — обессилел. Натянул вместо снятой домашнюю рубашку, мягкую и тёплую, в мелкую коричневую клетку, и откинулся на подушку.

Ветер стих, ночные поднебесные страсти унесло, сквозь взбитые, пухлые тучи пятнами пробивался солнечный свет. Намаённые за ночь, продолжали вздрагивать и скрестись верхушки деревьев. Опять резко, грубо кричали вороны и уносились одна за другой за лес, проплывая в окне общим тревожным сбором. Алексей Петрович вспомнил ночное событие, но вспомнил без страха, как нечто происшедшее в свой черёд, чему он был нечаянным свидетелем. В свой черёд значит неизбежно.

Весь этот день он прожил на подъёме.

При обходе врач подтвердил, что с операцией торопиться не будут. Шов действительно целёхонек, а инфильтрат, быть может, удастся убрать, лекарство удалось отыскать. Выходило, что он не исключает возможность операции, но его «может быть», как показалось Алексею Петровичу, прозвучало с уверенностью и было по форме всего лишь необходимым оберегом осторожного человека от случайности. Замечать этого по той же причине Алексею Петровичу не полагалось, ему-то в особенности, но так он был настроен, такая в нём гудела ободряющая струна, что не испугался заметить. Должно же когда-то кончиться невезение.

Сегодня врачу было что сообщить больным этой палаты. Ощупывая живот соседа, бугристый и безволосый, как у юноши, он из наклона тянул голову за плечо, что-то диктуя сестре, что она записывала, потом выпрямился и сказал:

— Ну что, Антон Ильич, будем готовиться. Завтра возьмём вас.

— А как... как готовиться? — споткнувшимся голосом спросил сосед и осторожно снял ноги с кровати. Он натянуто улыбался.

— Сестра скажет, — и, не задерживаясь как всегда, врач вышел.

Сестра была та, что принимала Носова в первый вечер, он её почти не запомнил в горячем тумане и теперь узнал по оставшейся перед глазами маленькой сухой ручке с красными, как обваренными, пальчиками. Она и вся оказалась маленькой, бескровной, но быстрой, с живыми острыми глазами, имевшей за острыми плечиками, торчащими под детским халатом, не менее полудюжины десятков лет. «Ветиран», как писал внук Алексея Петровича на поздравительной открытке: «Дорогой дедушка-ветиран». Голос у неё был хриплый, прокуренный. Алексей Петрович вспомнил и этот голос, когда она заговорила с соседом, давая ему наставления:

— До обеда без изменений. Пообедаете. Ужинать не надо. Вечером я вами займусь.

— Может, и не обедать на всякий случай? — как ни ждал, как ни торопил сосед с операцией, сообщение ударило его. Предлагая свою помощь, он невольно заискивал перед этой маленькой женщиной, которая увидит его во всей беспомощности.

— Обедайте, пообедайте. Это не помешает.

— Поздравляю, — задумчиво сказал сосед после ухода сестры. — Повезло вам.

— Через два-три дня и я вас буду поздравлять, — искренне ответил Алексей Петрович. — Знаете, с какой радостью приходишь в себя после операции: позади. А сам, несмотря ни на что, вперёд.

— Операции лучше в молодости делать.

— Если в молодости начинать, вы бы не были таким молодцом.

Сосед понимал, что трусит, что лицо его покраснело и невольно обвисло и затаились глаза, выглядывающие невидяще. Он принимался то за одно дело, то за другое, рылся в сумке, переставлял с тумбочки на подоконник банки, ложился, тупо глядел в телевизор и опять поднимался, выходил в коридор. Спустился вниз и принёс газеты, снова только для себя, пошелестел-пошелестел и оставил.

— Ваше министерство, — спрашивал он, — это где лес рубят?

— Нет, где охраняют.

— Разве его у нас охраняют?

И не слушал ответа, глядя куда-то перед собой.

Не он первый — поставили укол, и потихоньку стал он успокаиваться. Обмякшее лицо подобралось и подобрело, но глаза смотрели всё так же затаённо и печально. Голос был жалобным. Это и не успокоение было, а торможение, при котором снижается чувствительность и вялыми, неотчётливыми делаются очертания предстоящего события, ещё полчаса назад бывшие острыми и обжигающими. Весь мир плывёт в этом состоянии бесстрастно и прочно, отыскав какое-то надёжное установление. Сосед даже всхрапнул забывчиво, но недолго и без громогласия, с хрипящим стоном. Очнулся и, встрёпанный, потерянный, словно не узнавал, где он, водя глазами по стенам, с часами на руке, спросил у Алексея Петровича:

— Сколько времени?

— Скоро два. Скоро обед, — подсказал Алексей Петрович.

— Надо пообедать, — и засобирался торопливо, отыскал разрисованную цветочками пластмассовую кружку, предмет зависти Алексея Петровича, потому что его, металлическая, обжигала.

После обеда они разговорились. Но неприятным вышел этот разговор — не к месту, не ко времени. Один не мог сдержать чувства возвращающегося здоровья, второму предстояло пройти сквозь опасное и болезненное испытание. Один, истерзанный, измученный, ослабший, выходил победителем, второй только ещё шел на решительное сближение и нервничал, до хруста в скулах поводил влево-вправо ртом со сжатыми губами. Но продолжал смотреть в телевизор. С телевизора и началось.

— Отдохнули бы от него, — не выдержал со своей кровати Алексей Петрович. — И мне бы дали отдохнуть.

— Это, пожалуйста, — выкрикнулось неожиданно у соседа. Он с готовностью поднялся и загасил телевизор. И только тогда, должно быть, увидел себя в этой сцене жалким и спросил отрывисто: — А что это вы на него так?

— Вражеская пропаганда, как вы говорите, — с удовольствием вспомнил Алексей Петрович.

— Я ничего подобного не говорил.

— Вы про газеты говорили. А я про него, про это пучило одноглазое... со своей, разумеется, стороны.

— Чем оно вас не устраивает?

— Долго объяснять. Да вы и знаете. Вас же мои газеты не устраивают. До того, что вы и в руки их брать брезгуете. Я тоже разборчив.

— О старом, значит, жалеете? Так.

Это «так» было у него как точка, не больше, но можно было представить, что когда-то, когда сосед был при власти, оно звучало твёрдо, сильно, заглубляя сказанное решительным взмахом руки.

Разговор расходился, и Алексей Петрович устроился удобней, развернувшись на бок и подбив под локоть подушку.

— Жалею, — согласился он. — Но не так, как вы, должно быть, представляете. Я в старом, если хотите знать, с потрохами не увязал. Мне из старого только рюкзачок собрать — и в новом. Я и в партии не состоял.

— Это в министерстве-то? — не поверил сосед.

— Да. Я в министерстве проработал три года. Да и попал туда случайно. Директора института назначили министром, он меня с собой на управление потащил. Да и министерство... оно для нас было важным. Вот и вы толком не знали, рубят там лес или охраняют. Разве это о положении министерства не говорит?

— Привилегии для всех министерств были одинаковые, — чувствовалось: сосед продолжает разговор через силу. Он лежал и, согнув в колене левую ногу, закинув за неё правую, нервно мотал ею и посматривал на дверь.

— Кое-что было, — согласился Алексей Петрович, — хоть и по третьему разряду. Больница эта... я, правда, впервые здесь, когда и прав на неё не имею. Да, больница. Курорт. Но зачем мне, человеку лесному, курорт? Я там ни разу и не был. Машина у меня своя, свою пригнал. Должность не велика, с вашей не сравнить. Вы князем были, Антон Ильич, первый-то человек в крупном строительном тресте. Там привилегии, льготы эти сами плывут, за ними и ходить не надо. Не буду говорить про вас, не знаю. Но что такое начальник треста, знаю. Из министерства ходил и в ноги падал.

Сосед молчал. Алексей Петрович отдышался.

— Вы ведь в партии были, Антон Ильич?

— Был, конечно. Вы же знаете. Как бы я там не был?

— И не просто членом партии, а членом обкома?

Сосед мог и не отвечать: иначе не бывало.

— А воевали?

— Три года. Тяжёлое ранение имею, — с набирающейся твёрдостью отвечал сосед. — Что это вы мне допрос устраиваете?

Вошла сестра, поставила эмалированную ванночку со шприцами на тумбочку к Алексею Петровичу и приказала обоим разворачиваться тылом. Тот и другой своё получили. Нельзя было надивиться, как ловко умеют здесь вонзить в одно безболезненное касание иглу и вторым небрежным касанием мазнуть место укуса спиртом и тут же, поймав и заведя руку больного, приложить её к ватке над единственной капелькой крови.

— Я продолжу, Антон Ильич, с вашего позволения договорю, — сказал Алексей Петрович после ухода сестры. Они одновременно повернулись друг к другу. — Что выходит: вы воевали, имели крупную должность, были своим в местной партийной верхушке, вложили в старую систему немало сил... как же получилось, что вы её на дух не терпите, будто вы — это не вы, а что-то, что заново родилось?

Сосед перебил решительно:

— Я за Россию воевал, Россию строил, а не старую систему.

— За Россию, — согласился Алексей Петрович и шумно выдохнул. — Вы воевали за неё, да... Но почему тогда, когда эти бесы из научных институтов, — Алексей Петрович, перегнувшись, далеко вымахнул в сторону телевизора руку, — захватили говорильню и принялись издеваться над вами... да, и над вами в том числе... принялись утверждать, что жертва была напрасной и победа была не нужна... почему вы заслушались, как дитя, и поверили? Вы Россию защищали...

— Я и сейчас её защищаю.

— Господь с вами! Если бы на фронте вас убедили развернуть оружие... за Россию... вы бы поверили? Хотя — что я?! Бывало и это. Всё уже бывало. Вот это и страшно, что ничему нас научить нельзя. Но если вы не развернули оружие там, вы должны были знать, где Россия. А они развернули, — снова выпад в сторону телевизора. — И давай из всех батареек поливать Россию дерьмом, заводить в ней порядки, которых тут отродясь не водилось, натягивать чужую шкуру. Неужели вас в сердце ни разу не кольнуло, почему, по какой такой причине поносят так русских? В России. Вы ведь русский, Антон Ильич?

— Не видно, что ли? — сосед смотрел на Алексея Петровича исподлобья и сказал холодно, отчужденно.

— Пока видно. Есть же у нас свои черты. Но скоро их сострогают. Скажите, какие же мы с вами русские, если дали так себя закружить? Хоть чутьё полагается иметь, если нет ничего другого. Для вас Россия в одной стороне, для меня — в другой. Нет, не там, где мы с вами были при коммунизме. Но и не там, где вы видите, совсем она не там. Можно допустить, что я ошибаюсь. Но посмотрите. Мы дикари, звери, развратники, пьяницы, матерщинники... полный набор... лодыри, покорное стадо, к иконе подходим не иначе как с топором. Надо нас в цивилизованный мир, чтобы привести в порядок. Посмотрите, как цивилизуют. Пьяницы — и заливают дешёвой водкой. Развратники — и весь срам, всё бесстыдство людское со всего мира, всё несусветное уродство — сюда. Дикари — и гуляй свободно любой головорез, насилиуй, грабь, воруй, убивай беспрепятственно, захватывай мафия и коррупция государственное богатство, объединяйся между собой, захватывай власть. Лодырь — и хлеб, масло у своего крестьянина не берут, везут из-за океана. Грубияны — и полон рот мата у каждого воспитателя. Не кажется это вам... ну, не совсем подходящим способом воспитания... совсем не подходящим?! Свободы хватило только на это — как сделаться окончательно без стыда и без совести, разграбить страну и оболванить нас с вами. А мы и рот разинули: настоящую Россию нам кажут! Нет, Антон Ильич, это не Россия. Избави Бог!

Алексей Петрович задохнулся и умолк. Сосед тоже дышал тяжело и смотрел на него враждебно. И вдруг сделал совсем по-мальчишески: поднялся и демонстративно включил телевизор.

— Новости, — объявил он. — Извините, новости я пропустить не могу.

— Конечно, конечно, — не без удивления согласился Алексей Петрович и так же де-

монстративно отвернулся к стенке. Но успокоиться он не мог, остро жгло в груди разгоревшейся болью обиды и потери — огромной, всеохватывающей, лежащей где скорбно, где торжествующе на каждой человеческой фигуре, выговаривающейся в каждом слове. И, не договорив, ждал, когда дикторша с лицом и прической куклы Барби закончит учащённый механический стукоток своего голоса.

— Знаете, что ещё непонятно, — нашёл он после новостей паузу, чтобы продолжить. — Понятно, конечно, понятно. Но понятно до беспонятия; голова отказывается принимать. Одни и те же трубадуры дурили нас и десять лет назад, дурят и сейчас. А мы уши развели. Но если вы согласны с ними сегодня, значит надо признать, что вчера они дурили нас, потому что говорили совсем наоборот. А если дурили вчера и если это те же самые, дурят и сегодня. Такая это порода на нашем горбу развелась. То капитализм чудовище, то рай. Если бы они могли, они бы и солнце развернули, чтобы всходило на западе. А нам, дуrolомам, пришлось бы со спины отрачивать перёд. Знаете, как я рулю? Если эта свора в голос запела, что выгода для России вот там — значит, выгода совсем с другой стороны. Так потом и оказывается. Безошибочная ориентация — ни компаса, ни азимута не надо.

— Оттого вы один такой и умный, а все дураки! — выкрикнул сосед, решительно поднимаясь. — Остыньте, Алексей Петрович, с меня хватит. Я, может, дурак, но мне сегодня всё равно.

Алексей Петрович осёкся: что это он в самом деле? Не на митинге. Глаз не надо, чтобы увидеть, что не это мает сейчас соседа. Он извинился, сосед не ответил. И как раз в это время открылась дверь и вошла жена Алексея Петровича, улыбаясь ещё от двери и вглядываясь в Алексея Петровича, поздоровалась, установила на пол возле кровати тяжёлую сумку и пропела:

— Как хорошо тут у вас! Совсем в лесу!

— Болей не хочу, — в тон ей ответил Алексей Петрович.

\* \* \*

Утром соседа увезли, стало просторно и тихо. Он суетливо и долго взбирался на высокую и узкую каталку и нервно говорил. «Я бы ногами, ногами, — повторял он, — туда-то можно и ногами, зачем вам беспокоиться?» Две операционные сестры в накрахмаленных халатах и шапочках, молодые, красивые, со строго выглядывающими из белизны ликовыми лицами неземных вестников, стояли по краям каталки и ждали. Когда же было велено соседу раздеться донага и когда, голого, укрыли его простыней, он сразу жертвенно затих. Только, натягивая шейные жгуты, крутил по сторонам большой седой головой. Каталка попалась разношенная, дребезжащая, и долго слышно было справа, куда увозили, надсадный скрип и стон.

Пришла своя сестра, Татьяна Васильевна, вздыхая, собрала с кровати соседа постельное бельё и откатила в угол телевизор. Алексей Петрович удивился:

— Как вы угадали, что я с ним не в ладах?

— Зачем же угадывать? — ответила она. — Мы видим. Не вы один. У нас это первая причина для конфликтов. Одному нужна первая программа, второму четвёртая... Или одного за уши не оттащишь... поверите, был случай в прошлом году: умер за телевизором. А второй принципиально не смотрит, просит перевести в палату без телевизора.

— А разве есть такие — без телевизора?

— Нет. Но есть неработающие. Погоняйте-ка с утра до ночи — никакая гарантия не выдержит. Ну и «диверсанты», конечно...

— Это что такое?

— Выводят из строя сознательно. Не показывал, не показывал — вдруг запоказывал, — говорила она неглубоким, с шуршинкой, певучим голосом. — Это значит — «диверсант» выписывается, на место что-то там воткнул. А один забыл воткнуть, он уж очень сердит был... уехал, а телевизор как не пыхал, так и не пышет. На его место новенький поступил, ему подавай, чтоб пыхал, мастера требует. А что мастера — я-то чувю, что не мастера.

Звоню тому, он человек серьёзный, на посту. Говорю: «Вы, Анатолий Сергеевич, никакую маленькую трубочку с собой не забыли?» — медсестра засмеялась, вспомнив, как отвечал обнаруженный «диверсант». «Ой, — говорит, — Татьяна Васильевна, вправду забыл. Как вы узнали? Эта трубочка в шкафу на верхней полке в ваточку завернутая лежит. Не кладите трубку, посмотрите, там она или нет, не то я другую пришлю». Что же... там, конечно. Совсем-совсем маленькая, — сестра на пальце показала, какая маленькая, — а эту такую оказину повергла в бесчувствие.

— Это сопротивление, — подсказал Алексей Петрович, тоже улыбаясь той опаске, с какой сестра покосилась на притаившееся зевов телевизора.

— Вот-вот, сопротивление, а такое маленькое...

После операции соседа держали в реанимации два дня. Простояли эти дни все такими же сумеречными, с глухим вислым небом, наводящим тоску. Алексей Петрович подолгу стоял у окна и смотрел, как по бетонной дорожке вбегают в лес и выбегают из него человеческие фигуры, уже с непокрытыми головами и в лёгких накидках на плечах. Под окном у служебного хода громко топали ногами, сбивая налипший лист. Две женщины в красных форменных поддёвках, могучие, как все дорожницы, собирали набросанные ветром сучья и громко разговаривали, ругая какого-то Одинцова, который врёт и ворует. «Все врут и воруют!» время от времени делали они обобщения, устанавливая друг против друга в позе пророков и воздымая руки, а затем опять переходили к Одинцову. Одна, в кроссовках на огромных ногах и в какой-то странной нахлобучке на голове типа армейской пилотки, с властным трубным голосом, особенно громогласила.

— Говорит мне, — на хохлацкий манер басила она, — иди во Кремль работать, ежели тут не нравится.

— Какой находчивый, — отозвалась вторая, говорившая нараспев.

— Во Кремль! — говорю. — Во Кремль! Во Кремль! «Чем тебе, — он говорит, — Кремль не нравится? Будешь там шубы от снега веничком обмахивать. Ты женщина народного происхождения, тебе доплачивать будут за народную фигуру».

— Глите-ка! И где так наострился?! — удивлялась вторая. — Самого-то соплей перешибёшь, а на народную фигуру хвост подымает. Где бы его так скараулить, чтоб промеж себя давнуть невзначай. Пускай бы поосторожней с народной фигурой...

А поверх леса издали доносился то частый стукоток поезда, то нежный затихающий перезвон колоколов, и стоял сытый, утробный гул большого города. Быстро мерк серый свет, загорались дрожливо, как ранние звёздочки, ранние огни, расходились длинными мерцающими гирляндами, пока не превращались в одно широкое зарево — точно у горизонта горела земля. Грустно было, как из клетки, смотреть и слушать, но ещё грустнее было думать, что с такой же неизлечимой тоской придётся ему смотреть неведомо куда и из окна своей квартиры и убеждаться всякий раз, что ждать больше от жизни нечего. В большом городе, напоминающем руины одного гигантского сооружения с пробитыми наспех ходами, смотреть в окно — это смотреть в безысходность. И только, отойдя, среди родных голосов и лиц можно успокоиться и вновь сказать себе, что самое главное теперь — дожить достойно. Теперь, когда из недр жизни изверглось всё зло, копившееся там столетиями, и обрушилось на каждого человека потоками, тем более нужно было спастись от него во что бы то ни стало и доказать всему миру и себе, что не всё склоняется перед победившей злой волей.

По длинному коридору бродили, расхаживаясь, больные — согнутые в пояснице, ступающие осторожно, чтоб ничего в себе не разбередить и не расплескать, с выглядывающими из-под курток полиэтиленовыми мешочками на бедрах, перекалывающимися при шаге и булькающими. Выходил к ним и ослабевший Алексей Петрович, так же сгибался и так же шарил ногами по полу, так же вполголоса говорил. В госпитале подобное же шествие состояло из одних только стариков, здесь было много молодых, одетых в яркие спортивные костюмы, говоривших свободней, громче, но тоже с застывшими в болезни лицами. И ещё одно заметил Алексей Петрович: дооперационные держались своей группой, послеоперационные, смотревшие веселей и начинавшие подшучивать друг над дру-



гом, — своей. Постоянно торопились, пробегая, медсёстры, врачи, бренчал телефон то на одном посту, то на другом, катили бренчащие склянками тележки, несли на вытянутых руках на высокой подставке капельницу, вспыхивали над палатными дверями лампочки вызова медсестёр — и двигалась, двигалась вдоль стены, шаркая ногами, словно в ритуальном шествии, согбенная колонна в семь-восемь фигур, а за нею ещё одна...

Алексея Петровича нещадно кололи, но горячая тяжесть под швом не расходилась, особенно давая себя знать, когда он поднимался на ноги. Но ему показывали снимки, и на них тёмное пятно инфильтрата начинало постепенно подтаивать и слабеть. Он ещё больше поверил, что обойдётся, хотя врач по-прежнему был осторожен в предположениях. Но есть в нас какое-то органическое самослышание, которое подбадривало Алексея Петровича.

Не дождавшись однажды лифта, он обнаружил широкую мраморную лестницу с медным, ярко надраенным ободом перил над металлическим, выкрашенным чёрной краской кружевом литья — точно парадный вход в залу для бала. И будто припрятанный выход нашёл — так его опахнуло надеждой. По этой лестнице, останавливаясь и набираясь сил, он спустился в библиотеку и взял старого, дореволюционного издания Достоевского о князе Мышкине. Приходила жена, и он провожал её по этой же лестнице. Жена залюбовалась широкими, во всю стену, окнами на площадках, она любила, когда много света, и Алексей Петрович удивился, почему он не обратил внимание на окна. Внимание всё-таки было суженным.

Опять, подменяя кого-то, не в свой черёд вышла на дежурство Татьяна Васильевна и рассказала, как её внучку, третьеклассницу, выживают из родной школы.

— Сделали из школы гимназию, для богатых, — Татьяна Васильевна с хрустом обламывала стеклянные игольчатые горлышки у ампул и втягивала лекарства в баллончик шприца. — Сделали и давай чужих вытеснять. А какие мы чужие, школа всю жизнь была для нашего района, у меня ещё дочь там училась. А они со всего города туда на лимузинах. Ой, какие лимузины, Алексей Петрович! На улице в потоке не заметно, а как соберутся вместе — выставка! Выставка... — глуше повторяла она, наклоняясь над Алексеем Петровичем и моментально делая своё дело. — Ещё с осени объявили Наташку умственно отсталой. Это она-то умственно отсталая, она очень умная девочка. Мать осенью отказалась забирать. А им классы нужны маленькие, чтоб лучше учить. Так что придумали... Вчера — родительское собрание, дочь моя Вера пошла. Опять: недоразвитая у вас девочка, у нас останутся одни умственно-передовые. И объявляют: с сентября платное обучение. За валюту. Вот так, Алексей Петрович, за валюту, — с твёрдым и беспомощным подчёркиванием закончила она, с бряком опуская использованный шприц в ванночку. — А мы — безвалютный люд, от валютного всё вытерпим.

\* \* \*

Соседа привезли перед обедом. Когда переваливался он, поддерживаемый сёстрами, с каталки на кровать, нельзя было не заметить, что за два дня он стал меньше, совсем как подросток. И только большая голова на обвисшем коротком теле, делавшая его головастиком, напоминала о прежней налитости. Он отдышался в кровати и скосил на Алексея Петровича пожелтевшие глаза.

— Ну, как, сосед, живём? — запавшим и треснувшим голосом спросил он и повёл рукой вниз, к ране.

— Живем... куда деться? Как операцию перенесли?

— Как!.. Руки-ноги свяжут, нож острый наточут и вспарывают. Переноси, если жить хочешь. Вот такой булыжник выворотили, — похвалился он, показывая, какой. — Больше голубинового яйца. Хирург на память обещал.

Сквозь боль слышалось в его голосе удовлетворение, гордость: перенёс, через такой перевал перевалил!

Ночью Алексей Петрович проснулся от грохота упавшего стула. Белая фигура, си-

девшая на кровати, низко склонялась и снова выпрямлялась, что-то вышаривая на полу. Потом поднялась в рост и тяжело ступила. Алексей Петрович торопливо нажал на кнопку под правой рукой, услышал, как в коридоре за дверью тревожно пропел звонок, и стал подниматься. Вошла медсестра, оставив дверь приоткрытой, и, взглядываясь, нашла две стоящие друг против друга фигуры. Она щёлкнула выключателем и закрыла дверь. Но кинулась спросонья к Алексею Петровичу, вытягивая руки, чтобы усадить его, уже коснулась Алексея Петровича, но, дёрнула головой тем резким рывком, который выдаёт мгновенное опаматование, развернулась и пошла на соседа. Это была та маленькая, пожилая неукротимая сестра, которая всё делала бегом. Как она сгребла своими детскими ручонками соседа, где нашла силы, чтобы его, сопротивляющегося, пытающегося устоять, мягко усадить, прижать и осторожно завести в кровать ноги, приходилось только удивляться. Помощь Алексея Петровича не понадобилась.

— Лежи, лежи, миленький, — приговаривала она, продолжая удерживать соседа силой. — Вот блуда. Нельзя тебе подниматься. Мы что с тобой потом делать будем?

Сосед что-то невнятно бормотал. Потом затих.

— Он что, себя не помнит? — спросил Алексей Петрович.

— Это остатки наркоза. Он может долго действовать, — прибирая крашенные какой-то яркой желтизной короткие волосы и нахлобучивая на них шапочку, быстрым говорком объясняла сестра. — Вы не против, если я дверь оставлю приоткрытой? Боюсь, что это не всё.

И это действительно было не всё. Сосед ненадолго успокаивался, шумно дыша и пускающая хлюпающий храп, затем голова его приподымалась, руки начинали шарить, сползали вниз ноги. Алексей Петрович трижды ещё жал на звонок, вбегала сестра, укладывала без особого труда, приговаривая: «Куда, куда, лунатик? А на место не хочешь?» — вжимала больного в постель так, что стонали пружины кровати, вставала подле недолгим караулом и неслышно выходила. Кончилась вся эта возня уколом, утихомирившим соседа до позднего утра. Алексей Петрович больше не уснул. Он слушал, как просыпается огромное, многоэтажное, многоклеточное, заполненное до отказа, вместилище болезней, называемое больницей: глухим хлопком стучала дверь служебного входа, скользил по шахте лифт и щелчком тыкался кабиной в этаж, дзинькала дужка ведра, кто-то приглушённо охал... И видел он каким-то особым зрением, как соступает с лифта на выложенную золотистой плиткой площадку молодая, совсем юная девушка в уличной короткой куртке, высоко открывающей ноги, как входит она в сестринскую и начинает переодеваться в белое и в пять минут преобразается в ангела, но чёрные волосы её по-прежнему раскинуты, движения замедлены. Она приходит раньше, чтобы выпить перед дежурством кофе, и ждёт, когда забурлит под электричеством подаренный кем-то из счастливых больных маленький литровый чайник с торчащим полукругом ручки... А в конце коридора начинает возить шваброй по толстому, глухо закрывшему половицы линолеуму под паркет тяжёлая на вид пожилая женщина, совсем старуха. Она отжимает над ведром тряпку и взмахом выбрасывает её перед собой. Лицо у неё отечное, полное, зубы сжаты, потрёпанная тёмно-синяя юбка от размашистых движений задирается, показывая под грубыми чулками на резинке белое дряблое тело, буграми перекладывающееся в работе вперёд — назад. Женщина живёт неподалёку от больницы и приходит рано; потом она тоже выпьет стакан горячего чая, согретого к тому времени в столовой, и, прилебывая, станет равнодушно наблюдать, как нагаптывают только что вымытый коридор. Будет среди них, среди тех, кто не заметит её работы, и Алексей Петрович.

За два дня Алексей Петрович привык к одиночеству, и возвратившийся в палату сосед стал занимать ещё больше места, чем прежде. Но и жаль было его, даже спящего, храпящего и стонущего одновременно на два голоса, лежащего на спине как-то обломленно и смято, с мукой на обросшем сединой лице. Ничего из своих ночных куролес он не помнил. И когда Алексей Петрович, не вдаваясь в подробности, сказал ему, разбуженному для укола, что ночью он вставал на ноги, тот испуганно вскрикнул:

— Да мне же нельзя!

- В том-то и дело, что нельзя. Как вы себя чувствуете?  
— Не мог я себе навредить? — спросил сосед, не отвечая.  
— Думаю, что обошлось. Иначе вы бы давно проснулись.

Алексей Петрович читал газеты, за которыми теперь спускался сам. И, читая, обжигался болью, другой, не телесной, горячим ветром обносившей грудь, откидывался обожжённо на подушку и терзал себя: как же это могло случиться? Как случиться могло, что на самую дешёвую наживку поддались и пошли крушить, и пошли... И кому поддались?! Господи, их только послушать, на них только посмотреть! В любой деревне пустоболта за человека не считали, имели же глаза и уши, чтобы оценить. А когда собралась куча пустоболтов, один другого развязней, один другого корыстней, что за наваждение нашло?! И бил, бил в голову, наяривая лихо, развеселый мотив: «Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить; с нашим атаманом не приходится тужить!»

— Что пишут? — спрашивал сосед, взглядывая искательно: вдруг Алексей Петрович смилостивится и принесёт и для него газеты. Алексей Петрович делал вид, что не понимает, и отвечал сердито:

— Добивают Россию. Доламывают.

— Через тяжёлый период пройти надо...

— И куда выйти? — подхватывал Алексей Петрович. — В пустыню? В сплошные развалины? Они же не строители, они не умеют строить. У них профессия такая, талант такой — разрушать! Да, — спохватился он, — вы-то ведь строителем были. Вы можете отличить: или выкладывают стены, или бьют по ним чугунной бабой!

— Я строитель и знаю, что без чугунной бабы на нулевом цикле не обойтись.

— Вот правильно: нулевой цикл. Не дальше нулевого цикла.

— Да вы хоть знаете, что такое нулевой цикл?

Они уже кричали друг на друга. Сосед перекинул через голову руки, ухватился за спинку кровати и подтянулся, чтобы освободить голос, звучащий сдавленно и пискляво. Алексей Петрович поднялся и перебирал ногами, словно собираясь рвануться. И вдруг враз умолкли — будто увидели себя со стороны. Продолжать было опасно.

— Включите мне, пожалуйста, телевизор, — подчеркнуто вежливо попросил сосед.

— Отдохните, — раскланиваясь, не уступая соседу в вежливости, отвечал Алексей Петрович. — Вам вредно.

И одновременно с удивлением наблюдал за собой: зачем же так?

Удивился и сосед:

— Алексей Петрович, ведь вы же не в лесу!..

— Вот именно. Там мы ваши срамотильники не держим на соснах, на ёлках не развешиваем. Поэтому у нас звери порядочнее людей.

— Да считайте как хотите. Но телевизор-то включить можно?

— Отдохните! — Алексей Петрович не узнавал себя, не понимал своего упрямства, уже представлял, как он будет потом мучиться от стыда, — и стоял, как пень, на своём.

Он не заметил, когда сосед нажал кнопку. Вошла сестра, Татьяна Васильевна, наклонилась над соседом:

— Болит, Антон Ильич? Обезболивающее сделать?

— Сделать! — сердито отвечал он. — И включите мне, пожалуйста, телевизор.

Сестра выпрямилась и, обернувшись, напряженно и вопросительно смотрела на Алексея Петровича. Он кивнул.

И вышел.

\* \* \*

Солнце то выглядывало из-под тающей алой зыби неба, то снова терялось в ней, как в волне; срывалось вдруг откуда-то бледное солнечное пятно, бежало по аллее, вспрыгивало на ярко-голубую, свежевыкрашенную скамейку и взмётывалось на чёрную стену леса. Парк расходился на все четыре стороны, и с трёх сторон разрезали его широкие аллеи с

асфальтным полотном машинной дороги, по бокам которой тянулись пешеходные дорожки с часто расставленными скамьями. Дорожки уходили и в лес — и там яркими пятнами с натоптанной подле залысевшей землёй стояли скамейки, и туда тянулись на белых лёгких опорах с выгнутыми шеями перевёрнутые чаши светильников.

Алексею Петровичу ещё вчера позволили гулять, ещё вчера он отыскал и перенёс в раздевалку плащ и теперь, одевшись, впервые вышел на воздух. Вначале показалось, что свежо, так и дохнуло на него сырой струёй, как только вышел, но это и естественно было после недельного лежания, а до того — с маленьким невольным перерывом после лежания месячного в непродуваемой комнате с застоявшимся духом болезней, после кидающих в жар лекарств и не менее кидающих в жар рассказов о том, что бывает, если застудить и воспалить место, где скрывался его незабвенный дивертикул. Но скоро он попривыкнул — нет, хорошо: дышит земля, дышит лес подсыхающей прелью, дышит раскрывающееся небо, воздух полон сладких запахов весеннего брожения и дурманит голову, бережит горло. Алексей Петрович вышел на одну аллею, перешёл на другую — всё асфальт, и земля не пружинит под ногами, не хрухнет сучок, не блеснёт серебристо в сыром углу на месте вытаявшего снега тенётистое кружево... Он вспомнил, что видел из своего окна сквозь голые деревья полосу воды, и пошёл туда, где она могла быть. И вышел к маленькому прудку с тёмной водой, с крошечным насыпным островком посередине и перекинутым к нему горбатым деревянным мостиком. Тут и солнце ударило, золотистыми блёстками засветив прудок и делая его ещё более сказочным. Стало совсем тепло.

Алексей Петрович нашел удобную скамью — и пруд виден вместе с островком и мостком, и сам он спрятан в глубине уютной освещённой полянки — и опустился на неё, глубоко откинувшись на низкую спинку. Всё было рядом — и небо, сгоняющее тучи влево, к востоку, и весёлое зеркальце пруда, отороченное, как рамой, маслянистой полосой ила, и две берёзы на левом его полукружье, низко склоняющие над водой ветви, и железная решётчатая ограда фигурного литья за прудом, и голоса людей с аллеи справа... И так хорошо было, отдавшись солнцу, закрыть глаза и чувствовать, что всё это рядом.

Он задремал, но слышал шаги слева, слышал, как уселись там на такую же скамейку, развернутую на дорожку, торцом к пруду.

— Витька! Витька! — донёсся счастливый и плачущий молодой женский голос — Как же ты прошёл?

— Что же тут не пройти! — отвечал возбуждённо Витька. — Я к тебе в любую темницу пройду.

— Почему в темницу?

— В светлицу. Если бы там в древнем замке на краю скалы сторожили тебя драконы — я бы и туда прошёл. Мимо Змея-Горыныча и всех его двадцати пяти голов.

Она, не сдерживаясь, заплакала сильнее:

— Я тебя люблю, Витька.

— Ну, что за беда, — с нарочитой небрежностью отвечал он. — Я тебя тоже люблю.

От этого не плачут.

— Я слабая. И я всё ещё боюсь.

— Не бойся, Леся, проехало, — парень ещё что-то добавил, но Алексей Петрович не расслышал. Он не хотел подслушивать, но ещё более не хотелось ему, пригревшемуся и замороженному, подниматься и переходить. Да и их он бы вспугнул.

— За что они так тебя? — спрашивала она.

— Ты же знаешь: мозги у нас с тобой не туда повёрнуты. Не то делаем, не так делаем. Знаешь ты, Леся.

Она помолчала и натянуто спросила:

— Ты скрываешься?

— Нет, — быстро сказал он. — Это пусть они скрываются. Я на своей земле.

— Скажи мне правду, Витька...

— Я тебе правду говорю. Правду, правду и одну только правду, — он говорил прерывисто, должно быть, лаская её. — Поправляйся скорей. Придёт лето — поедем мы с тобой

на Валаам. Там и обвенчаемся. Дадут нам келью, мне на подворье обещали. Рядом, под маленьким окошечком, будет плескаться вода. Кругом ни одной чужой души, все свои. Ты там быстро окрепнешь.

— Витя, а ты на подворье скрываешься, да? Скажи мне.

Твёрдо, по-мужски:

— Я нигде не скрываюсь, даю тебе честное слово. Ты поправляйся, не думай об этом.

Они умолкли, и надолго. Булькнуло: кто-то бросил в воду камешек. Шелестели за деревьями голоса гуляющих по аллее, с фырканьем пронеслась стайка воробьев. И всё теплее, всё спокойней и ласковей пригревало солнце. Алексей Петрович опять задремал. Снова заговорили с соседней скамьи, но о чём, он не различал, и снова девушка плакала, а мягкий рокоток парня успокаивал её. Всё было как во сне. И, как во сне, где-то далеко-далеко раздался колокольный звон, сначала мерный, важный, потом всё быстрее, всё тревожней, собирая голоса, которые принялись вторить ему: бом-бом-бом!

Алексей Петрович напрягся. Голоса то отдалялись, то снова сливались со звоном, словно птицами летая вокруг, подныривая и устремляясь ввысь, чтобы возгласить оттуда:

*Бом, бом, бом — спешите в храмы Божии,  
Бом, бом, бом — пока ещё, пока ещё звонят.*

Звон умолк. В тишине девушка попросила:

— Включи.

— Ты опять будешь плакать.

— Я постараюсь. Включи.

Алексей Петрович окончательно очнулся. И, скосив глаза, увидел поверх решётчатой спинки скамьи две склонённые друг к другу головы — одну в белой вязаной шапочке и другую — непокрытую и крупную, в ёжике русых волос. Снова ударил звон. «Да это же кассета, песня», — догадался Алексей Петрович. Ударил звон, и парень с девушкой, накинув на плечи друг друга руки и ещё теснее прижавшись, повели вместе с глубоким, грудным, красиво и сурово вопрошающим голосом певицы:

*Бом, бом, бом — где ж вы, сыны русские?  
Бом, бом, бом — почто забыли мать?  
Бом, бом, бом — не вы ль под эту музыку  
Бом, бом, бом — или парадным шагом умирать?!*

Девушка, склонившись, заплакала навзрыд. Парень выключил запись. Алексей Петрович, уже не таясь, смотрел в их сторону. Парень успокаивающе водил рукой по спине девушки и в оцепенении глядел куда-то прямо перед собой.

...Полгода потом Алексей Петрович будет искать эту песню, спрашивая в кругу, где могли её знать, пока однажды вовсе не молодой человек, сверстник Алексея Петровича по возрасту, не расскажет ему о монахе Псково-Печерского монастыря Романе, который сложил и эту песню, а вместе с нею и многие другие для попечения о запущенной русской душе.

1995 г.

## В непогоду

Я приехал в санаторий в конце марта. Снег уже почти вытаял, оставаясь грязными и сморщенными лафтаками только в низких и затенённых местах, да кругами лежал он под могучими кедрами, сквозь которые мартовскому солнцу ещё не пробиться. Поселили меня в «заячий домик», названный так, должно быть, по памяти о детской сказке, в которой у лисы был ледяной домик, а у зайца лубяной, пришла весна, лисья ледяная избушка и

растаяла... А заячья, самая маленькая в санатории, стоит уже более сорока лет, и ничего ей не делается. Предназначалась она, как говорит юное сорокалетнее предание, для охранников американского президента Эйзенхауэра, собиравшегося в ту пору посетить Байкал. Но посещение не состоялось: за полгода до поездки Эйзенхауэра американцы неосторожно заслали в глубины России самолёт-разведчик У-2. Над Уралом он был сбит, и разразился скандал. А приготовленная для американского президента резиденция дала основание санаторию. Стоит он на солнцеприпёчном взгорке как раз над истоком Ангары — картина волшебная и могучая, из тех редкостных и неизъяснимых, перед которыми немеет наш язык, со смятением и растерянностью называя их неземными. И вот её-то я и имею счастье наблюдать хоть полными днями из окон сквозь негустой строй сосен и кедров.

Избушка только снаружи кажется маленькой, а внутри она ничего себе: три уютных и светлых комнатки, кухня, туалет с ванной за общей дверью и десять окон на все четыре стороны. По утрам мне доставляет удовольствие открывать на них шторы, и это занятие занимает у меня никак не меньше десяти-пятнадцати минут: встанешь перед западной стороной, где из-под белого ледяного поля выливается в широкую горловину меж берегов торжественная новороженица Ангара, и не можешь отвести глаз. Тут главное, ни с чем больше не сравнимое целение в этом санатории, тут столь полное и счастливое обезболивание от ран жизни, до которого чувства наши не достают.

А по вечерам я взял за правило подниматься на пик Черского, на самую большую высоту в прибрежных горах, названную именем польского ссыльного, исследователя Байкала. Тут сама природа устроила смотровую площадку, а человек благоустроил её, соорудив беседку со скамьями и проведя к ней асфальтовую дорогу. Дорога, как и полагается при санаториях, ещё недавно поделена была на три маршрута — для слабоногих, средние и ступающих бодрим шагом. Теперь маршруты переименовали в терренкуры — первый, второй и третий, о чём и повествует уже вытаявшая надпись белой краской на асфальте в начале пути сразу же за столовой. Словом, те же самые два с половиной километра до пика Черского проходишь теперь не в три маршрутных приёма, а в три терренкурных приёма. Ну, терренкур так терренкур — какая разница, как это называется, когда с пыхтением лезешь в гору! Но уж влез, встал под ветрами и облаками между небом и землёй, окинул взглядом широко и безбрежно открывшееся чудо, задохнулся и воспарил от этого видения на крыльях чувственного восторга — этому названия нет!

Дорога на пик ещё грязная и мокрая, ручьи по обочинам асфальта сбегают бесшумными и аккуратными полукружьями, настолько правильными, ровно отмеренными скобочками, что невозможно понять, что их «фигурит»; редкий от старых вырубок лес стоит недвижно и томно, в полубомороке, в полудрёме от тепла; воздух влажный и смолисто пряный. Дорога вьётся зигзагами, идёт серпантинном, огибая крутизну под удобным углом, жмётся к обрыву, где над ложем убегающей Ангары выгибается вправо простор. Я уже спускаюсь обратно, когда в который уже раз встречается мне кипящий, как самовар, мужик с пыхающим медным лицом, в куртке нараспашку, из-под которой валит пар, с открытой, до окалины перегретой лысой головой. Из-под мокрых казачьих усов он выкрикивает:

— Отметился?

— Отметился, — соглашаюсь я.

— А я сегодня второй раз отмечаюсь, — не останавливаясь, докладывает он и командует себе: — Вперёд, некогда разговаривать!

Накануне резкой перемены погоды было особенно хорошо, особенно волшебю. Когда, перепрыгивая с камня на камень, поднялся я на пятачок смотровой площадки, солнце над Ангарой уже садилось и огромный, растянутый на все четыре стороны мир замер в последней и таинственной неге перед закатом. Тишина стояла полная и необъяснимая: внизу жили люди, извивался вдоль берега оживлённый машинный тракт — и ни звука; теплоход, старый и измождённый трудяга под названием «Бабушкин», отчаливший от зимней пристани возле Лимнологического музея, сползал на большую и тёмную воду бесшумно, не поднимая волны. Лёд нынче по тёплой зиме отжался от Ангары дальше обычного, и белое его поле было разрисовано лапчатыми узорами от подтаивших снежных

наносов. Вода выливалась из-под льда широким и спокойным потоком, чуть горбящимся и чуть покачивающимся с боку на бок, и долго магнетически вела за собой взгляд. Далеко влево, за обширным ледовым полотнищем горы со снежными гривами по распадкам, лежали в прозрачной завеси парной дымки Саяны. Мысы на той стороне Байкала, где Кругобайкальская дорога, вдвигались в море чёрными чудовищами, запустившими под лёд рога, чтобы взломать его и отодвинуть восвояси. Ангара по левому берегу, закрытому от закатного солнца горами, уже лежала в глубокой тени, а низкий правый берег, неровный и зубчатый, искристо взблещивал под солнцем ожерельем ледового припая. Она, Ангара, видна была недалеко, до первого и близкого поворота вправо, и только здесь она ещё и оставалась Ангарой в своей дивной красе и своих родных берегах. А уже через пятнадцать-двадцать километров и не полюбуешься ею: распухнет, завязнет в водохранилище, сначала в одном, затем в другом, третьем — и так до самого конца. Шаман-камень, хорошо видимый мне сейчас сверху, мерцающий тёмной лысой макушкой, легендарный Шаман-камень, которым пытался остановить Байкал свою своенравную дочь Ангару, когда она без родительского благословения бросилась бежать от него к Енисею, — не от этой ли судьбы Шаман-камень, лёгший поперёк её русла, пытался преградить беглянке путь?!

Пока размышлял я и печалился о судьбе Ангары, по-матерински вспоившей и вскормившей меня в детстве в полутьсяче километров отсюда, напитавшей мою душу вечной любовью и благодарностью к ней, украсившей её красками и линиями своей красоты, наговорившей сказки, которые продолжают звучать во мне ещё и теперь, научившей язык мой словам, которые и склонили потом меня к моей профессии, наплескавшей в меня сострадательные слёзы, — пока я стремительной птицей пролетал над Ангарой до детства моего и вернулся, туда пролетел над тою, что была в моём детстве, а вернулся над теперешней, — солнце за эти минуты присело ещё ниже над гористым горизонтом и в чётких контурах смотрелось чистой сияющей чашей, испитой до дна. Ледяное поле Байкала лежало в позолоте, возле правого берега, где Толстый мыс вдвигался в Байкал, позолота была гуще, сочнее, а влево перед Саянами широко разливалась тонкой и нежной плёнкой, чуть подкрашивающей, чуть обласкивающей холодную пустынную. Я отвёл глаза от Байкала только на мгновение, чтобы оглянуться на темнеющую, мирно бурлящую в прибрежных камнях Ангару, заваливающуюся вправо, и за это мгновение вал низкого солнца успел надвинуться на дальний противоположный берег и стал подниматься в горы. Весь недвижный Байкал алел ровно разлитой стекленеющей краской, на востоке, где разворачивался он, чтобы устремиться на север, до самых вершин озарились и горы, снег на них заискрился и засиял, сияние это, расширяясь, надвигаясь на южную оконечность гор, поползло вправо мерным выдохом последнего красного света.

Было чему удивляться: понизу, по льду, полог света шёл справа налево, там поднимался в горы, разворачивался и плыл в обратную сторону, к Толстому мысу. Да, всю свою золотистую ткань, всю свою горячую, а затем и тёплую щедрость снизало солнце в эту огромную волшебную чашу, в это неиссякаемое лоно, рождающее Ангару, и теперь, опустошённое, меднистое, отгоревшее, садилось на краю горизонта на невесть откуда взявшееся небольшое облако, похожее на белого оленя в прыжке с подогнутыми ногами и разлохмаченным хвостом.

Тишь загустела ещё больше и сделалась совсем неправдоподобной. Ни звука, ни ветра, ни вдоха или скрипа в просыпающемся от спячки весеннем лесу. Гольй глухой лес, застывший в спадающей вниз высокой волне, лежал в оцепенении, петлистая дорога с рыхлыми боковинами снега была пуста, ни людская, ни лесная жизнь никак не давали о себе знать. После мягкого дня к вечеру несколько не посвежело, а как бы ещё больше погрузилось в вышедшее из берегов полотеплие. И по этому общему оцепенению, по сладкой и тревожной истоме, охватившей мир, по опустошённому солнцу с чётко отпечатанным ободом круга, по многим другим приметам можно, наверное, было догадаться, что всё это неспроста и что всякое волшебство, перешедшее через край, таит в себе предостережение. Но и неспособны мы теперь к этому, и не хотелось отзываться ни на какие предостережения — так было хорошо и благостно, такой на сердце лёг покой!

С того места, где я стоял, солнце уже опустилось за тёмную горбушку мыса, а облако, только что напоминавшее оленя в стремительном прыжке, точно скинув с себя оседлавшее его солнце и изуродовавшись от ожога, ничего поэтического из себя, кроме скомканной белой шкуры, больше не представляло. А на противоположной, на утренней стороне небосклона, над горами в розовом снегу вдруг выплыли белой стайкой кружевные облачные фигурки, одна занятней и диковинней другой, красивые и весёлые в своей маскарадной неузнаваемости, и поспешили вдоль горизонта вправо, как оказалось, под прямоток западающего солнца. Лёгкая и широкая, во всю правую боковину Байкала, заскользила по льду тень, медленно разматываясь и пригашая его золотистое свечение. Перед горами тень испарилась, горы по-прежнему лежали в солнечном свете, густом, настоенном, влипшем в могучие каменные изваяния. Стайка облаков, не рассыпаясь, заняла своё место чуть поперёд гор и в минуту запылала таким пурпурным восторгом, такой гранатовой сочностью, что и лёд под этим фантастическим новым светилом опять заалел, и кругобайкальский берег выступил всеми своими складчатými ярусами. И чем глубже закатывалось солнце, чем плотнее ложились сумерки на Ангару, тем ярче и волшебней окрылялось огненными волшебными жар-птицами небо над Байкалом, и тем смелей и вдохновенней продолжал накладывать краски невидимый художник.

Я ещё долго стоял на каменистом выступе скалы, приближенный, казалось, к тайным и могучим силам неба. И долго-долго теплились, не затухая, горы, овал самой дальней из них, высящейся за поворотом, мерцал негасимой оплывшей свечой; облака самородными зорьками висели над Байкалом; на льду трепетали всполохи. И всё так же было тепло, бархатный воздух ласкал лицо, и с души не сходил восторг.

Ночью меня разбудил грохот: распахнуло окно в большой комнате, глядящей на Ангару, сбросило с подоконника тяжёлую каменную пепельницу, для которой я, некурящий, не мог подыскать более подходящего места, и в избушку мою ворвалось уличное буйство. Там гудело, шумело, бухало, плескалось и билось безостановочно. Сосны и кедры перед окнами, выламываясь, ходили ходуном, всплескивали в отчаянии ветками и стонали от ураганного северного ветра. Порывы его были долгими и тяжёлыми и налетали подхватывающимися и нарастающими волнами. Я втолкнул двойные рамы окна на место, удивляясь тому, как уцелели стёкла, закрепил их шпингалетами и уже через стекло заметил, что темноту из ночи выбило проносющимся за окном снегом, и там, как на дне глубокого и мощного течения, колышется водянистый полумрак. Я постоял перед ним, перед валом проносящегося снега, проверил, хорошо ли закреплены рамы на остальных девяти окнах моего «заячьего домика», и, надвинув на голову подушку, снова уснул.

Утром было белым-бело и шумным-шумно. Ветер неистово трепал деревья и завывал с устрашающим гудом, заставляющим прислушиваться к нему и цепенеть. Из-под снега торчали обломанные ветки, выдранная с корнем сосна перед окнами на Ангару повисла на соседней и ездил-пилила по ней, сдирая кору и оседая всё ниже и ниже. Ангарскую воду ветер волнами гнал обратно в Байкал, наплёскивая её на лёд. С немалым трудом оттиснул я дверь в улицу, крыльцо было завалено суметом, на месте дорожки лежал высокий гребнистый вал снега. Перед крыльцом его намело в гору, преодолеть которую не представлялось возможным. От скамейки справа торчал только край гнутой спинки, левую скамейку не видно было совсем. Мне ничего не оставалось, как по-заячьи сигануть на скамейку справа, пройти по ней, оставляя на пушистом сиденье глубокие следы, а затем ухнуть в снег и по обочине угадываемой дорожки выбредать на большую, на машинную дорогу, также бесследно покрытую тяжким белым саваном. Подходы к главному корпусу, где столовая и лечебные кабинеты, должно быть, с рассветом пытались расчищать, сугробы лежали здесь с волнистыми разводьями, но к этому часу всякие попытки бороться со снегом были оставлены, и он, ложась, неистово вихрил победную карусель. Несколько казавшихся неуклюжими фигур согбенно крались к входным дверям с выхлестанным стеклом. Но если бы даже это стекло было невредимо, оно несдобровало бы, пропуская меня, когда под хлётким ударом ветра я не удержал дверь и она бухнула, сотрясая четырёхэтажное каменное здание. А внутри как ни в чём не бывало из раздевалки дурноматом гремела



музыка и маленькая остролистая гардеробщица, закатив глаза, стояла возле столика в углу с приплясывающей головой.

В коридоре первого этажа сидели возле стен перед процедурными кабинетами реденьким строем, переговаривались, придавленные непогодой, мало и вполголоса, прислушивались к доносящемуся и сюда завыванию пурги... А медсёстры, врачи опаздывали, добираясь из своих посёлков, как в тундре, по бездорожью и под сногшибательными ударами ветробоя. Вбегали, одетые по-зимнему, в налипшем снегу, действовали своим энергичным появлением на присмиривших ожидающих своей порции здоровья ободряюще и через пять минут, успев переодеться, принимались за дело. Белые халаты смотрелись на них в это утро с каким-то особенным утешением — как чистота и непоколебимость мира.

Тем же макаром, ступая в свои следы, ещё не успевшие исчезнуть, и по-заячьи сигая по скамейке, пробрался я к своему домику на обратном пути, шваброй вместо пихлы отдалвил от входной двери снег и юркнул внутрь. В домике моём было куда как прохладно, это чувствовалось даже после штормящей улицы. Телефон не работал; когда я поднимал трубку, в ней сифонили лишь голоса непогоды, а они и без телефона проникали сквозь стены; радио умолкло, к моей тайной радости, ибо в надежде отыскать в его необъятном эфирном пространстве что-нибудь приличное, я время от времени терзал его, накручивая колёсико, но там всюду прочно воцарились новые вкусы и нравы. Электричество чудом держалось. Я подтащил ребристую панель электрообогревателя к столу, зажёл настольную лампу и протянул ноги к потрескивающему, набирающему силу теплу. Пусть там, за окнами, творится что угодно, а в моей власти, которую я занесу на бумагу, создать счастливый мир, сродни вчерашнему, вечернему, осиянному солнцем и покоем. У нашего брата лучшие картины получаются не с натуры, а с помощью воспоминаний и представлений, которые ещё живее, сочнее и чётче становятся в предположениях, недоступных глазу. Как хорошо лето писать зимой, тоскуя по лету, ощутительно и зримо отдаваясь ему всем своим существом, умея восполнить всё, что не удалось при встрече. Для нашего пера воображение, дополняющее воспоминание, есть такой же перочинный инструмент, как для простого грифельного карандаша перочинный нож. И чем неистовей, чем злей кутерьма за окном, тем отрадней и теплей должны являться возжеленные картины.

Стол мой стоял между двумя просторными, чуть не до потолка, окнами, и в них ещё злей, чем утром, трепало деревья и видна была кипящая, поднятая на дыбы Ангара. Снег тащило не переставая; казалось, что, завихряя, закручивая, его поднимает вверх и набрасывает на небо, уже заваленное тусклыми сугробами, а уже оттуда снег опять сваливается вниз. Я попробовал закрыться от этой действительности шторами, но тогда изнуряющее голошение пурги становилось ещё тяжелей и в груди холодком занывала тревога. А распахивал шторы — по комнате принимался погуливать ветер. И за стенами он принимался надавать так, что бедная моя избушка только кряхтела, из последней, казалось, мочи выдерживая шквал за шквалом.

Так продолжалось весь день, так продолжалось и на следующий. Всё то же надрывающее душу стенание, всё та же бесконечная трёпка деревьев и бешеные удары в стену, от которых звенела посуда в шкафу, всё та же мглистая иссеченность белого света. Но на второй день люди, придя в себя, стали приспособливаться к жизни в штормовой обстановке, как приспособливаются они к жизни среди войны: на тракте появилась снегоочистительная техника и засновали машины, ушёл утром по расписанию в город и автобус из санатория, отдыхающие охали меньше и в поисках развлечений подходили к стенду с объявлениями возле столовой и замечали танцевальную афишу. Да и снег к обеду второго дня прекратился, поверилось, что и сломный ветер мало-помалу утихомиривается. Потеплело, и с крыши моего домика принялась налаживаться капель. Я веселей впрыгивал, как на спасительный мостик, на скамейку, по которой проложена была тропа, а затем выбрасывался с неё на скат снежной горы. Однажды на горизонте перед этой горой появился парень с совковой лопатой, постоял-постоял в задумчивости и, разглядев по следам, что постоялец «заячьего домика» жив и имеет сношения с внешним миром, отбыл себе восвосяи.

Я решил эти сношения раздвинуть и после обеда через проходную с турникетом вы-

шел за границу санатория и стал спускаться к чернеющей внизу Ангаре. В три часа пополудни зависли сумерки, хотя день весеннего равноденствия уже миновал и границы тьмы и света сравнялись. Неба над головой не было, не было у Байкала и противоположного горного берега, там и там близко стояла мутная непроницаемость. Только по левому плечу Ангары, где портовый посёлок, что-то как бы блазнилось, то ли есть, то ли нету, неверным слюдянистым мерцанием. И только Толстый мыс влево от посёлка выступал из белёсой тьмы кругом тьмы чёрной, висящей в воздухе. Ангарскую волну, взбивая её острые гребни в белые пенистые барашки, по-прежнему гнало в Байкал, а байкальская ледовая равнина зыбилась, текла — то ли ветер ворошил там снег, то ли далеко заплёскивало воду. Пока шёл я под защитой бетонной санаторской ограды, завывало, казалось, где-то в стороне, но едва лишь на спуске с горы выбрался я на простор, под шквальный разгонистый бой и во всю грудь подставил себя под удар, я его незамедлительно и получил, точно врастажку тугим жгутом, развернуло и с твёрдого полотна дороги бросило в сугроб. Утонув задницей в снегу и оказавшись в каком-то очень удобном положении, я не торопился подниматься, как всякий поверженный, получивший хороший урок. Вот и «затихает мало-помалу»... ничего он, как с цепи сорвавшийся и донельзя обозлённый, не затихает, а только взял он, «бурлак» (так называли у нас, в низовьях Ангары, северный ветер, тянущий и тянущий по суткам), небольшую передышку, чтобы прочистить свои исполинские меха, и теперь по обессиленной земле будет бить ещё нещадней. Но куда же нещадней?! — здесь не океанская пустыня, не тундра, не пески, где дикие, взрывные, разрушительной силы, смерчевья выбрасываются из своей оболочки и начинают бешеную погоню... А здесь-то, на богоспаваемой земле, куда больше? И зачем?

Не без труда я выбрался из снега и, не споря больше с ветром, получив достаточные доказательства, кто здесь хозяин, повернул обратно. Отступал я постыдно, эпилептически загребая ногами, низко клонясь вперёд, выставив спину, с усилием отталкиваясь правой ногой от обочины, куда меня сносило, а левую норовил выбросить вперёд и скорей навалиться на неё, чтобы не упасть. «Погоуляли по свежему воздуху?» — участливо спросила меня в проходной немолодая женщина-вахтёр с наброшенным на плечи поверх пятнистой формы белым овчинным полушубком. Через окошечко в стекле мы с нею поговорили. Я похвалил полушубок, искренне всегда радуясь, когда, вопреки моде, появляется потребность в старых добротных вещах, а она, желая похвалить меня, сказала, что за весь этот день я третий, кто осмелился выбираться из санатория. «И долго гуляли первые двое?» — «Они в десяти шагах друг за дружку схватились, две женщины, две хохотушки из Москвы, их тут все знают... И поохотать забыли — скорей назад. Это я на них маленько посмеялась, что такие они скорые, а они только рычат: «Сибир, Си-бир!» Вот и «Сибир!» — дождалась, — поворачивая разговор, добавила она. — Душу тянет этот вой. Собака завоет, и то нехорошо: беду кличет. А тут что творится! Набедокурили, а теперь: циклон, циклон! — Это она уж о нашем вмешательстве в природу. — Какая мне польза, откуда этот циклон и как он называется? По мне хоть никак он не называйся... лишь бы его не было! Раньше ветры были... тоже хорошие были ветры, ничего не скажешь. Дух захватывало, как налетит да громоток устроит. Но раньше налетит по пути, чтоб дальше пролететь. А этот так и целит прямо в тебя, так и целит! Так и норовит тебя с земли сдуть!» «Мы с вами люди немолодые, — попробовал я объяснить, — мы стали бояться всего». — «Нет, нет! — решительно не согласилась женщина, приближая к окошечку суровое мужицкое лицо, которое и верно трудно было заподозрить в трусости. — Не говорите, это с нас спрос пошёл».

Провожая меня, выбравшись в узкую боковую дверцу из своего закутка, женщина вручила мне бумажный пакет с курильским чаем, который она сама и заготавливает и без которого никакой, ни китайский, ни цейлонский чай ей не чай. «Люблю совсем горячий, такой, чтоб во рту кипело, — говорила она, давая мне понюхать благоухающее, мелко измолотое снадобье из пакета. — Такой попьёшь — и никакая холера не пристанет. Нет, баня — так с веником, а чай — так с курильским!» Краснолицая, крупная, знающая ответы на все вопросы, женщина-вахтёр так искренне и энергично настаивала, что я решил: «На

ужин не пойду. А заварю сейчас ваш курильский, напитая им все свои косточки — и пусть хоть от злости убьётся этот циклон, мне дела нет!»

Так я и сделал. В две минуты добыл в скороварке кипяток, круто заварил чай, не ведая, китайский он или цейлонский, потому что на тяжеловесных пачках пошли имена: «Ахмад» такой-то, «Принцесса» такая-то, а не происхождение чая, «поджегил» этого «Ахмада» золотистыми цветочками подаренного курильского и перенёс весь этот церемониал, весь этот набор из сильно выстуженной кухоньки на другую боковину домика в спальню, зашторил там окна, чтобы не видеть, как в непрекращающейся пытке выкручивает и выбивает последний дух из сосенок, забрался в кровать под пуховое китайское одеяло и зажёл лампу над головой. В каждом положении можно сыскать своё преимущество. Разве был бы так сладок и так бодрящ чай в красный солнечный день, когда доступны многие удовольствия, и разве ощущал бы я в себе такое блаженное измождение?! Спросите меня, был ли я когда-нибудь счастлив единственным счастьем, как никогда больше, и я, ничуть не кривя душой, тотчас отвечу, что был. Да, такое повториться не могло. Распластанный на больничной койке после операции, с тремя пластмассовыми трубками в паху, выводящими разные жидкости, донимаемый болью, которую нечем было снять, ранним и тёмным февральским утром я изгибал грудь, пытаюсь не потревожить живот, выворачивал голову и тянул, тянул запрокинутую за неё правую руку, выдавливал сантиметр за сантиметром из плечевого сустава, чтобы дотянуться и ухватиться за отодвинутую куда-то туда тумбочку. Когда, наконец, дотянулся — она оказалась тяжелее, чем я рассчитывал, и не поддавалась мне. Я скрёб по ней ногтями, раскачивал её и умолял, стучал по её стенке в болезненном расчёте достучаться и вызвать сочувствие и поддержку того, что требовалось, отступал в изнеможении, подбирая руку, и снова тянулся, и снова раскачивал. И я добился-таки своего — заставил тумбочку начать движение с криканием и визгом по застланному линолеумом полу. В ней находилось моё спасение на этот час — кипятильник и пачка чаю. Кружка с водой стояла на полу возле кровати, я легко доставал до неё; электрическую розетку я разыскал ещё прежде на стене слева, и тоже за головой, и тоже неизвестно как тянуться. Но сначала надо было придвинуть тумбочку. Я вцепился в неё, стараясь не думать о том, что этими судорожными усилиями могу вытянуть и сбить в себе весь ненадёжный и наполовину искусственный механизм выведения отработанной жидкости. Мне срочно требовалась моя, тысячу раз проверенная и подкреплявшая меня, самая живительная жидкость, в которую я верил больше, чем в любое лекарство. И я, спустя час или полтора, нет, спустя вечность, донельзя измученный, с трясущимися руками и забитым болью животом, сумел её добыть.

И когда сделал я первый глоток и он ушёл в спёкшееся нутро, всё во мне, телесное и нетелесное, израненное и вынашивающее раны, разумное и неразумное, — всё во мне ожило и возникло, каждая косточка отозвалась благодарным вздохом, каждая кровинка заторопилась оросить этим волшебным напитком свои берега, и я наконец почувствовал себя вполне живым. Казалось, что и боль затихает. Я пил не торопясь, вслушиваясь в себя, давая успокоиться порывистому нетерпению, чтобы в спешке не произошло какого-нибудь беспорядка, я отправлял тепло и силу точно туда, где их не хватало, ощущая, как они уходят и впитываются в измождённую плоть и как она, эта плоть, принимается благодарно пульсировать. Большого наслаждения и большего утешения мне испытывать, кажется, не приходилось, и мне не хочется их больше ни с чем и сравнивать, они были единственными, и они оставались во мне, как радость, во все дни моего выздоровления.

Конечно, теперешнее моё чаепитие по сравнению с тем, больничным, спасительным или торжественно выставленным мною на спасительное место, памятное на всю жизнь, — теперешнее, конечно, ничего особенного из себя не представляло, но и оно радовало меня не без причин. Не мог же я среди дня забраться под тёплое одеяло ни с того ни с сего, а чай — это всегда небольшой праздник, и чайную церемонию позволяет обставлять с чудачествами и удобствами. Я приглатывал из фарфоровой кружки, которая сопровождает меня во всех поездках уже лет пятнадцать, смаковал каждый глоток, как это умеет только истинный ценитель чая, радовался пустяку — тому, что правильно решил се-

годня не выползает больше из своей конуры, и рёв пурги или бурана, циклона или циклопа уже не так донимал меня. Не сегодня, так завтра вся эта круговерть, всё это буйство закончится; существует же в природе норма как на погожие, так и непогожие дни. Для пушего оправдания своей праздности я решил добавить к ней ещё одно душеполезное занятие и взял со столика том Лескова, принесённый из библиотеки дней пять назад и до сей поры не раскрывавшийся. Раскрылось на рассказе «На краю света», читанном довольно давно, большим, с плотным и неспешным текстом, который нынешние литераторы, дайся им случайно такой текст, не преминули бы назвать романом, с историей из наших сибирских краев. В ней иркутский архиерей едет среди зимы с инспекторской проверкой в дальний угол своей необъятной епархии, в последние пределы инородческой Якутии. Лесков не бывал в наших краях, и его представление о них, как и о населяющих их аборигенах, порой наивно, точно он и предполагать не мог, что когда-нибудь здесь появятся его читатели. В наших краях побывал другой великий русский писатель, современник Лескова, Гончаров. Возвращаясь из своего кругосветного морского путешествия на фрегате «Паллада», Гончаров из Охотска, где он сошёл на берег, по тундрам и тайгам сибирского Севера преодолел тысячи вёрст то на оленях, то на лошадаках, а то и вовсе на своих двоих, пока не выбрался в Иркутске на торную дорогу. Его путь однажды мог пересечься с собачьей упряжкой, которая везла лесковского архиерея. И Гончаров знал бы, что можно многие часы пролежать под снегом, спасаясь от жестокой пурги, как это происходит у Лескова, но нельзя долгие часы зимней ночи просидеть, не околев, на дереве, спасаясь от стаи волков, потому что лютый мороз не милосерднее лютого зверя. Вот эта невольная оплошность Лескова почему-то и осталась в моей памяти после давнего и, быть может, торопливого прочтения рассказа. Теперь я имел случай окунуться в него заново и неторопливо и под вой непогоды почувствовать, как будто глоток за глотком испивал я этот бальзам из лесковской сосуда, его удивительную духовную красоту и достоверность. Да и спасение от волков прыткого архиерея, просидевшего всю ночь на дереве, совсем не показалась мне неправдоподобным. Дело-то не в этом.

Но, Господи, как же мне опять стало холодно и тревожно от этой разгулявшейся «на краю света» стихии, от этого нескончаемого звериного рычания тундры! Это она, казалось, и воет, она рвёт и мечет за стенами моего игрушечного домика. Я читал, досадуя на себя, как это меня угораздило сегодня влезть именно в это чтение и потревожить духов гигантской северной кухни, где замешиваются и выпекаются самые калёные морозы и самые необузданные пурги. Я дочитал рассказ, отложил книгу и прислушался: точно не в стены моего домика колотило, а, оторвав его, колотило им по мёрзлой земле, вбивая безрассудное упрямство. Отодвинув штору, я выглянул: в грязных лохмотьях и лоснящихся пятнах темноты возилось и завывало — как предшествование чего-то окончательно жуткого.

Было время, когда я искренне верил, что с возрастом тревоги и страхи притуляются и чем дальше, тем больше сходят на нет. К чему чего-то бояться старикам, сполна или почти сполна испытавшим всё отпущенное им на веку? Оставшееся так незначительно и неинтересно, и тягостно, что на него недостаёт уже ни чувств, ни воли, ни притязаний. Оно, оставшееся, само по себе есть конец. Не мгновенный обрыв, а медленное, тяжёлое, бесшумное угасание и сползание в небытие. И хоть наблюдал я, что в действительности происходит наоборот, молодые принимают жизнь ветрено и мало её ценят, а старики, иссушившие, казалось бы, полностью свои страсти и выбравшие до доньшка свою долю, начинают хвататься за неё так, будто они ещё и не жили. Мне представлялось это непонятным и почти унижительным, когда видел я непрестанную тревогу стариков по любому пустяку, угрожающему их загаённому существованию.

И вот теперь я сам подбираюсь к той же самой поре, и тревоги, над которыми я готов был смеяться, вселяются мало-помалу и в меня. Суть их и причина не только в том, что никому из нас не хочется уходить из этого дурно, но и прекрасно устроенного мира... Хочется не хочется, а уходить придётся. Но как уходить? Бояться, за небольшими исключениями, не смерти, а бояться умирания, того, как оно будет свершаться. А вдруг грубо, неприятно, срамно? Вдруг впопыхах, без молитвы и покаяния, или, напротив, мучитель-

но долго, оскорбительно страшно, от ножа грабителя, в многолетней неподвижности и беспомощности? К уходу, к этому священному и окончательному событию, к событию, прекращающему твоё земное бытие, надо подготовиться. Не в гости идёшь. Подвести итоги, выслушать чистосердечное сказание о твоей жизни, тобою же сказанное, наговориться с родными, наплакаться втихомолку над минутами и годами счастья, принять причастие... Чего же после этого пугаться, если веришь, что после оставляемых трудов и детей-внуков уходишь ты из бытия во всебытие, в единое и вечное крепление, которым держится земная жизнь? В таком случае это есть избавление от немощи и перерождение в силу, в бесконечную родительскую любовь, преображающуюся в земные картины: одну из них и наблюдал я последним мирным вечером накануне пурги, — ласковую, тёплую, в переливах несказанной красоты, никак не хотевшую сходить с Байкала... Да, так не страшно уходить и туда. Окружённому родными лицами, в которых ты видишь себя, своё продолжение, под шелест утягивающей молитвы...

И вдруг избушка моя подскочила — точно не от порыва ветра, а от удара тяжёлой стенобитной машины. Я вскочил в испуге, и в то же мгновение, вспыхнув ослепительно, погас свет. Мало сомневаясь, что это, должно быть, рухнула на моё жилище лесина, я замер в ожидании — сейчас или чуть погодя свалится на меня потолок. Темнота пала замогильная, окончательная. Не помня себя, я заглянул за штору — ни дырки нигде в сплошной завеси, только буйствовал ветер. Ощупью я нашарил дверь в гостиную — она поддалась, и я словно на улице оказался, так в ней было выстужено и тревожно. Шаг за шагом, с выставленными перед собой руками, подвигался я внутрь, услышал дребезжание стеклянной посуды в буфете и издал облегчённый стон, будто буфет мог оказаться самой надёжной крепостью в моей обители. Но она, обитель моя, слава Богу, была жива, я обошёл её раз и ещё раз до самого конца, до входных дверей: всё стояло на своих местах. Ай да «заячий домик»! Ветер продолжал охаживать его бешеными нахлёстами, нисколько не уставая, — домик вздрагивал от них, кричал и стонал, боль с причитанием пробегала по стенам, взрыдывали оконные стёкла, подголосками заходилась посудный шкаф... Но — стоял! Я готов был поверить, что свали совсем одуревший шквальный ветер этого упряма, он бы вскоре и затих, сделав своё дело. А тут нашла коса на камень. Штурм продолжался.

Но что же это такое, в конце концов, что за сила, что за злоба обрушилась на безвинную землю и на всё живущее на ней и треплет, треплет уже третьи сутки?! Или не такие уж мы и безвинные, какими нам хотелось бы представить себя в такие вот пугающие часы, точно подготавливающие Судный день? Разве не права женщина-вахтёр в овчинном полушубке, подарившая мне сегодня курильский чай и уверенно повторявшая, что это не просто непогода, не просто стихия, являющая свой дикий нрав, — это нас уже требуют к ответу.

Что мне оставалось делать в крошечном и бушующем мраке: я добрался до постели и, не раздеваясь, боясь без штанов и рубашки остаться в совсем уж полной беспомощности, залез под одеяло. Уснуть было невозможно, отвлечь себя от тяжёлых дум было нечем... Я взялся представлять, что это я по дурной дороге, в ухабах и ямах, тряусь в какой-нибудь допотопной закрытой карете посреди тёмной, слепой и потому особенно злой, задыхающейся от ярости, грозы. Грозы длительными не бывают, наверное, я своей ищущей облегчения памятью учёл и это, выбирая род наказания, вот-вот необузданная вышняя трёпка, выбивающая из земли потроха, должна прекратиться. Надо потерпеть.

И я подумал: мужество — это когда некуда деваться. Эта формула мне понравилась. Моё положение не требовало особого мужества: я лежал в мягкой постели под тёплым одеялом, темень для сна, как известно, не помеха, вой пурги и упругие шлепки в стены... не требуется большого воображения, чтобы принять их за колыбельную и за чрезмерно усердное потряхивание зыбки-кровати. Моё положение не требовало даже и никакого мужества. И я не к себе примерял сложившиеся у меня о мужестве слова. В оболочкей меня, как угар, тревоге можно было, если на то пошло, сыскать даже признаки малодушия, если бы... Если бы не была эта тревога пополам с печалью и если бы не сказывала половинка-печаль, что не миновать нам всем в скором времени испытаний, от которых никуда не деться и которые потребуют последних сил и последнего терпения.

Или это нас задурили, внесли страх и смятение в наши души, обрушивая ежедневно вместо «с добрым утром!» ледяные ушаты новостей?! Чего только в них нет: из адовых глубин вырывается на пастбища и города кипящая лава вулканов, с гор сходят потоки камней и грязи и устремляются на хлебобобовые долины, огромные ледяные материки, вбитые в отроги гор со дня сотворения мира, снимаются со своих становищ и ползут вниз, выдирая, вспахивая и уничтожая на пути всё живое и неживое... Одна картина жутче другой. А в долинах разверзаются хляби небесные, вода извергается стеной, реки выплёскиваются из берегов с такой скоростью, что люди не успевают убежать, лютуют дикие ветры, по неделе не знающие удержу... По земле пылают леса, выгорая в исполинские чёрно-мертвенные, обладающие жутью пейзажи, а под землёй месяцами тлеют торфяники, и липкий дым накрывает и в мирных трудах пасущиеся веси, и многомиллионные, погрязшие в грехах города. В окружении подобных событий мы просыпаемся, среди них засыпаем, нет от них спасу ни зимой, ни летом. И если выпадет ненароком день, свободный от них, голоса дикторов становятся донельзя несчастными и пустыми, как в горе горьком, испепеляющем сердце... и слышно, и видно на дне расплодившихся эфиров, как страдают они от этого всепланетного невезенья, от этой потухающей жизни, не способной изобрести новой огненной геенны... и голодными испуганными глазами озирают чёрные вестники вселенную... Но уж если обрушится от рук негодяев многоквартирный дом, налетевший смерч взовьёт, как пушинки, в воздух десятки несчастных и примется забавляться ими, если затопит старушку Европу, как дрейфующую без руля и без ветрил баржу с дырявым днищем, и закрутит по ней из конца в конец жуткие воронки, будто она уже ввинчивается-уходит в тартарары, а к планете нашей из тьмы космоса станет приближаться смертник-астероид, полный желания подорвать её и сбросить с орбиты, — о-о! — с каким восторгом и жаром, с каким самозабвением и пылкостью заливаются их голоса!.. тех, кто питает нас и спасает от прозябания!.. какой они достигают чувственной страсти и красоты, какого торжества!.. точно соловьи на утренней зорьке, славящие солнечное пришествие! Попробуй при таком ликовании не заслушаться! Попробуй не впустить в себя, не надышать и не насмотреть эти микробы раковой болезни, заслоняющей весь мир, это едко-дымное, перехватывающее дыхание ожидание надвигающейся катастрофы, это безрадостное проживание дня! И я замечаю их, замечаю тревогу и страх в глазах, натянутое внимание и невольное оцепенение перед ничем не только в стариках, но и в молодых лицах, озирающихся в неясных предчувствиях. Я нисколько не удивляюсь, когда молодая мама, родственница моя, собирая ребёнка на прогулку, вдруг замечает в окно шевелящиеся ветви тополей и приходит в волнение: «Нет-нет, остаёмся дома, налетает циклон».

Страхи наши, конечно, преувеличены, колокольцы, подающие сигналы опасности, выплавлены из сверхчувствительного материала и могут названивать ни с чего, от одного лишь своего существования, от назначения названивать. Конечно, сам воздух, наэлектризованный повторяющимися грозowymi разрядами, больно колется даже от осторожного соприкосновения с ними. Много что подаёт усердные и фальшивые сигналы от какого-то общего переутомления. Но разве само это переутомление не есть признак крайнего напряжения сил? И спуста ли? Прохудилась не одна старушка Европа, привыкающая плавать в воде, как дырявая посуда, — прохудился и Новый Свет, и Китай, и Сибирь, и Австралия, всюду волны гуляют по площадям с океанским буйством, и тысячи сброшенных в эту стихию из человеческого рода, из рода властителей, не смогли больше найти опоры под ногами. «Это что — попужать нас хотят или как?» — вопрошала в таких случаях тётка Улита, моя деревенская соседка, ныне покойная, обращаясь к небесным силам. «Только попужать или как?» Подтаивает вечная мерзлота в северных широтах, побежали ручьи с вечных снегов Килиманджаро, Северный полюс, удерживающий земную ось, превращается в снежную кашу, по которой ни пройти ни проехать... Учёные, снимая вину с человека, толкуют о цикличности: мол, подобные потепления уже не однажды бывали и всё это в порядке вещей. А ветхозаветное предание напоминает о Всемирном потопе. Не так ли, не с похожих ли «протёртостей» он начинался? Разве предания лгут? Посеявшие ветер пожинают бурю. Я заглядываю опять в сухие, замогильные глаза тётки Улиты, праведницы,

не позволившей себе ни одного худого дела на земле... Больше всего в конце жизни тётка Улита радовалась тому, что не суждено ей было остаться под пучиной вод, затопившей старые ангарские деревни и кладбища после строительства гидростанций. Я заглядываю в глаза тётки Улиты и различаю едва уловимый утвердительный вздох. Ни я не могу задать ей вопрос, ни она дать ответ, но чудится мне, и из многих-многих памятных между нами разговоров слагаются эти слова, — слышу я едва внятное: «Ну а как же: ежели мимо рук, ежели окромя Бога... не-ет, такой свет не устоит». И я вижу, как поддакивают ей и бабушка моя, и мать... Не значит ли это, что в бушующей за окнами моего домика стихии есть и их воля: ветер-то оттуда, с той стороны, где они... И бешеные эти порывы — не без назидания; жуткие эти стенания — не без горького плача родных наших, сошедших с земли, о нашей участи.

В стены всё бьёт и бьёт, подбрасывает мой домик, со скрежетом выдирает его оклад из коробки бетонного фундамента. После каждого приступа домик с кряхтением и вздохами едва усаживается обратно, в своё гнездо, и напряжинивается, подаваясь вперёд и выставляя грудь-преграду. Но чувствуется, что всё труднее принять ему боевое положение и всё задышливей его вздохи. Я боюсь поверить, чтобы не ошибиться и не раззадорить ещё пуще силу, запускающую эти снарядные удары, но кажется мне, что и она начинает утомляться, что и ей, чтобы набрать в какую-то могучую грудь воздуха, требуется всё больше времени, что и её вздохи становятся учащённей и захлёбистей. Или это только кажется? Мне хочется думать: если я не ошибаюсь и бешенство стихии изнемогает, так это оттого, что мысли мои приняли правильное направление и причина взбунтовавшихся против нас сил та, именно та...

И мы, должно быть, интуитивно чувствуем, откуда могут дуть такие ветры. Умом не соглашаемся, ум наш изворотливо подставляет научные объяснения, вроде цикличности, как лето и зима, эпох потепления и похолодания... Но и цикличность пережить — это не два-три дня без солнышка перебиться и не два-три дня пересидеть на крыше своего домика вокруг необъятного разлива вырвавшихся из берегов вод, пока не сольются обратно в берега...

Когда бы дело было только в этом, чего бы ради, скажите, пожалуйста, устраивать вселенский шабаш, от которого пышет жутью и смрадом и который порочит нас дальше некуда, но в безоглядности и жертвенности которого невольно проступает и мученическая истина: дальше, больше, громче, гаже, — потому что скоро некому будет этому ужасаться, мы последние.

Из веков дошло: Римскую империю, самую могущественную в древности, окованную железной организацией войска и разумной в законе и праве организацией государства, громогласную и сказочно богатую, развалили в короткое время праздность и разврат. Оказалось, что нет силы сокрушительней, перед которой не устаивают ни победоносные империи, ни цветущие, купающиеся в музах и грациях цивилизации, чем маленькая, бесконечно невзрачная букашка-душегуб, слизистая тля. Впустили её под кожу — и все великие творения Рима, все завоевания его были безудержно разгулены и развеяны по ветру, превратились в прах.

Но что и взять с них, с язычников, не вкусивших в исторических и духовных потёмках ни истины, ни любви Христовой, прозябавших по-варварски в грубых и шумных развлечениях?! Что и ожидать от них, не имевших ни наших технических достижений, ни наших изысканных вкусов, широты и глубины взгляда!

Зато уж мы-ы!.. По большим праздникам у нас ликует вся планета. Миллионные толпы собираются на площадях, миллионноустый восторг оглашает за десятки километров окрестности, когда салютующие пушки выбрасывают высоко в небо феерию разноцветных огней, а вслед им грохочут тысячекратные усилители нашей громобойной музыки, гремят петарды и хлопушки, на подмостках сцен бьются перед микрофонами в истерике исполнители художественного крика, что-то кричат и подпрыгивают на плечах отцов и матерей младенцы... Гуляй, планета! После футбольных матчей болельщики, и огорчённые поражением, и обрадованные победой, с одинаковой страстью принимаются крушить

всё, что попадает под руки. «Свободное» искусство вываливает «свободную» любовь, вплоть до «свального греха», одновременно на десятки и сотни миллионов телезрителей. Театр тоже не отстаёт: «вживе» и «на глазах» в исполнении любимых актёров эротические сцены вздымают в поклонниках искусства особенно возвышенные чувства. Писатели, обойдя в разные литературные эпохи поля сражений и дворянские гнёзда, аристократические гостиные и захудалые ночлежки, громкие стройки и тихие деревни, устремились теперь в морги и отхожие места. А где неприличие и непотребство, срам и бесстыдство, там и небывалая жестокость с неслыханными жертвами. Всесветное торжище зла, гульбище низких страстей и истин, сбродище нечестивцев. И печаль, усталость, тяжёлые вздохи сопротивляющихся, отступающих...

Если бы человек собирался жить долго и совершенствоваться, разве бросился бы он сломя голову в этот грязный омут, где ни дна ни покрывки? Он должен был помнить об участи Содомы и Гоморры. Мы выбираем свою судьбу сами, но — Господи! — в каких конвульсиях, в каком страхе и страдании, но и в неудержимом порыве, в слепом и ретивом энтузиазме мы её выбираем! Горе нам, не разглядевшим, подобно древним римлянам, маленькую букашку, вползшую на сияющие одежды наших побед в завоевательных войнах! Как много ненужного и вредного, вроде виртуальных миров и геной инженерии, мы завоевали, и как мало надо было охранить!.. И не охранили! Горе нам, прогневившим Бога!

И всё же реже стали обрушиваться тяжёлые порывы на стены моего пристанища. Реже, но ещё злей и напористей — как всегда перед отступлением. Темнота лежала всё так же черно и плотно, будто глубоко под землёй. Я несколько раз поднимался с постели и отодвигал тяжёлую штору — глухая непроглядность с упругой силой отталкивала меня от окна. В любой темноте есть «песочек», дорожка из сереющих игольчатых уколов, по которой и вытянет этот мрак в свой черёд, — тут не было ничего. Темнота в темноте, стена, глушь, окаменелость. Я забирался обратно под пуховое одеяло, отогревался под ним, отогревался до того, что пытался натянуть тепло и на свои страдальческие, доходящие до смертного озноба мысли. Не получалось. В закрытых глазах изнутри поднимались и плавали нездоровые медузные пятна, мельтешила грязная сыпь. Под неё мне и удалось в мучительном поиске вытянуть мелодию стиха:

*Пусть деревья голые стоят,  
Не кляни ты шумные метели!  
Разве в этом кто-то виноват,  
Что с деревьев листья улетели?*

Под эти слова, повторяя их раз за разом, под эту утешающую, саму собой звучащую мелодию, под эту «колыбельную», зыбая смятенную душу, навевая на неё в поклонах мягкие, в златолистом пуху, пеленающие круги, я, в конце концов, забылся.

А утром... утром, когда я очнулся и выглянул в окно, весь мир был укутан в снег и тишину. Горбатились смиренно под снегом, с задранными лапами веток, поваленные деревья, скамья перед самым окном, по которой я по-заячьи сигнал, выбираясь на дорогу, утонула в снегу без остатка, утонула и дорога, и мои страхи, и ураганные страсти, буйные наскоки северного ветра в продолжение трёх суток — всё было погребено под удивительно белым и чистым, в застывших волнах снегом. Щедрым неслышным укывом он упал вдобавок к прежнему ещё и этой ночью, уже после того как затихла непогода. Как будто ничего и не было, как приблизилось от болезненных дум. Я перешёл к окнам на Анггару: она, чуть волнуясь, зябко поводя по берегам плечами, выливалась, как и должно быть, из Байкала, брала свой извечный путь и выносила от подвинутой и торосистой кромки Байкала наломанный лёд. А белое его поле было настолько белым и ослепительным, что даже и через оконные стёкла щипало глаза.

Я проснулся поздно и опаздывал на завтрак, но, подумав, решил, что в это утро, по всей видимости, должен опоздать не я один. Так оно и оказалось. Дверь в столовую была распахнута, на столах лежали пакеты с бутербродами. Электричество после ночной аварии ещё не добыли, но никого это не огорчало — ни поваров, ни едоков — все были необычно вежливы друг с другом и как никогда друг другу радовались. «Аварийная служба



работает, аварийная служба работает», — шелестело по залу, где всухомятку уплетали мы свои бутерброды. Из раздевалки опять гремела музыка, остролицая маленькая гардеробщица с дёргающейся головой изнывала в экстазе от бухающих звуков, но и на это смотрели великодушно: пусть её!

Невесёлое небо, ватное и взъерошенное с утра, к обеду вычистило, залило светленькой синью, и солнце, умывшись в ней, разогрелось, пополнило, закустилось лучами и засияло на всю катушку. Беззвучный торжествующий глас, незримые плодоносные струи полились на землю, и она по-женски жадно и нетерпеливо подалась навстречу, часто задыхалась. И уже через два часа осели снега, зазвенела капель, волшебными своими трубочками затрубили птицы...

И мудро отступил в сторонку Апокалипсис.

2003 г.

## Видение

Стал я по ночам слышать звон. Будто трогают длинную, протянутую через небо струну и она откликается томным, чистым, занывающим звуком. Только отойдёт, отзвучит одна волна, одноголосо, пронизывающе вызванивается другая. Я лежу, полностью проснувшись, весь уйдя во внимание, охваченный тревогой, и вслушиваюсь: чудится это мне или не чудится? Но почудиться может однажды, дважды, а не каждую ночь с редкими перерывами. Чудиться может и днём, а днём этого не бывает. Я отчётливо слышу возникающий где-то надо мной от нарочитого и осторожного прикосновения струнный звук, растекающийся затем в слабое, печальное гудение. Я не знаю, он ли будит меня, или я просыпаюсь чуть раньше, чтобы слышать его от начала до конца. Странно, что ни разу мне не удалось взглянуть на светящийся циферблат маленького будильника, стоящего совсем рядом на столике, — достаточно повернуть голову, чтобы проверить, в одно ли время я просыпаюсь. Вызванивающийся, невесть откуда берущийся, невесть что говорящий сигнал завораживает меня, я весь обращаюсь в слух, в один затаившийся комок, ищущий отгадки, и обо всём остальном забываю. Страха при этом нет, а то, что повергает меня в оцепенение, есть одно только ожидание: что дальше?

Что это? — или меня уже зовут?

В такие мгновения, когда возникает и удаляется стонущий призыв, я ко всему готов. И кажется мне, что это моё имя вызванивается, уносимое для какой-то примерки. Ничего не поделаешь: должно быть, подходит и мой черёд. Сколько раз за тридцать с лишним лет своей сочинительской работы я заигрывал с этим чувством готовности, воображая его услужливым, при котором бы ничего не менялось. Я входил в роль, самоотверженно и вполне искренне играл её, всё существо моё умело меня убедить, что до отмеренной мне черты простирается бесконечная даль с бесконечным же вкушением радостей жизни. Но теперь-то я знаю, что обман в бесконечность кончился, никого из оставшихся в нашем корню старше меня нет, и глаза мои всё чаще обращаются вовнутрь, чтобы различить прощальный пейзаж. Я способен ещё на сильное чувство, на решительный поступок, ноги мои могут вышагивать легко, и наслаждение от ходьбы я не потерял, но что же лукавить: свежим силам возобновляться неоткуда, и всё, что предстоит впереди, — это жизнь на сухарях. Всё чаще застаю я себя в одиночестве в стенах, уже ставших мне знакомыми, но не мною выбранных, а точно бы какою-то силою под меня подставленных. Я нахожу там любимые предметы, собственные вещи, чтобы легче было привыкнуть, но никто из родных ко мне не заходит, и я не жду их, а долгими часами смотрю в огромное, во всю стену, окно на одну и ту же картину.

И картина знакомая, только я никак не могу припомнить, откуда она. Я много ездил,

многому из увиденного отдавался с такой любовью, с такими умилёнными слезами, что готов был раствориться в нём вслед за теми, кто, добавляя красоты и неги, растворились там до меня. Может быть, это что-то из мимолётного и яркого прошлого, из зрительных впечатлений, оставивших отпечаток в душе, — не знаю.

И это что-то из осени, совсем поздней осени.

Люблю и я «пышное природы увяданье»... Да и как не любить его, если весь год для того, кажется, и набирался, наливался, готовился, чтобы выставить под приспущенное, тоже словно отяжелевшее небо дивный разукрас земли, освобождающийся от бремени. Горячо рдеют леса, тяжелы и душисты спутанные травы, туго звенит, горчит воздух и водянисто переливается под солнцем по низинам; дали лежат в отчётливых и мягких границах; межи, опушки, гребни — всё в разноцветном наряде и всё хороводится, важничает, ступает грузной и осторожной поступью... И всё роняет, роняет семена и плоды, устилая землю. «Бабье лето» теперь помолодело: весна вдвигается в лето, а лето в осень, в сентябре ещё зелено, ядрёно, крепко, осенью и не пахнет, а снежный саван между тем готовится без промедления. Через неделю после Покрова ударит мороз, а потом будет мокнуть, ворочаться с боку на бок, томиться. А потом и вовсе обсохнет. И весь на опоздках сохранившийся убор густо полетит-заметелит крупным пестряным сеевом, обнажая все-светную чуткую печаль. В эти дни чаще всего вспоминают Бога.

Тут и наступает самая близкая, самая желанная мне пора: моя осень. Та, что приходит после дождевых и ветровых трепок, высквоженная, облетевшая и тихая, прошедшая через волнения и боли, смирившаяся, уже и полуобмершая. Остывающее солнце ещё пригревает, воздух кажется застывшим, последние листочки срываются и падают медленно, выклиниваясь и крылясь; земля порыжела и пригнула к себе травы, в высоком дремлющем небе медленно и важно проплывают большие птицы, оставшиеся на зимовку. Сладко пахнут дымы, стелющиеся понизу, тенетится высохшая и выбеленная паутина, вода в реке глянцево замирает, затихает ночной звездопад, обронив летние светлячки; избы по деревьям стоят присадисто — точно пустили на зиму корни. И вся тяга вниз, к земле... Солнце заходит с бледненьким заревом и подолгу дремлют сумерки, подсвечиваясь дневным настоем. Это особая, неразгаданная пора; в эту пору, когда сезонное отмирает, рождается что-то вечное, властное, судное.

Вот и за широким окном из комнаты, в которую я неизвестно как попадаю, я вижу эту же пору поздней просветлённой осени, крепко обнявшей весь расстилающийся передо мною мир. Где, в каком краю эта картина так легла мне на душу, чтобы являться снова и снова, я, повторю, не помню. А может быть, нигде и не встречалась, а произвольно составила под пером самописца в моём сознании: мало ли понастроил я картин за тысячи часов, отданных фантазии, — и, как знать, не наступает ли такой момент, когда фантазия способна разыграть не по вызову, не от умственных усилий, а самостоятельно и, осмелев, сделать меня своим героем.

Я вижу себя в небольшой, вытянутой к окну комнате с двумя боковыми стенами. На месте лицевой стены окно от пола до потолка, на месте задней — дверь, огромная и высокая, двустворчатая, с лепными квадратами в три яруса и двумя фигурными медными ручками; за такой дверью тоже должно находиться что-то огромное. Но мне почему-то ни разу не приходило в голову заглянуть за неё. Моё место у окна в низком лёгком кресле, старом и продавленном, с обрывающимися подлокотниками. Кресло из моей домашней обстановки, оно из тех вещей, неведомо как здесь оказавшихся, которые примиряют меня с этой комнатой. Его давно следовало отправить на свалку, но я привыкаю к вещам и боюсь с ними расставаться. Слишком много в них меня. И когда я проваливаюсь в кресле чуть не до пола, мне кажется, что я удобно устраиваюсь в себе.

У правой стены стоят два тёмных глубоких шкафа грубой и прочной работы. Подозреваю, их специально искали, чтобы они не могли оскорбить достоинство моего кресла. Они не мои, но в них мои книги из домашней библиотеки, мною же, похоже, отобранные, самые близкие. Напротив, у другой стены такой же шкаф с моими игрушками — коллекцией маленьких колокольчиков, свезённых чуть не со всего света, — стеклянных, фар-

форовых, глиняных, деревянных, медных, чугунных, каменных — самых замысловатых форм и фигур. В них тоже много меня: я люблю смотреть на них, прежде чем начинать работу. Когда я доволен собой (а это случается редко), я подхожу и люблюсь ими до тех пор, пока не услышу нежное переливчатое многоголосье, повторяющее и добавляющее мои фразы. Первые звуки появляются раньше моего прикосновения к колокольчикам, их выкачивает стеклянная девушка в красном платочке, повязанном под подбородком: с коромыслица, перекинутого за головой по плечам, свисают два крохотных ведёрка. В них и раздаются хрустальные всплески. Затем вступает добрый молодец с приподнятой шляпой, в которой и спрятан язычок, выговаривающий приветствие. После этого я позволяю всему колокольному царству востепениться и сыграть здравицу в свою честь. Честолюбие ведь можно удовлетворять и таким образом.

Это не комната воспоминаний; да и я словно бы лишён возможности оглядываться назад. Я нахожусь здесь для какой-то иной цели. И внутри комнаты, и за окном, и человеческими руками, и нечеловеческими, всё обставлено с печальной и суровой однозначностью; продолговатая, суженная обитель для одного переходит в суженный, вытянутый вперед мир, окружающий уходящую дорожку.

Но нельзя наглядеться на этот мир — точно тут-то и есть твои вечные отчие пределы.

Слева рукав тихой небольшенькой речки, теперь и совсем застывшей, извилистой и с низкими берегами, на которых голо и склонённо стоят берёзы, по две, по три на одном корню. Справа за лысым бугром, краснеющим глинистым боком, россыпь молоденьких мохнатых сосенок, сбегаящих с горы, за ними, вырисовывая высокий волнистый горизонт, стоит лес. Между речкой и бугром просёлочная дорога — ненаезженная, с необбитой посредине сухой гнушейся травой. Дорога петляет, повторяя изгибы речки, затем ныряет в низинку, перебирается по чёрному деревянному мостку через речку и тут на белом каменистом береговом расшире теряется. И только на взёме в километре от мостика появляется вновь — удивительно преображённая, гладкая и прямая, с блестящим серым полотном.

Эта внезапно изменившаяся дорога и не даёт мне покоя. Один её конец, ближний ко мне, простохожий и разломаченный, никак не связывается с другим — аккуратным, выверенным и отглаженным. Никаким узлом соединить эти концы нельзя, новый непременно выскользнет из старого, как барская рука из мужицкой. Меня так и тянет посмотреть место их сращения. И ещё кажется мне, что, если бы пришлось ступить на новую дорогу, она бы, как эскалатор, покатила сама. Но она и непустынна: при начале её перемены стоит справа чёрная вековая ель, тяжёлая, с низко опущенным широким подолом, а за нею, выглядывая углом, совсем новая деревянная избушка, янтарно сияющая, сказочная, с односкатной, в мою сторону, крышей. И, как в сказке же, живёт в ней старичок, выходящий на травянистую обочину дороги. Видна его крупная и белая непокрытая голова, видно, что роста он небольшого. От меня не разглядеть, куда оборочено его лицо и во что он всматривается, но, чтобы подолгу стоять неподвижно, надо во что-то всматриваться, чего-то в терпении ожидать.

Который уж день держится неземная, обморочная стынь, совсем заговорная, наложенная колдовской рукой. Так смиренно и красиво склоняются берёзы над водой, так сонно переливается речка, так скорбно белеют камни на берегу, где пропадает дорога, и с такой забавной поспешностью застыли справа сосенки, прервавшие спуск с горы, что в сладкой муке заходится сердце, тянет смотреть и смотреть. Что это — жизнь или продолжение жизни? Солнце тихое и слабое, с чётким радужным ободом по краям, на небе лежат тонкие и сухие дымные облака, неподвижные и точно бы вросшие, теряющие очертания. А по земле листва уже впиталась в почву и больше не перекачивается, не шумит. Оголённый лес не кажется голым и бедным, он успел сделать перестановку и в местах ветробоев выставить тёплым укрытием где сосновый строй, где еловый. Над лесами, над взгорьем и речкой раскачиваются длинные и печальные, всё затихающие, всё слабеющие вздохи.

И вот сидишь у окна в удобном продавленном кресле, смотришь то перед собой, то в себя, уже не отделяя одно от другого и не собирая увиденное в связные мысли. Томно синее небо, навевается и навевается тьма от земли, постепенно накрывается ею и моя комната.

Я уже привыкаю к ней, я уже говорю: моя.

И вдруг каким-то вторым представлением, представлением в представлении, я начинаю видеть себя выходящим на простор и сворачивающим к речке, где стыннут берёзы, высокие, толстокорые и растопыренные на корню, тоскливо выставившие голые ветки, которые будут ломать ветры... Я стою среди них и думаю: видят ли они меня, чувствуют ли? А может быть, тоже ждут? Уже не кажется больше растительным философствованием, будто все мы связаны в единую цепь жизни и в единый её смысл — и люди, и деревья, и птицы. В старости так больно бывает, когда падает дерево!

Рядом с речкой, затихшей настолько, что не шевелится течение, я иду среди берёз к мостику, ступая радостно по твёрдой земле, затем спускаюсь под яр на галечник, поднимающий под ногами шум, — здесь течение быстрее и чище — снова взбираюсь на землянистый яр и всхожу на мостик, по краям которого бортиками лежат стёсанные сверху и снизу брёвна. Они лежат давно и почернели, почернел и настил деревянного мостика, всеми забытого, ибо ни одной души не видел я возле него, с тех пор как поселился здесь, и печального, чего-то долго ждущего... Но чего он ждёт, зачем он выстроен? Я сажусь на боковину верхом, чтобы наблюдать ту и другую стороны света по речке и за речкой, куда уходит дорога. И долго сижу, борясь с желанием перейти через мостик и ступить на белые и круглые крапчатые камни. Далее в моих представлениях я не решаюсь этого сделать. Могучим и затаённым дыханием ходит, шевеля моё лицо, поднимаясь и опускаясь, воздух, морок сумерек настывает, и лес справа с острыми верхушками елей начинает темнеть всё больше. «Хорошо, хорошо», — нащёптываю я, и мне чудится, что под это слово я должен светиться точкой, заметной издали.

Обнаружив себя затем в кресле, я продолжаю размышлять: а ведь я впервые выходил из этой комнаты, прежде мне это не удавалось. Я не посмел перейти через мостик, но я уже был на нём, и с него я высматривал дорогу, теряющуюся в камнях, с него искал я каких-то неведомых ощущений, которые ждут впереди. Значит, я сделал ещё один шаг. Мне не хочется искать ответа, хорошо это или плохо, я только со вздохом переставляю себя в новое положение. Совсем темно, пора возвращаться домой. Я в комнате, на полпути к дому, но в какой он теперь стороне, мне всё труднее понимать.

Я сижу, уже ничего не различая за окном, кроме тяжёлых очертаний леса, время от времени ощупываю себя, здесь ли я ещё, и дремлю над вопросом: если я спускался к мостику — станет ли после этого ночной звон ближе, настойчивей?

1997 г.

## Нежданно-негаданно

Расположились в скверике напротив дебаркадера. Скверик уже не походил на скверик: на бойком месте земля была вытоптана до камня, с одного бока его поджимала стоянка для машин, выдвинутая из-под моста и огороженная высокой металлической сеткой, с другого — теснила расплзшаяся, в ямах, дорога к Ангаре, с третьего — асфальтовая дорога вдоль Ангары. Высокие тополя в скверике стояли редко, но раскидисто и тень давали. К ним и повёл Сеня Поздняков свою группу, как только объявили, что «Метеор», на котором предстояло им ехать, подадут с опозданием на час. Группа была из своих, из своей деревни, и из соседей, из замараевских, возвращающихся из города. Поровну по три человека оттуда и оттуда. Свои: Сеня, Правдея Фёдоровна, потерявшая своё имя Клавдея ещё в старые времена за пристрастие к правде, когда, выступая на собраниях с разоблачительными речами против начальства, она повторяла: «Я правду люблю», — и Сенина соседка по деревенскому околотку бабка Наталья. Замараевские: муж и жена Темниковы, он инженер в леспромхозе, она — бывший

врач. Но это ещё по старой сдаче инженер и врач. Теперешняя жизнь сдала карты заново и козырей поменяла. И кто из них сейчас кто, они и сами не знали. Леспромхоз то работал, то не работал, больницу ужали до фельдшерского пункта, и поговаривали, что закроют и фельдшерский.

Третья замараевская — молоденькая девчушка по имени Лена, сдававшая вступительные экзамены в один из новых университетов.

Сеня, как человек бывалый, рассмотрел неподалёку за разбитой дорогой торгующую пивом коммерцию и приволок от неё три картонные коробки. Их сплющили, разодрали и устроили под седево — чтоб не на землю. Вышло вполне культурно. Расселись и принялись за разговором поджидать, когда стянется назначенный час.

Вот наступили времена: раньше, как лето, каждая деревенская изба полна городских гостей. Ехали и воздухом подышать, и стариков повидать, а у кого руки не отсохли — и помочь старикам в их непрестанном битье-колотье по хозяйству. Теперь в деревню не едут: для одних дорого, для других неинтересно. Одни спасаются участком подле дачки, который не отпускает к отцу-матери, другим позарез стал нужен и берег турецкий, и Африка вместе с Америкой. Теперь и писем в деревню не пишут, а заказывают при случае: пусть мама придет, пусть папа придет — соскучились.

А что такое «соскучились» — понятно.

Вот и Сене Позднякову, по которому донельзя соскучились внуки, пришлось набивать снедью два мешка и отправляться как Магомету к горе. Правдея Фёдоровна прямо называла себя «савраской». Уже второй раз за лето впрягалась она и ехала. Бабку Наталью на старости лет заставила сниматься с лежанки другая, как говорила она, «везея». Гостила зимой внучка и оставила золотые серёжки. И два месяца уже: бабушка, отправь, бабушка, отправь. А с кем отправишь золотые серёжки какого-то фасонистого изделия? Пришлось снаряжаться самой. А сын привёз сегодня на пристань и посадки не дождался: некогда.

Зачем ездили замараевские, муж с женой, осталось ещё не расспрошено. Впереди длинная дорога. И до дороги сидение в маете. Девчонка, Ленка, сказала, что экзамены в университет сдала, но учиться, наверно, не будет, не понравились ни университет, ни преподаватели, а в общежитии и селиться опасно, там одни кавказцы.

Солнце нагревалось и начинало дышать горячо. По мосту через Ангару дребезжали трамваи и ползла из машин с краю с шипом огромная, во весь мост, разноцветная гусеница, то вздымаясь горбом, то опуская уродливые сочленения. А по другой боковине моста навстречу ей двигалась, поддёргивая длинное членистое тело, точно такая же гусеница. И дух с моста сбрасывался едкий, злой. За Ангарой, вздымаясь в гору, продолжался город, сначала деревянный, низкий, закрытый зеленью, затем переходящий в коробчатые белые многоэтажки, нахальные и одновременно сиротски печальные. В одной из них, с шестью рядами разноцветных балконов по фасаду, и жили Сенины дочь с зятем и семилетним внуком. Сын жил по эту сторону Ангары, далеко за плотиной. Только в Сенины наезды они и сходились, что-то у них меж собой не ладилось. Но ни одна, ни другая сторона, ни дочерняя, ни сыновья, сколько ни выпрашивал Сеня, не признавались, в чём дело, закатывая одинаково при расспросах глаза, будто Сеня тронулся. Но не из тех был Сеня, кого можно оставить в неведение надолго, и на следующее гостеванье у него появилась надежда на сватью, на невесткину мать, которую собирались осенью окончательно забрать в город. Деревня деревню поймёт. Сеня видел однажды сватью, крупную старуху с больными ногами и пытливыми глазами; она без обиняков сразу же устала их на Сеню с хитрым прищуром — будто Сеня когда-то до родства за нею приударял. Этого быть не могло. Сеня на всякий случай выпросил, где протекала её жизнь. Не могло. Но, выпрашивая, убедился он, что сватья, которую звали Руфина Сергеевна, не поверху глядит на мир

и всё, что надо, выглядит. «Как вот в деревню залетают такие имена?» — подивился Сеня, знакомясь со сватьей, подбирая руку, которую она как-то быстро выронила, но имя ещё больше его убедило: мимо Руфины Сергеевны ни одна семейная соринка не пролетит, она во всё вникнет.

По скверику неприкаянно бродили люди, томившиеся ожиданием, натыкались на Сенин табор и отходили, морщась от убитого и захламлённого угла, обманывающего сверху зеленью. У пивной за обнажённой земляной дорогой становилось веселей, оттуда доносились частый звон и бряк, возбуждённые голоса. Дебаркадер, хорошо видимый по сквозящему скверику, был совершенно безлюден, на деревянном помосте причала, с которого была перекинута на дебаркадер под ступенчатым спуском стремянка с поручнями, высилась гора из огромных полосатых баулов, известных всей России.

Девчонка отошла от табора и стояла неподалёку. Отошёл и инженер, рассматривая за решётчатой оградой машины.

Правдея Фёдоровна достала из сумки яблоки, тугие, краснобокие, с глянцевым отливом, и принялась угощать. А чего не угощать на прошлогодние зубы, которые хорошо кусали только в воспоминаниях? Сеня и бабка Наталья отказались, яблоки даже с виду были неукусные. Отказалась и фельдшерица и принялась рыться в старой чёрной сумке с испорченным ездовым замком, застрявшим посреди хода. Склонясь над сумкой, фельдшерица вытянула ногу. Сеня смотрел на крепкую неодряхшую ногу с безобидным интересом: есть на ней чулок или нет? Чулки пошли под цвет кожи, не отличишь, а отличить зачем-то хотелось.

Ехали обратно, сумки были полупустые, с обвисшими боками. Что давалось в гостинцы или что покупалось, шло в лёгкую укладку. Только инженер вёз большой и плоский фигурный предмет, замотанный в целлофан. «Крыло для «жигуля», — ещё при встрече догадался Сеня, по привычке всем интересоваться, спросил, много ли отдано за крыло. Отдано было много, Сенина прикидка осталась далеко внизу. «Всё в порядке, — решил он. — Никакого торможения». Он всё угрюмей и терпеливей относился к загадке: если торможения нет и не предвидится, то куда же они взлетят?

Замараевская фельдшерица, елозя на Сениной картонке, вытянула из-под замка прозрачный пакет, а в пакете небольшой глиняный горшочек с землёй и торчащим зелёным отростком. Бабы заинтересовались: что такое? Можно было и не спрашивать: комнатный цветок. Но из каких-то особых, сказала фельдшерица, живучих настолько, что хоть забудь о нём на полгода. Она выговорила и название, уж больно чужое, так что никто не решился переспросить. И рассказала то, чего Сеня не знал. Оказывается, на комнатные цветы в их краю нашёл мор. Да, и на цветы тоже мор. Хиреют и мрут. Хоть зауважайся, хоть глаз не спускай — никакого спасенья. Уж на что геранька — терпеливый цветок, та самая геранька, без которой и солнышко не заглянет в окошко, а и на неё порча нашла. Не даёт уж красного цветенья, корешок слабый, слизистый.

— А и правда! — громко подтвердила Правдея Фёдоровна. — То-то я всё смотрю: что за казня на них, что за казня?! Правда, хворают цветы. Так это отчего? Это ежели у всех, должна быть серьёзная причина.

— А у меня вроде ничё, — сказала бабка Наталья. — И геранька цвет даёт. Вроде не жалобится.

— Где ты её держишь? — Правдею Фёдоровну исключения не устраивали. По серьёзной причине, а сейчас причины на всё пошли только серьёзные, цветы должны быть в опасности у всех.

— На подоконнике и держу, — отвечала бабка Наталья. — У меня подоконники широкие, я зимой подале от стекла отодвину.

Фельдшерица повторяла:

— У нас в деревне у всех, ну прямо у всех хозяек беда. А я не могу, когда окошки

голые. Будто съезжать собрались. — Она подносила горшочек ко рту и ласково обдувала зеленце косолапного отростка. — Но уж этот-то, говорят, никакой заразе не поддастся.

Бабке Наталье сделалось неловко, что у всех геранька болеет, а у неё не болеет:

— Мои-то, что говорить, они вековушные, у них и цвет старуший... А этот-то, ежели незаразливый, до чего хорошо!..

И вдруг Сеню осенило: ведь всё просто! Проще пареной репы. Он молодецки вскочил на ноги, напугав резким движением подходящую Лену, и начал с Правдею Фёдоровны:

— У тебя в какой комнате цветы стоят?

— Во всех стоят.

— Где телевизор — стоят?

— Телевизорная у нас большая, на три окна.

— Ясно, — теперь Сеня взялся за фельдшерицу: — А у вас, Александра Борисовна, под телевизором стоят?

— Они не под телевизором стоят. Они на подоконнике стоят, под солнышком.

— Телевизор на них влияет?

— Откуда я знаю?

Сеня перешёл к бабке Наталье:

— А у тебя, бабка, телевизор влияет?

— Нет, — опять виновато отвечала бабка Наталья. — Не виляет. Он у меня не вилятельный.

— Нету, что ли?

— Нету, Сеня. Одна доживаю.

Подошёл, привлечённый страстным Сениным голосом, инженер, прислушался. Сеня взглянул на него гоголем и начал разъяснения:

— Вот, Сергей Егорович, сделал открытие. — Взмахом руки в центр табора, как бы усаживающим, Сеня показал, что открытие тут, рядом. — Благодаря вот этому ма-аленькому вашему цветочку сделал открытие. Я вообще-то раньше его сделал, но не придавал значения, что это открытие. Я ведь тоже комнатный огородник, лимоны выращиваю. Лимоны у меня — о-го-го! Все знают. За крупность балдуины называются. Приезжаем кому покажешь — не верит.

— У нас сват тоже растет, — сказала Правдея Фёдоровна.

— Не знаю уж, как твой сват теперь растет, если меры не принял, — усомнился Сеня. — Не знаю. У меня, к примеру, полное процветание было до «перестройки». А завозилась она — кто мог подумать, что на лимоны повлияет! А только лимоны мои всё хуже, всё мельче. Уж не балдуины... так, хреновина какая-то, на перец смахивает. Потом и этого не стало. Завязь возьмётся — и обгнила. Только завяжется — отпала. А у меня книжка, я по книжке провожу уход, у меня ошибок быть не может. Какие ошибки, если я пятнадцать лет с этим делом вожусь! — ещё решительней отмёл Сеня и придержал голос, принапряг для самого главного: — И только после, как выбросил я телевизор из дому... я по другой причине его выбросил... А почему по другой? — спохватился он. — Причина одна. Причина какая: что он преподносит. Я выбросил — такие номера он стал откидывать, что я... человек неконченный... возмущился!

— Возмущился! — слабо ахнула бабка Наталья.

— И выбросил! — продолжал Сеня. — Выбросил и живу, на лимоны не гляжу. Я уж на них рукой махнул. Похоронил, можно сказать. А потом как-то ненароком глядь: лимоны-то мои, лимоны-то! — оживают! Я глазам не поверил. Неделя прошла — ещё лучше. И пошли, и пошли!

— Телевизор виноват? — насмешливо спросил инженер, отмахиваясь от слетевшего на него жёлтого листа.

Сеня задрал голову: откуда взялся жёлтый лист среди сплошной зелени? Внима-

тельно осмотрел тополевое верховье: нет, кое-где желтизной проблескивало... Август как-никак. И только после этого твёрдо ответил:

— Телевизор. Вот почему. Мы же читали все, кто с этим делом возится, что домашняя растения любит ласку. Спокойствие любит. Мужик на бабу если рывкнет — тут твоей гераньке смертная казнь.

— Они музыку любят, — добавила Лена.

— Музыка любят. Но какую? Опять же ласкательную, она им рост даёт. А какую музыку нам по телевизору показывают? Крапиву посади перед телевизором — и крапива сей же момент под обморок! А уж что там нагишом выделывают!.. Это мы, как червяки, глядим, а растения... она чувствительная. Она и «караул!» закричать не может, а то бы они все враз вскричали...

— Закон, значит, такой вывели? — посмеивался инженер.

— Закон! Вывел! — ещё тверже отвечал Сеня.

Замараевские бабы смотрели на него с уважением: ну, Сеня... наш Сеня любой спор выспорит, на любого учёного человека храбро пойдёт.

Всё чаще стали оглядываться на Ангару: не взбелеет ли «Метеор»? — и народ появился возле дебаркадера, торопя посадку. Подъезжали и машины, куда-то ненадолго отскакивавшие, запряжённые для проводов. Ангара, взбученная мостовыми быками, бурлила, закручивалась в воронки, пенилась, звенела и, скатываясь мимо дебаркадера, уходила быстро и рябисто. Солнце, безрадостное от чадающего города, стояло почти над головой. Шёл только десятый час.

Неподалёку, за старым раздвоенным тополем, одним стволом сильно склонившимся в сторону моста, пристроились, заметил Сеня, женщина с девочкой. Девочка сидела спиной, видна была только белая головка с разломаченной косой; женщина, уже немолодая, выдавшая виды, со встрёпанным выражением на круглом нервном лице, беспокойно оглядывалась. Когда Сенин голос поднимался до накала, она вздёргивала голову и морщилась.

Фельдшерница спрятала обратно в сумку отросточек, от которого Сеня и вывел закон, и вытянула взамен какую-то завертушку в красивой обёртке, протянула мужу. Он отказался. Она принялась сама разворачивать завертушку. Но не тут-то было — та не давалась. С какого бока, с какого края ни тянула фельдшерница — хрустящая бумага только издевательски повизгивала. Все с интересом наблюдали, чья возьмёт. Нет, не бралась штукенция. Не выдержав, фельдшерница применила зубы. Она вонзала их так и этак, испуганно поводя глазами за наблюдавшими, вот-вот, казалось, зарычит от нетерпения — и со стыдом отступилась, сплюнула.

— Там стрелка должна быть, — подсказала Лена. — Указательная стрелка, куда тянуть.

Принялись всей компанией, передавая друг другу изжультканную завертушку, искать стрелку и не нашли, её или забыли указать, или нарочно не указали, чтобы проверить смекалку деревенского народа. А что проверять! — инженер вынул откуда-то из-под куртки нож, с которым и на медведя не страшно идти, и с наслаждением, крякнув, будто от усилия, вспорол штукенцию.

— Вот так, — мстительно отозвалась бабка Наталья. — Дофунькалась.

— Пошто дофунькалась?

— Откуль я знаю? — бабка Наталья тянулась рассмотреть, что было в хрустящей бумаге, до чего так мучительно добивались. — Ну и чё? — спрашивала она. — Чё там?

— Сама же говоришь: фунька, — фельдшерница взяла в рот какое-то цветное крошево из красного, зелёного и жёлтого и, замерев, испытывала ощущения.

— Попробуй, — она протянула в ладони крошево бабке Наталье. Та осторожно приняла, лизнула с руки.



— То ли едово, то ли ядово. Нет уж, — решительно отказалась она, — лутче знать, от чего помирать.

— И правда, — подтвердила Правдея Фёдоровна, со страданием на лице наблюдавшая, как пробуют неизвестное вещество. — Его, может, для того и запечатывают крепко, что оно опасное.

— Написали бы, если опасное...

— Там чё-то написано.

— Написано-то не по-русски.

— А не по-русски написано — русский человек не лезь, не разевай рот, — неожиданным басом сурово сказала Правдея Фёдоровна. — Там, может, от тараканов написано.

Фельдшерица сплюнула жвачку:

— Тьфу вас! Наговорите!

— Нисколь не проглотила? — любопытствовала бабка.

— Нет.

— Ну и слава богу. От греха подале.

Помолчали, оглядываясь на реку.

— Ну а что такое всё же «фунькать»? — заинтересовалась Лена. — Есть такое слово или нет?

Бабка Наталья с Правдеей Фёдоровной переглянулись, улыбаясь, остальные вопросительно смотрели на них.

— Ты вроде деревенская, а спрашиваешь как городская, — бабка Наталья рассмеялась мелконьким сухим смехом. — Маленькая была — воздух портила втихомолку али с музыкой?

— С тем и другим, — не растерялся Сеня.

Посмеялись, потом бабка Наталья закончила:

— Ежели втихомолку, так это оно и есть...

— Искомое насекомое, — отличился на этот раз инженер.

День разгорался жарким. Со стороны улиц, набегающих на мост, доносился дых города, сладковато-выжженный, сухой. С другой стороны набегала волной речная свежесть. То одним пахнёт, то другим. Назначенное для «Метеора» время ещё не вышло, но народ томился всё пуще, запрудив асфальтовую дорогу возле Ангары. Машины музыкалили на разные голоса, прокладывая себе проезд.

— Пойду узнаю последние известия, — вызвалась Лена.

Последние известия были: ещё на полчаса отсрочка.

Женщину под солнцем разморило: ночь она спала плохо, голова была тяжёлой, и чувствовала она несвежесть во всём теле. Они с девочкой оказались здесь случайно. Случайно и не случайно. Женщину всегда тянуло на вокзалы, откуда можно уехать, и сегодня они с девочкой уже побывали на железнодорожном. Сегодня женщина задумала такое, что и вокзалы не помогут, и без них не обойтись. Проезжая в трамвае, она с моста заметила кружение пассажиров перед отправкой «Метеора» и на остановке потянула за собой девочку. Они побродили-побродили вокруг, ни с кем не заговаривая, выделяясь среди пассажиров своей вялостью, и приткнулись возле компании деревенских. Разговор их ещё больше убедил женщину, что люди они невинные и настоящей жизни, которая теперь взяла силу, не знают. Ей тем и нравился речной вокзал, что пассажир тут был не из воронья и отдавался он теплоходу на подводных крыльях, чтобы поскорей добраться до семьи, до деревни и подольше оттуда не выглядывать.

Девочка грызла пряник, как белочка, держа его обеими руками. Женщина принялась укладываться, шурша газетами, которые поднимало речным поддувом, пока она не догадалась придавить их камнями. «Никуда не уходи», — сказала она девочке. Та не ответила. «Сегодня, сегодня!..» — как заклинание, повторяла женщина, закрывая

глаза и подбирая под себя ноги, чтобы не выглядеть так, будто валяться на земле ей в привычку.

Голоса бубнили, то затихая, то усиливаясь, когда принимался говорить этот, петушистый... Женщина уже различала его голос — горячащийся, нервный и наивный. Острый голос — заснуть под него не удавалось, но и открывать глаза, смотреть на белый свет не хотелось.

— Вот объясни ты мне, Сергей Егорович, — шёл на очередной приступ горячий мужичонка, — у меня ума не хватает понять. У нас ведь победа на культурном фронте дошла до всеобщей грамотности. Всеобщее среднее образование у нас было. Было или нет?

— Было, — соглашался с мукой второй мужик. Он что-то сказал ещё, но в движении, должно быть переходя под тень, — что-то недолетевшее.

— Но ведь среднее образование — это же много! — горячился первый. — Это по уши ума. А едва не половина народу — с высшим образованием. Дальше некуда. Так? Так, да не так. Вот тут и фокус. Если мы все были такие умные, почему мы вышли в такие дураки? Я об этот вопрос всю голову сломал. Почему, Сергей Егорович?

— Мы не дураки...

— Мы не дураки, мы теперь умные, — быстро, с удовольствием согласился спорщик. Этот, если никого рядом не окажется, сам с собой будет спорить. — Очень хорошо, — продолжал он. — Но если мы сегодня такие умные, почему мы вчера были такие дураки? При всеобщем среднем образовании с заходом в высшее. И работу мы делали не ту, и ели не то, и спали не так, и ребятишек делали не с той стороны, и солнце у нас, у дураков, не оттуда всходило. Кругом мы были не те. Но почему? Говорят, нас специально учили так, чтобы и высшее образование было не выше дураков. Такая была государственная задача. Ладно, задача... Но почему?.. Если мы все были такие дураки, как мы за один кувырк стали такие умные? И сразу взяли правильный курс — все делать с точностью до наоборот?

Второму мужику не хотелось спорить, он замолк, делая опять какие-то передвижения. Старуха вздохнула с жалостью и сказала:

— Почему ты у нас, Сеня, такой истязательный? Ну прямо сердце надывается на тебя глядеть.

«Умные, дураки... — полусонной и безжалостной мыслью прошлась женщина по услышанному. — Нет теперь ни умных, ни дураков. Есть сильные и слабые, волки и овцы. Всё ваше образование пошло псу под хвост. У нас и профессора в лакеях служат или на цепи сидят».

У соседей началось шевеление, и женщина решила, что, должно быть, подходит их водный транспорт. Она села и огляделась. Нет, всё было в том же томительном ожидании, всё так же толколся народ, не знающий, чем себя занять. Солнце сразу стало горячеей, едва она подняла голову. А зашевелились рядом — принесли пиво и воду и устраивали посреди круга стол.

— Дать ещё пряник? — спросила женщина у девочки. Та отказалась и опять застыла, держа головку на поднятой шее, глядя без всякого чувства на дорогу, где, гонясь друг за другом, играли в пятнашки мальчик и девочка её лет.

«Надо что-то делать», — опять забеспокоилась женщина и покосилась на стоящего к ней вполоборота Сеню. С моста сорвался грохот трамвая, особенно тяжёлый, оглушительный, над головой зашумела листва. Сеня взапятки сделал два шага и стоял с задранной головой.

— Эй! — окликнула его негромко женщина и ещё раз, по сильнее, пока он не оглянулся. И показала ему кивком головы, чтобы он подошёл. Сеня подумал и подошёл, со стаканом воды в руке облокотясь на изгибающийся ствол тополя. Женщина пригладила ладонями лицо, точно обирая с него усталость, взгляделась в Сеню, что-то решая, и сказала:

— Угости пивом.

Ей было лет сорок, на круглом лице с большими, теперь припухшими глазами и большими синими подглазьями замечались следы не только бессонной ночи, но и приметы покотившейся жизни. Смотрело лицо угрюмо и растерянно. Женщина ещё старалась держать себя, на ней была свободная и длинная серая кофта поверх тонкой полосатой рубашки и короткие, открывающие щиколотки, коричневые брюки хорошей материи. На ногах кроссовки. Женщина старалась держаться, и всё же нельзя было не заметить, что каждый месяц жизни даётся ей в год.

— Пивом я и себя не угощаю, — ответил Сеня, всматриваясь и не умея сдерживать любопытство. Не походила она на попрошайку, играла какую-то роль.

— Тогда водой угости. Жарко.

— Ангара рядом.

— Девочка любит сладенькую, — играя лицом, что, должно быть, когда-то получалось у неё красиво, а сейчас — манерно, настаивала женщина.

Девочка, сидевшая спиной, обернулась, и Сеня ахнул. Он узнал её. Он видел её только вчера.

Вчера они с Людмилой, с дочерью, пошли по базару посмотреть кой-какого товара. Требовалось самое необходимое для подступающей осени — телогрейка для Гали (старую, истрёпанную недосмотрели в сенцах, в углу, и на ней кошка принесла котят) и ему, Сене, кирзовые сапоги. Любил он ещё, бывая в городе, поискать «то, сам не зная что», как в присловье, в чём нет крайней нужды, а увидишь и загорись, возьмёшь. Так он купил однажды кофемолку за один только притягивающий взгляд её вид — приглянулась и запросилась в руки, а потом долго не знал, что с нею делать, кофе он не пил. Простояла кофемолка в праздности, наверное, года с два, и вдруг слышит Сеня грохот из избы, будто там запустили дизель. А это Галя приспособила кофейную машину под помол сухой черёмухи, и та от возмущения подняла крик. Сеня прикрутил винты — стала работать тише. С тех пор безотказно мелет. Вот и игрушка... любую игрушку, если имеется голова, можно пустить в дело.

У них в Заморах ничего подчистую не стало, и магазин о двух высоких крыльцах на две половины показывал замки уже года три. Бросили деревню. Как ни ругай коммерцию, а приходится говорить спасибо одному приезжему парню, который муку с крупой и соль с сахаром изредка привозит и торгует из амбара. Торгует с наценкой, но делать нечего. Да и денег нет, чтобы скупиться. Что появится чудом или из милости — отнесешь этому парню, Артёму, и живи без размышлений, что бы ещё купить.

Покупают в Иркутске на «Шанхае». Так называется вещевого рынок, по-старому барахолка, расположившийся по обочинам рынка продовольственного, крытого. Название дано по китайскому товару, который гонят сотни и тысячи «челноков», снующих беспрестанно туда и обратно. Громадные полосатые сумки, раздувающиеся, как аэростаты, способны вместить полцарства. Гвозди и спички, карандаши и нитки, шнурки и пуговицы, мёртвые цветы и бегающие игрушки, не говоря уж о тряпках, о посуде, об обуви, о снеди, о всякой подручности, всё везётся из Китая. И всё непрочно, быстро дырявится, портится, расходится по швам, превращается в хлам, а значит, требует замены. И китайцы заинтересованы в плохом качестве, и «челноки», и, похоже, сам Иркутск, потому что иной работы он дать не может. Все своё сделалось в России невыгодно.

На «Шанхай» и повезла Сеню Людмила. Они сошли с трамвая и сразу окунулись в светопреставление. Кругом всё кричало, визжало, пищало, совало под нос какую-то раскрашенную дрянь, и всё колыхалось, двигалось, полосатые баулы били Сеню по голове и по ногам, дюжие квадратные девки кричали на него и яро матерились — и он бы упал, его бы затоптали, но упасть в плотной движущейся массе людей и товара было некуда. Людмилу он быстро потерял, онемел и только покрякивал, когда толкали

и сжимали особенно больно. Каким-то чудом вынесло его на отбой, несколько раз ещё крутануло и остановило. Из последних сил Сеня отпрыгнул в сторону.

Деньги в кармане оказались на месте. Сеня отдышался, для верности ещё раз ошупал себя, целы ли кости, приободрился своим спасением и стал наблюдать, что это такое — откуда он спасся и что называется торговлей. Покупать там невозможно, там происходило что-то иное. Полосатые, под вид матрасовок, баулы всё двигались и двигались, их катили на тележках, несли на загорбках, на головах, выставляли перед собой в две, в три пары рук и таранили ими народ. Сеня кумекал: значит, тут место перевалки. Одни привозят из Китая, другие съезжаются со всей области, а может, и шире, делают оптовую закупку, потом и у них появляются перекупщики — и так за несколько оборотов товар наконец добирается до Сени и таких, как он, кто выкладывает за него последние деньги. Увидев действие этой огромной крутящейся машины изнутри, Сеня поразился её адовой простоте и изобретательности, какому-то беспрепятственно громяющему взрыву, раскидывающему полосатые тюки.

Они договаривались с Людмилой пойти после «Шанхая» в торговый центр на базарной площади; сапоги могли залежаться там. Туда и отправился Сеня, надеясь, что Людмила догадается, где его искать. Он подошёл к главному входу и стал прогуливаться, наблюдая тутошнюю жизнь. Везде, на каждом шагу, теперь сделалось интересно. Неподальку, слева, мучили медведя, облезшего, полуживого и старого, выставив его как приманку для фотографирования. Медведь стоял на задних лапах, уронив голову и исподлобья косясь на окруживших его ребяташек; видно было, что он давно смирился и с цепью на шее, и с тем, что жизнь его кончилась; потом перевалился на все четыре лапы, цепь загремела, ребяташки завизжали, а медведь понуро, по-собачьи, ткнулся мордой в бетон, что-то там вынюхивая. Фотограф, толстый мужик с бабьим лицом, хозяин медведя, сидел на складном стуле возле щита с фотографиями и изображал улыбку на недовольном лице: на медведя глазели, а под фотокамеру не шли. От массивного здания магазина уже ложилась тень, и под неё пристроились прямо на бетонной плитке несколько цыганят и три старика, один совсем безногий, на каталке. Сеня и за ними понаблюдал: давали совсем плохо, но из малого больше всего перепало безногому. Цыганята не выдерживали пустого сидения, бросались канючить, хватали прохожих за руки — их отталкивали, зная, что цыганское племя нынче богаче русского. И гремело из ларька, торгующего музыкой, так оглушительно, что Сеня тряс головой и думал: а ведь этак недолго вызвать землетрясение.

Чтобы не разминуться с Людмилой, он поднялся по ступенькам и у самого входа в магазин присел над последней ступенькой на край мраморной широкой площадки. Туда и обратно, вверх и вниз сновал народ, это был субботний день, но после «Шанхая» суэта здесь крутилась спокойно, и люди шли своими ногами, могли разговаривать и понимать друг друга.

Тут-то и увидел Сеня эту девочку, точно слетевшую из сказки. Она сидела прямо напротив, по другую сторону ступенчатого подъёма. Сеня сначала не догадался, зачем она сидит среди этого хоть и затихшего по сравнению с «Шанхаем», но всё-таки лежащего повсюду безобразия с нищими, медведем и бушующей музыкой, и только обратил внимание на ангельское личико лет пяти-шести, промелькивающее между проходящими. Не засмотреться на него было нельзя: дымно-белые волосы, какие называют льяняными, сразу уходили назад в тугую косу с тёмно-красным бантом, и лицо, чуть вытянутое, чистое, нежного и ласкового овала, было открыто. Глаза, нос, губы, щёки — всё было вылеплено на этом лице с удивительной точностью, чтобы ничто отдельно не выделялось, а вместе являло ангельский лик. Глаза небольшие, глубокие, голубые; курносинка, та самая изюминка, которая делает лицо занимательней; щёки без подушечек, ровные; рот правильный, со слегка оттопыренной нижней губой. Нет,

не лепилось это лицо взаимным наложением родительских черт, а выдувалось, как из трубки стеклодува, небесным дыханием.

Сеня так внимательно рассмотрел девочку, когда, заметив, что возле неё приостанавливаются, подошёл взглянуть, почему приостанавливаются. И увидел: на коленях девочки, зажатый ногами, уже и не лежал, а стоял раскрытый пакет. В него опускали деньги. Опускали и, отходя, оборачивались, чтобы полюбоваться. Девочка склоняла головку, острые плечики её подавались вперед, и монотонно и печально повторяла:

— Спасибо. Спасибо. Спаси вас Бог. Спасибо.

На ней была синенькая курточка с большими накладными карманами и подвёрнутыми рукавами и плисовая оранжевая юбочка. То и другое старое, стираное, но чистое. Красные сандалики поверху потрескались.

Сеня тоже опустил в пакет бумажку в пять тысяч. Для него это были деньги. За такие деньги он стал сбоку, на ступеньку ниже, и, чувствуя второе после «Шанхая» потрясение, охваченный удивлением, жалостью и болью, смотрел неотрывно, как опускают и опускают деньги. Господи, что же это на свете делается?! Видит ли Бог? А может, это Он, Бог, послал от Себя это ангельское создание, чтобы иметь чистое свидетельство?

Не удержавшись, Сеня тронул за плечико девочку и спросил:

— У тебя мама есть?

Она торопливо и отрицательно, не поднимая глаз, замотала головой.

— С кем же ты живёшь?

— Одна.

Едва он заговорил с девочкой, их стали обходить. Не зная, что сказать и чем унять свою боль, Сеня продолжал стоять рядом. Девочка вдруг попросила:

— Дядя, отойдите, пожалуйста, вы мне мешаете.

Он отошёл. Нервно закурил, стоя на мраморной площадке, чтобы быть на виду, и смотрел куда-то вверх города. Здесь и нашла его дочь. Жадно хватая дым, Сеня показал Людмиле на девочку:

— Посмотри какая. Говорит, что одна живёт.

— Я слышала про неё, — вспомнила Людмила. — Слышала, будто в коробках на базаре ночует. — Она всмотрелась в девочку: — Не похоже, чтобы в коробках, — и добавила: — Мы устали от грязной, оборванной нищеты, нам и нищету подавай красивенькую.

Сеня купил и пива для женщины, и для девочки подкрашенной воды в литровой пластмассовой бутылке, прогибающейся под рукой. Они отошли от коммерции в глубь пустыря, который все другие старались обходить. Сеня ещё помнил по старым наездам в город, что здесь стояли деревянные дома с заросшими зеленью дворики. Дома снесли, освобождая место для какого-то большого строительства, но тут упало нестроительное время, и так всё и осталось в горьком запустении. Из земли выбило дождями гнилые деревянные оклады домов, кучами торчали кирпичи и глина от печей, до сих пор пахло гарью и затхлостью. Трава выбивалась кустистыми пучками, торчали обгоревшие доски, чернели следы кострищ.

Сесть было некуда, да Сене и некогдилось с посиделками, в любой момент мог показаться «Метеор». Он сам открыл банку с пивом и вздрогнул от тугого фырка, с каким выбросился из банки газ. С бутылкой провозился больше, пробка прокручивалась, и пришлось её по-дикарски свернуть на сторону. Девочка приняла бутылку обеими руками, сказав вчерашним голосом «спасибо», и опустила на землю, присела на корточки рядом. Женщина отпила из банки без той жадности, которую можно было от неё ожидать. Она продолжала присматриваться к Сене, а он не мог отвести глаз от девочки и заметил на этот раз, что ангельское лицо, с таким вдохновением слепленное, пожалуй, не вздуто изнутри свечкой, которая бы его освещала и теплила. Или она

загасла уже при жизни; лицо казалось тусклым. И всё же оно было красивым, очень красивым какой-то красотой иных краёв. Одета она была по-иному, чем накануне: в платье мягкой зелени с отложным воротничком и вышитым на груди цветком; на ногах белые, со шнуровкой, низкие туфельки. Пригляд за девочкой был, в этом можно было не сомневаться.

— Купи девочку, — вдруг услышал Сеня.

Он обернулся, медля, раздумывая, что ответить на такие слова, и встретил прямой тяжёлый взгляд припухших глаз.

— Очумела? С глотка пива повело? — только и нашёлся он сказать.

— Я серьёзно. Купи.

— А себя ты, конечно, давно продала? И не разбогатела?

— Себя... давно... — раздельно ответила она.

— Давай-ка отойдём, — сказал Сеня. Ему было стыдно говорить при девочке, и он отвёл женщину шагов на тридцать. Девочка спокойно оглянулась на них и снова уставилась на Ангара, всё так же сидя на корточках и держась обеими руками за бутылку.

— Ну и что? — приступил Сеня. — Что ты за штука? Ты что — высмотрела деревню и решила кино показать?

— Нет.

— Нет, говоришь? А почему ты взялась детишками торговать? Коммерцию, что ли, такую открыла?

Женщина отпила из банки и откинула её в сторону; пиво забулькало, выливаясь.

— Ты меня лишним не ляпай, Сеня, — сказала она всё так же тяжело, не задираясь. И не удержала взятого тона, вильнула: — Тебя Сеня зовут? Мальчик Сеня. А перед тобой девочка Люся. Ту девочку зовут Катя. Детишками я не торгую.

— А что ты мне только что предлагала? Редиску с грядки купить?

— Мне надо срочно уехать.

— Ты не мать ей?

— Нет, матери у неё нет. Ни отца, ни матери.

— А кто ты ей?

— Тётя Люся. Я не первая у неё тётя.

— Тебе надо срочно уехать... с девочкой и поезжай. Или она тебе не нужна?

— Вместе нам далеко не уехать, нас поймают, — оглядываясь, торопливей заговорила женщина. — И не на что ехать.

У неё была привычка: когда она умолкала, то принималась нервно терзать сомкнутые губы.

Сеня точно на землю опустился: о чём они говорят? Где он? Ведь она предлагает ему купить девочку! Не куклу, не котёнка купить, а живого человека! И он что же, выходит, торгуется с нею?! С этой женщиной, которую и знать не знает! Почему он с нею разговаривает, зачем?!

— Детей я не покупаю, у меня свои есть, — решительно сказал он, собираясь развернуться и уйти. — Ты что-то не то во мне высмотрела, тётя.

Женщина облизнула губы и покосилась на выброшенную банку.

— Так возьми, — мрачно сказала она.

— Ну дела-а! — восхитился Сеня. — То купи, то так возьми. Если дальше у нас туда же пойдёт, ты мне ещё и деньги большие дашь. — Он решил, что хватит играть втёмную. — Она ведь, девочка твоя, кажется, неплохо зарабатывает. Я вчера видел её...

— Где ты её видел? — быстро спросила женщина.

— У Торгового центра. С мешком денег.

Женщина кивнула с усмешкой:

— Все точно: там. И пас её там вчера Ахмет. Из этих денег нам ни копейки не достаётся, все забирают, — она встряхнулась всем телом, по-куриному. — Надо же: видел.

Извини, Сеня. — Она окликнула громко, уже не боясь: — Катя! Пошли! — и сказала для Сени: — Пошли в свою камеру, побег не состоялся. Там Олега уж добивают, что выпустил нас.

Девочка поднялась на ноги, но не двигалась. Ангара заворожила её.

— Она не больная? — спросил Сеня, чувствуя, как заныло у него страдальчески сердце. — Вялая какая-то, замороженная.

Женщина ещё и добавила:

— Жизнь такая. Одних цепь заставляет кидаться на людей, других в обморок кидает. Жалко её, — без выражения сказала женщина и первой заметила: — Вон ваш пароход показался.

«Метеор» только выплывал из затона, сияя округлённой и длинной, как у ракеты, белизной.

«Вот сейчас сяду, — подумал Сеня, — и не увижу больше никогда ни девочку эту, ни женщину. Сяду сейчас, закрою глаза и спрошу себя... И долго потом буду спрашивать, может, всю жизнь. Вот угораздило».

Они приближались к девочке. Она повернула к Сене лицо, настороженное, ожидающее, и смотрела, точно пытаясь угадать, договорились или нет.

— Слушай! — Сеня решительно затормозил. — Поехали вместе, — обращаясь к женщине, торопливо, горячо заговорил он. — Приедем, ты жене, Гале, всё расскажешь. Это же рассказать надо, а не так, что привёз и вывалил. Она поймёт. И ты поживёшь среди нормальных людей. Ну? Едем? Сама говорила, что тебе уехать надо. К нам и поедем. У нас надёжней надёжного.

Женщина, отказываясь, покачала головой.

— Се-е-еня! — в несколько голосов закричали из-за коммерции. — Где ты, Сеня? Па-е-хали!

Сеня встряхнул женщину за плечи:

— Если не врала ты, то дура. Быстро! Деньги у меня на дорогу есть.

— Сеня-а! — испуганно надрывалась бабка Наталья.

Он неотрывно смотрел на женщину. Она медленно нагнулась, чтобы поднять сумку, и второй, левой, рукой отёрла лицо, показывая, что готова.

Первый и второй салоны уже разобрали, когда они, толкаясь, задевая друг друга сумками и свёртками, влезли на «Метеор». Бабка Наталья от волнения слабо постанывала и всё хваталась за Сеню, Правдея Фёдоровна танком шла впереди. Замаараевские инженер с фельдшерницей ушли раньше, но Лена осталась в Сениной группе. Новых знакомых Сеня не терял из виду, они отстали, но двигались вслед за ним.

За вторым, средним салоном они поднялись на пять ступенек, прошли по открытой площадке с высокими бортами и на пять ступенек за дверь спустились. Третий салон, в трюме, был и качества третьего, для простонародья, полутёмный и прохладный, со скошенной вовне задней стенкой. Сеня выбрал места на левой половине, по ходу теплохода она становилась правой, обращённой к родному берегу. Он пропустил бабушку Наталью к окну, рядом с нею ухнула в кресло Правдея Фёдоровна, потом аккуратно присела Лена. Себе Сеня взял место у прохода. Позади него устроились женщина с девочкой. Набились и в этот салон, окликая друг друга и друг ко другу переходя, уталкиваясь дружественней. Взревел двигатель, «Метеор» затрясло крупной дрожью, почувствовалось слабое и набирающееся скольжение. Все отъехали. С опозданием почти на два часа, да дорога на семь часов. И с неожиданными, упавшими как снег на голову, гостями.

Сеня перегнулся сбоку за своё кресло, проверяя, здесь ли они. У девочки на лице появилась тень спокойного удивления, она не понимала, как они здесь оказались, и бросала взгляды на женщину, словно спрашивая: что же мы делаем? Женщина, тоже озираясь, кивнула Сене, подтверждая: что сделано, то сделано. Лицо у неё пошло пятнами; Сеня принял это за жар от вчерашнего перегрева.

«Метеор» развернулся у самого моста, и Ангара подхватила его, понесла, затем он и сам поддал, разрезая воду, с шумом и плеском отваливая её на стороны. Замелькали городские берега, сплошь застроенные, погребённые под бетоном, к которому и волна сбегала робко. Незаметно берега переменялись, пошли дачи с длинной вереницей лодок, тёмных и раскрашенных, и уж на них-то волна пошла с лихостью, высоко их подбрасывая и заваливая. А потом и вовсе вырвались на волю.

Сеня поднялся, чтобы сходить за билетами. Для себя он билет взял загодя, требовалось позаботиться о новеньких. Но вслед за ним сразу же поднялась женщина, догнала его за дверью и остановила.

— Я сама, — решительно сказала она, не глядя на Сеню. — На это у меня есть.

Он вернулся на место, размышляя; было о чём подумать. Дрожь всего корпуса теплохода в корме не прекращалась, а когда «Метеор» набегал на чужую волну, било о борт резко и гулко. Шум в салоне от разговоров и хождения нарастал, от варёной курицы, которую несли из буфета, запахло с пресностью подсыхающей банной мочалки. Прошёл наружу матрос, совсем молоденький и маленький большеголовый парнишка, оставив заднюю дверку открытой, и в неё было видно, как синим кипятком сквозь белую пену кипит за кормой вода. Бабка Наталья успокоенно вздохнула, по привычке деревенского человека интересуясь не берегами, а незнакомым народом; Правдея Фёдоровна сидела важно, ещё не выбрав, чем заняться; Лена среди стариков скучала. Но все постепенно обтерпевались, втянутые в дорогу. Если тебя везут и ты семь часов можешь не отдирать задницы от кресла и отдаваться впечатлениям, это не значит, что тебе так уж беззаботно. Тушу твою везут, а душу везёшь ты сам.

Воротилась женщина и, проходя, подмигнула Сене: всё в порядке. Сеня слышал, как она за спиной говорит девочке:

— Вот твой билет.

— А твой? — спросила девочка.

— Мой у меня.

И завозилась в сумке, что-то отыскивая и перекладывая. Теперь поднялся Сеня, сходил в буфет, купил опять той же воды, которую оставили на пустыре, шоколадку, на обёртке которой развевался парус российского происхождения, и несколько булочек. Больше ничего, кроме спиртного, в буфете и не было. Курицу уже растащили. Всё это Сеня выложил перед девочкой, потрепал её по льняной головке, а когда она подняла на него глаза, подмигнул.

— Давай-ка! — только и сказал он, чтобы не дырявить главный, предстоящий разговор торопливыми вопросами.

— Сеня-а! — позвала тут же бабка Наталья, только он уселся. — Это кто такие?

— Старые знакомые, — отговорился он.

— Я пошто не знаю?

— Я твоих знакомых из твоей молодости тоже не знаю.

Бабка Наталья подумала и удивилась:

— Ты-то пошто не знаешь? Они все в деревне. Кто в верхней, кто в нижней.

«Нижней деревней» называли кладбище. Бабка просунула голову в проём между спинками кресел, подержала её там.

— Бравенькая какая девочка! — похвалила она, возвращая голову на место. — Докуда едут-то?

— Докуда билет велит.

— Не к нам?

— Точно не знаю.

— Ну, хитри, хитри...

Поднялась прогуляться Лена, потом принялась подниматься Правдея Фёдоровна. Сеня, поленившись, не освободил для неё выход, вжался в кресло, заведя ноги на сторону, — и Правдея Фёдоровна застряла, выдираясь, упёрлась рукою в слабую Сенину



грудь и чуть не раздавила. Пришлось поохать обоим. Лена долго не возвращалась, гостила у своих, у замараевских, в среднем салоне. Воротилась возбуждённая.

— У нас тётя умерла, — сообщила она, поводя расширенными глазами, оглядывая по очереди всех.

— Ну-у! — ахнула Правдея Фёдоровна. — Похоронили?

— Нет, завтра похороны.

— Гли-ка: как знала — к сроку-то едешь...

И только после этого вместе с бабушкой Натальей принялись выяснять, какая из Лениных тёток скончалась, их у неё было много. Оказалось, тётя Дуся, отцова сестра, та, что жила на верхнем краю Замараевки рядом с Верой Брюхановой. Поохали, повздыхали, не утешая девчонку, опуская в своей памяти и ещё один гроб из земного окружения и устанавливая себя на какое-то новое место в происшедшем передвижении. Правдея Фёдоровна вздыхала громко, мощно. Расспрашивая, перебирала в Замараевке своих знакомых, упомянула опять Веру Брюханову, подружку по молодости, с которой не виделась года два...

— И не увидишься, — сказал Сеня, не сумев сдержать удовольствия от ловко пришедшегося подхватного слова. — Переехала твоя Вера Брюханова.

— Куда переехала? Что ты буровишь?

Лена испуганно объяснила:

— Она же умерла! Ещё зимой умерла!

— Вера умерла?! — выкрикнула Правдея Фёдоровна.

— Ещё зимой. Кажется, в марте. По снегу.

Правдея Фёдоровна помолчала, приходя в себя.

— Что это за жизнь пошла?! — требовательно воззвала потом она. — Что за жизнь пошла! Вера померла — и за полгода слух по Ангаре за двадцать вёрст не сплыл. Это когда так бывало?! О Господи!

— Сильно много народу помирать стало, — по-своему объяснила бабушка Наталья.

Сеню тронули за плечо: над ним стояла женщина, его гостя, она спросила сигареты. Сеня протянул ей пачку; он курил, но всё реже и реже. В одиночестве и за весь день мог не вспомнить про курево, а с мужиками, глотнув дыму, не утерпевал, травился.

Пока женщины не было, Сеня пересел к девочке, стал рассказывать, что ведётся у него в хозяйстве.

— Во-первых, две коровы, — перечислял он. — Молоко будешь пить от пуза. Мы поросёнка от некуда девать молоком поим. Во-вторых, бычок, уже с рожками. Стоит-стоит — да ка-ак взбрыкнёт, будто шилом его ткнули, и давай носиться по телятнику. — Сеня наблюдал: девочка слушала внимательно, но ни до коров, ни до бычка не дотягивалась воображением, лицо её оставалось безразличным. Шоколадку она не тронула, та нераскрыто лежала у неё на коленях, а булочку потеряла. — В-третьих, боров на подросте... Но боров, он и есть боров, я, к примеру, уважения к нему не имею. Потом курицы... Цыплята теперь подросли, ты опоздала, чтобы цыпляток кормить. Будешь кормить куриц, это будет за тобой. Курица — не такая глупая птица, как про неё говорят, за ней интересно наблюдать. Собака у нас одна, умная собака, Байкалом зовут, зря никогда не гавкает, а чужого не пустит. Ещё есть овцы...

— Зачем так много? — спросила девочка, чуть скосив глаза в его сторону.

— Чего много?

— Коровы, курицы, овцы... Зачем так много?

— Но ведь жить-то надо! — с горячностью стал защищаться Сеня, будто девочка упрекала его. — Мы этим и живём. Деньги нам не дают, мы деньги другой раз по полгода не видим. Всё своё. Я бы овцами, к примеру, попустился, они мне и самому надоели... Да ведь шерсть! Из шерсти носочки, рукавички, шапочку, свитерок... Мы там как в пятнадцатом веке живём. Вот увидишь, как интересно.

«Метеор» подчаливал; Сеня, пригнув голову, заглянул в окно. Подходили к Усолюю. — Хорошо идём, — сказал он вслух. — Расписание, конечно, не догнать, но подтянемся.

И отчалили без задержки. Снова поплыли берега, все расходящиеся и низкие, начиналось море. Сеня и об этом сказал девочке. На «море» она слабо встрепенулась, но через минуту отвела глаза от окна, по-прежнему оставив их перед собой. Да и верно — какое море? Название одно. Огромная лужа, которая за полтысячи километров отсюда, набравшись в ленивую, но мощную силу, крутит турбины. «Метеор» вильнул раз и сразу же другой. Значит, по большой воде подняло с берегов лес, наваленный там баррикадами, и таскает его, подсовывает под винты теплохода.

Сеня взялся перебирать, что у них в огороде. Огород был большой, засевался он с умом — его, Сениным, умом вёлся севооборот и календарь посадок, но Сеня удержался от похвалы себе... Он перечислял грядку за грядкой и всё чаще поглядывал на дверь: женщина задерживалась. Взглядывала на дверь, он заметил, и девочка.

— Тебе никуда не надо? — спросил он.

Она помотала головой: не надо.

— Тогда посиди, я сейчас.

Он вышел на площадку, где толпились курящие, — женщины среди них не было. Медленно прошёлся по одному салону, обводя глазами ряд за рядом, потом по другому, быстро вернулся в свой салон. Девочка вопросительно взметнула на него глаза, она заметила в нём тревогу. Сеня развернулся и за дверью прислонился к стенке рядом с грудастой бабой, держащей на руках весёлого, пускающего пузыри ребёнка. Сеня подождал, пока выйдут из того и другого туалета, снова обошёл салоны, заглянул даже в рулевую рубку. Больше искать было негде. Уже зная ответ, спросил у проводницы, у губастой полусонной девушки с тёмным лицом, не выходила ли в Усолье такая-то... Сеня обрисовал её. Выходила: проводница вспомнила её сразу. Видимо, такая растерянность была на лице у Сени, что она не удержала любопытства:

— Что случилось-то? Не там вышла?

— А куда у неё был билет?

— До Усолья.

Значит, не вдруг спрыгнула, рассчитала заранее. Был дураком и остался дураком.

Он сел возле девочки, перекинул руку ей за голову и, притягивая к себе, сказал глухо:

— Слушай, сбежала от нас твоя тётя Люся.

Девочка вздрогнула и замерла. Сеня боялся, что она заплачет, будет с рыданьем проситься обратно — нет, всё осталось внутри. В оцепенении просидели они, должно быть, с полчаса. Потом девочка зашевелилась, показывая, чтобы он убрал руку, села бочком, отворачиваясь от Сени, и завозилась, шаря где-то под платишком. Выпрямилась и вложила Сене в руку какую-то пачку. Он глянул: это были деньги.

— Это она дала? — быстрым шепотком спросил Сеня.

Девочка покачала головой: нет.

Так эта девочка, по имени Катя, оказалась в деревне у Сени с Галей, и, таким образом, Сене с Галей ничего не оставалось, как кататься с этой девочкой.

Сеня потрухивал, ведя с пристани Катю, и, чтобы не показывать её лишнему народу, шёл берегом, с нижней улицы перелез через прясло в свой огород и двинулся с тыла. Галя — баба добрая, но первая реакция могла быть шумной. Но вышло совсем наоборот. Когда Сеня с Катей явились пред её очи и она удивлённо-вопросительно сказала «здра-авствуйте» и когда Сеня продуманным ходом завёл Катю в летнюю кухню, а сам выскочил и торопливо принялся объяснять, откуда свалилось к ним это небесное создание, Гали достало только на то, чтобы приахивать:

— Да как же это? Как же это, Господи!.. Как же это!..

Но потом пришли трезвые мысли, и Галя ежедневно окунала в них Сеню как слепого щенка в холодную воду.

— Дурак — он везде дурак, — эти слова Сеня говорил себе и сам, они были справедливы. — От тебя за версту простотой несёт. Какой простотой? А той, которая хуже воровства. — Галя подхватывала последнее слово. — Ведь ты украл её — если разобраться! Укра-а-ал! — заглуша-ла она слабые Сенины возражения. — Тебе воровка её подкинула — значит, ворованное. Как ты знаешь, что у неё нет отца-матери? Отец-мать её, может, ищут, может, уголовный розыск объявили... И найдут, пошто не найдут! Ведь ты бы подумал: тебе навязывают её купить — нет!.. Навязывают дарма забрать — нет!.. Ум вроде поначальности проблёскивал: «нет» говорил... — Особенно Галю пугали оказавшиеся при девочке деньги. — Ведь ты её купил! — она забывала, что только что уверяла его, будто «украл». — За свои деньги не стал покупать, а когда тебе их дали — с руками отхватил. На деньги ты позарился, Сеня. Ну, что вот ты пыхтишь? Господи! — Она принималась плакать.

В другой раз Галя вспоминала:

— Это беспородную кошку можно без документов принять. А ты не кошку принял. Чтобы жила — надо удочерение сделать. Через неделю в школу отдавать — где у неё метрики? Какая у неё фамилия? Кто был у неё отец — министр какой или убийца... девять душ сгубил?

— Пошто девять-то? — цеплялся Сеня.

— А сколько тебе их надо — девятнадцать?

— Но пошто девять, а не десять, не семь?

— Мы с тобой будем восемь и девять.

Сеня вскипал:

— Да, подбросили, да, дурак! Но я должен был, по-твоему, в Ангару её спихнуть, когда подбросили? Или что я был должен?

Галя обессиленно взмахивала рукой и уходила. А Сеня думал: «Надо было дать денег этой тётке Люсе, чтобы убежала подальше. Или были у неё деньги?» Он вспоминал, много раз восстанавливал в памяти весь разговор с женщиной от начала до конца там, на причале, и всё больше казалось ему, что не дурила она его, когда говорила, что собралась бежать. Что пройдоха — сомнений не было, но и пройдоха иной раз вынуждена выходить на правду. Сеня шёл к Гале, вставал перед нею вплотную, как столб, чтобы ей не откачнуться и не отойти, и пробовал успокоить:

— Пусть будет как будет. Мы с добром к ребёнку — почему мы должны бояться? Теперь государства без метрик, без паспорта живут... а уж люди!.. Великое переселение народов. Миллионы скитаются, все теряют... имена тоже. А мы с тобой об одной девочке... кому она нужна, кроме нас?

Он сам удивлялся: о любой бы он сказал «девчонка», а о ней не выговаривалось.

Катя поднималась поздно, спалось ей тут хорошо. Они завтракали в летней кухне, стоящей во дворе, иногда для уюта подтапливая её: ночи пошли прохладные. Утренний распорядок у Гали с Сеней теперь изменился, они вставали, как обычно, до света, но перехватывали спозаранку только горячий чай, набираясь аппетита и раздвигая дела для неспешного общего завтрака. Сначала Галя заплетала девочке косу, поварчивая на Сеню, как река поварчивает на берег, катая волны. Сеня стал опять говорлив, что в последние годы, к утешению Гали, пошло на убыль, вспомнил свою страсть фантазировать, выдумывать всякие истории, оставленную с тех пор, как подросли дети. Усаживаясь за стол, прикрикивая для порядка, он говорил:

— Выхожу ночью на улицу, а ночь звёздная, небо прямо полыхает, как в праздник. Выхожу и любуюсь — хорошо ночью любоваться на звёздочки. Вдруг слышу: шу-шу, шу-шу. Кто-то шушукается. Я подумал сначала, что, может, звёздочки с неба. А не-

значай к огороду ближе подхожу — слышней. Если б звёздочки — надо взлететь хоть сколько, чтоб ближе к ним. Крадучись продвигаюсь к огороду, спрятался вот за этим углом. А это огурцы на грядке шушукуются. Задумали они сегодня дать дёру с гряды. О нас, говорят, забыли. И так жалобно повторяют: забыли, никому мы не нужны, а пропадать, сгнить безвинно мы не желаем.

— Я позавчера, уж под вечер, три ведра сняла, — оправдывалась Галя.

— Так и говорят, — подхватывал Сеня, — хозяйка позавчера сняла и забыла, а нас надо каждый день обирать, мы в эту пору ходом идём. Сняла, говорят, и из памяти вон, а мы уж жёлтенькие, как старички, к нам надо уважение иметь. И договариваются, значит, чтоб в двенадцать ноль-ноль, ежели останутся они без женского внимания, совершить коллективный побег. А сейчас, — Сеня смотрел на круглые настенные часы, — половина десятого.

Катя слушала его внимательно и равнодушно, изредка поднимая глаза, пристально всматриваясь в Сеню и словно говоря: а ведь я уже старше, мне эти сказки рассказывать поздно. На всё она смотрела со стылым вниманием. Подадут ей варенье — возьмёт, намешает в чай и уставится в стакан, наблюдая, как синее или краснеет чай. А выпить, если не подтолкнуть, забудет. Скажут что-нибудь принести — на полдороге остановится и стоит, уставившись в одну точку. Сядет рядом с кобелём, а подружались они быстро, обнимет его за шею и, оттянув нижнюю губу, замрёт. Кобель тычет её — она дёргается безвольно, тряпично, как неживая. Ела она медленно и мало, молоко не пила совсем. На вопросы отвечала односложно, чаще кивая или отмахивая головой, слова произносила с усилием.

Они шли с Галей собирать огурцы, и Катя чуть оживлялась, движения её становились быстрее. Но каждый огурец она рассматривала, прежде чем опустить в ведро, перекатывала в руках, точно руки грея или его согревая руками. Подняла семенной огурец, и Галя ахнула с досады: огурцу полагалось ещё полежать. Катя испугалась так, словно её прошибло током, порывисто протянула большой жёлтый семенник Гале, быстро отдернула ручонку, когда Галя хотела принять, и заплакала. Галя кинулась её успокаивать, говоря, что их, этих семенников, на гряде вылеживается на всю деревню, — и чем горячее успокаивала, тем отчаянней плакала девочка — бескапризно, беззвучно, сжав ручонками горло, в сдавливаемом припадке. Не в силах видеть это, Галя опустила на землю и тоже стала захлебываться в рыданиях. Выскочил Сеня, глянул и скорей убежал, чтобы не залиться третьим ручьём.

Девочке дали обязанности, она должна была наливать курицам в корыто воды и под вечер выносить им мешанку-толканку, как называла Галя какое-то варево из картошки пополам с комбикормом. Курицы, приседа на бегу, сбегались шумно, отпихивали молодых; петух, вскидываясь резким клёкотом, принимался наводить порядок. Ему не подчинялись. Галя ворчала, что петухи, как и мужики, теперь не те, их перестали бояться. Катя особенно внимательно посмотрела после этих слов на Галю, словно и ей давая оценку, потом перевела пытливые глаза на Сеню. Петух и правда был в хозяина: неказистый и неяркий, с гребешком, сваливающимся на сторону, и голос имел негромкий.

Второй обязанностью Кати было делать салат для обеда. Она шла в огород и набирала луку, петрушки, срывала три-четыре свежих огурца и долго выбирала среди только начинающих краснеть помидоров самые спелые. Лукового пера в салат клали много, и Галя научила девочку толочь его, не ударя деревянной толкушкой, а вдавливая в мякоть и выжимая сок. Сеня нахваливал Катину работу, говоря, что он только теперь, на старости лет, попробовал настоящий салат. Но и Галя замечала, что девочка старается и хозяйка из неё выйдет хорошая.

На коров девочка смотрела с изумлением и опаской — будто раньше не видела. Обе коровы ступали важно и тяжело, ходили вместе и вместе же принимались

трубно мычать, требуя корму или дойки. С изумлением же смотрела она на большое эмалированное ведро, по края с молоком, выставляемым вечером для прогонки через сепаратор. Сепаратор сыто и лениво жужжал, струйка сливок стекала в маленькую кастрюльку, а обезжиренный и посиневший отгон в большую, и Катя с мучительным вниманием смотрела: как же это получается?

Телятник у Поздняковых был огорожен далеко, на горе за деревней. Идти приходилось по длинному заулку между огородами. По обочинам заулка лежали коровы и собаки. Провожал их Байкал, он по очереди подбегал к каждой лежащей собаке, они обнюхивались, по-приятельски помахивая хвостами, и Байкал трусил дальше. Вот почему ни одна собака не взлаяла на Катю. Гавкал щенок, чёрный, с коротким хвостом, только-только начинающий разбираться, для чего он явился на белый свет. Сеня нёс в ведре пойло для бычка, а Катя кусок хлеба. Бычок прежде кидался к Кате, она торопливо выбрасывала ему хлеб и пряталась за Сеню. Бычка звали Борькой, имя своё он знал и отзывался на него мычанием. Каждый раз повторялась одна и та же картина. Байкал давал Борьке наестся, затем прыгал к нему и застывал, заставляя и Борьку принимать защитную стойку, опустив голову и выставляя тупые рожки. Байкал начинал с лаем наскакивать — бычок ещё ниже нагибал голову, сдавал взапятки и вдруг бросался на собаку. Она отскакивала, заливаясь восторженным лаем, а Борька шумно пыхтел, набираясь духу для нового приступа. У Кати раскрывался рот, нижняя губа оттопыривалась, и на лице появлялось что-то вроде забывшейся улыбки.

От телятника было недалеко до пустошки из молодых сосен в два-три человеческих роста, в которой последним урожаем пошли маслята. Катя ступала с выставленным вперёд, как против зверя, складным ножичком и в первые дни только натыкалась на грибы, потом стала, увидев издали, вприпрыжку к ним подбегать. Наступил день, когда Сеня поднял первый рыжик. Он так обрадовался, наглаживая его и жадно шаря вокруг глазами, так нахваливал рыжики, что Катя, налюбовавшись красной шляпкой с нежно и ровно расписанными кругами, долго потом исподтишка смотрела на Сеню. И когда минут через десять она закричала и кинулась к Сене, а он кинулся навстречу — она остановилась, испуганная его испугом, и, протягивая ручонку с найденным теперь уже ею рыжиком, опять заплакала. Он схватил её на руки и держал до тех пор, пока она не успокоилась.

Прошла неделя после приезда, пошла другая... Решили не отдавать Катю в школу. Девочка считала, что ей шесть лет, но росточка она была небольшого и могла ошибаться. Да и с шестью разумней было погодить. Миновали те времена, когда школа следила, чтоб ни один ребенок не опоздал с учёбой. Теперь хоть совсем не отдавай, никто не спросит. Но Галю с Сеней удерживала иная причина: они не знали, как надолго свалилась на них Катя, боялись думать об этом, каждый новый день втайне начиная с оборонной молитвы: Господи, пронеси!

— Ты помнишь свою маму? — выбрав минуту, когда девочка казалась успокоившейся от затягивающихся где-то далеко внутри ран, спрашивала Галя, не нажимая на вопрос.

Катя замирала, опускала голову и уставляла глаза перед собой — как всегда, когда она замыкалась. Но нет — чуть слышно она отвечала:

— Помню. Маленько.

— Как ты её помнишь?

— Мы ехали, — помедлив, сжатым голосом отвечала она.

— Куда ехали? Откуда?

— Не знаю, — и добавляла неуверенно: — К русским. Мы ехали в поезде. Там были большие горы.

— А папу не помнишь?

Папу она не помнила. И так умоляюще смотрела на Галю, что та поневоле оставляла расспросы.

В сумке, оставленной тётёй Люсей в «Метеоре», находились два платья, одно тонкое, другое шерстяное, тонкий же ярко-желтый плащишко, трое колготок, кроссовки и вязаная шапочка — всё летнее, городское. Но этот набор опять-таки подтверждал, что выводила женщина Катю в спешке и собирала за секунду. С этими расспросами девочку пока не трогали. Гале пришлось ехать в райцентр и срочно покупать спасение от холодов — тёплую куртку, сапоги, две шерстяные кофты, рейтузы. Шерсть велась своя, от своих овец, но мукой смертной было чесать её, прясть; пришлось искать охотницу для такой работы. Не охотницу, а невольницу, которая от бедности бралась за любое дело. Очень не хотелось трогать Катины деньги, поначалу так и решили: не трогать; но без них бы не поднять эту справу — половину истратили.

Стоял уже сентябрь, доспевали последние урожаи в огороде и тайге. Дни стояли сияющие, перекатливые от утренников с инеем до летнего зноя, небо распахивалось всё шире, и, казалось, всё глубже оседала земля. В Сенином огороде белела только капуста. Выкопали картошку; счёт вёдрам, в которые набирали картошку и высыпали на землю для сушки, вела Катя и громко объявляла его, ни разу не сбившись. И копать ей нравилось; земля была мягкая, унавоженная, погода сухая, урожай хороший. «Поросята какие!» нахваливала Галя, поднимая из земли огромные клубни, белые и чистые, выставя их напоказ. «Поросёнок какой!» — подхватывала Катя и бежала похвалиться, какой экземпляр она отыскала. Здесь же, в огороде, ходили курицы, для которых был снят наконец существовавший всё лето запрет и думать забыть про огород, здесь же грелся на солнце Байкал. Когда ему надоедало лежать, Байкал подходил к Кате и тыкал её носом в бок. «Байкал, — отбивалась она, — не мешай!» Он смотрел на неё внимательно, скосив голову, точно любуясь.

«Откопались в леготочку! — удивлялась Галя. — Ой, так боялась я копки и не заметила, как управилась. А без тебя, — приобнимала она Катю, — мы бы сколько провозились... — А про себя добавляла: — Мы бы сколько нервов друг дружке извели!»

Катя загорела и вытянулась. Или уж казалось, что вытянулась, потому что привыкли к ней и видели в ней то, что хотели видеть. Но живей она стала — точно. Но всё ещё странной, неожиданно срывающейся и так же неожиданно затухающей живостью. Прыгает со скакалкой в ограде, что-то замеряет, расчерчивает куском кирпича и вдруг застынет, не успев присесть, лицо делается обмершим, взгляд куда-то утянется. Не дай бог окликнуть её в эту минуту — испугается. Сеня не раз с болью наблюдал её такую: стоит, а что стоит, что опять с нею, стоящей пусто, и что слетело куда-то от неожиданного всполоха в памяти или душе — поди пойми. И всегда в таких случаях что-то острое, знобящее перекатывалось в его груди, пугая предчувствиями.

— Сеня! — тревожно говорила Галя перед сном; они теперь обычно засыпали под думы и разговоры о Кате. — Мы с ней по-простому, а она как стеклянная. Не разбить бы.

Для деревни было сказано, что она внучатая Сенина племянница, родственников его никто не знал. Для деревни было сказано, а говорить Кате, за кого они её пригревают, не решались. А она бы и не поняла ничего. Сколько катало её по недобрым людям — не узнать, но пришлась эта злая доля на самые чувствительные годы, и теперь сердчишко её, должно быть, ломается от тепла, как лёд по весне... «А уж осень, осень...» — боялся додумать Сеня.

С лета он собирался в тайгу за орехом, который тоже нынче уродился, но не пошёл. Показалось ненужным. Никуда из деревни уходить не хотелось, а Гале он объяснял, что это от старости. Засыпая, думал: «Скорей бы новый день, чтобы видеть вокруг себя далеко». Стены сжимали его, воздух казался отжатым. Просыпался он быстро, с радостью и сразу вскакивал на ноги, первым шёл ставить чайник. За завтраком, когда сидели все вместе, продолжал свои фантазии:

— Выхожу ночью на улицу, а ночь звё-ёздная, ядрёная. И слышу опять: шу-шу, шу-шу...

Катя отрывалась от еды:

— Да ведь огурцов на грядке нет. Кому шушукаться-то?

— Ты слушай. Слышу: шу-шу, шу-шу. И тоже невдомёк: ведь огурцов на грядке нет, кому шушукаться-то? Прислушался получше, а это морковка. «Делать нечего, — переговариваются грядка с грядкой, — надо бежать. Бежать от лютой погибели в этом огороде, от этих людей. Ботву нам обрезали, оставили в земле для сохранения, а какое может быть сохранение, если наш враг, жадный крот, поедом нас споднизу ест. Нету нашей моченьки больше терпеть. Если завтра к восемнадцати ноль-ноль не придут нам на помощь, всем немедленно уходить». Шу-шу, шу-шу: всем, всем, всем.

Катя, склонившись, прячась за стаканом с чаем, хитренько поглядывает на Галю, понимая, что сказка эта больше сказывается для неё, для Гали.

— Уберём сегодня, — ворчит Галя. — Не можешь по-человечески-то сказать?

— А ты что — по-морковному услышала?

Все трое смеются, потом Галя стучит ложкой по столу. Она не любит, чтобы последнее слово оставалось не за ней.

— Ну, Сеня! Ну, Сеня! Ты язык допрежь смерти сотрёшь — посмотрим, по-каковски ты хрюкать будешь.

Катя прыскает, из набитого рта летят крошки и брызги; отряхиваясь, отираясь, она говорит совсем по-взрослому, по-деревенски:

— Ну вас! Уморили!

К ней стала приходиться подружка, Ольги Ведерниковой заскребушка, девочка донельзя тихая, молчаливая, скидывающая обувку сразу же, как только выходила она из дому, и где попало эту обувку забывающая. Звали девочку Аришей, Сеня называл ее Ариной Родионовной.

— Ну что, Арина Родионовна, — встречал он её, босоногую, — где сегодня сапоги оставила?

Сапоги могли аккуратно стоять вместе посреди дороги, могли быть в разлуке — один у своего дома, второй у чужого, а могли оттягивать спрятанные за спину руки. Аришу расшевелить было трудно, да Катя и не умела, её самое надо было расшевелить, но, как старшая, она понимала, что игру должна предлагать она, и принималась прыгать через скакалку, подавала затем скакалку Арише — та брала и продолжала сидеть на широкой лавке возле крыльца, оставив своё тоже белесое, с низкой чёлкой, с мокротой под носом лицо на Катю. Игра Аришу не занимала, она приходила полюбоваться на девочку из какого-то другого мира — чистенькую, аккуратную, необыкновенно красивую. Все уже знали, что у Поздняковых живёт красивая девочка. Бабка Наталья перебиралась через дорогу, прикрывала у Поздняковых за собой калитку и била о неё висячим чугунным кольцом, давая о себе знать.

— Где-ка тут наша бравенькая? — спрашивала она, не глядя, есть кто во дворе или нет. — Гли-ка, чё я тебе принесла... — И уж после этого поднимала глаза. — Сеня, ты? А где-ка наша метеворка? Я седни сушки стряпала... — и высыпала в какой-нибудь тазик, которые всегда обсыхали на воздухе, кучу витых кренделей-баранок, ещё теплых. — Покусай, покусай, — протягивала она первую Кате. — А поглянется — приходи, вместе чаю попьём.

В другой раз решительно тянула Катю к себе. Та возвращалась с маленьким, будто бы игрушечным, но изготовленным по полной форме самоваром — с осадистыми ножками, с решётчатым низом, с раскинутыми по бокам фасонисто ручками и проворачивающимся в гнезде краником, даже с короткой, загнутой в колене трубой.

— Вот, — удивлённо и таинственно объясняла Катя. — Это было в деревушном чабадане.

— Где?

— В деревушном чабадане. Это такой деревянный ящик, наверное, старинный че-

модан, — и замирала с улыбкой, продолжая любоваться самоваром. — Бравенький? — с хитрецей спрашивала она.

— Бравенький, — соглашалась Галя. — Только дочистить надо.

И ещё миновали неделя и вторая, а всего после приезда и месяц отошёл. Началось ненастье с холодными дождями и длинными заунывными порывами северного ветра, который, казалось, испускал от затяжной натяги весь дух, затихал и, набрав его в какую-то могучую грудь, снова принимался дуть мощным выдохом. С лесов сбило последнюю листву, и они стояли чёрно и зябко; опущенное хвойное покрывало сосняков и ельников тоже смотрелось в мокроте безрадостно. По воде (море называли просто водой) ходили волны, взблескивая загибающимися остриями белых барашков, вся земля гудела и стонала. Сеня влез в новые сапоги, привезённые из города, и, только натянув их на ноги, вспомнил, как они покупались и как он впервые увидел Катю. Вспомнил и долго сидел, тупо глядя на сапоги, размышляя, не лучше ли было их до весны не трогать.

Он принялся учить Катю азбуке, она, хорошо считая, не знала ни одной буквы. Катя послушно повторяла слоги, складывая их в слова, вскидывала глаза в удивлении от чуда получающихся слов, но занималась она без охоты. Быстро вскакивала из-за стола, едва Сеня объявлял конец уроку, и подходила к окну, глядевшему в улицу, подолгу смотрела на расставленные до горы тремя улицами избы, на побитый за деревней лес, на стоящих неподвижно под дождём коров, беспрестанно жующих жвачку, на пробегающую торопливо собаку и на редких прохожих, тоже торопящихся, высоко поднимающих ноги. А Сеня стоял в дверях прихожей и со стылым сердцем смотрел на неё, замершую у окна: что она там видит? о чём думает? куда отлетают её желания? И с кем она — с ними или с кем-то другим?

Он пытался узнать о ней побольше:

— Ты помнишь, где вы жили в городе?

Она вся натягивалась, лицо становилось напряженным, чужим, менялись, тяжелея, глаза.

— В деревянном доме, — натягивая слова, выговаривала она. — На втором этаже.

— Ты с тётёй Люсей жила?

— Тётя Люся потом пришла.

— А кто жил на первом этаже?

Девочка смотрела на Сеню и медлила.

— Ахмет... — с трудом произносила она. — Олег... Там много было. Приезжали и уезжали.

— А кто такой Ахмет?

— Он стрелял в тётю Люсю...

— Как стрелял, почему?

И снова молчание, потом тихо:

— Он стрелял, чтоб не попасть. Сказал: в другой раз прямо в сердце.

— А почему стрелял, не знаешь?

— Не знаю.

Сеня не перебарщивал с расспросами, он видел, что они даются девочке тяжело. Она после них затаивалась, старалась держаться в сторонке, ходила медленно, с оглядкой, снова принималась пристально всматриваться во всё, что окружало её, нижняя губка безвольно оттопыривалась, лицо бледнело. «Пусть обживётся, привыкнет к нам, перестанет чего-то бояться... и уж тогда... не сейчас...» — думал Сеня, прекращая такие разговоры. Да и так ли уж важно было разведать, что скрывалось за тем днём, когда девочка оказалась с ним рядом? Что это даст? Когда-то он шлёпнулся в Заморы как кусок дерьма — его приняли, не спрашивая характеристику, отдали ему единственную дочь. Это зло выясняет подробности, добру они ни к чему.



Опять разгулялась погода, выглянуло солнышко, но уже без прежнего тепла, примериваясь к зиме. Высушило улицу, и показалось, что порядки домов развело ещё шире. Когда Катя смотрела, как идёт к ней через дорогу Ариша, уже не смеющая сбрасывать сапоги, чудилось, что идёт она долго-долго. Они вместе принимались ставить самовар под навесом справа от летней кухни: большую, пузатую чурку застлали клеёнкой, рядом притыкали две низенькие чурочки для сиденья, устанавливали самовар на «стол», заливали его водой и втыкали трубу. «Скипел?» — через пять секунд спрашивала Ариша. «Нет, так быстро не кипит», — вразумляла Катя. «Скипел?» — «Нет, говорят тебе, рано». — «Скипел?» — «Скипел». Начиналось чаепитие. «Мойто, — сложив сердечком губы и дую в пластмассовый стаканчик, сообщала Ариша косным лепетком, — опеть вечер холосый пришёл». — «Батюшки! — взавивала Катя и спохватывалась: — А какой хороший?» — «В стельку». — «В какую стельку?» — не понимала Катя. — «В талабан». — «В какой талабан?» Наступало молчание. Катя спрашивала: «Ты ему всё сказала?» — «Всё сказала». — «Как ты сказала?» — «Остылел ты мне, сказала».

— Ну и сказки у тебя, Арина Родионовна! — кричал от верстака под этим же навесом Сеня. — Заслушаешься!

Всё нетерпеливей, всё поспешней хотел жить Сеня: сначала он торопил ночи, чувствуя по ночам беспомощность, боязнь быть застигнутым врасплах и голым — войдёт кто-нибудь, а он в трусах, босиком, и ничего под руками, ему казалось, что ночью и слов подходящих не найдётся для защиты; теперь он стал торопить и дни. Будь его воля, он скоренько переметал бы их из стороны в сторону, добравшись до глухой зимы, когда заметёт так, что ни пройти ни проехать, и только ветер будет дымить по крышам. Торопясь сам, торопил Сеня и Галю. Раньше обычного сняли и засолили капусту, развёз на тележке и разбросал он навоз под картошку, утеплил стайки для коров, первым в деревне привёз с елани застогованное сено... Галя смотрела на него с удивлением и опаской: всегда приходилось подгонять мужика, а тут поперёд времени бежит. Но, как вопрекор Сене, воротилось тепло, к обеду нагревалось до того, что хоть в рубашке ходи, на кустах смородины за летней кухней набухли почки, солнце, которое уже спустилось к южному полукружью и поблекло, смотрелось опять молодо.

Сеня считал: «Метеору» оставалось сделать пять ходок, четыре, три...

При Кате зажгли как-то вечером керосиновую лампу, потому что электричеством лишь дразнили, и лампа так понравилась девочке, что она взяла в привычку досиживать допоздна, нетерпеливо била кулачком в коленку, требуя, чтобы загасили скорей электричество, и, когда зажигали фитиль и втыкали в решётчатый металлический ободок стекло, Катя так и обмирала перед лампой. Она то прибавляла, то убавляла фитиль, по лицу её ходили блики, глаза искрились. «Маленькая шаманка», — улыбался Сеня. И просветлел вдруг сам: да кто сказал ему, что у неё недвижимое, холодное лицо, затуманенное изнутри? Ничего подобного. Не может быть, чтобы только от керосина переливались по лицу краски и под тайными толчками играла кожа. Полюбилась лампа Кате — привык и Сеня наблюдать за девочкой, что-то нашёптывающей, представляющей волшебное... И когда однажды по случаю именин начальника участка электричество всё сияло и сияло и они вместе измаялись в ожидании темноты, Сеня скомандовал:

— Вырубай электричество! Запалай керосин!

— Запалай керосин! — закричала Катя восторженно, выбегая на середину комнаты и бросаясь в пляс.

С утра Сеня дал себе на день задание: вытащить, во-первых, лодку и поставить её под бок. Под банный бок со стороны улицы. Оставлять лодки на берегу стало опасно. Никто на них зимой не уплывёт, но взялись лодки калечить, пробивая днище. Во-вторых, перед зимой, перед плотной топкой, следовало прочистить печные трубы и в

избе, и в летней кухне. Летняя кухня не выстуживалась, в ней зимовали курицы. И ещё одно: давно договорились они с соседом, с Васей Тепляшиным, взять курганской муки, и по их заказу коммерсант вчера муку привёз.

Не всё быть лету; день всходил хмурым, солнце показалось и скрылось, с низовий потягивал пока слабый, но колючий северный ветерок. Вторым, семейным, завтраком сидели, как всегда, поздно, и Сеня расслабленно, не торопясь подниматься, снова и снова подливал чаю. Из летней кухни они переехали в дом; сегодня в нём было прохладно, печь не топили из-за готовящейся чистки. Катя поднялась невесёлая, придушенная переломной погодой и вяло тыкала вилкой в поджаренную с яйцами картошку. Галя поднялась из-за стола скоро и ходила шумно, покрикивая во дворе на скотину, ворча громче обычного на Сеню. Он понимал: она торопит его, но не хотелось подниматься — и всё. Переговаривались с Катей тоже вяло, Сеня без всякой причины вздыхал, прикидывая, к кому пойти, чтобы помогли прикатить лодку. В таком порядке и предстояло ему сваливать дела: сначала лодка, потом печи, потом, если не запоздает Вася, мука. Надо было подниматься.

И в это время залаял кобель — зло, напористо, на чужого. Сеня вышел посмотреть, одновременно из кухни вышла Галя и встала — прямая, настороженная, со сжатыми губами. Кобель надрылся за оградой — Сеня открыл калитку и выглянул: перед домом, на узком тротуарчике, ведущем к калитке, стоял незнакомый мужик в толстой кожаной куртке и с короткой стрижкой на голой голове.

— Ты Семён Поздняков? — спросил мужик требовательно, раздражённый собакой. Был он плотен, крепок, молод не первой молодостью, но ещё не миновавшей окончательно, и, как сразу отметил Сеня, был он из горлохватов, из тех, кто любит идти напролом. Второй мужик пристраивался на лавочку возле избы бабки Натальи.

— Я Семён Поздняков, — сказал Сеня. — А ты кто такой будешь?

— Убери собаку! — негромко повелел мужик.

Сеня прикрикнул на Байкала; тот, отойдя, продолжал рычать.

— Теперь приглашай в гости, — тем же спокойным и властным тоном сказал мужик.

— А чего раскомандовался-то? — разозлился Сеня. — Пришёл в гости — веди себя как гость. Я тебе сказал, кто я, говори теперь ты.

— Я дядя той девочки, которая живёт у тебя, — с усмешкой, не спуская с Сени цепкого взгляда, сказал мужик. — Родной дядя. Понятно?

Увидев этого мужика и разглядев его, Сеня мог бы догадаться, по какой нужде тот искал его и зачем пришёл. Он и догадался почти, его захлестнуло болью сразу же, как вышел, и всё-таки продолжал хвататься за соломинку: не то, не то, это не может быть то... Он потом тысячу раз спрашивал себя, как это он растерялся до того, что впустил мужика в ограду. Но — впустил.

— Подожди меня там! — крикнул мужик своему товарищу и прошёл в калитку. Галя стояла всё так же — прямо и неподвижно. — Где она? — спросил он теперь уже у Гали.

Сеня начинал приходиться в себя.

— А почему ты думаешь, что я тебе её отдам? — спросил он, стараясь сдерживаться, не закричать и невольно шаря глазами по двору — где что лежит...

Мужик усмехнулся откровенней, показав ровные белые зубы. Он держал себя всё уверенней.

— А как бы ты это не отдал ворованное? — наигранно вздохнул он. — У нас это не полагается.

— Если ворованное — давай в суд! — закричал Сеня, не в силах больше сдерживаться. — В суд давай! И там посмотрим, кто украл! Дя-дя... А почему ты только дядя, а не папа родной? Родниться так родниться — чего ты смельчил?!

— Можно и в суд, — лениво согласился приезжий. — Да долго... Расходы тебе. Давай уж как-нибудь сами, своим судом. — И коротко добавил: — Давай без жертв.

— Ты меня не пуга-ай!..

Сеня обмер: вышла Катя. Она не вышла, а выскочила из избы, куда-то торопясь, и вдруг запнулась и закачалась, стараясь установить себя. Сеня смотрел в ужасе: точно волшебная злая пелена нашла на неё и сошла — перед ними стояла другая, до неузнаваемости изменившаяся девочка. Лицо ещё вздрагивало, ещё за что-то цеплялось, но уже окаменевало, нижняя губка, дергающаяся лопаточкой вперёд, прилипла к верхней, глаза затухли. Она медленно свела руки и сцепила их под животом.

— Ты знаешь меня? — подождав, позволив девочке опомниться от первого, непредсказуемого испуга, спросил приезжий.

Она долго смотрела на него, словно решая, узнавать или не узнавать, вздрогнула, когда кобель, наскочив с улицы на заплот и свесив лапы, зарычал... Узнала. Кивнула.

— Никуда ты, Катя, не поедешь! — ослабшим голосом крикнул Сеня. — Ты наша. Скажи ему, что ты наша.

— Скажи ему, что ты знаешь меня, — со спокойной угрозой отвечал приезжий. — Я фокусов не люблю. — Усаживаясь на скамейку возле крыльца, показывая, что препирательства бесполезны, он похвалил девочку: — Ты всегда у нас была умница-разумница. Собирайся.

— Никуда она не поедет!

— Сеня! — остерегающе крикнула Галя.

Подобие виноватой улыбки мелькнуло на лице Кати.

— Как же бы я не поехала? — тихим голосом, стоившим многих разъяснений, сказала она. — Что вы!

И развернулась собираться.

Минут через пятнадцать они уходили. Катя собрала что-то в ту же сумку, с которой приехала и которую сразу же забрал у неё мужик. Галя, так и не отмершая, ткнулась в девочку головой и отступила. Сеня пошёл проводить. За калиткой Байкал опять стал набрасываться на чужого, Катя приласкала его и успокоила. Со скамейки от дома бабки Натальи поднялся второй мужик, прихрамывая, присоединился к ним и насмешливо окликнул Катю:

— Здорово, красавица!

Она не обернулась к нему.

Катя с Сеней шли впереди, приезжие сразу за ними. Сеня не спрашивал, куда идти, — вот-вот «Метеор», последний в этом году. Ветер надавал сильней, подталкивая в спины, по небу быстро несло растерзанные, разлохмаченные облака, доносило приближающимся холодом. Катя догадалась одеться в тёплые сапоги и куртку.

— А деньги-то? — вспомнил Сеня. — Твои деньги остались!..

Девочка сунула свою ручонку в Сенину руку и слабенько жала: не надо.

— Не забудешь, где мы живём? — шёпотом спросил он.

— Мы тоже не забудем, — предупредили сзади.

Девочка оглянулась на них и сказала, не таясь:

— Они били её.

— Кого?

— Тётю Люсю.

Она додумала, как до неё добрались: разыскали своим розыском тётю Люсю, пытали, пока не сказала...

— Я всегда говорил, что ты у нас умница-разумница, — согласились позади.

Подскочил на волне «Метеор», его било о стенку причала и откачивало; отъезжающим приходилось прыгать, они толпились в страхе и кричали. Девочку стремительно оторвали от Сени, не дав попрощаться, он увидел её взблеснувшую белую

головёнку уже в пасти теплохода, девочка, заворачивая, тянула её, взмахивала руками, но — тут же закрыло её прыгающими фигурами, и отчаянные крики прыгающих заглушили всё.

Сеня не помнил, как он воротился домой.

У стола лицом к двери сидела Галя, не снимая телогрейку, и ждала его. Что было говорить! — Сеня тыкался слепо из угла в угол: нельзя было уйти от Гали и нельзя было оставаться, и одна только мысль так же слепо тыкалась в нём: как бы провалиться в тартарары? Галя следила за ним, словно всё ещё чего-то ожидая, потом в неожиданном припадке уронила голову на стол и, пристукивая ею, сдавленно, страшно, чужеголосо выкрикивала:

— Сеня! Сеня! Сеня!

Порывы ветра становились всё сильнее и злей, и к ночи земля ходила ходуном. Сеня лежал без сна и, пытаясь защититься, натягивая на себя одеяло, слушал, как гремит и стонет на разные лады: «Сеня! Сеня! Сеня!»

*1997 г.*